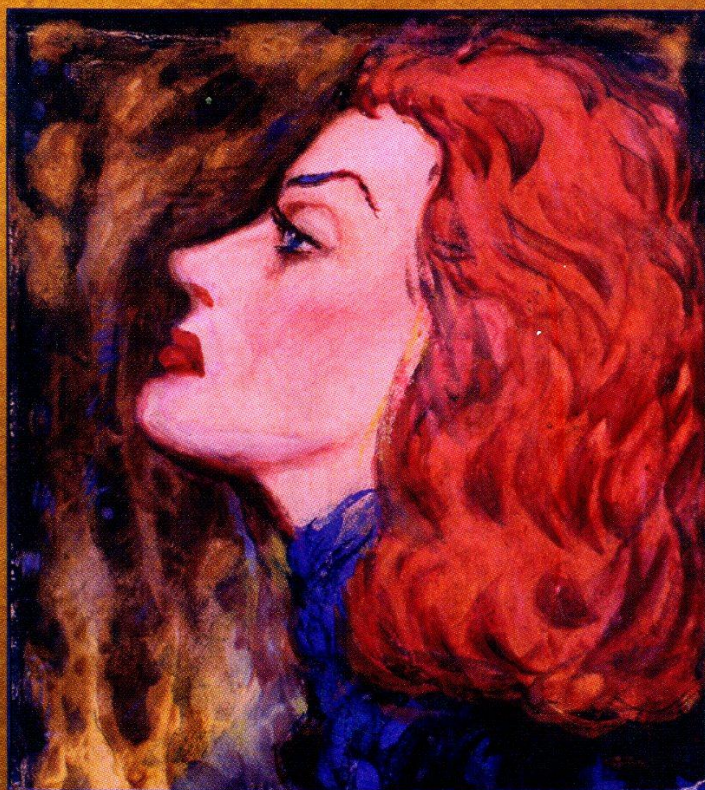


Д.А. Быстролётов
(Толстой)

ПИР БЕССМЕРТНЫХ

*Книги о жестоком, трудном
и великольном времени*



ВОЗМЕЗДИЕ

Том II



*К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Александровича Быстролётова*

Д.А. Быстролётов
(Толстой)

ПИР БЕССМЕРТНЫХ

*Книги о жестоком, трудном
и великольном времени*

ВОЗМЕЗДИЕ

Том II

Москва
Крафт +
2013

УДК 94
ББК 63.3
Б95

*На обложке: Д.А. Быстролётов. Анечка (акварель).
1943 год*

*В оформлении форзацев использованы
работы Д.А. Быстролётова*

Быстролётов, Дмитрий Александрович
Б95 **Пир бессмертных:** Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. **Возмездие.** Том II/ Д.А. Быстролётов. – М.: Крафт+, 2013. – 464 с. – 2-е изд. – ISBN 978-5-93675-190-5. – ISBN 978-5-93675-200-1 (том II).

Д.А. Быстролётов (граф Толстой) – моряк и путешественник, доктор права и медицины, художник и литератор, сотрудник ИНО ОГПУ – ГУГБ НКВД СССР, разведчик-нелегал-вербовщик, мастер перевоплощения.

В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.

«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великолепном времени».

Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.

ISBN 978-5-93675-190-5
ISBN 978-5-93675-200-1 (том II)



9 785936 752001

© С.С. Милашов, 2013
© Издательство «Крафт+»,
подготовка к изданию и
оформление, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга пятая

Путешествие на край ночи

Предисловие	6
Глава 1. Первая любовь	7
Глава 2. Жена	41
Глава 3. Многопенный вал	61
Глава 4. Ни правда, ни ложь	79
Глава 5. От Святого Иоанна? Гм... не знаю... ..	94
Глава 6. Гибель Серебряной Розы	122

Книга шестая

Шелковая нить

Глава 1. Осенний день сорок второго года	150
Глава 2. Зимний день сорок третьего года	233
Глава 3. Весенний день сорок пятого года	282
Глава 4. Летний день сорок шестого года	351
Послесловие	443

Всё живое на земле боится смерти, и только один человек в состоянии сознательно победить этот страх. Перешагнув через страх смерти, идейный человек становится бессмертным, в этом его высшая и вечная награда.

Смертных на земле – миллиарды, они уходят без следа, для них опасности и тяготы жизни – проклятье, для нас – радость, гордость и торжество!

Борьба – это пир бессмертных.

*Дмитрий Быстролётов
(Толстой)*

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ

Книга пятая

Notre vie est un voyage
Jusqu'au bout de la nuit.
Nous cherchons notre passage
Al' enfer où rien ne luit!

Наша жизнь – это путешествие на край ночи.
Мы ищем путь сквозь ад, где нам впереди
не светит ничто.

*Из боевой песни швейцарских
наемников XV века*

Предисловие

Зимой 1942 года, на четвертом году заключения, я получил извещение, что на воле умерли моя мать и жена. Их смерть стоит в прямой связи с моим арестом: их загнали в могилу те же самые люди, которые повинны в том, что я был необоснованно арестован и реабилитирован «за отсутствием состава преступления» только на восемнадцатом году заключения. Осенью 1942 года я встретил в лагере женщину, которую полюбил за то, что она стала для меня светильником в ночи – моей женой, помощником и другом. Ее муж умер в заполярных лагерях, так и не успев дожидаться пересмотра выдуманного «дела». Отбыв второй срок, жена дожила до реабилитации, будучи уже полным инвалидом. Таких примеров мы видели вокруг себя множество и сделали общий вывод: злодеяния сталинского времени в смысле количества отнюдь не исчерпываются десятками миллионов арестованных и умерщвленных, нет, чтобы правильно понять и оценить историческое значение пережитого, необходимо учесть и гибель родственников на воле, честных и полезных Родине людей. Они были настолько невинны, что даже организованный Сталиным аппарат истребления не счел нужным применить к ним меры открытого насилия. И все-таки они погибли потому, что приведенная тогда в движение гигантская мясорубка перемалывала не только брошенных в ее жерло людей, она сама втягивала тех, кто находился поблизости.

Эта книга моих записок посвящена обстоятельствам жизни и смерти первой жены. Пример обычный, в той или другой форме такие воспоминания могли бы написать, к сожалению, многие и многие советские люди. Некоторые же фамилии и географические названия мне пришлось по указанным ниже причинам изменить, но дело не в них. И даже не в моей жене. Нет. Эта книга мыслится мне, бывшему заключенному сталинского времени, как надгробный венок всем нашим родственникам, вместе с нами прошедшим скорбный путь до края ночи.

Глава 1

Первая любовь

Quelle vertigineuse douceur –
A travers ces levres nouvelles,
Plus epatantes et plus belles,
T'infuser mon venin, ma soeur!

Ch. Beaudelaire

Какое головокружительное наслаждение
Через эти новые губы,
Более волнующие и прекрасные,
Передать тебе мой яд. О, моя сестра!

Ш. Бодлер (фр.)

Тринадцать закопченных труб и тяжелые клубы дыма, медленно ползущие по низкому небу, вот все, что видел я каждое утро из окна своей комнатки под крышей большого и холодного дома. Это была рабочая окраина Праги. Год двадцать третий.

Проснувшись от протяжного рева гудков, я подолгу глядел из окна вниз, туда, где по тесной и кривой щели улицы в безотрадной мути рассвета бесконечно тянулись черные вереницы рабочих. Одевшись, я садился на кровать и напряженно думал, куда бы пойти в поисках хлеба. Средства к существованию давали мне рытье могил на кладбище и уроки, но добыть их в этом светлом и прекрасном городе было нелегко.

Все свободное от уроков время поглощало слушание университетских лекций и занятия в государственной библиотеке: я работал над серией статей, которые не приносили дохода, но нужны были потому, что в ходе размышлений над ними росло и утверждалось новое мировоззрение, жить с которым казалось легче. Потом наступал вечер. В одном магазине хозяин давал мне обрезки мяса и колбасы, в другом – непроданный черствый хлеб. На маленькие и такие дорогие серебряные монетки я прикупал себе кое-что и к наступлению темноты успевал дотащиться домой.

Сняв костюм, чтобы не мять его, садился на кровать и раскладывал на старой газете пищу. И ел, думая о другом.

Денег на освещение не хватало, и после еды оставалось только глядеть в окно на отблески заводских огней и на черные силуэты труб. Обычно в это время начиналась туберкулезная лихорадка, и возбужденный ею мозг уносил меня

беспредельно далеко. Может быть, это и были мои лучшие часы: иногда я декламировал любимые стихи, но чаще всего громко спорил с воображаемым противником. В таком споре рождались новые, остроумные и блестящие мысли. Довольно потирая горячие руки, я ходил по комнатке и собирал удачные фразы для следующей статьи о Ницше и Ленине, о добре и зле, о рождении нового человека, который здесь, на обновленной и переустроенной земле, будет богом. В часы этого одинокого торжества на окраине города мне казалось, что я нужен людям потому, что могу сказать им новое слово. Равнодушный мир представлялся мне тогда твердыней, которую надо взять с боя, и я верил в свои силы и в коллективную мощь тех, кто пойдет рядом со мной. Наконец наступала ночь, в изнеможении я падал на постель и долго лежал с открытыми глазами: чудилось, что штурм неба уже начался, в тяжелом грохоте заводских молотов гремела для меня героическая симфония восстания, колыханием победных знамен казалось кровавое зарево печей...

Уронив голову на горячие руки, я мечтал о времени, когда не будет больше ни борьбы, ни обреченных на гибель и новые люди не узнают ужасов бедности и одиночества. Потом мысли начинали путаться, и наступал тревожный сон. В полночь я поднимался и шел на работу на кладбище.

А утром, открыв глаза, видел опять все то же тяжелые клубы дыма в низком небе и тринадцать закопченных труб.

— Ну как, ушел этот оборванец... как его... учитель русского языка?

Голос звучал звонко и резко, как металлическая струна. Это воспитательница двух девочек господина Фишера, молодая англичанка. У нее бледное лицо и очень блестящие глаза.

— Убрался, слава Богу! Тоже мне учитель! Ха-ха-ха! Честное слово, мисс Оберон, когда-нибудь он стянет в передней зонтик!

Горничная говорит добродушно, но я сжимаюсь, как от удара.

— Ладно, не болтайте. Мистер Фишер вернется поздно, девочки приготовили уроки. Пора спать. Возьмите входную дверь на цепочку и идите к себе. Я уложу девочек и сама открою хозяйину. Все. Спокойной ночи!

Я остался один на балконе в мучительной нерешительности. И зачем нужно было выйти сюда... Черт... Как неловко получилось... Главное, синие брюки я подшил коричневой заплатой, и подошва на левом ботинке отстаёт и хлопает на

ходу... Теперь придется получить небрежное замечание от англичанки и затем пройти через всю гостиную под насмешливыми взглядами двух женщин! Боже мой... нужно выпутываться: еще подумают, что я спрятался нарочно... Как вор...

Пока я переступал с ноги на ногу и мял руки в наплыве проклятой застенчивости, мисс Оберон потушила свет в гостиной и вошла в спальню девочек. Большое венецианское окно этой комнаты находилось рядом, и с балкона я хорошо видел все, что там происходило. Но как же быть? С каждой минутой я действительно все больше и больше похожу на вора. Надо выйти, извиниться, сказать, что голова заболела... Хотел освежиться...

Набравшись храбрости, я повернулся, чтобы идти, и совершенно случайно взглянул в освещенное окно, как это обычно бывает с человеком, смотрящим из темноты на свет. Сквозь дневной занавес из прозрачной белой ткани видна была комната, озаряемая лампой с розовым абажуром, как сквозь белорозовую дымку увидел я диван. Две девочки, раздеваясь, шалят с гувернанткой... Вот мисс Оберон наклоняется и... что это? Она... не может быть...

Пораженный, минуту я наблюдаю без любопытства, без чувственного возбуждения.... Потом резко отворачиваюсь. Некогда мне заниматься **этим**! Сладкий яд отравит тех, кто засыпает в розовой дымке, то мстительная мудрость жизни: но он безопасен для меня, оборванца с холодного и пустого чердака. И **таких** людей я стесняюсь? Нет, свое дырявое платье мы пронесем перед ними как вызов!

Твердо выхожу в гостиную и зову горничную. Я ждал на балконе господина Фишера. Он должен был заниматься два часа и не пришел. Это его дело, но я ждал, мне причитается двадцать крон! До свидания!

Я плетусь большими улицами. Вот витрины, наглые и роскошные: ананасы с Гавайских островов и вестфальская ветчина, астраханская икра и сыр из Пон-д-Эвек. Я сейчас получу подавание обломки черствого хлеба и обрезки сырого мяса. Чтобы не тошнило, я запиваю эту пищу уксусом, под кроватью стоит бутылочка. Ничего! Пусть идут мимо эти нарядные люди, не зависть движет мною, но великий гнев, святая злоба, которая когда-нибудь перевернет мир.

Идти далеко. Там, где начинается рабочая окраина, я присаживаюсь в темной подворотне. Слабость... сил нет... Со скрежетом бегут мимо трамваи, наполненные рабочим людом. Где-то далеко, по красивому проспекту бесшумно сколь-

зит роскошный автомобиль, в котором тучный господин Фишер, возвращаясь домой, мысленно подсчитывает барыши за день. Он уверен в себе: дела хороши, фирма Фишер и К° будет стоять во веки веков, как вавилонская башня. Он не знает, что под фундаментом ее роется крот, он подкопает его власть в этом мире. Башня рухнет, завалив господина Фишера мусором, и даже род его уже отмечен рукой судьбы: обе девочки, Камилла и Эвелина, отравлены сладчайшим ядом, они погибнут. Да, в этом мудрая месть жизни...

Я прикрываю глаза. И вижу розовый свет сквозь легкую дымку. Стройная девушка нагибается над диваном... Какое бледное лицо, как блестят синие глаза! Она торопливо раздевает нежную девочку... Потом опускается на колени... и...

Минуту я сижу, ощущая странную боль во всем теле. Точно яд растекается от сердца к отяжелевшим рукам и ногам. Сладкий яд...

Э-э, нет! Не бывать этому.

Я встряхиваю головой и, сгорбившись, тяжело тащусь дальше.

Черное, черное небо.

Черная злоба кипит в груди.

Старая злоба, святая злоба...

Товарищ, гляди в оба!

Я не участвовал в белом движении и в то же время не приехал в Прагу из белопанской Польши или боярской Румынии. Бывший советский представитель в Константинополе товарищ Кудиш, видный московский работник, расстрелянный впоследствии Сталиным, не забыл разговоров со мной в двадцать первом году и по моей просьбе письмом к полпреду Юреневу подтвердил, что в числе революционно настроенных матросов я летом девятнадцатого года бежал от белогвардейцев за границу, дабы не воевать против Красной Армии, и что в Константинополе голодал и занимался тяжелым физическим трудом, но никогда не **контактировал** с врангелевцами. А как я вел себя в Праге, полпредство знало: я не протянул руку за помощью к чехословацкому правительству, хотя имел возможность получить кругленькую стипендию, бесплатную одежду, обувь и даровое место в студенческом общежитии. Дело в том, что чехословацкие legionеры, отступая к Владивостоку, беспощадно захватывали российское национальное добро и ухитрились вывезти тридцать с лишним вагонов сибирского золота и десятки тонн платины,

не говоря уже о серебре, драгоценных камнях и других ценностях, отобранных в банках, церквях и частных домах. Этот фонд составил затем существенную часть обеспечения бумажных денег Чехословакии, разоренной войной и выходом из состава Австро-Венгерской монархии.

Советское правительство потребовало возвращения экспроприированного, но ловкие политические комбинаторы из пражского правительства организовали широкую помощь студентам «из России», под которыми подразумевались белогвардейцы, евреи и украинцы из Польши и Румынии. Таким образом, подлежащая возврату сумма таяла, но не терялась для чехословацкого государства, здесь происходило только перекалывание денег из одного своего кармана в другой.

Я отказался от такой помощи и ночью работал могильщиком на Ольшанском кладбище, а днем давал уроки и учился. И сразу же объявил войну белым, став во главе группы студентов, имевших советское гражданство, – вскоре я получил его тоже. Затем наше консульство организовало «Союз студентов, граждан СССР, в Чехословакии», и я стал его бесменным секретарем. Два раза власти выносили решение о высылке меня из страны, но полпредство добивалось его отмены. После третьей повестки меня укрыли в торгпредстве и сделали внештатным библиотекарем. Впервые за границей я стал есть досыта. Переехал в приличную комнату, оделся и принялся с **остервенением** учиться в полную силу, именно с остервенением, потому что изголодавшийся по работе мозг жадно воспринимал все, что я ему охапками совал – университетскую медицину, позднее юриспруденцию, языки (стал изучать сразу пять иностранных языков), огромную кучу сведений по философии и экономике, получаемую в библиотеках, и, наконец, литературные навыки: я начал работать в редакции издаваемого торгпредством журнала и писал литературные этюды для «Коммунистического ревью» и газет. Вскоре успешная работа сделала меня референтом, затем экономистом информационных отделов торгпредства и полпредства.

Вместе с повышением по службе, естественно, рос и оклад. В начале двадцать пятого года я был привлечен к разведывательной работе и упивался ею, несмотря на опасности, которые сопровождают разведчика. Для меня открылся новый мир.

В Петербурге ребенком я жил принцем; в юности, бежав за границу от белых, превратился в нищего и питался из помоек. В описываемое время гребень волны бурного житейского моря

опять высоко поднял меня, чтобы позднее, в зрелые годы, снова опустить на дно, до уровня голодной смерти за колючей проволокой лагеря. Крепкие мышцы, светлая голова и железное упорство помогли мне к старости полуживым выбраться на берег. Такая пожизненная качка приучила меня ничему не удивляться, не принимать всерьез материальные блага и, главное, не привязываться к ним, пить грязную воду из лужи без отвращения и без радости подносить к губам бокал старого вина.

«В моем конце мое начало», – повторял я себе при каждом повороте судьбы и, глядя на Ригеровы сады с балкона своей барской квартиры на Виноградах, не испытывал при этом никакого восторга.

И последнее: страх ареста. Я не был трусом, но не был и глупцом. Сознание вечной опасности отравляет разведчику все наиболее спокойные и приятные моменты его жизни.

Дорогие читатели, никогда не завидуйте разведчику, когда он надевает утром шелковый халат, днем садится за хорошо сервированный стол, а ночью спускается в дорогой кабак под руку с красивой женщиной. Помните – у него в заднем кармане брюк припасен браунинг, чтобы вовремя застрелиться!

Материальное положение мое улучшалось со служебным ростом. Успехи мои были велики. Получилось так, что в течение нескольких месяцев свершился внутренний переворот – превращение застенчивого, замкнутого и болезненного юноши в жизнерадостного и жизнеспособного мужчину, уверенного в себе и в том, что он делает. По-прежнему я жил для одной цели – для борьбы и победы тех, из рядов которых недавно вышел, но прежние аскетические идеалы сурового самоограничения теперь казались вредным сектантством: хорошо пообедать – не означает совершить предательство по отношению к голодным, а элегантный костюм может оказаться необходимым для работы. В план занятий я включил тщательное изучение нравов и быта противника; намеренно усвоил манеры и внешность светского человека и вскоре превзошел своих учителей – научился пить виски, узнал, как вести себя в ночных кабаках. Когда на приеме в нашем полпредстве господин Фишер, в семье которого я давал уроки, приятно изогнувшись, изобразил на своем жестком лице почти-тельную улыбку и спросил о предстоящих заказах, я почувствовал удовлетворение. Однако настоящее удовольствие доставила встреча с ним в вестибюле Национального театра: мы узнали друг друга, глядя в зеркало; скользнув понимающе

щим взглядом по моему костюму, он сказал: «Здорово сшито! Дадите адрес?» И у меня осталось чувство удовлетворения, как будто я удачно опробовал боевое снаряжение.

За всю зарубежную жизнь **для себя** я не сделал ни одного глотка алкоголя, не выкурил ни одной сигары и сигареты, не спустился ни разу в ночной кабак. Но я научился делать это **для них** и делал хорошо, совершенно естественно.

Позднее, когда полностью восстановились физические силы, пришлось заняться спортом, потому что появилась неясная, неосознанная потребность в чем-то, чего понять я не мог; но ни поездки в горы, ни плавание, ни теннис, ни фехтование не помогали, и странное чувство пустоты росло.

Как-то зимой 1924/25 года я поехал в горы и к вечеру возвращался с лыжной прогулки. Идти оставалось недалеко. Быстро сделав последний подъем, я остановился на гребне горы, чтобы отдохнуть перед спуском к отелю.

Морозный воздух был ясен и тих. Внизу, подо мной, в глубоком ущелье дремал старинный немецкий городок, укутанный сиреневой мглой. Уютные домики по-дружески жались друг к другу. Дымки вились из труб прямо вверх, сначала сизые в тени долины, потом нежно-розовые в лучах заката. Розовая дымка, медленно кружась, плавно восходила в бледно-зеленое небо.

Я оперся на лыжные палки и глядел вперед. Что-то шевельнулось в груди, какое-то неясное воспоминание...

На вершине горы, одинокая в закатном небе, высилась статуя Мадонны – стройная девушка прижимала к груди ребенка; у ног ее чья-то набожная рука положила цветы, теперь почти занесенные снегом. И опять воспоминание, далекое и близкое, больно тронуло сердце: что-то хотело пробудиться и не могло.

Старый монах в толстой власянице и с капюшоном на голове прошел мимо меня, тяжело опустился на колени перед изваянием Девы, вынул из чехла скрипку, откинул с головы капюшон и начал играть Ave Maria. А я стоял невдалеке и слушал волнующую и чистую вечернюю песнь, уносимую в бледно-зеленое небо как фимиам, как розовая дымка, восходящая из долины.

Розоватая дымка... От волнения я закрыл глаза. Вот она, эта стройная девушка мисс Изольда Оберон, воспитательница дочерей господина Фишера. Каким пламенем полыхают синие глаза! Торопливо сдергивает она легкую ткань белья с девочки, лежащей на диване... Потом падает на колени...

Мгновение, и я стою, выпрямившись, глядя вдаль невидящими глазами. И вдруг, рассекая грудью воздух, прыгаю вперед и, делая крутые повороты по склону горы, в струях снежной пыли стремительно лечу вниз.

Я найду ее...

В поезде я от нетерпения ломал себе пальцы. Я стоял у окна, за которым была ночь, и движение назад занесенных снегом голубых полей, и мелькание желтых огней. Глядел широко раскрытыми глазами – и видел бледный ястребиный профиль, высокий лоб, пышные пряди пепельно-золотых волос... У нее ярко накрашенный чувственный рот и очень блестящие глаза... Недобрые глаза... Вздор!.. Я встряхивал головой и снова хотел видеть перед собой это недоброе, дерзкое и волевое лицо. Но за окном, в проплывающей мимо ночи, видел лишь белое, гибкое тело, страстно обвивающееся вокруг... Э-э, да что я, что со мной делается? У нее чудесные глаза, синие-синие, они сверкают, как драгоценные камни... Но розовое видение опять заслонило все, и я торопливо зажигал новую сигарету, повторяя себе только: «Теперь найду ее... она – моя», – и мне казалось это простым и легким.

Придумав удобный предлог, я поехал к господину Фишеру.

– Мисс Изольда Оберон? Она больше не живет у нас. Адрес? Не знаю, право... Она преподает в Английском колледже.

Маленькая Камилла сидит рядом, и в больших невинных глазах ее нельзя прочесть ничего.

В адресном столе чья-то равнодушная рука протянула через окошечко узенький зеленый листок с заветным адресом. Теперь подстерегу вечером, устрою «неожиданную» встречу и... Словом, ждать остается недолго.

Ну вот. Дрожащими руками повязал лучший галстук. Потом часы нетерпеливого ожидания.

Когда, наконец, показывается стройная фигура в сером спортивном пальто, сердце проваливается куда-то... Как зачарованный смотрю в очень блестящие синие глаза... Но они равнодушно глядят вперед, и девушка успевает пройти мимо прежде, чем я вспоминаю, что нужно поклониться.

День проходит как в угаре. Комбинирую красивые фразы, подходящие к случаю. Все варианты продуманы.

– Мне очень жаль, – равнодушно звенит металлический голос. – Я не знаю вас и не говорю на улице с незнакомыми.

В голосе только равнодушие, холодное, безнадежное. Синие глаза небрежно скользнули по моему лицу – и вот я стою с шляпой в руке, с отчаянием глядя на удаляющуюся девушку.

Нет, не уйдет от меня! Не уйдет! Нахожу Английский колледж и записываюсь в класс мисс Оберон. Я хорошо знаю английский язык и удивлю ее своими успехами. Она обратит на меня внимание, завяжется разговор, и я деликатно напомню, что мы давно знакомы.

— Мне очень жаль, но я не помню вас. Вы ошибаетесь. Оставьте меня, я не ищу знакомств.

И снова я стою, смяв в руках шляпу. Сколько месяцев ушло на подготовку этого разговора — и все рухнуло!

Дни, отравленные горечью сожалений, ночи, проведенные в бесплодных упреках и надеждах...

Однако время шло... «Ко всему человек-подлец привыкает», — сказал где-то Достоевский. И я привык к потере Изольды. Я был молод и, раз вспомнив о женщинах, уже не мог остановиться на первой неудаче. Появились девушки, которые сами искали меня, и легкие победы заполнили беспокоящее ощущение пустоты.

Но розовое видение не исчезло совершенно. Оно осталось в груди вместе с горечью утраты и слилось с ней в одно воспоминание о первой неудачной любви.

Сладкий яд остался в крови...

Прошли месяцы. Для незаметных свиданий с крупными людьми из буржуазного мира мне наняли большую комфортабельную квартиру с очень чопорной горничной. После нескольких успешных операций мы обнаглели, я стал выдавать себя чехам за проезжего американского дельца. Конечно, это было опасно в таком небольшом городе, но нам везло, я верил в себя, в свой ум, ловкость и смелость. Это было время напряженной работы и быстрого внутреннего роста; новые горизонты открывались там, где вчера все казалось изученным, и вместе с тем по-прежнему ощущалась потребность в дальнейшей работе над собой. Иногда целые ночи я просиживал над книгами, а затем немедленно пожинал плоды своих усилий, и дни летели праздничные и желанные.

В тот вечер я особенно удачно закончил дела, один поужинал в хорошем ресторане и возвращался домой усталый, но довольный. Вечер был жаркий и очень темный. Пройдя проспект Фоша, я свернул в парк и стал медленно обходить его боковой аллеей. Где-то недалеко звучала музыка, но аллея была почти безлюдна. В черном небе играло зарево далеких реклам, фонари ярко горели, и деревья бросали на боковые скамейки почти непроглядную тень, в которой прятались жал-

кие парочки, не имевшие денег на отдельную квартиру или комнату в доме свиданий. Пахло автомобильным чадом, цветами и уборной. Кучки подозрительных молодых людей шептались в кустах. Это был вечер в парке большого города, душный и порочный, и я шел, с любопытством наблюдая в себе беспокойное ощущение хаоса и темных желаний. Не повернуть ли обратно, в сторону зовущих и обещающих ночных реклам?

Неожиданно я остановился посреди аллеи. Под деревом сидели двое, лучи фонаря падали сквозь листву, и круглые светлые пятна обрисовывали фигуру девушки, сидевшей на коленях у кого-то. Это пустяки, но из под платья девушки опять-таки видно женское платье... Ну да – вон стройные ноги, матовый шелк светлых чулок тускло блестит издали... Я пригляделся – знакомая круглая сумка крокодиловой кожи лежала рядом на скамейке...

Я тяжело перевел дыхание. Кровь так прилила к сердцу, что в страхе я сжал грудь руками. Разом пересохло во рту. Да, это ее сумка!

Осторожно в темном месте я раздвинул кусты, пробрался меж деревьями и подошел сзади к сидящим. Они долго говорили шепотом, потом рассмеялись обе – я узнал металлический звук голоса Изольды и чистый, нежный смех Камиллы.

Я вытер платком пот со лба, отошел в самое темное место, прислонился спиной к дереву. Закурил. Пусть воркуют...

Все вспомнилось сразу: небрежные замечания у господина Фишера... безразличное «мне очень жаль»... я стою со шляпой в руке, брошенный среди улицы... Настало время свести счеты! Но напрасно мне хотелось быть злым: бурная радость кипела в груди, сумасшедшая нежность и еще что-то, горькое и сладкое. Не сводя глаз с темных силуэтов, я обратил взор в прошлое и погрузился в розовую, отравившую меня дымку...

Прошло полчаса. Девушки тихонько говорили и смеялись. Раз или два Изольда привлекла к себе Камиллу.

Я терпеливо ждал. Еще час. Еще. Где-то далеко в городе башенные часы пробили полночь. Изольда встала. Блеснули пряди пепельных волос. Взяв Камиллу под руку, она направилась к выходу. Запомним время – 12:05. Потом будет нужно... И в это мгновение, готовясь следовать меж деревьев за девушками, я заметил грузную фигуру, приподнявшуюся из-за куста прямо за спиной сидевших.

Тяжело дыша, как разъяренный бык, господин Фишер прокрался мимо...

Я прижался к дереву. Пропустил всех – впереди нежная парочка влюбленных, за ними, крадучись и перебегая к темным сторонам – отец, а далеко позади, тоже прижимаясь к стенам – я. У подъезда особняка Фишера девушки обнялись, Камилла вошла к себе, Фишер спрятался в тени соседнего дома. Изольда прошла мимо меня, я мог бы коснуться ее рукава, но не сделал этого: можно было испугать неосторожным словом, восстановить против себя. К чему спешить?

Вернувшись к себе, я сел в кресло и опустил голову на руки, а когда поднял ее, улыбаясь, – на востоке горела розовая заря.

– Мисс Оберон?

– Да. Что угодно? – металлический голос звучит холодно и высокомерно.

– Немного: хочу спросить, какой коктейль вы пьете. Я занял для вас место и жду.

– Повесьте трубку. Я не люблю таких шуток.

– Это не шутка, Изольда, это – жизнь. Через минуту вы сами попросите меня не вешать трубку. Не торопитесь: мы начали разговор, от которого многое будет зависеть в вашей жизни. Сейчас вы пожелаете увидеть меня. Место: кафе отеля Штейнер. Как вы сами знаете, это – бастион буржуазной респектабельности. Теперь четыре часа дня, до фэйф-о-клока еще далеко. Нам никто не помешает: в зале сидят еще две пары, без сомнения, фрау коммерциентрат и фрау обердиректор со своими жиголо. У дверей вытянулся седой господин обер, надменный, как английский лорд. Я устроился в угловой ложе. Все это я вам наговорил, Изольда, чтобы дать время успокоиться и правильно оценить положение. Теперь, однако, примечайте каждое слово. Вы узнаете меня по томику Верлена в руках. По томику Верлена! Вам это ни о чем не говорит?

– О, многое: я вижу, что вы болтливый наглец.

– И только? Тогда я открываю книгу и начинаю читать вам кое-что, касающееся нас обоих. Слушайте.

И я вдохновенно декламирую бессмертные строфы маленького шедевра из цикла «Parallelement»:

Тринадцать лет меньшей, другая старше вдвое,
И обе в комнате живут и спят одной.
То было в сентябре вечернею порой.
Румяны и свежи, как яблочко душисто-золотое,
Они сняли с себя прозрачно-кружевное

Стеснявшее белье, слегка струящее амброй.
Вот вьется юная пред старшею сестрой,
А та целует грудь ее и тело молодое.
Затем к бедру припав и возбуждаясь боле,
Безумней становясь, устами поневоле
Припала в тень под светлое руно,
Касанью пальчиков в такт вальса отдаваясь,
В движенье трепетном слились они в одно.
Алела юная, невинно улыбаясь.

Закончив, любезно спрашиваю:

– Что вы теперь скажете?

Короткая пауза. Потом голос, звенящий, как удар шпаги:

– Немного. Я вижу, что вы исключительный негодяй.

– Повесить трубку?

– Нет, к чему же! Я не избегаю опасности, иду прямо на нее. Делайте свое дело до конца. Итак, это шантаж. Ну, и что же вы требуете от меня?

– Внимания.

Я помолчал, снова давая ей время успокоиться и собраться с мыслями. Потом призвал на помощь всю свою силу воли, весь актерский дар и заговорил негромко, мягко, с ласковой убедительностью:

– Я все понимаю: вашу враждебную настороженность и неловкость этого разговора и мое положение человека, напрашивающегося в друзья. Но поймите же и вы меня. Мною движут две причины. Первая – это глубокое уважение к вам, симпатия и, главное, понимание. Существуют вещи, о которых порядочные люди не говорят... или говорят намеками. Но ее нужно понимать, эту недоговоренность, вызванную деликатной бережливостью чужой души. И своей, быть может. Вы поняли меня грубо и плоско, очень односторонне, только в отношении себя. Но я говорил не только о вас, вспомните-ка получше. Напомню мои слова: «Открываю книгу и начинаю читать кое-что, касающееся нас обоих – и вы поймете меня глубже». Так неужели же «шантаж» – это все, что вы сумели понять? Стыдитесь!

После долгой паузы дрогнувшим голосом она спросила:

– Что же вы предлагаете? И в чем заключается вторая причина необходимости нашего разговора?

– Я предлагаю помощь, союз против человека, который может сегодня же нанести вам тяжелый удар в спину. Слушайте внимательно. Вчера, в пять минут после полуночи, четыре человека вышли из Ригерова парка.

На этот раз молчание длилось долго, нарушаемое лишь легким шорохом в телефонной трубке. Наконец глухо прозвучал желанный голос:

- Кто был четвертым?
- Господин Фишер.
- Боже...

Ну, наконец-то! Только бы не упустить теперь... Один ложный шаг и... Не спешить, не переиграть роль друга – это может оскорбить... Меньше любопытства... Больше безразличной вежливости, внимания...

Я быстро прошел в бар и сгоряча выпил два стаканчика бренди. Поправил галстук. Вернулся в кафе, заказал скромную чашечку кофе, развернул книгу и стал ждать.

Казалось простым сыграть роль ложного друга, и вот Изольда опустилась в кресло напротив и склонила бледное лицо над рюмкой Prince of Wales, изредка вскидывая глаза, синие-синие и сверкающие, как у зверя. И я уже не играю роли, но как-будто наклонился над примятым цветком, мучительно боясь повредить его неловким прикосновением и страдая, и любя за хрупкую беззащитность. Кто знает, может быть, в те минуты и не было никакого плана, никакой ловли, и лишь сила любви сладкой волной несла меня вперед и вверх. «Она поймет: у нее одухотворенный и чистый лоб, в лице высокая интеллектуальность... Она еще не любила, и ее, конечно, тоже никто не любил мужской, сильной и волевой любовью, перед которой модный порок должен пасть. Падет непременно!»

Мы разом подняли глаза, и было в моем лице что-то такое, что заставило Изольду вздрогнуть и смутиться. И я смущенно молчал, с нежностью наблюдал за ней, думая: «Она невинна... Теперь узнает, что такое любовь!»

– Не желаете ли закурить? – спросила девушка, чтобы скрыть неловкость. – Попробуйте мои сигареты, мне их недавно прислали из Англии.

Она протянула свой портсигар – стильный, кованный вручную из темного золота. На внутренней стороне крышки черной проволокой была сделана надпись, – я успел прочесть ненавистные слова, поразившие меня и ставшие потом проклятием всей моей жизни: «I am loving you only and all my other loves are but nothing» – «Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто»...

Я поправил рукой воротничок, казалось, что он стал вдруг нестерпимо узок. Все кончилось, не начавшись...

- Как вы находите табак?
- Удивительно свежий аромат.

«Значит, я остановился перед тем, что уже давно прошло чужие руки? Или не понял надписи? Ведь это возможно, конечно, вполне возможно!»

Будто случайно, я уронил сигарету.

- Ах, как жаль!
- Возьмите другую.
- Благодарю вас.
- Что с вами? Дурно?

– Бывает иногда. Сердце. Не обращайтесь внимания. Какая странная надпись, Изольда. Извините, что я прочел и говорю об этом, но ведь она, надо полагать, и не предназначалась для хранения в тайне?

– Да, конечно. По замыслу это был вызов всем. Звучит так, правда? Необычная надпись, и сделал ее необычный человек.

И вдруг вижу: суховатая любезная усмешка медленно сходит с лица Изольды, она откидывается на спинку кресла, глядит поверх моей головы, и лицо, бледное и настороженное лицо человека, готового отчаянно обороняться, вдруг расцветает теплой и нежной улыбкой любви. Сжав рукоятки кресла и подавшись вперед, я жадно и трепетно наблюдаю игру чувств, на минуту унесших ее от меня к неведомому сопернику. Да, мне еще никто не улыбался так... Одно лишь случайное воспоминание, и она... Потом Изольда, как бы опомнившись, тряхнула головой и заговорила снова – и голос ее теперь звучал спокойно и уверенно, точно в минутном духовном общении с любимым она вновь обрела утерянные силы.

– Иногда в жизни встречаются люди... Пересекут наш путь и унесут с собой все, что Бог дал нам хорошего.

– Покорят своею силой?

– Нет, слабостью. Кому нужна сила характера? Подчинение разуму... осмотрительность... организованность? Лавочнику и его бухгалтеру? Фельдфебелю? – Она посмотрела мне в глаза: – Презираю силу! Я люблю слабых, потому что только они, не умея сдержаться себя, живут ярко. Пожелать и сгореть в желании, не в достижении, а в попытке, – что может быть прекраснее? Я сама слаба настолько, что умею сильно желать. Вероятно, это и связало нас навеки.

– Навеки... Как хотел бы я увидеть его!

Это вырвалось так непосредственно, так искренне, что Изольда взглянула на меня и рассмеялась:

– Но ведь это так просто: найдите второй такой же портсигар и взгляните на того, кто будет держать его в руках: я подарила ему такую же надпись!

– Опять как вызов?

– Нет. В знак торжествующей любви. Прочтите ее и знайте перед вами стою я, воплощенная в ином образе. Все самое святое, что нашла в себе, я вложила в этого человека. Отступите от него – он мой!

«Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто»...

Эти слова беспрерывно мысленно повторялись где-то внутри, выжигая то доброе и хорошее, что неожиданно проснулось от близости к любимой девушке. Я сидел внешне совершенно спокойно и тихо рассказывал Изольде вчерашнюю историю.

– Кажется, издали мы похожи на брата и сестру, не правда ли?

Изольда благодарно кивнула.

Случайное начало разговора вполне определило характер наших отношений на ближайшее будущее: оно было вспышкой, давшей выход нервной энергии. Конечно, при других обстоятельствах девушка ответила бы на мой вопрос о надписи трафаретной фразой. Но придя ко мне, она чувствовала такую неловкость и смущение, такое исключительное напряжение, страх и желание защищаться, может быть, даже отчаяние, что искренние слова сорвались сами собой – и сразу разрядили обстановку. Девушка нашла себя, обрела внутреннее равновесие и вскоре уже с видимым аппетитом брала с маленького блюда зеленые оливки и кубики едкого сыра и тянула через соломинку виски–сода. По мере того как я говорил, она успокаивалась, и доверие ее ко мне росло. Умелой ложью я удачно убаюкивал ее бдительность, ни в чем не убеждая, но говоря так, чтобы она из моих слов сама сделала бы потом нужные мне выводы: необходимо было с первых же слов дать характеристику самому себе, подгоняя создаваемый образ под ее наиболее вероятные вкусы и привычки – и мне уже казалось, что для начала дело пошло неплохо.

Теперь любовь к Изольде опять стала страстным влечением охотника к трудно уловимому зверю: я любовался волнами пепельных волос, следил за блеском синих глаз и с особенным удовлетворением отмечал чувственный рисунок рта – все это пригодится в будущем, она не уйдет из моих рук... Но проклятый портсигар лежал на столе, и когда она говорила

что-то, я со злобой думал о неизвестном сопернике: «Кто он? Где он? Так наполнить девушку, чтобы при одном лишь воспоминании расцветало лицо... Ничего, увидим... Дам ему бой, и власть над девушкой будет сломлена. Ее не уступлю и не разделю ни с кем... Но раз знакомство состоялось, следует завтра доложить об этом резиденту – она вхожа в многие интересные дома и может нам пригодиться. Вперед».

– Вот и все, что могу сказать вам. Теперь надо договориться о плане действий против нашего врага.

– Нашего?

– Конечно: вашего – значит, моего.

– Почему?

– По сути самого дела. Вы не спросили, как очутился я позади вас в кустах. Вы понимаете, зачем я...

Слегка покраснев, Изольда отводит глаза и кивает головой.

– Мой молодой друг и я, мы стояли в густой тени у дерева – и вдруг заметили грузную фигуру, присевшую за кустом. Вначале показалось, что неизвестный следит за нами. Я пригляделся и узнал господина Фишера. Потом, стараясь объяснить себе его необычное поведение, заметил Камиллу и вас. Все стало понятным. Пройти равнодушно я не смог.

– Но почему же?

– Нас мало, и мы слабы, а имя нашим сильным врагам – легион. Поэтому нам нужно обороняться сообща. Сегодня я подаю руку помощи вам, чтобы завтра вы подали руку мне!

Холодная рука Изольды, лежавшая в моих горячих руках, ответила слабым пожатием. Я заметил влажный блеск ее синих глаз и деликатно отвернулся. Минуты прошли в молчании. Немного успокоившись, мы закурили.

– Я тоже считаю, что все закончится удачно. Нужно лишь хорошенько подумать, – проговорила, наконец, Изольда, следя глазами за дымком наших сигарет. – В предстоящей борьбе я не так слаба, как вы, вероятно, предполагаете... Я вынуждена была уйти из дома господина Фишера из-за него самого: он влюблен в меня. С такими жестокими и грубыми людьми, да еще его могучей комплекции, это бывает, я читала что-то в этом роде. Короче говоря, он стал преследовать меня, как разъяренный бык. Смешно? Нет, это было печально и страшно: предлагал жениться... звал в Париж... совал в руки чек на крупную сумму. Я старалась успокоить его, найти дружеский тон, но ничего не помогло. Он потерял голову. Стал

угрожать... Я ушла. Теперь он торжествует: ему кажется, что он поймал меня!

Изольда презрительно усмехнулась:

– Господин Фишер – настоящий мужчина: властелин и раб. Он слаб своей силой. Друг мой, вы не наблюдали иногда странные просчеты, которые допускают всякого рода охотники и преследователи?

Смущенно я промямлил какой-то ответ.

– Так вот, помогите мне поймать моего ловца. Наша задача – использовать преимущества, которые он сам дал нам в руки.

Мы сидели и шептались, как два заговорщика, взаимно дополняя и подсказывая друг другу удачные мысли. Изольда и я составили, наконец, план действий. Начали мы его в кафе Штейнер, продолжили в дворцовом парке, а закончили в веселом ресторане. Оставшись в такси один, я сначала свистнул от удовольствия, потом задумался, а дома, переодевшись в халат, нахмурился, сжал зубы и опять сел в кресло. Как вчера, но только с иными чувствами.

«Начал я хорошо, подделался под друга во всех отношениях, даже в самом сомнительном. Доверие ее несомненно растет. Этому быку я обломаю рога. А дальше? Слово “other” имеет два смысла – другое и иное: другое по количеству и иное по качеству. Может быть, надпись не означает ничего? Просто Изольда дала мне понять, что у нее есть друзья, что она не беззащитна? Чтобы я не закусывал удила? Да это просто детское хвастовство!» Но я вспомнил ее лицо. «Нет, он существует... Это – здоровый и сильный мужчина, и борьба с ним будет нелегка». Я подошел к зеркалу и в раздумье долго глядел на свое отражение: я тоже молод, высок и силен, смуглое лицо кажется решительным и смелым... Нужно бороться! Придется пойти на риск, вроде того, с каким мы играли, когда обыскивали квартиру английских разведчиков, морского офицера Эдгара Янга и его жены Джеральдины. Но сделать налет одному не удастся, придется опять просить помощи у Гришки.

Еще в детские годы я познакомился с семьей старого грузинского дворянина, женатого на молодой русской женщине, служившей вначале у него горничной. От отца Гришка унаследовал густые, черные как смоль волосы, брови и ресницы; от матери – очень бледное лицо и большие серые глаза. Гришка окончил Петербургский морской кадетский корпус и в звании гардемарина попал за границу. В Константинополе мы вмес-

те окончили колледж и вместе добрались до Праги, но здесь наши пути разошлись – я после двух лет учебы на медицинском факультете начал учиться на юридическом, окончил его, стал **паном доктором** и референтом Советского торгпредства, а он поступил в Коммерческий институт, сделался **паном инженером** и поступил на работу в солидную фирму, связанную с импортом в Чехословакию электрического счетного оборудования. Когда меня привлекли к нелегальной разведывательной работе, я обратился за помощью к старому приятелю. Гришка не сочувствовал ни белым, ни красным, он любил работать, хорошо одеваться и ухаживать за женщинами. Но Россию он любил тоже, и мое предложение принял хоть и без удовольствия, но всерьез.

Надо сказать, что в Праге он спас мне жизнь: врангелевцы, раздраженные моими смелыми словами, решили выбросить меня из окна пятого этажа большого студенческого общежития. И выбросили бы, несмотря на мои длинные ноги, которыми я упирался в оконную раму, если бы Гришка потихоньку не дал знать об этом чешской администрации. Я был отбит и вырван из рук разъяренных белогвардейцев, а Гришка остался в стороне. После этого мы сошлись еще теснее, стали настоящими друзьями, но свои отношения по-прежнему сохраняли в тайне: ценность Гришки заключалась именно в том, что у наших врагов он находился вне подозрений. Этот наш помощник выполнял задания без особого рвения, но всегда честно и совершенно незаинтересованно: он не нуждался ни в советском паспорте, ни в советских деньгах.

На следующий день после моего разговора с Изольдой у Штейнера господин Фишер потребовал от нее свидания «по очень важному делу». Девушка предложила зайти к ней, и делец обрадовался, видимо, это облегчало осуществление его намерений. Резиденту я обещал не доводить дело до непоправимого скандала...

В назначенное время Гришка и я спрятались в спальне Изольды. Господин Фишер явился точно в назначенный час, величественно вошел в гостиную и остановился посреди комнаты. Мы наблюдали сцену сквозь не совсем прикрытую дверь.

Изольда выглядела особенно юной и хрупкой рядом с грузной фигурой дельца. Она глядела на него издали, взволнованно и испуганно блестя глазами.

– Сколько вам лет, дорогая мисс Оберон?

– Двадцать пять.

– Так позвольте заявить вам: вы только начинаете жить, дитя мое, и начинаете плохо. Вы упорно не слушаете тех, кто старше вас и знает свет лучше. Жизнь – это борьба. Вы одиноки и слабы, погубить вас очень легко. Я предлагаю вам помощь и защиту.

Глядя в щель, я улыбнулся, вспомнив начало моего разговора с Изольдой. До чего же все мы убийственно похожи друг на друга...

– Защиту? Но от кого же?

– От закона.

– Я вас не понимаю, господин Фишер. Объяснитесь!

Господин Фишер вздохнул, собрался с силами.

– Дитя мое, дайте мне ваши ручки. Вот так, спасибо. Теперь смотрите мне прямо в глаза. Отвечайте: вы не боитесь закона? Не думаете ли вы иногда, что вам могут остричь волосы, одеть серое арестантское платье, навсегда оторвать от радости, от молодости, от жизни?...

– За что?

– За то, что естественное чувство любви у вас направлено ложно, – голос господина Фишера теперь торжественно и грозно гремел, как у проповедника, вещающего приближение Страшного Суда. – Вы – преступница. Не отпирайтесь. Не пытайтесь обмануть меня. Это – бесполезно. Поймите, Изольда: я все знаю! Слышите – все! Все!!! Долго скрывал это, щадя вас, хотя Бог знает (господин Фишер указал рукой на потолок), каких переживаний мне это стоило. Но больше не смею молчать. Потому что в своем безумстве вы погубите себя. Вы не только преступница перед законом, вы преступница перед собой, Изольда. Дитя мое, дорогое дитя мое (голос господина Фишера дрогнул, в этом грубом и властном голосе послышались слезы), – опомнитесь! Пока не поздно, примите мою помощь! Вам нужно уехать. Пусть это будет Париж... Ривьера... Швейцария... Здесь все забудется тем временем... Вы понимаете, что я хочу сказать? Я не требую, не угрожаю... Я прошу... Прошу...

Ее дрожащими белыми пальчиками господин Фишер закрыл свое мясистое, багровое лицо. Он, видимо, с трудом сдерживал себя. Изольда молчала, растерянно глядя то на него, то на нашу дверь. Наконец делец овладел собой.

– Я создам вам материальные и моральные условия для перерождения. Буду вашим отцом, другом... мужем... Кем хотите! Отвечайте «да», другого выхода у вас не остается!

Изольда молчала, потупив светлую голову.

– «Да» – это радость жизни, «нет» – это смерть. Отвечайте, слышите меня? Отвечайте!

Обеими руками банкир схватил девушку за волосы и подтащил ее лицо к своему. Минуту он молча пожирал ее глазами, тяжело дыша и облизывая сухие губы. Стоя за дверью, мы закурили сигареты от зажженной свечи.

– Изольда, – наконец хрипло прорычал господин Фишер, – я люблю вас. Я стоял позади вас в парке... Видел и слышал все... Что вам еще нужно? Вы приперты к стене! И все-таки я не требую, я прошу... Вы преступница и теперь толкаете на преступление меня... Я – отец, прощающий растление малолетней дочери... Продающий ее за вашу любовь...

Господин Фишер издал звук, похожий на рыдание, грузно опустился на колени. Изольда вдруг подняла голову и улыбнулась.

– Да? – господин Фишер легко вскочил и, протянув руки, нагнулся к девушке.

Изольда, молча улыбаясь, попятилась назад.

– Да?!

Оторвавшись от щели, Гришка выбросил сигарету изо рта и прошептал:

– Сейчас начнется.

И снова прижался глазом к двери.

Господин Фишер схватил Изольду за плечи. Она рванулась назад. Он обнял ее. Гибким движением талии девушка высвободилась из его больших и неуклюжих рук, хотела сделать шаг назад, но сзади стоял диван. Девушка споткнулась, отступая потеряла равновесие и опрокинулась навзничь. Тяжело хрипя, господин Фишер навалился на нее. Отрывая от себя его руки, Изольда сорвала с плеч платье, и господин Фишер жадно припал губами к обнаженному телу.

Не отрываясь от щели, я толкнул Гришку ногой.

– Ну, торговец дочерью, ваши шутки заходят слишком далеко.

Господин Фишер медленно поднялся. Всклокоченный, с багровым лицом, он был страшен. Не отвечая ни слова, он шумно хрипел, уставясь налитыми кровью глазами на стройного, красивого юношу, который встал против него, небрежно сунув руки в карман.

– Для мужа вы слишком стары, а для любовника – безобразны. Оставьте мою девушку в покое – целовать ее буду я.

Гришка не успел договорить. Наклонив голову вперед, банкир ринулся на него и ударил лбом в лицо. Удар был страш-

ным. Гришка едва устоял, только кровь из разбитого носа хлынула ручьем на грудь. Обезумевший от бешенства, господин Фишер схватил его за горло и завязалась борьба. Кресла покатились по ковру, разлетелась вдребезги ваза. Вдруг Гришка выхватил пистолет. Банкир хрюкнул от ярости и ухватился руками за ствол, стараясь повернуть его в грудь молодого человека. Несколько мгновений дуло направлялось то на одного, то на другого противника. Потом разом прогремел выстрел, и вскрикнула Изольда. Господин Фишер рванул пистолет к себе и отскочил назад. Гришка стоял посреди комнаты, покачиваясь и прижимая руки к окровавленной груди... слегка застонал... и картинно повалился на ковер. И сейчас же в коридоре послышался топот ног, дверь с шумом распахнулась, хозяин, его жена, гости и дети разом хлынули в комнату – и попятились в ужасе к двери.

Ах, это была картина! Изольда, прижимаясь спиной к стене, полулежит на диване без чувств... Платье на ней порвано, на полу валяются осколки вазы, подушки с дивана... На ковре, с залитыми кровью лицом и грудью, элегантно лежит Гришка, а над ним, подобно горе багрового бешеного мяса, высится господин Фишер с браунингом в руке!

Прошло немало времени, прежде чем истерически завизжали женщины и дети. Хозяин, бледный как полотно, шагнул вперед:

– Что здесь такое?

– Убийство человека, защищавшего девушку от изнасилования, – громко отчеканил я, входя в комнату.

Эффект достиг неопишуемой силы!

Господин Фишер вдруг обмяк, как-то странно всхлипнул и уронил пистолет на ковер. Потом съезжился, подобрал голову в плечи и с перекошенным лицом направился к двери.

– Милостивый государь, – властно и торжественно провозгласил я, – сейчас разрешаю вам отправиться в контору. Через час я буду у вас. Ждите обязательно. Учтите, что в вашу пользу будет сделано все, что допускает закон.

Сплавив этого толстого дурака, я успокоил свидетелей и попросил их удалиться. Изольда вышла в спальню и привела себя в порядок. Гришку перенесли на диван и, пока хозяин бежал за тазом и теплой водой, я быстро вынул из пистолета обойму с холостыми патронами и заложил другую с боевыми, но без одного патрона, а стреляную гильзу бросил на ковер.

Мы обмыли и перевязали Гришку и, давая ему какие-то капли, я вдруг вспомнил:

– А пистолет господина Фишера?
– Лежит на ковре, – ответил хозяин.
– Возьмите его и храните у себя. Когда понадобится, покажете полиции. А вот и гильза! Прихватите и ее!

Когда в квартире был восстановлен порядок, я съездил к господину Фишеру. И, надо признаться, приехал вовремя: банкир написал прощальное письмо детям и заканчивал последние распоряжения секретарю: он готовился покончить с собой. Я с достоинством начал переговоры, уладил дело и даже получил письменную рекомендацию английской гувернантке мисс Изольде ван Эйланд Оберон: в бумаге банкир не только хорошо отзывался о профессиональной подготовке гувернантки, но особенно расхваливал ее высокие моральные качества как человека и воспитательницы для подрастающих девиц.

Вечер мы провели втроем. Это была удалая товарищеская пирушка. Первый тост был выпит за поверженного быка и за раненого тореадора.

Как и полагается, я написал резиденту рапорт о том, что наладил связь с молодой англичанкой. Через агентов из числа студентов – белогвардейцев и через чехов – коммунистов Изольду проверили путем провокационной вербовки в белогвардейскую организацию и чешско-французскую разведку. Предложили крупные деньги. Инсценировали роман и предложение на выгодных условиях уехать в Америку. Через нашего резидента в Лондоне навели справки в Англии. Результат: ничего подозрительного, но на вербовку она не пошла. Мне приказали держать ее в резерве, то есть продолжать дружбу, имея в виду возможность через нее проникнуть в какую-нибудь интересную для нас семью – Изольда давала уроки руководящим чиновникам Министерства иностранных дел и директорам крупных фирм и банков. Соблюдая осторожность и глядя в оба, я продолжал знакомство, но Изольда никогда не проявляла интереса к политическим вопросам и не поддерживала разговора на такие темы. Время – лучший проверальщик и проверку временем она выдержала.

Теперь настало время для планомерной, неустанной, осторожной и незаметной работы.

Прежде всего нужно было исподволь разведать, кто же такой мой соперник и где его искать. Мне казалось, что следует поскорее познакомиться с ним, сблизиться, понаблюдать, выяснить источник его влияния на любимую девушку и

затем подстроить ему западню: убить его же оружием... Но прошли недели, месяцы – я ничего не узнал о своем враге, кроме того, что он существует, что он где-то далеко и что Изольда мне никогда и ничего о нем не скажет. Чувствовалось, что прямой вопрос оскорбит и возбудит подозрения. А тонкие намеки и тщательно рассчитанные обороты разговора не приводили ни к чему.

Пришлось переменить план. Итак, враг остается для меня невидимым. Хорошо. Принимаю это как факт. Но тогда следует подойти к задаче с другого конца – узнать поглубже Изольду, раскрыть ее душу, чтобы потом легче овладеть ею. И я начал вести линию на сближение с ней как с сестрой. Предельно внимательный, но без любопытства, мягкий, но с грубоватой простотой **своего** человека, которого не нужно стесняться и даже брать всерьез, брат, существующий для помощи в трудную минуту, благожелательный поверенный во всех житейских (а потом, если дело пойдет хорошо, и в сердечных) делах – вот моя роль! И сыграть ее нужно безукоризненно, потому что Изольда – нервный, настороженный, островосприимчивый наблюдатель, она немедленно почувствует фальшь и не простит ни одной мелочи.

И снова прошли недели и месяцы. Я водил ее в дансинг и танцевал так, как танцуют с родственницами, мило, но без увлечения. Раз бесцеремонно вошел в ванную комнату, когда она купалась, даже не извинившись, взял полотенце и равнодушно вышел. Раза три-четыре под разными предлогами ночевал у нее на диване, удивляя тем, что моментально засыпал, даже не дослушав ее слов.

И девушка привыкла ко мне, привязалась теплой дружеской любовью и прильнула к моей груди, как вьющееся растение обвивается вокруг опорного столба.

– Теперь – пора, – сказал я себе.

Прежде чем решиться на последний шаг, я сделал еще один обходной маневр: подвел разговор к теме разведки и по-дружески, задушевно, по-братски предложил Изольде подумать, не захочет ли она помочь правому делу, не желает ли изведать приключений и не нуждается ли в деньгах. Разговор был в мягких тонах, полушутливый, но Изольда все поняла сразу.

Встала, взяла меня за плечи и, смотря мне прямо в глаза, сказала:

– Не продолжайте. Не нужно. Я отвечаю: нет. Слышите: нет! Нет!!

Я выдержал ее взгляд и ответил серьезно:

— По каким соображениям? Политическим? Моральным?

Мы закурили. Сели. Долго молчали: я не торопил с ответом.

— У меня нет политических убеждений, а в своей морали я далеко не уверена, — сказала она наконец. — Но я хочу руки сохранить чистыми. Не испачкать пальцы чужой кровью и золотом. Я сильна только в личных привязанностях. Во всем остальном хочу идти по жизни стороной. Но у меня достаточно ума и силы воли, чтобы свято хранить чужие секреты: я не могу быть союзником, но никогда не стану предателем. Я — ничья. Я нахмурился.

— Это плохо. Это — опасно. Сейчас ничьих бьют и справа, и слева. Неразумно изображать из себя цветок, лежащий на наковальне. Один удар молотом и вы погибнете!

Но она счастливо засмеялась:

— Какой вы умница и поэт в душе! «Цветок между молотом и наковальней!» Как красиво сказано! Ничего лучшего в жизни мне не надо!

И поцеловала меня в лоб.

Потом мы долго молчали, курили, пили виски. Когда она ушла, я написал рапорт, что от вербовки Изольды отказываюсь, но рекомендую всегда и во всем ей верить как безусловно честному человеку.

Прошли годы. Я видел, как советские люди и коммунисты за границей изменяли Революции и предавали Родину. Один из руководителей нашей группы, генерал-майор Порецкий (Людвиг), награжденный орденом Красного Знамени за боевые заслуги, для того чтобы заслужить у наших врагов доверие, продал всех работников, которыми руководил, и был убит нашей агентурой в такси по пути из Женевы в Лозанну, а его приятель в звании полковника (фамилию его забыл, подпольная кличка Вальтер) изменил, нагадил и скрылся.

Изменяли и продавали и наши дипломаты — Беседовский, о котором я подробнее пишу дальше или, например, Раскольников, человек, приведший в Петроград в ночь на 25 октября тысячи кронштадтских матросов. Старый большевик Беседовский стал ярым антикоммунистом и позднее стал во главе организации, которая на американские деньги до сего дня стряпает в Париже антисоветские фальшивки. Раскольников недурно устроился в Париже. На чьи деньги? Аллах ведает... Да, все это было...

Но Изольда ван Эйланд Оберон выстояла перед всеми искушениями любви и ненависти и с честью выдержала испыта-

ние временем. Ничейная девушка с синими глазами ушла из жизни незапятнанной и навсегда унесла с собой в могилу многие наши секреты.

Один из моих знакомых построил охотничий домик в чаще дремучего леса. Как-то осенней ночью мы с Изольдой сидели у ярко горевшего очага. Снаружи угрюмо шумел лес, дождь хлестал в окна, но в нашей лачуге было тепло и уютно. Мы сняли с вертела дичь и поужинали, распив бутылку бургундского, потом пили кофе и присели у огня с чашечками в руках. Смотреть на веселые языки пламени под вой ненастной погоды было приятно, и мы прижались друг к другу и долго молчали.

– Изольда, маленькая сестричка моя, – прошептал я, слегка сжимая ее в своих объятиях, – почему мне так мирно, так спокойно с вами?

– Потому что мы знаем и любим друг друга.

– Я люблю вас, это верно. Помните – такого бескорыстного и преданного друга у вас больше нет. Я – брат ваш... Но знаю ли я вас? – Я сделал паузу и качнул головой. – Нет...

Потом взял ее руки в свои.

– Знаете что? Мы одни... Снаружи буря... Расскажите о себе, и я буду любить вас еще глубже и нежнее.

Изольда начала рассказ, а я слушал, помешивая угли в очаге.

– По отцу – я шотландка. Обероны – старый дворянский род, богатый славой доблестных предков, но бедный поместьями и деньгами... Таких дворян, гордых именем и гербом и не имеющих мелкой монеты на стаканчик виски, у нас много. Издревле ведется, что они уезжают в далекие страны, чтобы сражаться в чужих армиях и, если удастся сохранить жизнь, потом к старости вернуться в родные горы, осесть на земле своих дедов небогатым помещиком, выпить невероятное количество виски и, наконец, почить на маленьком тенистом кладбище среди именитых людей своего клана.

– Однажды, летом, – прервал я, – мне пришлось бродить в горах Каледонии. Сейчас, после ваших слов, опять с умилением вспоминаю эти зеленые и мирные края: кудрявые горы и прохладные долины, свежие и росистые луга. Стада овец и седые пастухи, играющие на свирелях... Там время остановилось: идешь лугом по тропинке и все кажется – вот навстречу попадется Роб Рой или Айвенго!

– Я рада, что Шотландия так понравилась вам. Нужно понять ее и тогда нельзя не полюбить. Но продолжаю рассказ. В 1884 году моему отцу исполнилось двадцать лет. Дональд Оберон был тогда рослым и сильным парнем, смелым, замкнутым в себе, с подавленными в груди пылкими страстями, одним словом – настоящим шотландцем. Войн в это время не велось и, подумав немного, он отправился сначала в Индию, а потом – дальше, в Малайю и Голландскую Индию. Что он там делал, я не знаю, но лет через пять у него уже имелся небольшой капитал: в одном из национальных государств Малайского полуострова, в чудесно красивой и богатой стране, он приобрел землю и заложил плантации. Дела пошли хорошо, на участке скоро появился уютный белый домик, завязались личные знакомства с соседями–поселенцами. Но мой отец оказался человеком с неуживчивым и тяжелым характером – слишком гордым и независимым для небогатого пришельца, с претензиями, не соответствовавшими его скромному положению в обществе. Начались столкновения с богатыми соседями, заговорило ущемленное самолюбие и отец, вместо того, чтобы сдержать себя и смириться, пошел против чопорного и строгого общественного мнения. Накануне 1896 года он попросил руки дочери соседа, тот отказал. Насколько я понимаю, девушка любила отца и согласилась бежать с ним из родительского дома. План этот в последний момент стал известен отцу девушки, беглянку задержали, а моего отца под общий смех водворили в его маленькое поместье. Эта неудача глубоко ранила его гордость: он стал мрачным и нелюдимым и затаил жажду мести. Незаметно он продал часть своей земли, купил шхуну и уехал на Соломоновы острова. Скитания длились лет пять, и снова отцу удалось сколотить капитал, на этот раз побольше прежнего.

– Каким образом? – спросил я, живо следя за рассказом.

– Не знаю точно. Это была эпоха освоения нового сказочно богатого мира. Деньги тогда делались легко и не обязательно кровавым грабежом. Туземцы охотно покупали новые для них европейские товары, бурно шло освоение безлюдной и ничейной земли, ее быстрое окультивирование и перепродажа во много раз дороже последующим поселенцам. Они двигались в те края потоком, и важно было в нужном месте оказаться первым. Словом, деньги лежали на земле, и нужно было уметь нагнуться и поднять их.

– Надо полагать, что Дональд Оберон умел, – заметил я с улыбкой. – Ну и что же дальше? Потом он обрушился на головы своих врагов?

– Нет. Торговые дела связали его с Явой, и в 1900 году он женился на дочери крупного голландского чиновника. Брак был заключен по любви, больше того – молодые супруги просто обожали друг друга. Такое сильное взаимное влечение объяснялось, вероятно, противоположностью их внешности и характеров. Анна ван Эйланд была маленькой хрупкой девушкой, очень избалованной и нежной. Она воспитывалась в семье дяди, голландского консула в одном из крупных городов Южной Германии. Дядя, человек очень образованный и связанный узами дружбы с лучшими представителями немецкой культуры того времени. Консул был страстным почитателем Вагнера и сумел передать своей воспитаннице эту страсть.

Девушка прибыла в тропическую колонию, очарованная сумрачной героикой севера, тяжелой и патетической музыкой Вагнера, титанической образностью и глубокой идейностью его творчества. Анна хорошо играла на фортепьяно, и вот в тихие и жаркие вечера зазвучала под экваториальным небом величественная и суровая музыка севера, и девушка, от природы наделенная пылким воображением, уносилась в мир героев старинных германских саг.

Вероятно, сильный и гордый Дональд Оберон, молчаливый и нескгибаемый, показался ей воплощением Зигфрида, Тристана или Персифаля, а Дональд в этой высокоинтеллектуальной слабенькой девушке нашел то, чего ему так не доставало. Словом, получилась прекрасная пара. Влюбленные друг в друга супруги, маленькая жена, которую на руках понес по жизненному пути большой, сильный и безгранично преданный ей муж.

Воцарилось молчание. Изольда, погруженная в воспоминания, глядела на тлеющие в очаге угли, а я прислушивался к угрюмому шуму леса и печальному журчанию дождевых капель. Трудно было представить себе пылающую жаром тропическую ночь и могучую вагнеровскую музыку, льющуюся сквозь пальмовый сад с веранды белого дома.

Мне хотелось узнать, что же случилось дальше, потому что история Изольды не могла быть обычной.

– Итак, они были счастливы, – мягко проговорил я, желая вырвать Изольду из объятий прошлого.

– Счастливы?... Да... В меру позволенного на земле. Анна умерла через год, и я оказалось причиной – мое появление на свет.

Отец мой едва перенес этот удар и возненавидел меня – маленький комочек живой плоти, укравший у него жену, воз-

любленную и друга. Он выполнил пожелание матери и назвал меня Изольдой (мальчика называли бы Зигфридом), но само это имя, напоминавшее Анну и ее высокие увлечения, делало меня неприятной. Отец сдал меня на воспитание родственникам матери в Батавии и уехал на свою старую плантацию в Малайе. Для него это означало возвращение к разбитому корыту, то есть отказ от новых попыток искать счастье.

Тогда Дональду Оберону исполнилось 36 лет. Он прибыл на старое пепелище богатым и независимым человеком, отстроил хороший дом, заложил обширные плантации и с головой окупился в дела. Нужно сразу сказать, что характер его к тому времени окончательно испортился – он стал заносчивым и нетерпимым, и неудивительно, что через год все связи с соседями оборвались. Осталось только виски; отец начал пить, больше и больше опускаясь физически и морально.

Во время мировой войны среди туземного населения прокатилась волна недовольства и брожения – рабочие плантаций требовали повышения оплаты труда. Хозяева решительно сопротивлялись, оправдывая себя ссылками на застой в делах, вызванный войной, и доказывая, что повышение заработной платы рабочих означает для них немедленное разорение.

Из желания позлить соседей мой отец добровольно повысил оплату своим рабочим. Плантаторы подняли вой, предупреждая отцу экономическое разорение и скорую гибель в руках распоясавшихся революционеров. Получилось, однако, совсем не то: рабочие успокоились и стали работать лучше, и скрытая ненависть к плантатору превратилась в открытую любовь. Дела пошли в гору. Ободренный этим, отец затратил большие суммы на улучшение быта рабочих, их питания и жилища, но расходы эти быстро возместились вследствие повышения производительности труда. Авторитет отца среди местного населения был огромный, а плантаторы окрестили его анархистом и начали ждать удобного случая для мести.

Как раз в это время, в 1916 году, обстоятельства в семье моего воспитателя заставили отца взять меня на некоторое время к себе. Я нашла его очень постаревшим, выглядевшим старше своих пятидесяти лет, одетым небрежно и редко трезвым. Встреча была холодной. Мне отвели половину обширного пустого дома, приставили толпу слуг – и все. Вы должны понять, что это была первая встреча семнадцатилетней девушки со своим пятидесятилетним отцом и, признаюсь, она потрясла меня: я привыкла к шумной жизни, к культурным людям, к отвлеченным интересам. И вдруг – плантация, тол-

па туземцев, пьяный хозяин – мой отец, муж Анны, которую я боготворила. Я замкнулась в себе, молча переживая крушение стольких иллюзий. Нудно тянулись обремененные бездельем дни, и единственным развлечением стало наблюдать потихоньку за отцом, который мне казался милым и жалким.

Однажды вечером отец сидел на веранде и пил, а я наблюдала за ним через окно своей комнаты. Прислуга была отпущена, потому что отец любил пить в полном одиночестве. Я смотрела на его худое и хмурое лицо и думала о том, что любовь к одному человеку в жизни странно превращается в жестокость к другому. Что, если бы сейчас нас увидела Анна? Вдруг слышались бы ее легкие шаги, и на веранду, где сидел над бутылкой мрачный и разбитый жизнью Дональд Оберон, вошла бы его маленькая и светлая жена, моя обожаемая мать, жизнь которой я погубила своей жизнью...

Неожиданно я услышала легкие шаги... Кто-то поднимался на веранду. Лицо отца просияло, он вскочил. На пороге стояла дочь старшины деревни; ее труднопроизносимое имя означало в переводе Темное Счастье.

Это была девочка моего возраста, то есть лет семнадцать, и удивительной, редкой красоты, – такой, какая может расцвести лишь в тех далеких и сказочных краях. Все в ней было прекрасно: и нагое тело, перехваченное на бедрах зеленой тканью, и тонкое темно-золотое личико, и в особенности глаза – огромные, черные, без блеска, чуть косоватые, с выражением невыразимо привлекательной томной неги. Девушка держала в руках поднос, на котором лежало бронзовое кольцо с зелено-розовым опалом. Стоя перед отцом, она почтительно объяснила, что рабочие, копавшие колодец близ древнего храма, нашли этот перстень в земле и старшина, ее отец, направляет находку своему любимому хозяину. Закончив тихую и робкую речь, девушка потупилась, протянула поднос с кольцом. В тот момент она была похожа на те прекрасные цветы, которые, вы сами знаете, нас иногда так привлекают с первого взгляда, что мы, проходя мимо, останавливаемся, долго смотрим с восторгом и восхищением и потом вдруг, неожиданно для себя, срываем. Почему? Зачем? Неизвестно. Вероятно затем, чтобы потом выбросить вон – это ненужное и лишнее в занятых руках маленькое чудо.

Отец долго любовался ею молча и стоял, слегка покачиваясь, с трубкой в зубах. Взял поднос из рук девочки и швырнул его на стол. Мгновение мялся на месте, не зная, что делать, и не сводя с Темного Счастья зачарованного взгляда. Потом

хотел обнять ее... Случайно сдернул зеленую ткань с бедер... Опрокинул на диван и, держа рукой за горло, изнасиловал, повторяя хриплым шепотом: «Милая... дорогая...»

Это и есть центральное место моего рассказа.

Мне было плохо видно судорожно трепетавшее темно-золотое тело девочки. Но отец весь находился передо мной, рядом, в десяти шагах, и отвратительные подробности любовного акта предстали передо мной с ужасающей, с потрясающей простотой: нелепость позы и движений, безобразие физических деталей, галстук, съехавший набок, стоящие дыбом волосы, пот на побагровевшем лице, слюнявый полураскрытый рот и, главное – глаза, бессмысленные глаза человека, превратившегося вдруг в животное. Боже, если я проживу сто или тысячу лет, это лицо отца – мужчины, делающего любовь, навсегда останется со мной. Оно стало проклятием, сразившим меня насмерть. Я хотела оторваться от окна и не могла, потому что к отвращению и ужасу прибавилось еще одно, мне неизвестное дотоле ощущение – сладкое возбуждение, теплой волной пробегавшее по телу, сладкое томление, от которого хотелось потянуться и закрыть глаза.

Когда все кончилось, девушка поднялась. Я увидела измятое, опустошенное лицо.

Не сводя глаз с отца, оправлявшего костюм, она пятилась к выходу, точно боясь, что он опять кинется на нее. Там, где начиналась высокая лестница без перил, она не попала ногой на ступени и спиной упала с веранды на груды камней.

Мы бросились к ней, сбежались слуги. Все было ненужно: девочка лежала без сознания. Через два дня ее не стало.

Уже на следующий день соседи узнали о случившемся. Дела и похуже бывают часто в домах белых плантаторов, но общество и власти их тщательно покрывают. Однако на этот раз все зашевелились: настал долгожданный час мести. Дело предали огласке. Приехала полиция и следователь. Начался скандал. Конечно, до суда дело не дошло – осуждение белого было бы слишком опасным прецедентом, козырем в руках туземцев. Но отец был конченный человек – и в колонии, и на родине.

Изольда сделала паузу.

– Как, – нетерпеливо спросил я, – это конец вашей истории?

– Скорее подготовка к началу. Но рассказывать осталось немного. Открылась новая полоса нашей жизни. Отец ликвидировал имущество в колонии и вернулся в Шотландию. В

родных горах, на землях нашего клана, было куплено небольшое поместье. В сером каменном доме у подножья хмурой горы отец заперся навсегда. Больше я не видела его трезвым, да и вообще мы встречались редко: он отправил меня учиться в Эдинбург.

В 1921 году он скоропостижно скончался. Мне было двадцать лет, когда я прибыла в серый каменный дом, как его новая владелица.

Стоял туманный день. Осмотрев запущенный сад, я вошла в дом, холодный и чужой. Неряшливость комнат меня поразила: конечно, отцу было все равно... Я прошла по дому, не снимая мокрого плаща и шляпы; позвала управляющего и приказала заложить экипаж, чтобы уехать оттуда навсегда.

– Прошу прощения, – возразил управляющий, – вы не осмотрели еще одной комнаты. Я никогда в ней не был и не знаю, что там находится – ваш покойный отец взял с меня слово не входить туда. Комната всегда находилась на замке, ключ сэра Дональд носил при себе. Я взял его из кармана покойного. Вот он.

С минуту я стояла в раздумье перед запертой дверью. Потом вошла. Это была совершенно пустая, необычайно чистая комната. Посреди стоял черный лакированный столик. На нем лежал древний малайский перстень с огромным зелено-розовым опалом, таинственное мерцание которого разом напомнило мне зеленую ткань, в тот вечер обернутую вокруг бедер Темного Счастья.

Через два года я заканчивала университет. Со мной учился и сдавал экзамены молодой человек, который любил меня и сделал мне предложение. Он мне очень нравился: это был хороший тип нашего юноши – светловолосый, с розовым лицом, приглаженный, здоровый, необыкновенно чистенький, точно только что вышедший из ванны. Он не был ни красив, ни умен, но меня подкупали его корректность и чистота. За физическими качествами я предполагала человечность, потому что тогда верила в поговорку о здоровом духе и здоровом теле.

Год после помолвки мы оставались просто друзьями. Раз только он попытался обнять меня, но я попросила подождать до окончания университета и свадьбы, и он спокойно ответил: «Вы правы, за это я уважаю вас еще больше».

Получив диплом и назначив день свадьбы, мы устроили себе праздник: были в театре, ужинали в дорогом ресторане, потом отправились в элегантный кабачок. Танцевали до утра, и когда мой мальчик привез меня домой, я чувствовала ужас-

ную усталость. Помню – взглянула на него; в утреннем сером свете он стоял передо мной свежий, розовый, чистенький, приглаженный. С умилением посмотрела я на пробор, где ни один волосок не нарушал безупречной линии. Я взяла его за руку и повела в свою комнату. Зажгли свет, он начал уже несмело прощаться, потом по моему желанию губы наши встретились. Впервые я почувствовала себя в сильных и горячих руках мужчины. Теплая волна поднялась и пошла по всему телу. Я закрыла глаза, послушно отдаваясь ей. Это было невыразимо приятно...

Вдруг услышала тяжелое дыхание... Хриплый шепот: «Милая... дорогая...» Открыла глаза и увидела над собой страшное знакомое багровое лицо... Спутавшиеся волосы... Идиотский влажный рот... Бессмысленные глаза животного... Вскрикнула: «Отец!» – и потеряла сознание.

Я не вышла замуж и никогда не выйду. Не потому, что боюсь мужчин или ненавижу их. Нет, конечно. Но быть в объятиях мужчины для меня означает осквернить свое тело противоестественным актом – и это выше моих сил.

Общество утверждает, что я ненормальная. Если нормально то, что освящено только количеством, то это – правда. И все же я не поклонюсь цифре. Ищу в любви мягкость и нежность. И нахожу их, целуя тело женщины. Я нашла свое Темное Счастье и радуюсь этому, хотя знаю свое преступление и ожидаю возмездия. Пусть придет час расплаты! В этой обреченности есть трагическая красота, понять которую *им* не дано! Пусть придет час расплаты – жду его спокойно и гордо и повторяю только слова, ведущие меня через земное странствие к неизбежной гибели: «Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто...»

Все это время приходилось усиленно работать. Но, бывало, закрою на секунду глаза, и вижу в алом отблеске пламени вдохновенное, взволнованное и благородное лицо Изольды, радостно поднятое вверх, будто бы над ней незримо стоял он, мой неизвестный победитель...

Я не узнаю его, пока не встречу. Теперь это ясно. А когда встречу – тогда потеряю Изольду. Ибо рядом с ним всегда буду для нее только ничто... Стыдно признаться в этом? Э-э, полноте... Вот оно – поражение!

Я готов был скрипеть зубами от ярости: кто убил меня, как не я сам? Ясные намеки Изольде на мои особые наклонности, похожие на ее... Роль незаинтересованного друга... Брата...

я сам себе вырыл яму! Не понимая, что от брата к возлюбленному нет пути.

Бежали дни быстро и неудержимо... «Чего я жду?» – спрашивал я себя. Вечно оставаться в тени, играть чужую постыдную роль, чтобы потом передать Изольду в ненавистные руки? Увижу синие глаза в последний раз и останусь один...

Когда настала зима, я принял, наконец, долго откладываемое решение.

В тот день все было тщательно приготовлено в моей квартире. Потом я стиснул зубы и стал ждать вечера.

Вечером ужинали вместе, катались в машине за городом. Потом пошли в веселый кабачок, где официант заранее знал свою роль и был проинструктирован до мелочей. Я заказывал виноградные вина, но невидимая рука подливала в них коньяк. Потом, когда Изольда опьянела, ей подавали вместо вина бренди. Я дурачился, смешил девушку, представлялся более пьяным, чем был. Уговаривал хоть раз перестать быть проклятой чопорной англичанкой. Говорил, что, слава Богу, я брат, а не муж и т.д. и т.п. Был момент, когда Изольда заметила, что мы переходим границы, но я сделал условный знак и появился Гришка. Сообщил, что он – именинник, заказал шампанского и заставил девушку выпить большой бокал. Перед уходом я купил еще бутылку, и в машине мы со смехом распили ее из горлышка.

Изольда уже не понимала, что я дал шоферу свой адрес, а не ее. Сердце страшно колотилось, когда я отпер парадную дверь и ввел ее к себе. Почти насильно влил ей в рот еще стакан, и она упала, наконец, мне на руки с совершенно затуманенным сознанием.

Лишь только я сжал в руках ее горячее и возбужденное тело, помню опьянение почти наполовину прошло, теперь огонь торжествующей страсти жег мне грудь. Вот он, мой долгожданный час!

Я перенес ее в спальню, быстро раздел донага и бережно положил на огромную и широкую кровать, прикрыв легким покрывалом. Почему не упал я тогда на колени? Зачем не прижался пылающим лицом к краю белого покрывала? Ведь она была жива еще...

Нет, не дано человеку знать темных путей судьбы и не мог я представить себе, что придет час – и в пустой комнате, залитой лунным светом, я занесу над ее грудью остро отточенный нож...

И великое и прекрасное чувство любви утонуло в ничтожных мелочах: я запер двери, окна, зажег густой розовый свет, разделся... одел малиновую атласную пижаму и лег рядом. На столик у кровати положил ее портсигар и раскрыл его: когда все будет кончено, пусть прочтет надпись...

Рядом со своей головой я видел ее бледный и тонкий профиль. Не буду будить – пусть спит. Мне даже теперь не нужно тело без души. Скоро сознание вернется к ней, она сама проснется и...

Кровь тяжело и глухо стучала в висках. Теперь колебания кончены. Вперед! Урок ее рассказа в лесном домике будет учтен. Она узнает сильную и волевою мужскую любовь без животной низости. Это будет ее первая любовь, а девушки нелегко забывают тех, кто был первым. Я удержу ее. И пусть потом явится он... Теперь не боюсь тебя и не завидую духовной любви к тебе, незнакомец: Изольда – моя!

И незаметно я заснул...

Проснулся от ощущения страшной и опасной тишины. Открыл глаза – и уже не мог оторвать голову от подушки. Предомной, на расстоянии вытянутой руки, сидела Изольда: спиной ко мне, положив руки на колени поджатых ног. Голова была грозно и гордо запрокинута назад и слегка обернута ко мне. В густо-розовой полутьме я видел смертельно бледный ястребиный профиль и один синий глаз.

Прошло много лет с тех пор. Я видел глаза, смотревшие на меня с ненавистью, выражавшие ужас близкой смерти и безмолвный вопль отчаяния. Всякие глаза. Но синий глаз Изольды, горевший безумным пламенем... жаром смертельной вражды и неопишуемого презрения...

Ничто не дрогнуло на ее лице, когда я проснулся. Она молчала и не двигалась. Я тоже молчал, пригвожденный ее взглядом к подушке.

– Ну, – негромко, предельно четко проговорила, наконец, Изольда, – что же вы медлите? Начинайте!

Долгая минута зловещей тишины, безнадежной, как могила.

– Двери заперты, и ключ спрятан. Прислуга убрана! Квартира пуста. Глубокая ночь. Что же, западня поставлена неплохо. Я в ваших руках. Но прежде чем вы приступите к делу, хочу сказать вам вот что: вас – предатель, пробравшийся ко мне в душу под личиной брата, я ненавижу. Слышите? Ненавижу!! Никогда не прощу... Никогда не забуду!.. Может быть, настанет время, когда вы захотите иного счастья – тогда я приду к вам для мести. Теперь начинайте.

Она повернула голову, и я уже не видел страшного по своей силе синего глаза. Пепельные пряди упали на спину, — нежные волны, которые в этом призрачном свете казались совсем розовыми.

И я лежал и глядел на стройную спину, матовую и отливающую светом, как бело-розовый жемчуг, такую близкую и бесконечно далекую.

Непоправимо... невозвратно... все погибло... Этой роковой ошибки я не сумею ни забыть, ни простить себе.

В последний раз взглянул я на Изольду, сидевшую неподвижно, словно изваяние. Добытую и не взятую. Сейчас близкую и уже потерянную навсегда.

Потом встал. Накинул халат. Положил на столик ключ. Поклонился. И вышел.

Глава 2

Жена

Que m'emporte que tu sois sage?

Sois belle, sois triste...

Ch. Beaudelaire

Что мне до того — разумна ли ты или нет?

Будь прекрасна, будь печальна...

Ш. Бодлер

Окно всю ночь было открыто, и я проснулся от задорного дуновения свежего ветерка. Вскочил на постели, взглянул в окно — там радостно смеялось весеннее утро. Ну и денек будет сегодня!

После холодного душа — гимнастика: не по заученной программе, а от избытка бодрости — вольные движения в воздухе тяжелым дубовым креслом. Славно было бы подраться с кем-нибудь: размахнуться пошире и ринуться вперед! Я энергично помахал руками и попрыгал по большой спальню комнате, потом оделся и вышел в столовую. Выпил кофе и, покусывая большое сочное яблоко, заглянул в газеты. Они оформлены необычно — ярко и празднично: еще бы, ведь сегодня Первое мая! Год двадцать шестой.

Поверх серого английского костюма набрасываю нараспашку широкое весеннее пальто, небрежно повязываю пестрое кашне, надеваю слегка набекрень модную шляпу. Все? Да, еще пару светлых замшевых перчаток... Пачку сигарет в карман... Ну, кажется, готов... Вперед!

Накануне этого дня вожди рабочих партий бросают в полицейском президиуме жребий – какие кому достанутся маршруты: увы, дети единой матери, рабочие партии ссорятся между собой, и буржуазной полиции приходится так регулировать движение уличных демонстраций, чтобы они не встретились даже по праздникам.

В этом году коммунисты получили центральную Вацлавскую площадь и прилегающие к ней самые нарядные улицы. Чудесно! Будет на что посмотреть: демонстрация должна вылиться в мощный парад боевой готовности – пройдет тысяч полтора человека!

По широкому проспекту Фоша спускаюсь вниз. Кругом бурлит празднично одетая толпа: на мостовой строятся прибывающие из районов города демонстранты со знаменами и плакатами, с тротуаров на них глядят тысячи зрителей. Слышатся возгласы приветствий, смех... Хоровое пение. Здесь и там гремит музыка... Радостный подъем законной гордости меня подхватывает, ощущение великого единства с массой, ее силы и победной устремленности.

Вот и площадь Вацлава – очень длинная, довольно широкая, она плавно спускается от монументального здания Национального музея вниз, к центральным улицам торговой части. Против музея – памятник князю Вацлаву: на коне, с крестом в поднятой руке, он парит над строем красных знамен и толпой, погруженной в сизую дымку. Справа и слева высокие ряды красивых зданий; ярко блестят пестрые рекламы и парадные витрины фешенебельных магазинов. Все начищено, убрано, сияет. Аверху – голубое небо, еще нежаркое солнце, праздничный весенний денек!

Поперек тротуара стоит полицейский кордон, – пропускают не всех, чтобы потом не возникла давка. Но я говорю несколько слов по-английски, и здоровенный румяный парень в черном мундире и серебряной каске берет под козырек и предупредительно дает дорогу. Я спускаюсь по обсаженному деревьями очень широкому тротуару – сегодня он напоминает парижский бульвар, там весной часто бывают дни, такие же ясные и бодрые.

В нижней части площади собралась толпа. Она сосредоточенно глядит на другую сторону. Там, в тени высоких до-

мов, в четыре ряда построены невысокие, но плечистые люди, одетые в походную серо-зеленую форму, с желтыми ремнями амуниции. В руках у них карабины с примкнутыми штыками. Это – ударная жандармерия. Короткий сигнал – и они дают залп. Это уже бывало... и не раз... И толпа молча глядит на невысоких серо-зеленых людей, которые замерли, как неживые, и ждут. Жандармов отделяет от толпы цепочка полицейских: площадь вокруг пуста, и это придает жандармам особенно зловещий вид.

Мне по понятным причинам не следует останавливаться здесь, и я хочу двинуться дальше. И только в этот момент замечаю то, что задержало меня только на полчаса и затем роковым образом сломало жизнь.

У тротуара стоял большой новенький грузовик с золотой пчелкой на борту – торговым знаком рабочей кооперации. На нем высокими кипами была сложена агитационная первомайская литература – газеты и листовки. Вокруг сновали комсомольцы, рабочие парни и девушки: они получали с грузовика литературу и раздавали ее в толпе. На грузовике сидела девушка; быстро и четко она сортировала кипы и одна обслуживала десяток деловито бегающих агитаторов.

Я остановился под деревом, закурил и стал наблюдать.

Высокую и стройную фигуру девушки ловко облегал светло-серый спортивный костюм... нездешнего покроя и материи... умело сшитый... где-нибудь на Бонд-стрит в Лондоне... или Пятой авеню в Нью-Йорке: Париж не в состоянии придать такой шик женскому костюму мужского покроя: французский стиль *pour le sport* всегда имеет что-то бабье... Черный замшевый берет, такие же перчатки и туфли... Строгий, но приятный ансамбль, черт возьми! Она – иностранка, это ясно. Но на грузовике с пчелой и кипой листовок? Странно...

Пышные кудрявые волосы в тени казались каштановыми, но сквозь листву пробивались узенькие полоски солнечного света и в них волосы отливали всеми тонами красного и золотого, как осенняя листва. Англичане называют эти цвета *hawny*... Я стоял и любовался, и наблюдал, как ветерок временами раздувал огненно-красные и золотые пряди. Лицо было обращено вниз. Виден был высокий лоб и маленький, детский рот, подкрашенный оранжевой краской. Выражение грусти, рассеянности и еще чего-то, может быть, слабости? Но вот девушка медленно подняла голову и обвела площадь взглядом, – и я увидел сразу другое лицо. Голову Медузы...

Они были пустые, эти широко раскрытые холодные глаза цвета льда, и когда девушка смотрела поверх толпы, она казалась слепой или ясновидящей.

Сумасшедшая немножко... это бывает... Здоровых с такими глазами нет. Но кто она? На груди приколата брошь, без сомнения сделанная рукой хорошего художника: сердце и жалящий его скорпион. Что она хотела сказать этим? Скорпион есть... Вижу его по затаенной печали в глазах. Так кто же она?

Между тем незнакомка вынула из сумки золотой портсигар, взяла в оранжевый рот сигарету и, выпустив первый дымок, подняла глаза. Наши взгляды встретились. Минуту мы в упор рассматривали друг друга. Она некрасива, но руки прекрасны... Эту изысканность жестов, утонченную простоту редко видишь на улице... Я равнодушно прошел бы мимо, если бы увидел ее в белой «Испано-Сюизе», но здесь... На грузовике...

Прошло минут пять или десять.

Вдруг девушка опять подняла голову, и снова наши взгляды встретились. Она нахмурилась. Что-то тихонько шепнула группе ребят, подошедших за листовками.

– Вам чего здесь надо? Приклеились к месту, что ли? А ну отклеивайтесь, и марш отсюда! – сказал один из парней, черноволосый венгр.

– Почему же мне не стоять здесь?

– Это наше место.

– Ваше? Какой собственник! Уж не купили ли вы городскую площадь?

Не зная, что ответить, парень смутился и оглянулся на девушку.

– Коммунисты не покупают площадей, они их берут и удерживают силой. – Незнакомка произнесла эти слова негромко, как бы про себя. Но парень понял их как сигнал к бою: он схватил меня за борт пальто. Кровь бросилась мне в голову. Я замахнулся... И услышал голос Гришки, быстро проговорившего по-английски за моей спиной:

– Опомнись! Сотрудник посольства – и затеваешь скандал, да еще в таком месте и сегодня.

Что-то мелькнуло в лице девушки, очевидно знавшей английский язык. Она поднялась, взяла сумку и собралась уходить.

– Ладно, я еще доберусь до вас, – сказал я ей по-английски, взял Гришку под руку, и мы быстро скрылись в толпе.

– Что, чудесная девушка?

– Это кто же?

– Неужели не ясно? Та, что сидела на грузовике! И ты не заметил? А еще профессиональный skirt hunter.

– То-то и оно, – равнодушно ответил он, – я знаю женщин лучше тебя, я опычнее и потому проще смотрю на вещи, без иллюзий. Выходя на охоту, не ищу ни слонов, ни колибри – поменьше экзотики! Люблю вкусненьких зайчиков, глупеньких куропаточек... Твоя девушка – опасный тип! Заметил глаза? У нее порочный взгляд.

– Порочный? Вздор!

– Нет, не вздор. У нее большие глаза редкой окраски, но не в этом их гипнотическая сила, а в выражении пустоты. Пойдем сегодня ночью по кабачкам – я покажу тебе такие же глаза...

– Ну, знаешь ли...

– Не оскорбляйся за нее... Причины могут быть и похуже, да-да, милый друг. На ней печать порока. Она обречена. А ты, поняв это, отойди подальше.

Меня это взбесило.

– Забавно, ты читаешь лекцию, как профессор, а между тем видел девушку три минуты.

– Почему ты думаешь?

– Боже! – закричал я. – Вы знакомы?

– Ну, ну, – он искоса взглянул на меня и покачал головой. – Знаю хорошо тебя и видел ее, и чувствую, что завязывается драма... Коллизия больших страстей. Шекспир, где ты?

– Не мели чепуху. Кто она?

– Последние дни эта девушка заходила к моему хозяину с его женой – насколько я понял, они вместе приехали недавно из-за границы... Познакомились где-то в Америке. Я тебе не рассказывал о мадам Гольдберг?

– О какой мадам Гольдберг?

– О жене моего хозяина. Нет?! – тут Гришка оживился, в глазах его заблестели бедовые огоньки. – Так слушай же скорее...

Но все это вывело меня из терпения. Моя изысканная незнакомка и какая-то вульгарная мадам Гольдберг, черт ее подери... Я сухо попросил Гришку выяснить фамилию девушки и ее адрес, и мы расстались.

«Болтун! – подумал я. – Иногда бывает интересно послушать вздор, но не сейчас. Надо действовать – и быстро!»

Секретарем-атташе по делам печати в нашем посольстве был тогда молодой немец Вайсскопф, доктор права, ученый-

филолог и литератор. У него были обширные связи во всех кругах местного общества, дававшие возможность ответить на любой вопрос, который касался Чехословакии.

Меня очень задержали, и только часа через два я вбежал в отдел печати. День был праздничный, но персонал находился на местах – шла подготовка к вечернему дипломатическому приему.

– Доктор! Какой чудесный день! – я экспансивно потряс пухлую руку. – Солнце... Масса людей...

– Вы очень любезны, делая мне такое сообщение, – промямлил молодой ученый, поднимая бесцветное старообразное лицо, украшенное огромными очками в золотой оправе. – Что у вас за вид? Дорогой коллега, не влюблены ли вы?

– По уши... и еще больше! Скорее слушайте: час тому назад я встретил девушку... на площади Вацлава... Она раздавала с грузовика листовки... Второй такой в мире нет; взглянула и причаровала меня...

– Глазами? Издали кажется слепой, а?

– Вы знаете ее? Как хорошо! Только говорите скорее, не тяните. Где ее найти?

– Там, – бледный палец указал вверх.

– В весеннем небе?

– Ну к чему же столько поэзии... в комнате номер восемь. Я остолбенел.

– Она сейчас гость нашего руководства. Гм, гм... Деловое свидание, полагаю. Не советую мешать, если не хотите нарываться на...

Я уже бежал по лестнице на второй этаж.

Открываю дверь. Девушка небрежно сидит на диване. Полпред, эффектный старичок с белыми кудрями до плеч, держит перед ней коробку шоколада. На звук открываемой двери девушка обернулась и, конечно, сразу же узнала меня – легкая улыбка скользнула по ярко накрашенным губам.

Я сбежал вниз, в отдел печати.

– Как ее зовут?! Скорее!

– Мария-Милена-Иоланта.

Я бросился к дверям.

– Вы не дослушали! – закричал мне вдогонку пан доктор. – Ее фамилия...

Грудной голос, чуть хрипловатый и низкий, произнес из телефонной трубки трафаретную фразу:

– Kdo mluvi? Wer spricht? Ki besil?

И сердце дрогнуло от радости.

– Иоланта, – сказал я просто, не совсем даже понимая, что говорю, – мне **нужно** вас видеть... очень... пожалуйста.

– Ну, если так нужно, – по голосу я чувствовал, что она улыбается, – то, конечно... Что же, в десять часов вечера... сегодня... но где бы? На Всерабочем балу!

Я выбежал на улицу. Эх, что за радостный день! Куда бы пойти? Пора обедать... К черту, не до того... Нужно найти тихий уголок и остаться наедине со своей радостью, с бурно кипящим чувством чего-то хорошего и светлого. Неужели это и есть счастье? Мысли беспорядочно бежали вперед... хотелось прыгать... Нет, мне нужно сесть в парке на уединенную скамейку, закрыть глаза и мечтать... О чем? Хорошо бы взять весь мир за хвост, раскрутить и забросить под облака! Шальное, озорное веселье мешало сосредоточиться, и, пока я ловил безудержно скачущие обрывки мыслей, ноги уже успели доставить меня в любимый ресторан: тут только ощутил я волчий голод. Обед показался необычайно вкусным, прислуга – исключительно внимательной. Я выпил бутылку старого рейнского, закурил сигару. Странно, люди как будто улыбаются мне. Да, весна... Поговорив с хозяином и придя к заключению, что он очень умный и милый человек, я в радужном настроении направился в парк.

Это было время первой нежной зелени, прозрачные кружева которой тонко рисовались в бледно-голубом сияющем небе. Воздух был тепел и душист. Я пригрелся на солнышке, сидя на скамейке в дальней аллее. Закрыл глаза, слушая задорное чириканье птиц. Какой мир... Какое успокоение...

Изольда... Теперь вспоминаю ее без боли. Не потому, что успел забыть – разве может стереться воспоминание о первом и сильном чувстве? Оно останется навсегда со мной, как драгоценная память о бледной девушке с синими глазами, которая ненавидит меня лютой ненавистью. Сладкий яд тогда незаметно отравил мне сердце... Она была опасным недугом, эта чувственная и порочная страсть, безрадостная с самого начала... Все это было и прошло.

Теперь – другое. Мне двадцать шесть. Помню ли я все, что было? Помню, не могу, не должен, не смею забыть! Детство в чужом золоченом доме... Казенный распорядок в корпусе... В шестнадцать лет – море, первые часы тяжелого труда за кусок хлеба... В семнадцать – первые пушечные выстрелы и страх смерти... Первое убийство людей – винтовочная мушка и позади нее – грудь человека... В восемнадцать – каторжная работа на судах, раскаленные кочегарки, обледенелые палу-

бы... В девятнадцать – черная ночь в открытом море... яростное буйство волн... я черпаю кухонной кастрюлей воду в кубрике тонущего судна... В двадцать – рассвет, черная вода пенится вокруг обломков, спутанных снастями... на них – остатки команды... Ночи в публичных домах... Страшные голые женщины с синими грудями до пят... Слышу сиплый смех под музыку шарманки... Утром они штопали мне дырявые носки... И помню главное – страх голода и холод... Безработицу... Я вижу собственные руки, жадно запущенные в жирное месиво помойного ведра. Я помню голод, который страшнее, чем смерть!

Мне двадцать шесть лет. Вся накопившаяся и неизрасходованная потребность и способность любить теперь безудержно рвутся наружу. Это не робкое томление юнца и не сюсюканье старца, но большое чувство сильного молодого мужчины, который знает мир, покоряет его в бою. Любовь строителя и бойца, пронесенная сквозь вой ветра, труд и борьбу, – не сладкий яд, зовущий к покою, но кубок крепкого вина перед отправлением на подвиг! Пусть Иоланта станет для меня воплощением весны, **моей** весны: да здравствует пробуждение, да здравствует радость бытия, да здравствует жизнь!

Ровно в десять вечера я вошел в зал, где уже гремел Всерабочий бал. Раз в год, в ночь Первого мая, коммунистическая партия снимает лучшее помещение в городе, самое роскошное и недоступное. Приглашаются оркестры, организуется буфет, и рабочие с семьями и друзьями пребывают как хозяева и гости: это веселое, хоть и кратковременное вторжение в логово врага, в его крепость, маленькая репетиция грядущего торжества.

Раньше я всегда с умилением смотрел на нарядно одетые, такие нелепые и милые фигуры, которые, растопырив заскорузлые руки, неловко скользят по паркету. Но теперь быстро пробежал по залам. Ее нет... Взглянул на часы: десять. Неужели не пришла?

В одном из коридоров толпа комсомольцев курила, сбившись в кучу. Слышались взрывы смеха. Когда я проходил мимо, черноволосый венгр обернулся, и узнал меня:

– Он опять здесь!

Я был окружен, схвачен и... приведен к Иоланте, которая стояла тут же, среди своих поклонников.

Все закончилось благополучно. Шумной ватагой мы отправились в буфет, где я угостил ребят хорошим вином. Потом

откуда-то появились девушки, грянула музыка и все убежали танцевать. Мы остались одни, Иоланта и я.

На этот раз она была одета в бальное платье из серо-розовой парчи, простое и очень дерзко декольтированное. Короткими взглядами исподтишка я рассматривал девушку. Да, она не была красавицей, но что-то в ее внешности покояло сразу и запоминалось навсегда. Она очень мило шутила, с приятной легкой иронией, а в глазах оставались та же печаль и пустота. Держала себя подчеркнуто скромно, выбирая невидные места в углу, сдержанно и редко смеялась, говорила негромко и старалась повернуться к зрителям спиной – все-таки всюду, где мы появлялись, ее замечали все – мужчины с восхищением, – женщины с любопытством.

«Девушка нашего века, – решил я про себя, – она в жизни выглядит так, как американские *vamps*, гримирующиеся для киносьемки: *sophisticated... absent... thrilling...* – воплощенный идеал нашего порочного времени...» Порочного? И я задумался, вспомнив слова Гришки, показавшиеся мне болтовней. Конечно, во внешности Иоланты есть что-то странное: вызывающая декольтировка, манера бесстыдно закидывать ногу на ногу... дерзкие взгляды в упор... бесцеремонные словечки... Точно она провоцирует и смеется надо мной. Ах, не в этом дело! Но неужели затаенная печаль означает порок? Сколько в ней изломов и противоречий... Что за интересная человеческая душа должна быть у этой девушки!

Мы болтали, облокотясь на стойку бара. В накрашенных оранжевых губах Иоланты дымилась сигарета, и старые рабочие испуганно глядели на ее полуобнаженную грудь и открытую спину. В этот момент к бару подошла девушка лет семнадцати, очень некрасивая, типичная боевая комсомолка тех далеких времен: волосы без прически заброшены назад, на неправильном лице ни малейших следов грима, вместо черного платья – русская защитная гимнастерка и черная юбка, на ногах простые черные чулки и грубые башмаки. В руках она держала листовки. Войдя, девушка сразу уперлась взглядом в Иоланту и, гневно нахмурясь, остановилась перед нами.

– Вот, полюбуйте, – сказала мне равнодушно Иоланта, – эти волосы зачесываются только пальцами, допотопные черные чулки с трудом найдены на окраине города, груди туго перетянуты бинтами – все это, чтобы, Боже сохрани, не казаться ни буржуазной, ни просто девушкой. Сектантское рвение! Это учело – моя сестра Божена.

– А эта уличная девка, – сверкнув глазами, отпарировала незнакомка, – моя сестра Мария-Милена-Иоланта: рот намазан, грудь и спина выставлены напоказ. Профессиональное рвение! Не лучше ли вам обоим отправиться в Кристальный Павильон?

Девушка смерила нас уничтожающим взглядом, резко повернулась и вышла.

– И откуда только эта монахиня в миру узнала о Кристальном Павильоне? – улыбнулась Иоланта. – Но она права: это лучший кабачок в городе. Идем?

И мы отправились.

Как в угареплыли передо мной разноцветные огни, взрывы конфетти и серпантина, накрашенные лица женщин и черные спины мужчин... Временами огни гасли, и, сжав в объятиях гибкое тело Иоланты, я скользил по волнам нежной музыки; потом опять вспыхивали лампочки, и безумный вихрь танца уносил нас в пестрой толпе мимо лоснящихся негров, скаливших ослепительные зубы. Пили одно вино, другое. И я сыпал цветы в бокал Иоланты. Мы много смеялись и курили без конца... И я с трудом разобрал, что стрелка моих часов показывает три, когда, наконец, Иоланта сказала: «Пора».

– Я живу на Малой Стороне. В тихой улочке между заброшенными дворцами. Дом переделан из старинного монастыря, и моя комната все еще напоминает келью, – объяснила Иоланта, когда я предложил не брать такси, а отправиться пешком.

Мы шли медленно, потому что боялись, что скоро нужно будет прощаться. Когда вышли на Старый мост, Иоланта предложила:

– Сядем здесь, над водой. У меня ощущение, что мы не сказали друг другу самого главного. Что бы это было?

Она помолчала, видимо, раздумывая о чем-то.

– Давайте знакомиться ближе. Мне пока неловко с вами. Сущность вашего характера мне еще неясна, а без этого говорить трудно: я привыкла раскладывать знакомых по полочкам своей кунсткамеры.

– Холодильника, Иоланта?

– Э-э, нет. Мой холод только кажущийся. Я прохожу мимо пустыков, обычно привлекающих людей, особенно женщин. Отсюда видимость отсутствия интереса к жизни.

– Я люблю жизнь и рад, что вы так говорите, – ответил я. – Для меня жить означает крепко держаться за жизнь и стараться повернуть ее по-своему. Жить это – действовать! Так?

– Да, поскольку, это все равно неизбежно. Но при этом, видимо, в отличие от вас, у меня всегда остается ощущение нарочитости и забавы. Случалось вам попадать на наши деревенские свадьбы? Шум и гам, дым и чад, и можно было бы умереть со скуки, если бы не были смешны сами хозяева и их гости, смешны своей серьезностью: музыканты пиликают с таким усердием, а гости с таким жаром выписывают ногами кренделя, что вы, скептический горожанин, преисполненный превосходства, наконец не выдерживаете (особенно если перед этим успели опрокинуть пару стаканов сливовицы): вы пускаетесь в пляс, вам аплодирует молодежь, и степенно качают головами старички... Но все понимают, что вы – случайный гость, только в честь славной минуты присоединившийся к общей толкотне... Вы сами чувствуете это тоже и в отличие от местных щеголей, танцующих всерьез, пляшете свободнее их, позволяя себе некоторые сомнительные пируэты, чтобы нарочно сорвать одобрительные аплодисменты или заставить зрителей соорудить уморительные рожи.

Она помолчала.

– Я чувствую жизнь, как артист сцену: бывает, что вживусь в роль и вижу себя в прекрасном саду. Но потом надоест размахивать руками, оглянусь – и сразу замечаю подмости и кулисы. Декорации намалеваны грубо, и я сторонюсь их, чтоб не измазаться в краске.

– А позади них?

– Большая черная дыра, из которой мы вышли на освещенную дорожку. Мы идем по ней, но она коротка и окончится скоро – прямо у края второй дыры, черной и бездонной, в которую мы неизбежно полетим вниз головой.

Голос Иоланты звучал глухо и так искренне, что я почувствовал сострадание и боль.

– Вы меня удивляете! – воскликнул я живо. – Как можно дойти до такого взгляда на жизнь в самом ее начале?

Девушка, точно собираясь с мыслями, ответила не сразу:

– Для этого нужно хоть на время оказаться выброшенной из жизни, хоть раз взглянуть на нее извне, со стороны. Тогда все вдруг станет иным, понятия сдвинутся с мест и представятся в новой комбинации, непривычной и странной. Даже если потом все устроится по-прежнему, вы не забудете того, что один раз вам удалось подсмотреть и понять. Комар, летающий под опрокинутым стаканом, беспомощно тычется в стекло и, наверно, называет его судьбой, а вы, наблюдающий сверху, стакан над комаром считаете просто стаканом, а вот

ограничения своего собственного бытия все-таки называете Судьбой. Но вырвитесь из-под своего большого колпака – и вы увидите вещи в их истинных соотношениях.

Несколько минут мы шли молча мимо древних дворцов, освещенных луной.

– Лет шесть тому назад у меня начался туберкулез легких и сразу принял бурные формы. Когда я была при смерти, меня отвезли в горы. Долгие месяцы я пролежала на балконе высокого здания больницы, как будто повисла между небом и землей. Шел снег, день и ночь кружились и падали снежинки и я лежала в меховом мешке, ожидая конца. Мне было девятнадцать лет, умирать не хотелось, я боялась того, к чему шла. Но умирать было нужно, и вот, понимая неизбежность этого, я задалась целью выкорчевать в себе волю к жизни. Это не было примирение со смертью, это была борьба против жизни. Чтобы стало легче на душе... Понимаете ли вы разницу? Я принялась за работу, воскрешая в себе все любимые образы и затем умерщвляя их, разрушая иллюзии, вытаптывая желания... Времени было много – снег падал день и ночь, я открывала глаза и все видела белые хлопья, проплывающие мимо меня из ниоткуда в никуда... Работа шла медленно, но успешно, и вот настал день, когда я почувствовала, что мне **все равно** – ощутила в себе великое равнодушие, покой и свободу. Ах, если бы вы могли понять... Я стала свободной: поняла, что и жизнь и смерть не являются радостью или страданием, добром или злом, но лишь бездушной сменой форм бытия, в котором моя личность – ничто. Сказать это легко, но трудно понять. Не знаю, понимаете ли вы меня сейчас. Для миллионов людей это лишь тривиальная фраза: только взглянув в лицо смерти, они поймут ее значение.

Я был поражен и не знал, что ответить.

– Итак, жизнь была успешно выкорчевана из сердца: я лежала в меховом мешке между небом и землей и равнодушно ожидала конца – без радости и сожаления. Но горный воздух незаметно сделал свое дело: болезнь стала мало-помалу проходить, восстановились физические силы, и однажды врач «поздравил меня с жизнью».

В снежную метель добралась я до вокзала, поезд тронулся. Мимо проплыли белые вершины гор, в ущелье начался уже дождь, а когда поезд остановился внизу, я выглянула в окно – Боже! – вокруг благоухала дивная теплая ночь. Деревья стояли в цвету, из невидимых садов веял сладкий аромат. Вечер был праздничный: толпы людей в белом заправили

улицы, всюду слышался говор и смех, чей-то сильный и страстный голос пел о любви... Вот тогда, одна среди беспечной толпы, в эту весеннюю ночь рождения к новой жизни, я сделала открытие: меня нет. Я умерла. Вот вам и все, – закончила Иоланта после небольшой паузы. – Конечно, вначале было тяжело. Потом привыкла, втянулась в каждодневную суету, оставаясь ей чужой. Иду по жизни, как не особенно любопытный путешественник. Помню дом, откуда вышла и куда неизбежно возвращусь. Как это написал Куприн? Некогда у царя Давида было кольцо с надписью «Все проходит». Когда грустно, от этих слов становится весело, а когда бывает весело – делается грустно. Все проходит, пройдет и жизнь – значит, ничего не нужно. Или нужно только сознание свободы – потому что когда есть это, то больше ничего, ничего не надо. Что-то в этом смысле.

От волнения я закурил сигарету, на миг осветившую спокойное, улыбающееся и печальное лицо девушки. Я так и знал, что порока нет, есть болезнь! Она пройдет... Это выражение исчезнет в глазах, они станут живыми и человеческими...

– Я понимаю ваш пессимизм, но...

– Увы, нет, не понимаете. Потому что я совсем не пессимистка. Считать жизнь злом и страдать от этого – означает придать ей значение, которого она не заслуживает. Пессимист – родной брат оптимиста, оба они разными способами утверждают одно и то же. Что же касается меня, то я – скептик, любящий хорошее вино и сильные ощущения. «Долой теплые набрюшники!» – вот мой лозунг. Самый страшный враг для меня – это благополучие: я не боюсь ни жить, ни умереть, мне страшно процветать... Б-р-р... **Этого** для себя не хотелось бы... В борьбе мне нравится возможность броситься в гущу сечи и пасть под ударами.

– Как мне все это непонятно, – пылко возразил я. – Борьбу стоит вести только ради победы, а на вашем знамени написано поражение.

Иоланта сделала решительный жест возражения.

– На моем знамени написано: «Победа делу!» – а о гибели под ударами я говорю лишь из страха получить медаль за героизм, потолстеть, повиснуть в чине.

– Вы не любите героев?

– Люблю пророков, побиваемых камнями, Прометеев и Квазимодо. Люблю неоплаченный скромный подвиг. Стороюсь от людей с двойными подбородками, в карманах которых аккуратно сложены удостоверения на звание героя и чек за совершенный подвиг!

Наступила минута молчания. Мы закурили и присели на каменную ограду моста под статуей какого-то святого. Взошла луна. Далеко на другом берегу, венчая собой невысокую гору, высились стройные громады собора, королевского дворца, башни кремля и зубчатые его стены. Ниже грядами спускались к реке старинные дворцы графов и князей, монастыри и островерхие палаты бюргеров. У самой воды чернели вросшие в землю дома алхимиков, и легкая колонна со статуей рыцаря Брунсвика, ногой попирающего дракона, вздымалась из черных и серебристых струй Влтавы. Древний горбатый мост, на котором мы сидели, был украшен каменными изваяниями святых и золотым крестом; на обоих берегах подступы к нему охраняли высокие башни, отделанные каменными кружевами готической резьбы. Город спал. Неумолчно журчала под нами черная маслянистая вода, изредка вскрикивали сонные чайки – мы были одни в ночном городе, и красота минувших веков проникновенно и гордо предстала перед нами.

– Как хорошо! Точно впервые вижу Злату Прагу ночью, – прошептала Иоланта, слегка прижимаясь ко мне от холода. – Но будем продолжать разговор. Мой портрет написала я сама. Теперь нарисую ваш – тремя мазками. Извольте ответить на три вопроса. Первый. Если продавец всучит вам какую-нибудь дрянь, что сделаете вы, сударь?

Я засмеялся.

– Покраснею, замнусь и... ничего не скажу. Что делать? В житейских делах я мало практичен. Но лишь в мелочах. Обмануть меня можно только раз: мучительно долго помню сделанное мне добро, оплачиваю его и все сомневаюсь, не мало ли? Но не забываю и зла. Злопамятность и гордость – мои достоинства. Как часто слышишь теперь поговорку: «Мы – люди не гордые...» Ужасно, правда? Выше всего я ставлю человеческое достоинство, свободную личность – за нее в себе и в других борюсь и в гордости вижу ее проявление. Наш древний кавказский адат говорит: если тебе очень нравится что-нибудь в жизни – будь достоин своей гордости и сдержки себя, пройди мимо; если гордость твоя слаба, и ты не сможешь победить самого себя – добудь желанное с мечом в руке; если не сможешь добиться и этого – убей себя: ты родился напрасно. Итак, формулирую ответ: трезво оценивать житейские мелочи и сознательно пренебрегать ими, ревниво оберегая себя для большего. В попытке добиться его – не жалеть себя. Без большой цели впереди жизнь скучна. Вы видите, что по совершенно другой причине, чем вы, я тоже говорю: «Долой теплые набрюшники!»

– Дорогой союзник, вашу руку, – Иоланта засмеялась, и мы обменялись шутливым рукопожатием. – Теперь второй вопрос. Отвечайте: если вы входите в зал и видите, что вокруг известной красавицы и умницы собралось самое блестящее общество – что сделаете вы, сударь?

– Я – враг всяких обществ и известных умников и красавиц. Не люблю толпы – ни блестящей, ни другой. Высшее удовольствие нахожу в размышлении и дружеской беседе; смысл жизни – в раскрытии самого себя, в вечном развитии своего духовного богатства. Ступеней раскрытия себя – три: начальная – учение, средняя – труд, высшая – борьба. В учении, труде и борьбе раскрываются богатства личности, в этом – жизнь. Высшая форма ее – борьба, подготовленная знанием и трудом. Ступеней блаженства этой стадии тоже три: первая – гибель в попытке, вторая – успешное достижение цели, третья – победа и смерть победителя. Раствориться в достигнутом идеале – что может быть более желанным для каждого настоящего человека – мыслителя, строителя и борца?

– Гм... Продолжайте.

– Я сказал почти все. Мы опять сошлись с вами, Иоланта, хотя шли разными путями. Я тоже люблю хорошее вино и сильные ощущения, но не за то, что они сильные. Я ищу большую идею, которая, будучи великим миражом впереди, потребует усилий и борьбы для попытки своего воплощения. Красоту борьбы, победы или смерти вижу все-таки в самой идее, без нее воин – только добытчик для себя или наемник других. Моя борьба должна освобождать мир и вместе с тем и самого борца, ибо труднее всего победить самого себя. Итак, если «вперед», то обязательно «за свободу!».

– Примите вторую руку! Союз крепнет.

Я сжал тонкие и нежные руки, на сердце стало неизъяснимо легко. Иоланта опустила глаза и тихо засмеялась.

– Но достижимо ли то, за что вы боретесь? Верите вы или знаете?

– Знание в истории народов никогда не двинуло больших масс вперед и не послало ни одного человека на добровольную смерть: это может делать только вера. Но в современных условиях знание и вера слиты воедино в великом социальном движении поработенных за свое освобождение.

И я с жаром заговорил обо всем том, что меня наполняло тогда. Я подвел под инстинктивные народные чаяния твердую базу научного социализма, процитировал классиков Марксизма-ленинизма, опроверг буржуазную критику и рефор-

мистские извращения, увязал общие теоретические предпосылки с революционной практикой текущего момента и, наконец, патетически закончил лозунгами, проработанными к первомайским торжествам. Слова лились свободно и живо, я сам чувствовал, что говорю хорошо, и радовался звучанию своего голоса – уверенному, горячему, заражающему пламенной верой.

Я закончил и притих, ожидая, что скажет Иоланта. Она молчала минуту, другую. Потом мне показалось это странным, и я повернулся к ней: положив голову мне на плечо и чуть открыв рот, она сладко спала, слегка посапывая и вздрагивая.

Уж не дурно ли ей?! Я немного отодвинулся и посмотрел получше. В бледном свете заходящей луны видно было спокойное лицо – да, да, Иоланта безмятежно спала, и когда я двинулся, она во сне поправила голову на моем плече, вздохнула, прижалась покрепче, и снова послышалось ровное, какое-то детское посапыванье.

Ну, это уж слишком! Черт побери! Я раздраженно, но осторожно вынул сигарету, закурил ее и осветил лицо девушки; пустые глаза цвета льда были крепко закрыты, побледневшее лицо казалось слабым и нежным, а рисунок рта – беспомощным, почти детским. Спит! Что же делать?

И стало жаль девушку. Луна скоро зашла, и в наступившей темноте я уже не различал лица на моем плече, но впечатление беззащитности осталось. Я расстегнул пальто и прикрыл ее одной полой. Прижал покрепче и стал ждать.

Черная маслянистая вода неудержимо бежала под нами с однообразным журчанием. Было так тихо, точно большой город растворился во мраке, и остались только мы – спящая девушка, я с сигаретой в зубах, да благословляющий нас сверху святой.

Постепенно звезды стали бледнеть, на востоке появилось сиреневое пятно, оно стало шириться и светлеть. Дунул холодный ветерок. В серой дымке весеннего рассвета появились сначала золотой крест и два ряда каменных изваяний, потом ажурная резьба предместных башен, наконец, обозначился силуэт далеких дворцов и зубчатых стен.

Вот из парков потянул душистый аромат нежной зелени, чирикнули птички, им отозвался вдаль автомобильный гудок, показался первый прохожий – и началось общее пробуждение. Звуки ширились и росли, на тысячи ладов загудел большой город. Подняв голову, я долго смотрел на легкие розовые облака, тихонько плывшие в бледном небе; потом огля-

нулся – в пурпурных лучах восходящего солнца, как розовое сказочное видение, блестел, искрился, сиял старый город. Под нами прошел первый пароходик, и чайки с громким криком закружились над розовой водой.

– Утро, Иоланта! – проговорил я нежно.

– Как? Что? – девушка протерла глаза кулаками и сонно огляделась вокруг. – Что вы сказали?

– Вы спали, но пора проснуться. Взгляните-ка, что за красота кругом!

– Спала? С вечера? – она ворчливо заговорила, приводя в порядок прическу и платье. – Я продрогла до костей. Нет, это ужасно: молодая девушка, утомленная и слабая, присела на минутку... И что же? Ее заговорили до полусмерти и поддержали ночь на каменном мосту. И вы, молодой человек, благонамеренно охраняли свою даму под полой пальто до самого рассвета? Ха-ха-ха!

Она громко хохотала, а я обиженно смотрел на нее.

– Чему же вы смеетесь?

– Вашей дурацкой порядочности. Ага, все понятно: вы импотент, да-да, сударь, импотент! Сегодня же обратитесь к врачу. А вы, бедняжки, живы или вас заморозил этот идиот? – Легким движением тела она сбросила с плеч узкие полоски парчовой ткани, сдернула платье вниз и две маленькие золотисто-розовые груди, нежные-нежные, любопытно глянули на меня. Я невольно сделал неопределенное движение.

– Вот вам! – сказала Иоланта и показала мне язык.

«Девка», – горестно подумал я.

Мы зашагали по мосту молча. У башни на той стороне реки уже сидела толстая баба в белом халате. Перед ней в кипящей воде крутились сосиски.

– Хочу есть... – Иоланта остановилась.

– Да, но такую дрянь... И здесь, на улице!

– Я не дойду домой. – У нее слипались глаза.

Горячие сосиски с хреном показались чудесными.

– У меня есть и горячее молоко, но литр стоит...

– Давайте скорее!

Иоланта пила молоко, как щенок, закрыв глаза и сопя. И умиление опять охватило меня.

«Ребенок», – нежно подумал я и бережно поддержал ее рукою.

– Ну, где же ваш монастырь?

Кивком головы она указала путь, и мы снова двинулись, обнявшись по-братски. У дверей тяжелого мрачного дома с крестом на стене она остановилась.

– Прощайте. Спасибо за все. Вы устали, милый. Так жалею вас, – теплыми губами она едва коснулась моего лба. – Что бы сделать вам приятного? Возьмите это – на память о первомайской ночи!

Она сняла с груди серебряную розу, наскоро пожала мне руку и исчезла в дверях.

Я нес в руке маленькое сокровище, хрупкое, как Иоланта, такое же изысканное и неживое. Куплю цепочку и повешу на шею – пусть оно всегда будет со мной, как талисман, как благословенье. Навеки!

У входа на мост какой-то старик, случайно оказавшийся со мною рядом, едва не попал под машину: я схватил его обеими руками и рванул назад, на тротуар. Огромный автомобиль, пытаясь, проехал мимо, серый грузовик с железными ящиками, доверху набитыми городским мусором. За ним остался след вывалившихся нечистот и в них, вдавленная в грязь, лежала серебряная роза Иоланты...

«Грозное предзнаменование!» – должен был бы закричать я тогда. Но человек в своем странствии не в силах разгадать таинственных писем судьбы: его странные глаза пристально глядят только вперед, но видят лишь то, что уже за плечами. Мой путь пересекла темная тень Грядущего, но я шагнул через нее, ничего не поняв.

Спать не хотелось. Я бродил по улицам так, без цели, просто шел и шел среди чужих людей, спешивших на работу. Но почему же они казались мне родными? И город – красивее, чем всегда, и весеннее небо – точно видел я его впервые?...

«Вот именно – первая весна... Моя весна. Мне ничего не нужно – значит, я по-настоящему счастлив», – говорил я себе, останавливаясь у витрин и глядя куда-то невидящими глазами. Зашел в книжный магазин и купил «Сентиментальное путешествие» Стерна. Маленькую аккуратную книжечку погладил и любовно положил в карман. Она была переплетена в оранжевый сафьян, напоминавший цвет волос Иоланты в лучах солнца. Вспоминать ее глаза не хотелось, хотя они вовсе не пустые – обыкновенные светло-голубые глаза. «Порочный взгляд?»... Идиот! Боже, что за идиот этот Гришка!.. Я рассмеялся и закурил. Вдруг вспомнил поцелуй у дверей дома и потрогал себе лоб. Здесь... губы были теплые, детские... «Так жаль вас». Она сказала «милый». Почему, а? Ведь неспроста!

Весело отправился я домой, принял холодный душ и пошел на работу.

Перед вечером мне понадобилось зайти в Полпредство. И неожиданно я встретил там ее – судьба опять сводила нас вместе...

Это случилось на лестнице, устланной алым ковром. Сквозь широкие окна каскадами лился теплый свет. Высокая и стройная, в строгом черном костюме, она стояла на две-три ступени выше меня. Голова слегка запрокинута назад как бы под тяжестью темно-рыжих кудрей, лицо цвета слоновой кости совершенно неподвижно, взмахом крыльев высоко подняты брови, необычно светлые глаза цвета льда широко раскрыты и кажутся слепыми или, может быть, ясновидящими? Что меня поразило в ней тогда? Благородство облика? Гордость позы? Глаза, которые показались мне безумными, потому что я не сумел прочесть в них тайны, погубившей ее жизнь и мою? Слепой и ясновидящий взор так пристально скользил поверх моей головы, что я не выдержал – и обернулся, но увидел лишь белые стены. Или уже тогда, сквозь столько грядущих лет, в белизне этих стен ей открылся образ судьбы ее и конца – белая снежная равнина, на которой она будет лежать, истекающая кровью и окруженная голодными псами?

Я задумался и молчал. Потом, когда молчание стало неловким, наудачу раскрыл книгу, которую держал в руках, и прочел одну фразу. Сначала про себя, потом шепотом, наконец – громко и восторженно:

– «Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно видеть на картинах Гвидо, – нежная, бледная, проникновенная, чуждая низких мыслей откормленного невежества, которое глядит на мир сверху вниз, но вместе с тем лишенная робости, поднимающая глаза снизу вверх. Она смотрела прямо вперед, но так, точно взор ее видел потустороннее...»

– Какой пыл, – усмехнулась Иоланта, глядя на меня сверху вниз. – Вы всегда зачитываете дамам комплименты по книгам?

– Не смейтесь! Это – ваш портрет. Стерн пророчески написал его, а я подношу с благоговением... и любовью!

Лед растаял в пустых и холодных глазах: они стали голубыми и теплыми, я видел такое море в Италии когда-то.

Точно проснувшись, она вздрогнула и взглянула на меня. Низкий, грудной, чуть хрипловатый голос прозвучал ласково:

– Послушайте, проведем вечер вместе! Едем в театр! Свидание в восемь. Согласны?

– Согласен ли я?.. Боже! Но до театра поужинаем вдвоем. Пожалуйста! Свидание в семь!

– А до ужина побродим по городу! Любите город вечером? Да? Свидание в шесть?

– В пять, Иоланта! Нам предстоит вместе бродить долго-долго, а в начале пути мы зайдем в Консульство, чтобы зарегистрироваться как муж и жена.

Как я это сказал – не знаю, просто сказал и замер. Но ясновидящий взор в темной глубине моего «я» нашел правду. И мне стало вдруг так легко и спокойно.

В пять часов мы вошли в кабинет консула, товарища Клявина. Добрый толстяк вопросительно поднял голову:

– Что случилось?

– Необычайное событие!

– Арест?

– Плен!

Секунду старый латышский стрелок глядел на нас, выпучив глаза. Потом, когда я осторожно обнял Иоланту за плечи, он осел в кресло и закурил сигару:

– Дети мои, нужно было догадаться сразу. Что делать?

Вот книга раскрыта. Казенная книга с графлеными листами. Я беру перо.

– Черт возьми! – Большая клякса расплылась за моей взволнованной подписью.

– Ну вот, – жалобно тянет Иоланта, – я задумала, что ваше первое слово после заключения брака должно стать символом нашей будущей жизни. И вдруг вы говорите «черт возьми».

Такая бурная, такая неудержимая радость переполнила мое сердце, что я молча смотрю на нее и не понимаю, не знаю, как ответить.

– До заключения брака далеко, – важно басит консул, – нужна еще подпись невесты. Подпишитесь-ка вот здесь – и тогда посмотрим, что скажет этот молодой человек.

Когда она дописывает последнюю букву, горячая волна восторга поднимает меня высоко на гребень и швыряет вперед. Я заключил молодую жену в объятия и целую ее. Хочу раз, а целую два и три. Это происходит в один момент и совершенно неожиданно. Потом смущенно отскакиваю от девушки. Консул, сдвинув на кончик носа большие очки, смотрит на нее, улыбаясь:

– Как вы истолкуете этот символ?

– Но он не сказал ни слова! – Иоланта тоже смущена, но глядит на меня с радостной улыбкой. – Я ровно ничего не поняла!

Хохочет консул, довольна Иоланта, и я радостно отдаюсь волне горячего человеческого счастья. Хочется раскрыть объятия всему миру... Нет, просто прижаться лицом к этим тонким и нежным рукам...

Иоланта с улыбкой наблюдает за мной и, видя мое смущение, приходит на помощь:

– Закурите сигарету, и я с вами, мне неудобно одной.

Она протягивает свой золотой портсигар. Крышка раскрыта. Окаменев от ужаса, я читаю знакомым острым почерком написанные слова: «I am loving you only and all my other loves are but nothing» – «Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто».

Двери распахиваются и курьеры вносят шампанское.

Глава 3

Многopенный вал

Страшно, сладко, неизбежно, надо:
Мне – бросаться в многopенный вал,
Вам – зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у обманных скал.

А. Блок

С облегчением опустилс я на следующий день в глубокое кресло тихого кафе. Господин обер, дорodный и важный, подал черный кофе, рюмку зеленого шартреза, сухое печенье и пачку свежих газет, поклонился и с достоинством отошел в сторону. Я следил за ним, со страхом ожидая момента, когда останусь один, наедине с ужасом своего положения.

Вчера я взял себя в руки и сумел довести до конца мучительный вечер, как-то шутил, чему-то смеялся... Сотню раз заглянул в порочные глаза жены, стараясь найти в них сомнение, раскаяние, тревогу – что-нибудь, показывающее внутреннее волнение или хотя бы понимание мучительного тупика, в который она меня завлекла.

И ничего не прочел в спокойных светло-зеленых глазах, кроме обычной печали и пустоты. Она мило смеялась моим шуткам, была возбуждена, и это лишь подчеркивало угнетавшую меня удаленность ее души. Так сильна была жажда счастья, что одно ее веселое слово окрыляло меня, я вспыхи-

вал искренней радостью, но потом ловил неживой взор, устремленный поверх людских голов куда-то вдаль, и сжимался и опускал голову над бокалом.

Нет, нет – не моя...

И пока жена рассказывала о недавней поездке в Париж, живо и верно изображая сценки французской жизни, я слушал, улыбался и думал: что же... значит – пополам? Вынужден делить ее с цепкими руками Изольды... Вспомнил Камиллу и почувствовал стыд, представляя себе свою жену... Вспомнил хищный профиль Изольды, ее гордые слова: «Если когда-нибудь встретите такую надпись – знайте: перед вами стою я, воплощенная в ином образе. В него я вложила все самое святое, что нашла в себе. Отступитесь: он – мой!»

Я ничего не сказал Иоланте. Несколько раз начинал говорить, глядя на ненавистную надпись, но голос срывался и противно дрожал. И я обрывал фразу. Любовь толкала вперед: жизнь – не книга, и я – не выдуманный герой... А гордость гнала назад: надо замкнуться в себе и ждать. Если захочет, она придет сама... Нельзя унижаться до расспросов, которые можно истолковать как ревность.

Поздно ночью я подвел Иоланту к подъезду ее дома. Она вошла и оглянулась, как бы приглашая следовать за ней. Но я остановился у порога.

Мгновенье мы стояли молча.

– Благодарю вас за приятный вечер. За все, – я думал об Изольде. Чей-то железный голос в моей душе равнодушно повторял: «Люблю только тебя, и вся моя иная любовь – только ничто». И я отвечал голосу: «Нет, любовь неделима!»

Широко раскрытыми глазами жена смотрела на меня. Растерянно начала:

– То есть как же... Вы... – Смолкла. Закончила холодно: Спокойной ночи. – И захлопнула дверь.

Я спустился к мосту. Вот здесь вчера колесо судьбы вдавило в грязь серебряную розу... Боже мой... Это не то... Не то...

Бегом возвращаюсь к старому дому с крестом у входа. Сонный привратник нехотя открывает дверь. Бегом поднимаюсь по лестнице. Незапертая дверь.

Иоланта, положив голову на раскрытую книгу, беззвучно плачет.

Ну вот и все. А сегодня – снова день. И завтра – опять. И долгие дни впереди. Колебания между ненавистью и любовью, яростная злоба при воспоминании об Изольде. Все тот же проклятый профиль стоит перед глазами. «Будет время, когда вы захотите иного счастья – тогда я приду для мести».

Она пришла. Неужели так можно жить и дальше?

Почему Иоланта молчит? Ведь нельзя же забыть... Боится? Нет, слово страх в применении к ней звучит шуткой. Лжет? Но в больших зеленых глазах было столько равнодушия...

О, если бы только увидеть тревогу и раскаяние – простил бы и все забыл... Эх, если бы только поймать одно движение трусости – порвал бы тогда сразу... Но ничего этого не было... Чем больше я присматривался к жене, тем яснее видел, что самое главное, самое глубокое чувство, выраженное ее взором, всегда была печаль.

И это примирило меня с нею. Я решил взять себя в руки покрепче, отбросить мелочные соображения гордости и уязвленного самолюбия. Нужно поговорить, не требуя признания – к чему оно? – но преследуя лишь одну цель – познание правды, чтобы, поняв, можно было скорее помочь.

Настал день, когда я собрался, наконец, с силами.

– Странная надпись, Иоланта, – сказал я спокойно, взяв сигарету из ее портсигара.

– Ее сделал человек, любивший меня когда-то.

– Любивший?

– Может быть – любящий. Чужое сердце не в моей власти, милый.

– Оставим его в покое. Но ваше, Иоланта?

– Это ревность?

– Это гордость.

– Я не дала повода говорить мне такие вещи.

– Но надпись...

– Oh, darling, ведь не всегда же я имела честь быть вашей женой! Беспокоящие вас слова написаны до памятного послеполудня, – улыбаясь, Иоланта смотрела мне прямо в глаза. – Если в ваших вещах спрятан где-нибудь золотой локон или розовая ленточка – не выбрасывайте их, ради Бога: юридический контракт, заключенный нами в консульстве, не имеет обратной силы.

– Благодарю вас, я не собираю коллекций. И ничего не имею против вашей, если только она относится к прошлому.

Я встал, поцеловал жену и хотел выйти.

– Правдивость не позволяет мне закончить разговор на этом, – возразила она, глядя на меня большими, серьезными глазами.

«Начинается!» – пронеслось в голове, и сердце пугливо сжалось.

– Не обращали ли вы внимания, – начала Иоланта, спокойно зажигая новую сигарету, – что в одном сердце уживается много разных видов любви, если только так можно выразиться: любовь к мужу не мешает любви к ребенку, привязанность к отцу не исключает такого же чувства к бабушке...

– Ну, если надпись сделана вашей бабушкой, то прекратим разговор – он становится смешным, – прервал я, искушая Иоланту.

– Автор надписи – молодая девушка, но ее любовь ко мне и моя к ней не мешает мне любить вас.

– Конечно, нелепо было бы ревновать к подруге, – я пристально и в упор смотрел в прозрачные светло-зеленые глаза.

– Нет, это не просто подруга. Она друг и еще что-то большее. Вы поймете все в свое время, не спешите пока. Я хочу только подчеркнуть одно очень важное обстоятельство: даже один вид любви, например, основанной на половом влечении, всегда носит разные оттенки и выражается с разной степенью интенсивности – от мимолетной вспышки через бурную страсть до спокойной и постоянной привязанности. Если у женщины два любовника, она любит их все-таки по-разному, находя в каждом только ему присущие неповторимые черты. Испытывая мимолетное увлечение красивым мужчиной, женщина может отдаваться ему и в то же время полениться встать, чтобы подать стакан воды; а за другого человека она с радостью отдаст жизнь, потому что любит его больше себя, и любовь эта иная – в более высоком плане.

Она помолчала. Дрожа, я глядел ей в глаза.

– Вы должны помнить, что вы для меня пока – единственный мужчина, которого я люблю за молодость, силу, ум и смелость. В моей коллекции может быть любовь к бабушке и любовь к молодой женщине, любовь к брату, к товарищу, к другу – но другого такого, как вы, у меня нет. Я буду пристально наблюдать за вами, пока около вас не будет девушки, которую вы полюбите сильнее меня, я вам прощу все. Она появится – я уйду.

– Оставляя за собой большее и давая мне свободу в малом, вы, Иоланта, ожидаете того же и для себя?

– Бесспорно. Мы равны.

Я собрался с силами. Теперь или никогда!

– Таким образом, автор надписи означает для вас нечто меньшее, чем я?

– Он означает свое, иное, неповторимое и незаменимое. Он борется за меня, я готова бороться за вас. Возьмите же и вы на свои плечи тяжесть свободы и вольного чувства!

– Дорогая жена, выдержим ли мы такое испытание?
– Должны. Если нет, то мы не любим. Золото испытывают сильной кислотой. Помните, как это прекрасно сказал Ницше: «Кто никогда не воровал, тот не знает, что такое честность». Хочу пройти тяжелое искушение, чтобы вы знали потом всю твердость и преданность моей любви.

Она взволнованно встала и обняла меня.

– Ваша не на жизнь, а на смерть! Верите мне?

– Верю, – прошептал я сухими губами.

А потом бродил по городу. Ну, что же я получил? Узнал, что нужно бороться, чтобы сохранять первенство...

Подобно быстрому потоку, который шлифует камни, сглаживая их острые края, время постепенно и незаметно сблизило меня с Иолантой. Общие вкусы, интересы и симпатии с каждым днем все больше и больше облегчали нам совместную жизнь, поведение жены было безупречным, а я, раз приняв определенное решение, настойчиво придерживался одной взятой линии – спокойного, но твердого руководства. Мне казалось, что судьба доверила мне очаровательного, но больного и несчастного ребенка, и мой долг заключается в том, чтобы покрепче взять себя в руки и заботиться только об интересах своей воспитанницы.

Так мы и жили – обособленно и тихо, вместе работая и отдыхая. Наши связи в обществе к этому времени значительно расширились. Мы никого не подпускали к себе вплотную, слишком близко, но зато сами каждый вечер совершали «этнографические вылазки», встречаясь с самыми разнообразными людьми, дававшими богатый материал для наблюдений. Эти «вылазки» очень освежали нашу жизнь, тем более что социальный диапазон наших знакомств был весьма широк – от кругов «высоколобых» интеллигентов, где дебатировались животрепещущие темы культурной жизни и где талантливая молодежь – артисты, поэты, художники – встречали нас как почетных гостей, до подземного мира Гришки – тайных курилен опиума, хорошо замаскированных притонов извращенного порока, загородных вертепов преступления и нищеты и шикарных дансингов, где в обществе блестящих кокоток и элегантных сутенеров мы иногда съедали на рассвете порцию похлебки с требухой – пражского эквивалента лукового супа, до которого опускается парижский снобизм.

Жизнь могла бы бурлить вокруг нас, как праздничный карнавал, – могла, если бы мы не сделали одно открытие: как говорила тогда Иоланта, оказалось, что мы оба – цыганские

дети. Это был любопытный факт, значение которого я осмыслил лишь много позднее. Мы обнаружили, что оба болезненно любим природу, причем на особый, весьма странный манер: полное наслаждение и отдых давало нам только уединение в природе. Ни обычные формы спорта от модного теннис-клуба до простонародного футбола, ни обычное любование красивыми видами из окон дачи или из-за руля машины – ничто нас не захватывало: не причесанных ландшафтов, замусоленных туристами, искали мы, а простой природы и живущих в ней простых людей.

В субботу после обеда непреодолимая страсть влекла нас за город, словно волка и волчицу. Озираясь, чтобы избежать встречи с друзьями, мы пробирались на вокзал и уезжали подальше, иногда – в горы, чаще в леса, а зачастую и просто в сельскую местность. Вечером начинали молчаливый марш по уединенным тропинкам, дальше и дальше, через пустынные холмы и долины, уже подернутые лиловой мглой. Ночью делали привал где-нибудь на голом косогоре, под большой красной луной, медленно встающей из-за зубчатого ельника. Пока я возился с палаткой, **старуха** готовила на костре незатейливую пищу. Какой вкусной казалась поджаренная на огне колбаса, поданная дрожащими от холода ручками Иоланты! После еды мы сидели рядом и курили, слушая ночные шорохи. А когда молочный туман поднимался с низины – спали, крепко обнявшись и прижимаясь друг к другу, может быть, потому, что наша палатка была размером на одного человека.

Я помню завтраки на рассвете при бледнеющих звездах в горах среди скал и талого снега. Безлюдье, ветер, холод... И живительные глотки вина, заедаемые краюшкой хлеба. Помню дремотные обеды в монастырском саду, за дубовым столом, на котором пенится крепкая брага в глиняных кувшинах. По синему небу плывут пушистые облака, далеко внизу искрится широкая гладь озера... Лениво Иоланта отмахивается от кур и гусей, которые галдят вокруг и стараются стянуть со стола лакомый кусочек. Помню ужины в сельской корчме, вместе с подвыпившими поселянами. Там, в городе, одно щегольское словцо или рассчитанный жест заставляли Иоланту затворяться наглухо, и вы чувствовали ее, безмерно далекую и холодную, как северное небо. Здесь же душа ее раскрывалась и, видимо, отдыхала. Вот мы курим в кругу деревенских стариков. «В этом году не ожидайте дешевого овса, пани», – хрипит сквозь едкий дым краснорожий фермер, и Иоланта задумчиво кивает кудрявой головой, глядя зелеными глазами в глубины неведомого.

Сейчас они вспоминаются, как сон, эти мгновения короткого счастья. Были ли они? Да. Кажется... Если закрыть глаза и усилием воли освободиться от цепких пут сегодняшнего дня, тогда из сокровищницы, где хранится незабываемое, медленно встанут светлые видения. Как все это было давно...

«Я устала и хочу есть, – Иоланта опускается на корточки. – Дальше не иду». Тогда я прикрываю ее своим телом от косых полос холодного дождя. Мокрыми пальцами достаю ломоть хлеба и кусочек сыра. Она спокойно жует. Натянув поверх ее головы полу своего плаща, я жду и гляжу, как тучи тяжело клубятся над темными полями. Сыро. Холодно. Падающая вода шумит ровно и глухо. Мы одни. Я чувствую ее близость, я оберегаю ее и кормлю – и мне тепло. Боже, как тепло мне в пустом поле, под проливным осенним дождем!

В свинцовом небе на вершинах гор тускло белеет снег. По обеим сторонам потока лес синее, уходя в туманную даль. Суровая тишина. Угрюмое спокойствие. Мы одни. «Как жаль, что у нас нет крыльев», – жалобно говорит Иоланта, глядя на другой берег. Молча я беру ее на руки и вхожу в воду. Ледяная вода со злобным рокотом бежит мимо. Я чувствую изгиб упругого маленького тела на своей груди. Она – как змейка... Только теплая... Стоя среди потока, я нагибаю голову и нахожу влажные детские губы. Иоланта довольна и пылко отвечает на ласку: «Не надо крыльев, милый! Как хорошо без них!»

По свежим следам оленя в вековом бору мы находим глубокий провал, на дне которого притаилось крошечное озеро. Вверху сомкнулись тяжелые лапы елей, бор стоит кругом, седой и немой... Мы одни. Иоланта купается в черной воде, опавшие листья кружатся вокруг ее тоненького розового тела. Я срываю гибкий прут и меряю окружность ее талии и своей головы. Они равны. Иоланта очень довольна, она смеется: «Вот лесная сказка – большой Пан подглядывает, как плещется в черном озере маленькая Дриада». Она шалит и кокетничает, пока мое самообладание не приходит к концу: сильной рукой я хватаю ее за огненно-красные волосы и вытаскиваю на траву, еще обрызганную утренней росой.

В те счастливые минуты я ни о чем не думал. Просто представлял лицо солнцу и сидел, обняв молодую жену и закрыв глаза от чувства покоя и удовлетворения. Как-то друзья предложили веселую поездку на курорт большой и шумной компанией.

– Ну нет, – закричали мы оба, – нам нужна природа и полное, абсолютное одиночество.

– Какое же это абсолютное одиночество, раз вы бродите вдвоем?

Мы с Иолантой недоуменно переглянулись.

– Бывая одной, – позже сказал мне она, – я чувствую, что не все мое «я» бывает со мной. Это – ложное одиночество. Совершенно, по-настоящему одна я только вдвоем с вами. Поэтому отдых и успокоение дает мне лишь уединение, при котором я вся здесь нераздельно – я сама и моя вторая часть – вы.

Так мы нашли друг друга и друг в друге обрели себя.

И вот однажды я снова обратил внимание на то, о чем стал уже забывать, – на печальное и пустое выражение ее глаз. Заметил, и снова забыл. А потом уловил опять эту беспредметную тоску во взоре, скользкую поверх людей и вещей.

Беспредметную ли? Я встревожился. Мысленно перебрал все элементы нашего быта. Она никогда не жаловалась... Ничего не просила... Как будто бы все шло хорошо, с каждым днем все лучше и лучше... У нас было немного желаний, но то, что мы желали, оказывалось исполнимым. Уж не жалела ли Иоланта о потерянной свободе? Положа руку на сердце, я отвечал себе «нет», потому что ничем не ограничивал ее в нашем браке, ни одним вопросом, ни одним взглядом. Нет, контроля не было. Неизбежные ограничения вытекали для обеих сторон из добровольно принятых на себя обязательств.

Я начал приглашать гостей, каждый вечер возил жену в театр, дансинги. Вышло хуже: среди веселой суеты еще заметнее казались ее тоскливые взгляды и печальная рассеянность. Я терялся в догадках. Не верил себе, потихоньку наблюдал и снова убеждался в том же: моментами Иоланта напоминала зверька в клетке, маленького и слабого, сознающего невозможность сломать железные прутья и лишь с покорной грустью глядящего вдаль, в недоступные просторы свободы.

– Мадам нездорова, – дoloжила как-то горничная, когда Иоланты не было дома.

– Что с ней?

– Не могу понять. Она как будто во сне. Ничего не говорит, но... Спросите ее сами.

В тот вечер я был очень взволнован. Иоланта, сидя в кресле, рассказывала что-то. Я видел, какие усилия делает она над собой, чтобы поддерживать разговор.

– Вы больны, Иола?

— Нет.

— Но у вас странный вид.

С выражением отчаяния и тоски она глядит куда-то вверх.

— Я устаю в последнее время.

— Так позовем врача.

Страдальческая гримаса. Умоляющий жест.

— Не надо... Ради Бога.

С этого вечера под предлогом усталости она часами просиживала в кресле, опустив голову на грудь.

Потом ответы Иоланты стали короче. Иногда невпопад. Она уходила в другой мир, из которого возвращалась нехотя и с трудом. Каждый день приносил усиление ранее подмеченных странностей: молчание становилось упорным, попытки добиться ответа и весело расшевелить ее вызывали на глазах слезы. Иногда движения ее казались совершенно машинальными, она выполняла чужую волю, как заведенный автомат.

— Вы больны. Что с вами? — тревожился я.

— Что? — после некоторого молчания, точно с трудом поняв вопрос, отвечала Иоланта. — Больна?

Секунду она глядела на меня без всякого выражения. Потом отворачивалась и лицо кривилось гримасой страдания.

— Оставьте меня, — шепотом отвечала она. — Мне ничего не надо. Я здорова.

И вот настал, наконец, день, когда мучительная непонятность выяснилась. Утром кое-как горничной удалось поднять Иоланту с постели, накинуть халат и усадить в кресло. Но вечером, когда я вернулся, она с испуганным видом прибежала ко мне.

— Мадам очень плохо.

Мы поспешили в спальню. Я рванулся вперед с вопросами, но взглянул на жену — и остановился молча: это уже не была Иоланта.

— Скорее, Анна! Позовите доктора!

— У нас во дворе живет молодой врач... Может быть, его?

— Все равно. Только быстро, не теряйте времени.

Врач оказался сухощавым парнем с загорелым веснушчатым лицом и непослушными вихрами выцветших волос. Он был одет в пыльный и мятый спортивный костюм.

— Извините, я прямо со стадиона, — возбужденно начал он, энергично трясая мне руку и заметив мой взгляд, скользнувший по его одежде. — Грандиозный скандал: «Славия» сыграла «Спарте» восемь на три! Ну и дела, пане!

Он натянул белый халат.

– А виноват Ванэк: два раза промазал у самых ворот.

Вздыхнул. Лицо поблекло.

– Так что у вас болит?

– Нездорова моя жена, пожалуйста сюда.

Откинув голову на кожаную подушку, Иоланта неподвижно сидела в большом и глубоком кресле. Ничего не видя. Глаза уперлись в потолок.

Точно ожидая приговора на жизнь или смерть, я, затаив дыхание, следил за врачом. Он пробежал глазами по золотистому телу, на груди и бедрах облитому прозрачным шелком розового белья – в рамке обширных складок черного тяжелого халата оно казалось тоненьким букетом цветов, – исподлобья покосился на меня и взял бессильно лежавшую маленькую руку.

– Раз... два... три... – бормотал он, подсчитывая удары пульса. Вдруг его лицо просияло. С надеждой я рванулся вперед.

– В последнем хафтайме Годный лбом взял три мяча. Представьте-ка: три мяча, похожие на снаряды тяжелого орудия! Вот это лоб, пане! Что вы скажете?

– Ради Бога, доктор...

Молодой человек потух снова. Тряхнул головой и с казенным лицом повернулся к Иоланте.

– На что вы жалуетесь, уважаемая пани?

Молчание.

– Пульс – нормальный, температура тоже. В чем же дело? – обернулся он к горничной. Та быстрым шепотом сообщила свои наблюдения.

Врач повернулся к больной, внимательно и пытливо разглядывая ее безжизненное тело. Взял себя рукой за подбородок. Задумался. Сосредоточенная мысль светилась теперь в живых серых глазах.

– Ага, рассеянность... выражение страдания... так, так... быстро нарастали, говорите вы... Понятно! Она стала как заводная кукла... да... потом оцепенела... не хочет двигаться... не отвечает на вопросы... Гм, гм...

Минуту он молча стоял перед маленькой больной, не спуская с нее глаз и теребя свой загорелый, сильный подбородок. Потом подошел к столу и стал писать что-то.

– Горничная сейчас же сбегает. Аптека рядом, – тихо сказал я, думая, что врач пишет рецепт.

На бумаге был адрес.

– Позовите пана профессора доктора Крамаржа, – врач начал снимать халат.

– Вы предлагаете консилиум?

– Нет, но... разве вы не догадываетесь, что произошло с вашей супругой?

– Совершенно не понимаю, – сердце у меня сжалось в предчувствии ужасного.

– Здесь случай для психиатра. Пан профессор – наш лучший специалист. У молодой пани, по-видимому, циркулярный психоз.

– Что это такое?

– Маниакально-депрессивный круг. Депрессивная фаза.

– Ничего не понимаю, – с тоской проговорил я, озираясь вокруг, как будто бы в поисках поддержки. – Объясните проще.

– Проще? Как бы это выразиться... Ну, словом, ваша супруга сошла с ума.

Горничная провожала врача к выходной двери. Я один в большой комнате. Иоланта лежит неподвижно, невидящими глазами смотря в потолок.

– Циркулярный... маниакальный... депрессивный... – бормочу я в полной растерянности, как он сказал? – Круг и фаза? Да, да...

Потом, на бегу надевая шляпу и пальто, я выскакиваю на улицу.

Профессор Крамарж похож на ядовитый гриб. У него непомерно большая, круглая и лысая голова, пухлое тельце и короткие кривые ноги – они болтаются в воздухе, когда профессор сидит на диване. Из-под нависших черных бровей – тяжелый, пристальный и отталкивающий взгляд.

– Я пошлю к вам ассистента, – вяло повторяет он.

Но случайно я упоминаю о Посольстве, и неприятный человек поворачивает ко мне бугристый шар своей огромной головы. С любопытством рассматривает меня.

– Хорошо, едем.

Мягко ступая по ковру, профессор неслышно входит в спальню и останавливается перед Иолантой. Опустив голову, долго рассматривает ее исподлобья. Чувствуется, как этот тяжелый, неприятный взгляд выхватывает незримые нам характерные мелочи и через них проникает дальше в недоступный другим мрак, куда скрылась сейчас израненная душа Иоланты. Потом, не проронив ни слова, профессор идет в гостиную, садится к столу. Вынимает лист бумаги и карандаш.

– Вы хорошо знаете семью больной? Не очень? Жаль, все же расскажите, что вам известно. Отвечайте на вопросы, пожалуйста.

Профессор не спеша берет толстую сигару, с чувством закуривает и начинает записывать мои ответы в кружки, которые соединяет линиями. Получается что-то похожее на генеалогическое дерево.

– Начнем с отца молодой пани. Не был ли он болен сифилисом?

Задав этот вопрос, маленький человечек пускает клуб дыма и внимательно смотрит на меня, слегка наклонив голову. В неподвижном взоре мне чудится насмешка. С трудом я сдерживаю себя и даю ответ.

– Нет? Так, так... Ну, а туберкулезом? Да? Очень хорошо. Очень. Запишем. Еще чем? Не знаете? Ну, а не замечали ли вы в его поведении каких-нибудь странностей? Определите его характер? Что он за человек?

Профессор спрашивает и записывает. Как у следователя, я сижу на кончике стула и отвечаю на мерзкие вопросы, которыми он настойчиво лезет в щели чужой жизни, стараясь выворотить из них побольше нечистот.

– Вот, кажется, готово. Все ясно, – с довольным видом он похлопывает коротенькой волосатой рукой по исписанному листу.

Я заглядываю и вижу плоды его работы.

Отец: Мать:

Тбк. Легкомысленный. Тбк. Умерла от легочного кровотечения.

Любитель выпить. Повышенная нервность, вспыльчивость. Слабохарактерный добряк. Приступы неукротимого гнева.

Старший сын:

Азартный игрок в карты. Пьет.

Неоднократно покушался на самоубийство.

Второй сын:

Алкоголик. Отказался учиться.

Больная:

Тбк. Выраженная инфантильность.

Была при смерти от тбк. легких в возрасте 19 лет.

Странности: беспредметная печаль, бегство от людей, жизнь в мечтах, неопределенные устремления, пустота взгляда.

Малая заинтересованность в окружающем.

Приступ психоза через год после брака (беременна?).

Младшая сестра:

Злобный неуживчивый человек. «Со странностями».
Пьет (немного). Фанатичка.

– Вполне ясная картина, – изрекает профессор.

Я с ненавистью смотрю на белое, пухлое горло. Хорошо бы сдавить его пальцами.

– Однако, – хрипло говорю я, – такую таблицу можно составить о каждом человеке, в том числе обо мне и о вас.

– Вас я не имею честь знать, а о себе подтверждаю ваши слова. Это лишь показывает, что так называемых здоровых и нормальных людей среди нас мало. Извольте проводить меня к больной.

Ловкими и быстрыми движениями профессор обстоятельно осматривает Иоланту. Для этого горничная и я поднимаем ее с кресла и, поддерживая сзади, заставляем стоять среди комнаты, босыми ногами на ковре. Профессор умелыми вопросами горничной вскрывает картину болезни – постепенное и все ускоряющееся нарастание симптомов, давших в конце концов картину ступора. Он говорит вполголоса, короткими отрывистыми фразами. Она отвечает быстрым захлебывающимся шепотом. Когда осмотр окончен, профессор вдруг грубо берет больную за плечи и совершенно неожиданно резко и повелительно спрашивает:

– Вы ели сегодня?

Голова больной, бессильно запрокинутая назад, на мою грудь, чуть заметно вздрагивает. Но лицо остается пустым.

– Я спрашиваю: вы ели сегодня? Мне некогда ждать! Отвечайте!

Он настойчиво трясет ее за плечи.

Иоланта медленно-медленно поднимает голову и смотрит на профессора. Бледные сухие губы дрожат. С видимым усилием она пытается сказать что-то и не может.

– Отвечайте сию же минуту! Я не шучу! Мне надоело повторять одно и то же! Ели вы или нет? Ну?! Ну?!

Иоланта беззвучно шевелит губами. В страшно больших глазах – тоска и страдание, они блестят влагой. Потом две крупные слезы ползут по бледным щекам. С легким стоном она закрывает глаза и роняет голову на грудь.

Горничная всхлипывает.

– Дура, – свирепо цедит сквозь зубы профессор, – пошла вон!

Потом, как бы про себя, добавляет: А все-таки контакт пока что возможен... – Наконец, укладывает Иоланту в крес-

ло, очень мягко, почти добродушно заканчивает: Маленькая пани нас хорошо видит, слышит и понимает, но говорить с нами пока не желает. Не будем ее тревожить – пусть отдыхает.

Мы вышли в гостиную.

– Ну как, пан профессор? Говорите, ради Бога!

И опять я сижу в кресле, а профессор на диване. Рядом с ним заготовленная пачка книг. В сумраке уютной комнаты вижу перед собой бугристый круглый череп и коротенькие ноги, которые не касаются пола.

– Случалось ли вам, молодой человек, наткнуться в книгах на описания людских характеров, которые кажутся зарисовками с нас самих или наших близких? Например, встречали ли вы литературный портрет пани Иоланты?

И прежде чем я успеваю ответить, память услужливо раскрывает передо мной картину теплого послеполудня на лестнице, устланной алым ковром. Закрыв глаза я беззвучно произношу слова, ставшие для меня магической формулой и заклинанием:

«Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно видеть на картинах Гвидо – нежная, бледная, проникновенная, чуждая низких мыслей откормленного невежества, которое глядит на мир сверху вниз, но вместе с тем и лишенная робости, поднимающая глаза снизу вверх. Она смотрела прямо вперед, но так, точно взор ее видел потустороннее».

«Для этих людей жизнь точно подернута траурным флером – между тем негромко читал профессор страницу из скучного вида книги. – Они видят в ней только печальное. Их можно довольно легко вывести из обычного состояния грусти и неопределенных устремлений; тогда они начинают улыбаться и шутить, становятся такими, как все. Но вот разговор кончен – и снова они возвращаются в свое царство теней. Эти люди охотно молчат и сторонятся окружающих, одиночество манит их, как открытая бездна. Во-первых, потому что болезненная фантазия предлагает им взамен реального мира иной, дивный и прекрасный, а во-вторых, потому что соприкосновение с людьми для них зачастую мучительно: их душа сверхчувствительная и потому необычайно легко ранима – она как будто лишена того спасительного покрова, который делает нормального человека покладистым, терпеливым, выносливым к трагедии нашего бытия. Отсюда их частая одаренность, душевная чистота и обаяние: стоящие вне низких интересов всего земного, слабые и беззащитные, они способны без всяких усилий со своей стороны возбуждать в других самую страстную любовь».

Так и живут эти люди – как нежные оранжерейные цветы, в вечной опасности неожиданной гибели: свежий ветер, который только укрепляет полевые растения, должен неизбежно подорвать их красивое, но эфемерное существование».

– Что вы читаете, профессор? – воскликнул я. – Вы меня поразили: ведь это – портрет Иоланты!

– Это – портрет шизоида психоастенического типа, – профессор уперся в меня тяжелым, неподвижным взглядом. – Я читаю соответствующий раздел главы «Смежные состояния» курса психопатологии одного известного ученого.

Пожилая горничная в черном подала кофе, ликеры и коробку сигар. Уже знакомыми мне жестами маленький неприятный человечек не спеша обжал сигару, срезал кончик и с чувством закурил. Этот день переполнил меня ужасными впечатлениями, я очень устал и сидел, понуриив голову в ожидании дальнейших ударов.

– «Из поколения в поколение, – начал снова он, – накапливаются отрицательные признаки, снижающие жизнеспособность рода. Наконец, появляется экземпляр, особенно сильноотягченный дурной наследственностью и потому плохо приспособленный к существованию. Жизнь обрушивает на него ряд испытаний, которые нормальному индивидууму не только не опасны, но просто необходимы и естественны, например, половое созревание, беременность, климакс, но в данном случае они вызывают в течение индивидуального развития дальнейшее усиление органических и функциональных дефектов. Таким образом, онто- и филогенетическое развитие данной особи приводит ее в состояние полной неспособности сопротивляться разрушительным влияниям объективных и субъективных факторов. С широкой биологической точки зрения это – неудачный, порочный индивид, подлежащий уничтожению согласно закону естественного отбора, но в человеческом обществе этого не бывает, и забракованные природой экземпляры живут.

Психика является отражением сомы: в своем развитии поэтому она неизбежно повторяет путь последней. В ней происходит накопление и усиление болезненных симптомов, которые вызывают патологический сдвиг от нормы в сторону явно выраженного душевного заболевания. Интересующий нас физически неполноценный субъект застревает на полпути между душевным здоровьем и душевной болезнью, в состоянии, которое мы, психиатры, называем «смежным» или «пограничным». Такой человек не здоров и не болен; он – благо-

датная почва для дурных влияний, его удел – жить на грани тяжелых психических заболеваний. Это естественно: в его душе, зачастую красивой и благородной, заложена вечно тлеющая искра безумия!»

– И циркулярный психоз – это неизбежный для шизоида дальнейший сдвиг в сторону усиления болезненного состояния?

– Нет. У нас не имеется оснований утверждать, что смежное состояние должно со временем обязательно развиваться в тяжелый психоз. Мы знаем только, что любой удар по семе для психики может вызвать такой сдвиг. Больше того, само смежное состояние вызывается, очевидно, расстройством эндокринного обмена на почве физиологического развития организма (полового созревания, беременности, климакса) или патологического влияния инфекции (люэса, туберкулеза и тому подобного). Это расстройство в любой момент может усиливаться и тем самым сбросить больного с пограничного состояния в область психоза. Но, повторяю, это не обязательно.

– Так что по характеру пограничного состояния вы всегда можете предугадать направление, по которому пойдет развитие психоза?

– Никоим образом. Каждое смежное состояние – это симптомокомплекс, и дальнейшее патологическое развитие избирательно обостряет одну какую-нибудь характерную черту. Например, у астеника с повторяющимися обострениями заложены роковое стремление уйти от людей в мир мечты и беспредметная печаль. Развитие первого симптома даст шизофрению, то есть расщепление личности между реальным и воображаемым миром, с последующим (в случае тяжелого обострения) исходом в полное безумие вследствие окончательного и необратимого распада личности. Развитие второго симптома дает циркулярный психоз, то есть период подавленности, затем по закону компенсации (но не всегда) сменяющийся периодом психомоторного возбуждения. Эту картину мы наблюдаем у вашей супруги.

– Что же будет с ней дальше?

– Неизвестно. Вероятно, наступление маниакальной фазы, поэтому вы заблаговременно должны поместить ее в психолечебницу. Но возможен и другой вариант: постепенное ослабление патологических явлений и...

– Выздоровление?! – закричал я радостно.

– К сожалению, нет. Только возвращение к исходному пункту. Это – в лучшем случае. Но каждый приступ разрушает психику. Бывает, что за всю жизнь приступ случается лишь

раз. Такой больной остается после приступа тем же, каким он был до него. В случае частых повторений психоза личность начинает распадаться, душевные силы иссякают, и больного ожидает заслуженный отдых в полном безумии.

Мы помолчали. Руки у меня тряслись. Голова, странно пустая, была переполнена быстро несущимися обрывками мыслей. Профессор прихлебывал ликер.

– Почему вы сказали – «заслуженный отдых»?

– Потому что отсутствие выражения на лице таких больных – лишь следствие угнетения нервной системы, ведающей мимикой. Такая пустота – обманчива. Она прикрывает страшную драму и нечеловеческие страдания, которые терзают больную душу, погруженную в мир призраков. Эти больные – в полном смысле великомученики, и для многих из них безумие будет отдыхом.

Тогда, сам не знаю почему, я рассказал профессору об Изольде и необычных наклонностях Иоланты.

Ничего не изменилось на его лице. Непомерно большая лысая голова не шевельнулась, глубоко запавшие глаза также тяжело и отталкивающе смотрели из-под густых бровей. Он не проявил никакого интереса к предмету, и я почувствовал в душе теплую благодарность.

– Штрих, лишь подтверждающий уже известную картину дефективности, но не вносящий ничего существенно нового, – серьезно закончил профессор. – Французская школа объясняет гомосексуализм психопатологическими факторами, открывающими двери дурным влияниям среды. Современная русская школа доминирующее влияние отводит социальной неустроенности. Немцы выдвинули теорию генов, объясняющую гомосексуализм неполной или неправильной дифференциацией половых признаков. Мне кажется, что правы все по-немногу: недостаточно или неправильно определившийся пол создает благоприятные условия для порочных влияний, которые не действуют на вполне нормального человека. Аномалия вашей супруги выражена слабо: это не гомосексуальность, а бисексуальность, то есть, половое влечение не направлено исключительно на лиц своего пола, а патологически разделено между обоими полами. Согласно одной точки зрения, такое положение вещей является результатом недостаточно четкого разделения элементов пола в начальной стадии развития зародышевой клетки: вместо мужчины или женщины получается мужеженщина. Психический бисексуализм – нечто иное, как слабая степень того явления, которое в своем

полном развитии дает физический гермафродитизм. Такое понимание данного явления осуждает вас и меня на полную пассивность. Но согласно другой точки зрения, мы имеем здесь дефект воли, а значит роковую неспособность к сопротивлению порочному влечению. Это объяснение имеет для вас двойное значение: с одной стороны, оно должно звать на борьбу с пороком, которому вы можете и должны противопоставить свое доброе влияние, – психотерапия, подкрепленная трудовой нагрузкой, имеет все виды на успех. С другой стороны, будьте осторожны: сегодняшняя лесбиянка завтра может стать преступницей. Люди, не умеющие вовремя сказать «нет», потенциально готовы на все. Ваша прелестная супруга – опасный ящик Пандоры. Никогда не забывайте этого и берегитесь!

Профессор поднялся, давая понять, что разговор окончен. Мы условились о переводе больной в лечебницу. Он сунул мне в руки пачку книг, которую я взял совершенно автоматически.

Мы идем к дверям. Я чувствую, что горблюсь: столько ударов получил я за эти дни. Но, кажется, теперь все...

У двери профессор останавливается. Разглядывая мой жилет, говорит любезно:

– Кстати, чтобы не забыть: болезнь пани Иоланты основание для иска о разводе. Если угодно, пришлите своего поверенного. Я дам положительное заключение.

Как потерянный, выхожу на улицу, украшенную предвечерним розовым сиянием. В листве деревьев радостно щебечут воробьи. Очевидно, прошел дождь, потому что вдоль тротуаров бегут ручейки, и дети с веселым криком пускают в них кораблики.

– Отдыхом будет безумие, – шепчу я.

Снова дома. Не зная, что делать, горничная постояла и на цыпочках вышла. Я остался один, наедине с тем, что было Иолантой.

Широкие окна спальни выходили в парк, за которым садилось солнце. В просторной комнате уже сгустились фиолетовые тени, она потонула в них – мебель, ковер, зеркало, все давно знакомое и привычное вдруг исчезло. Кроваво-красные полосы протянулись из окон и уперлись в стену, обрызгав ее алыми пятнами зловещего света. В них, как будто сгорая на костре, сидит Иоланта, погруженная в безумие.

Она откинулась назад в мертвой неподвижности и глядела невидящими глазами в пурпурное солнце. Что-то страшное было в ней – и соблазнительно волнующее, как всегда. Про-

зрачное белье только обнажало и дразнило, тяжелый бархат халата, скрывая подробности, открывал совершенство общих линий. Это был дивный сосуд, из которого жадными устами я пил сладкий яд наслаждения. Теперь он был пуст... разбит... и в бессильном отчаянии, ломая руки, я стоял над его обломками.

Так смотрел я на то, что осталось мне от Иоланты. Одно за другим вставали воспоминания... легкие, как сон... и ложились на усталые плечи пластами свинцового груза. И я склонился под их тяжестью, ниже... ниже... пока не уронил несчастную голову на ковер, к розовым ножкам своей безумной подруги.

Глава 4

Ни правда, ни ложь

En esta vida todo es verdad y mentira

Calderon

В этой жизни все правда и все ложь.

Кальдерон

– Ты – здесь?!

Гришка, одетый в элегантный смокинг, тщательно причесанный и слегка надушенный, подсел за мой столик.

– А Иола? Придет позднее?

– Нет. Я один.

Он пристально поглядел на меня.

– Иди-ка, брат, домой. Имея такую жену, притащиться в кабачок одному – просто свинство. Говорю это по праву друга.

– Оставь. Закажи хорошее вино.

– Нет, не закажу. Пришел сюда раз, притащишься и второй, потом понравится – и ты оторвешься от жены. Любая семья лучше банды сутенеров и проституток, а Иола... Не ожидал от тебя... Словом, решено: едем к тебе и ужинаем у тебя втроем.

Я отрицательно качнул головой.

– Тогда поедем за ней.

– Ее нет дома.

– А где же она?

– Не знаю.
– И часто это бывает?
– Раньше – нет, в последнее время, после возвращения из больницы – да. И в одно и то же время. По четвергам вечером. Гришка быстро взглянул на меня и тихонько свистнул.

– Вот как у вас пошли дела... Ну-ну...

Мы замолчали. Подали вино и фрукты. Две девушки сделали нам предлагающий жест. Неспешно плыли мимо танцующие. Когда приятный голос запел что-то «*a la luz de la luna*», наблюдавший за мной Гришка сказал:

– Ты хотел заказать еще что-то?

И любезно прикрыл мое лицо большим листом меню.

Я рассказал товарищу все от самого начала и до конца – историю возлюбленной и жены, украденной у меня пороком и болезнью.

– Ты помнишь мои слова, сказанные после первой встречи с Иолантой на площади? – начал Гришка, внимательно выслушав мою исповедь.

– Хочешь похвастать тем, что разгадал выражение ее глаз?

– Нет, зачем же ты так дурно думаешь обо мне. Дело в другом: я предложил тебе рассказать кое-что о мадам Гольдберг, но ты не захотел слушать. Это оказалось для тебя роковой ошибкой.

– Почему?

– Сейчас увидишь сам. Слушай.

В начале 1926 года к нам на склад поступили новые счетно-статистические машины. Это – дьявольски умные станки, похожие на печатные – протягивают руки, перелистывают картотеку, разносят цифры и сами замечают и исправляют ошибки. Мне удалось продать пять штук, а нужно сказать – стоят они немало. И вот хозяин вызвал меня к себе в кабинет, подал конверт с деньгами и говорит:

– Это – премия за продажу новых счетных машин. Возьмите и пустите ее в трубу – такой красивый молодой человек, наверное, умеет это делать. Не жалейте – будут еще: рынок может вместить до двадцати таких машин, за каждые три вы получите премию, причем сумма будет увеличиваться. Поработайте – и я в долгу не останусь: этот год будет у вас веселым.

Я поблагодарил и хотел выйти, как вдруг господин Гольдберг жестом остановил меня:

– Кстати, молодой человек, я хотел бы познакомить вас с моей женой. Знаете, она томится одна, не согласитесь ли вы

захватить ее с собой, отправляясь праздновать получение премии?

Я вежливо согласился и вышел, внутренне кляня хозяина отборной бранью: старый еврей решил подсунуть мне свою толстую Сару, чтобы я развлекал ее на мои деньги! Нехотя заехал к ним вечером и оторопел: ко мне вышла роскошная полногрудая красавица, представляешь – рыжая молодая еврейка, кровь с молоком, холеная, веселая, наглая. Смерила меня взглядом с ног до головы, как будто приценивалась на рынке, и, видимо, осталась довольна:

– Ну, князь, начнем...

– Что начнем, мадам?

– Как что? – она нагло усмехнулась, скаля великолепные зубы. – Начинаем растрачивать вашу премию. Как жена главы фирмы я заинтересована, чтобы вы остались довольны сегодняшним вечером.

Поехали. Ужин, театр, кабачок. Я старался выдержать тон человека, по обязанностям сопровождающего супругу начальника – мямлил какой-то вздор, танцевал, держа ее от себя подальше... А она... Ну, словом, ночевал я в постели господина Гольдберга, в их семейной спальне.

– Да что ты?!

– Честное слово. Лия была роскошна... Нет, мало этого – она оказалась очень интересной, большой умницей, необычайно остроумной и веселой... Я так хохотал ее шуткам, что, право, любовные упражнения даже не вспоминались потом как главное в приключениях той ночи. Хотя в них она понимала толк, прошу верить!

Утром я улизнул из их богатой квартиры, дивясь ее дерзости. Вспоминая все утром, обратил внимание на странное отсутствие прислуги... Как она могла все приготовить так тщательно под носом у мужа? Он якобы уехал в тот вечер по делам...

Ну ладно. Теперь-то слушай самое интересное.

На следующий день утром являюсь в контору и вижу: господин Гольдберг сидит как ни в чем не бывало в кабинете. Да ведь он уезжал?! Странно. Тут меня вызвали к нему. Я решил, что он пронюхал о вчерашнем и мне конец. Сжался, а сам думаю: «Ей-Богу, Лия того стоит!»

– Я позвал вас на минутку. Скажите, вы вчера почувствовали, что я ценю ваше старание?

Не зная, что ответить, я издал неопределенный звук.

– Учтите, условия премии – три машины. Это все. Идите, – и подмигнул на прощание кривым глазом.

– Неужели он узнал? – спросил я, удивленный необычной историей.

– Не узнал, а знал заранее! Да-да – выдал премию и организовал ее скорейшее исчезновение из моего кармана в целях подхлестывания работы, а с другой стороны, считаясь с фактором, что такая жена ему неровня, извлек пользу из неизбежного ее грехопадения.

– Негодяй!

– Не знаю. Не осуждай поспешно! А если он сильно любит ее и может держать только попустительством? Но это не наше дело. Я продал еще три машины, потом еще и каждый раз получал премию – деньги и Лию. Мы познакомились ближе. Изредка я стал бывать у них, восхищаясь ее умом, настоящим еврейским умом – острым, быстрым, скептическим. Ну и... мы проводили время не только в гостиной. Хочу только, чтобы ты ясно понял одно: Лия была блестящей женщиной.

Гришка сделал паузу и минуту глядел поверх толпы, улыбаясь воспоминаниям. Потом отхлебнул вина, закурил и снова начал рассказ, многозначительно понизив голос:

– Как-то раз я встретил у нее молоденькую девушку, полку, этакое беленькое и бледненькое созданище. «Это – Анеля, мой сердечный друг», – познакомила нас Лия. Потом мы пару раз встречались втроем. Я злился, потому что эта конфетка попросту обкрадывала меня: жаль было времени свидания с Лией. Но каждый раз я невольно чувствовал что-то странное – они противно обнимались, как институтки. Зло меня взяло: Лия со мной была одна, а с ней – другая. Странность их отношений возбудила сначала удивление, а потом – обиду, не удивляйся, это так! Я хочу сказать, что простота и живость Лии создали иллюзию человеческих отношений между нами, и мне больно было вновь познать, что меня купили лишь для забавы. Потребовалось некоторое усилие воли, чтобы подавить вспыхнувшие чувства. Но ты знаешь, я не способен переживать драмы и беру факты, как они есть. Примирясь с обстоятельствами, я стал изучать Лию. Выбрав подходящий момент, я спросил об Анеле прямо – с Лией можно было говорить без церемоний. Ее дерзкая прямота допускала вольность. «Анеля – моя любовница», – подтвердила она. Лия не была ни цинична, ни хвастлива. У нее просто отсутствовала мораль – начисто, понимаешь? Поэтому она говорила легко, просто – и самые необычные вещи у нее казались естественными: что женское тело приятно освежает после длительного общения с мужским, что с мужчинами женщине приходится быть по-

слушной исполнительницей, а с девушкой можно самой проявить инициативу, что запретный плод вообще всегда сладок и запах женщины ее особенно возбуждает – как яд, как грех...

Наконец, бывая у них в доме и узнав Лию до конца, я обнаружил то, ради чего повел весь этот разговор и что хотел сообщить тебе уже тогда, на площади Вацлава. Слушай: по четвергам у нее собираются дамы без мужчин. На чашку чая.

– Ну, и что же?

– Господин Гольдберг обязательно отсутствует.

– Ясно: что ему делать с ними?

– Прислуга убирается вон из квартиры.

– Ах, так...

Мы помолчали.

– Что же ты хочешь сказать этим?

– Вот тебе ключ от парадной двери.

Иоланты нет, есть второе воплощение Изольды. Он победил снова, этот порок, укравший у меня сначала возлюбленную, потом – жену. Ухожу к нему – вот смысл того, что будет. Была Изольда, потом Иоланта, пусть будет Лия. Это твой дух витает там, Notre-Dame de Lesbie, и тебе приду поклониться...

Вместо ревности и злобы пусть будет отныне только отчаяние и веселое приключение на развалинах прошлого!

В шесть часов я спокойно взошел по лестнице и открыл парадную дверь. Большая передняя, несколько дамских пальто. Прислушался – из дальних комнат доносились голоса и смех. Как пройти лучше?

Я подошел к двери, ведущей, очевидно, в гостиную. Говорили негромко два женских голоса. Осторожно открыл дверь и поднял тяжелый штофный занавес.

На широком диване сидела спиной ко мне совершенно обнаженная девушка. Мягкие пряди пепельных волос упали на стройную спину, бело-розовую, как жемчуг. Я все вспомнил, и кровь бросилась в голову, разом задрожали колени... Я стоял, сжимая руками безумно бьющееся сердце.

Позади сидевшей лежала навзничь вторая девушка, также обнаженная – видно было только стройное и гибкое тело, матово-золотистый цвет которого тоже показался жутко знакомым.

– Вы сделаны из драгоценных материалов, – звонким металлическим голосом сказала сидевшая, легко касаясь груди и бедер той, которая лежала, – вся, – слоновая кость и золото.

Она наклонилась и пепельно-золотые кудри упали на огненно-рыжие, губы слились в долгом поцелуе, и я увидел глядевшие на меня в упор огромные глаза – пустые и тоскующие глаза моей жены.

Начался странный период моей жизни.

Внешне ничего не изменилось. Один «я» жил и работал, как прежде, то есть вел двойное существование – скромного и нарочито незаметного экономиста в большом торговом учреждении и **неизвестного** со многими масками на лице советского разведчика, незримо играющего на десятке невидимых сцен разные акты все той же страшной трагедии смертельной борьбы между старым и новым. Но среди этой фантастической смены лиц и положений, в постоянном водовороте неожиданностей и опасностей, при всем невероятном напряжении душевных сил, воли и знаний, у меня неизменно, всегда и при всех обстоятельствах оставалось еще одно «я», второе, пятое и десятое – человека, мучительно ломающего себе голову над одним и тем же вопросом: Иоланта...

Что делать? Где выход?

Решение пришло не сразу. Нужно решительно изменить обстановку... Оторвать от Изольды... Дать занятие, которое бы поглотило целиком, заняло без остатка время, ее мысли и действия... с утра до вечера... каждый день... недели... месяцы... если нужно – годы...

Я долго стоял над пропастью, мысленно с ужасом вглядываясь в бездонную пучину. Потом обхватил Иоланту обеими руками, стиснул зубы и прыгнул.

Мы оба полетели вниз головой...

– Спуск в подполье – вот что я предлагаю вам, Иола, – сказал я и остановился. Вкратце изложил дело и теперь перевел дух в ожидании... чего же? – протеста, сомнений, радости? Спокойное рукопожатие, доверчивая улыбка...

Ну, ну, еще один шаг, последний.

Иоланта спокойно подняла глаза.

– Да или нет – отвечайте, Иола.

Она улыбнулась.

– Путешествие на тот свет с остановками во всех частях этого... Когда мы укладываемся, милый?

– Вы не понимаете серьезности того, что я вам сказал. Ваша легкость.

– Вы ожидали заламывания рук?

– Но опасности...

– В опасные моменты будем пристально наблюдать друг за другом. Берегитесь! Я окажусь сильным соперником и не буду той стороной, которая дрогнет: посмотрим, кто из нас смелее.

– Но соблазны, Иола! Вы должны... – я заранее решил обо ее предостеречь, но, взглянув в ясные глаза жены, мне стало совестно. Я волновался, не находил слов, Иоланта спокойно ожидала, без любопытства, без волнения. Я бы сказал, с любезным вниманием.

Прошли минуты. Ну, надо кончать.

– Иола, связь между подпольем и обычным миром не дозволится: спускаясь вниз, мы обрываем за собой все. Понимаете: все. – Иоланта, улыбаясь, кивнула головой.

– Тогда дайте руку. Пусть это будет клятвой. Мы оба сжигаем прошлое.

– Клянусь!

Я сжал узкую, нежную руку. Она не дрожала, не была вялой. Спокойное рукопожатие, доверчивая улыбка...

Ну, ну, еще один шаг, последний.

– Иола, мы выйдем на Карлов мост, и вы бросите проклятый портсигар в реку.

Иоланта тихо засмеялась и хлопнула в ладоши.

– Что же вы молчите?! Значит, вы не...

– Какой вы ребенок, милый. Я сделаю гораздо больше – подарю «проклятый портсигар» вам. Если он – символ, то пусть символичной будет и передача его вам. Ай-ай, как будут завидовать ваши друзья: ведь не каждый муженек получает от своей женушки такую надпись!

Она взяла со столика портсигар и протянула его мне.

– Я вас люблю, и это – главное. Только это. Не будьте мещанином и не подменяйте чувства вещами и обрядами: пустяки могут заслонить главное, выхолостить душу. Я вас люблю и рада, что работа в подполье даст мне возможность доказать это. Вы увидите: с вами выступил в поход товарищ, друг, однополчанин! В бою вы почувствуете это! – Она помолчала, собираясь с мыслями. – Вопрос о моем решении и не стоял серьезно. Я прекрасно понимаю, что мне нужно сделать героическое усилие и переделать себя. Но...

Иоланта запнулась. Я рванул к ней, взял ее руки в свои.

– Но?! Говорите же, говорите!

– Милый, милый... Вы потом узнаете меня лучше. Но выдержите ли вы эту линию товарищеской помощи? Именно вы? Вы? Выдержите ли?

Я не понял ее тогда. Мне показались эти слова странными, бессмысленными. Что я должен был выдержать? Опасность? Так я не трус! Линию товарищеской помощи? Но ведь я люблю ее! Чепуха... В чем она сомневается? Ах, чепуха... Какая чепуха!!

Я горячо поцеловал ее, сильно, преданно, верно, – как человек, не ведающий, что скоро, да, очень скоро он окажется предателем.

– Милый... Милый... – шептала Иоланта. – Будь что будет! Я бросаюсь головой вниз, сжимая вас в объятиях...

«Она читает мои мысли... как всегда...» – повторял я себе, и почему-то уверенности и радости становилось меньше... Шло время. В комнате стало почти темно, а мы стояли молча, дрожа, крепко-накрепко обнявшись у самого порога Неизвестного.

Катастрофа наступила быстро – через четыре бурных месяца, пролетевших, как одна грозовая ночь. Вот два человека бегут во тьме, оглушенные раскатами грома, ослепленные вспышками молнии. Косой дождь хлещет в лица... Они на миг закрывают глаза... Один делает неверный шаг и... Дальше в черной мгле, под рев ветра, в струях холодного дождя бежит уже один человек... Спотыкаясь, падая и упорно поднимаясь, один человек бежит дальше, все дальше... еще дальше... пока не исчезает в черной мгле... пока не добежит. Куда?

О, если бы он знал это тогда...

Купе-люкс международного экспресса. Закутавшись в дорогие меха, Иоланта делает вид, что дремлет. Последняя венгерская станция. Еще две-три минуты – и страшная опасность останется позади: «демократическая» Австрия кажется детским садом по сравнению с хортистской Венгрией. Жандармы вскочили в вагон с подъехавшего к маленькой станции автомобиля и впопыхах, с шумом, стали тащить знатную даму, несмотря на то что она небрежно показала свой английский паспорт и даже высокомерно подчеркнула ноготком свою громкую аристократическую фамилию. Венгерская ругань и английские протесты привлекли внимание английских и американских туристов: видя, что **венгерские свиньи** обижают леди, мужчины сбросили пиджаки и вступили в рукопашный бой с жандармами в узком коридоре вагона. Иоланта успела запереться в купе. Пока длилась свалка, вызывали проводника и ломали дверь, поезд тронулся и вышел за государственную границу Венгрии. Никто из жандармов не сообразил своевременно повернуть ручку тормоза. Иоланту арестовали уже

австрийцы: в ее багаже нашлось немало предосудительного с точки зрения австрийских властей. Позднее появились еще кое-какие веские подробности, и судьба арестованной была решена быстро: военный суд приговорил ее к пятилетнему заключению в военной тюрьме.

Во время процесса я, конечно, не приезжал в Вену, а следил за ним по газетам, но когда Иоланту перевезли в крепость и ее имя исчезло со страниц прессы, все успокоилось. Настал, наконец, момент, когда надо было добиться свидания.

Однако в это время я с головой ушел в выполнение ответственных заданий и колесил по Европе между Стамбулом и Осло, Варшавой и Лиссабоном. Я гордился собой и своими успехами, которые подбивали меня к новым и новым обязательствам, и дни летели с головокружительной быстротой. Конечно, я всегда помнил об Иоланте. Среди самых неотложных вопросов работы, успел договориться с начальством, подставные лица нашли необходимого юриста и через него обеспечили передачу заключенной всего необходимого. Я сделал решительно все, чтобы материально ей помочь...

Но не приехал сразу. Да, не приехал **сразу**.

Прошла неделя... Еще одна... Совесть, вначале шепотом говорившая мне, что я поступаю неверно, забывая про душу и заботясь лишь о теле, наконец, завопила о подлости. «Ведь я жертвую всем только для дела, — успокаивал я себя. — Работа — вот лучшая дань любви к Иоланте...» «Вы ведете себя, как герой!» — сказал мне однажды начальник. Тогда я вспомнил ее слова на мосту ночью, побежал на вокзал и вскочил на венский поезд.

Вечером прибыл в крепость. Серые бетонные казематы, серый бетонный двор. Комендатура. Равнодушный просмотр документов. Наконец, узенькая полоска серой бумаги в дрожащих от нетерпения руках — пропуск...

Старый унтер ведет меня через залитый дождем двор. Низкие двери. Темный коридор. Железная дверь с номером.

— Входите, — сипит унтер.

Узкая длинная комната подвала, слабо освещена подслеповатой лампочкой. Справа и слева — железные решетки от потолка до пола. За ними стоят заключенные и надзиратели. Посередине — проход для посетителей. В конце его солдат в каске с винтовкой у ноги. Тускло блестит короткий штык.

Справа за решеткой высокий мужчина с военной выправкой. Это — гитлеровец. Он шепотом говорит что-то на ухо

своему посетителю, а тот время от времени грубо и отрывисто отвечает: «Слушаю. Так точно».

Слева за решеткой стоит толстый человечек. Он молча плачет, а сквозь решетку на него смотрит жена и трое детей – и тоже плачут. Этот наверняка растратчик.

А где же... И я вижу, наконец...

Словно брошенная вперед страшной силой любви и скорби, точно вдавленная в решетку, повисла на ней молодая женщина в позе неопишемого, беспредельного отчаяния. Широко раскинутыми руками она впилась в железные прутья, и длинные пепельные волосы упали на лицо, прижатое к железу. За решеткой, в сером тюремном халате и солдатских ботинках на босу ногу, стоит Иоланта. Лицо опущено, глаза закрыты. Тонкими худыми пальцами она перебирает шелковистые светлые локоны и едва слышно повторяет: «Не надо... Не надо, Изольда».

Помню, я когда вышел наверх. Шел сильный дождь, и бетонный двор, окруженный казематами, превратился в мутную лужу, покрытую дождевыми пузырями – они вскипали, лопались и снова вскипали. А я смотрел на них и думал. Я чувствовал, как в темноте самого глубокого тайника моей души шевелилась опасная гадина. Глядя внутрь себя, различал тусклый блеск ее холодной чешуи. Именно тогда в моей голове родилась мысль – Изольду надо убить.

Изольду надо убить.

Потом со мной случилась печальная история, бросившая тень на мою последующую работу. Но поскольку я пишу не о советской разведке и не о себе, то бегло коснусь ее потому, что она тлетворным краем своим задела и жену: как заключение, разведка уродует души и жизнь не только прямо, но и косвенно – посторонних людей, которые вынуждены с ней соприкоснуться.

– Графиня Фьорэлла Имперали – первая и пока единственная женщина-дипломат фашистской Италии, – говорит мне наш резидент товарищ Гольст, – хорошенькая, образованная, гордая, богатая, своенравная, старше вас почти на десять лет, вы поняли? На ней поломали зубы мы все: деньги ей не нужны, легких физических связей она не ищет. Как же подойти к ней? Где лазейка? К нам, советским людям, относится без предубеждений. С интересом. Вот вам и лазейка. Заинтересуйте ее культурными темами, а потом инсценируй-

те любовь. Только не спешите: графиня не дура! Не испорти-
те дело грубой игрой! Даю вам год или два. Потом делайте
предложение.

– То есть как?

– Да так. Предложите увезти ее сначала в Москву, а по-
том в Вашингтон, куда вас якобы отправляют в десятилет-
ную командировку на должность второго секретаря. Бумаги
вы ей покажете, все будет в порядке. Соблазнительно? Рас-
пишите советскую жизнь в Москве и в Америке, а когда она
клюнет и физическая близость войдет в потребность, вы пе-
чально, со слезами на глазах, вдруг объявите, что Москва
боится предательства и нужно какое-нибудь доказательство
искренности и окончательности перехода к нам, – так себе,
какой-нибудь пустячок, пара расшифрованных телеграмм.
Потом еще. Еще. Даст один палец – потребуйте второй, пос-
ле руку. А когда женщина окажется скомпрометированной –
берите всю целиком: нам нужны шифры и коды, вся переписка
посольства. Срок выполнения задания – три года. Поняли?

Я был молод и недурен собой. Задание казалось только
любопытным приключением, а сама графиня Имперали –
крепостью, взять которую у меня не хватит ни сил, ни уменья,
ведь я только мальчишка двадцати шести лет, а она – светс-
кая дама, римлянка, одна из тех женщин, которых я мог ви-
деть только издали. Я начал работать. Потом пришла стра-
стная любовь к Иоланте и женитьба. Я продолжал разработку.
Грянула драма нашей семейной жизни – ее болезнь. Я мед-
ленно, не спеша свивал вокруг графини паутину тончайшего
предательства. Наконец, поток жизни, шлифующий острые
камни, сгладил все то, что мешало моей совместной жизни с
любимой женой: мы духовно сблизились и растворились друг
в друге – наступили дивные дни безоблачного счастья. Имен-
но в это время я укрепил дружбу с графиней физическим
сближением.

– Гм... – задумчиво тянула Иола, снимая с моего пиджака
сине-черный волос. – Странно: ведь я рыжая?

– Гм... – рассматривала Фьора рыжий волос, снятый с моей
груди. – Откуда он? Ведь у меня волосы как воронье крыло!

Но те, кто любит, – слепы. Они верят. Я тоже горячо лю-
бил и глубоко уважал их обеих, но оставался зрячим потому,
что больше всего на свете любил серую неопрятную женщину
в очках, с толстым томом «Капитала» под мышкой – богиню
социальной революции и классовой борьбы. Я никогда не был
у нее на поводу – я бежал за ней добровольно. «Я не вино-

вен, — спокойно повторял себе. — Я делаю это не для себя. В конце концов, борьбы без жертв не бывает, и все втроем мы просто жертвы. Я не меньшая, чем они. Нет, большая! Я — воин и герой!» По ночам я возвращался от графини Фьорэллы поздно, часа в три-четыре, и дома в своей спальне опрокидывал в темноте тяжелые стулья.

— Когда вы вернулись, милый? — спрашивала наутро жена.

— В двенадцать!

— Я не встретила вас, простите!

— Вы нездоровы, Иола, и я прощаю вас раз и навсегда.

Спите спокойно!

И ночи в двух постелях продолжались — в одной я спал как муж, в другой — как помолвленный жених. Наконец, настало страшное мгновение: я потребовал от Фьорэллы доказательств ее выбора. Она принесла какой-то пустяк.

— Нет, этого мало, — сказал я ей потом. — Мост за собой надо сжечь дотла.

— Но я — честный человек. Я люблю свою родину. Вы хотите сделать из меня шпионку и предательницу?

— Нет. Патриотку. Но другой страны.

Я помню тот вечер: розовые лучи освещали ее сбоку. Она стояла, выпрямившись, и мяла в руках платок. Розовую окраску одной щеки только подчеркивала мертвенная бледность другой.

— Нас разделяет огненная черта; мы говорим через нее, из двух миров. Сделайте смелый шаг. Мы должны быть вместе на жизнь и смерть!

И через несколько дней она ухитрилась привезти пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства. Умоляюще:

— Только на час! На один час!

Я посмотрел на это искаженное лицо и содрогнулся. Товарищ Гольст похлопал меня по плечу.

— Ждите орден. Успех необыкновенный! Фотографии удались на славу!

Дней десять спустя я получил от него вызов. Несся, не чувствуя под собой ног.

— Э-э-э... — начал мямлить товарищ Гольст. — Вы понимаете... Вы знаете...

— Да в чем дело? Говорите прямо! — взорвался я, почуяв недоброе. По спине у меня прошел холодок.

— Москва ответила одним словом: «Законсервировать».

Я сел на стул. Сжал сердце руками. Мы помолчали.

В – Живой человек, не рыбный фарш, – сказал я хрипло. – Что значит законсервировать линию, добытую трудом трех лет?

Резидент вяло махнул рукой.

– Ну, ну, спокойнее!

Во мне кипела ярость.

– Я опоганил три человеческие души – любовницы, жены и свою собственную. Три года я делал подлость и теперь, когда для Родины добыл желаемые секреты, вы мне отвечаете: «Не надо!» А где все вы были раньше?!

Резидент пожал плечами и вдруг криво ухмыльнулся.

– Они напугались. Вы разве не поняли?

– Да, я ничего не понял. Если я не боюсь здесь, то им дома чего же бояться?

Резидент злорадно зашептал, перегнувшись ко мне через стол и косясь на запертую дверь:

– Они боятся, что когда начнут читать сообщения московского посольства, то неизбежно можно будет установить учреждение и лицо, выдавшее наши секреты. Поняли? Нет?

Я оторопел: у меня все завертелось в голове. И все же я ничего не понял.

– Ну тем лучше! Поймают предателя! Для этого мы и работаем здесь!

– А если он сидит в...

Тут резидент взглянул на мое лицо, на открытый рот и опомнился. Засмеялся. Протянул мне сигарету. Начал говорить о другом. Случай был будто бы забыт.

Но эту страшную историю я не забыл, и как раз жена впоследствии напомнила мне о ней чрезвычайно больно.

В первый год заключения Иоланта просила передавать ей занимательную литературу. На второй – в ней произошла перемена – стали поступать записки с указанием экономических и политических книг. В течение третьего года мой доверенный юрист получил от нее списки книг по естествознанию, психологии, логике и философии. На четвертом году заключения требования на книги прекратились.

На свиданиях Иоланта держала себя спокойно, ничего не просила и никогда не жаловалась. Потом видеть ее стало нельзя – «за болезненным состоянием». На четвертом году тюремный врач дал справку, что заключенная «страдает прогрессирующим кавернозным туберкулезом, находится в крайне тяжелом состоянии, и летальный исход может последовать в непродолжительном времени».

В тридцать втором году, в дни краткого возвращения буржуазной демократии, она была амнистирована.

В эти годы я наезжал в Вену в два месяца раз, а иногда и чаще. Обычно по приезде я звонил Изольде. Узнав об аресте Иоланты из газет, она сразу же порвала все свои связи и дела в Праге и немедленно переехала в Вену. Устроила свою новую жизнь так, чтобы быть как можно ближе к заключенной. От нее я узнал много такого, чего сам не успевал заметить или узнать во время свидания, и мы помогали Иоланте сообщая, я – обеспечивая материальную сторону, а Изольда – организационную.

Отношения между нами в самом начале были открыто враждебными, потом стали вежливо-холодными. Держала себя Изольда с большим тактом, тщательно избегая всего, что могло бы повредить Иоланте или неприятно взволновать ее. Постепенно она стала просто необходимой и выполняла свою роль незаметно и скромно. Четыре года мы встречались в кафе и ресторанах, вместе бегали по магазинам. Много утекло воды, и постепенно время смягчило наши сердца.

На четвертом году мы стали встречаться в кафе и без прямой необходимости для общего дела, шутили и смеялись, однажды были вместе в театре... Лед постепенно таял, и казалось, начинает забываться то, что когда-то разделило нас будто бы навсегда.

Лишь только юрист повел дело об амнистии, Изольда изменилась так, что наши отношения стали по-настоящему теплыми: общая радость сблизила нас совершенно. Когда наметился день освобождения, мы встретились как друзья, обнялись и углубились в составление планов дальнейшего. Решили увезти Иоланту в Швейцарию, предусмотрели все мелочи, заказали билеты... Изольда на лету ловила мои слова и делала все, чтобы выполнить мои пожелания. Наконец, все было готово.

– Как славно, – сказала она, – что Иоланта будет жить: мы вздохнем спокойней! Все хорошо, что хорошо кончается! Но знаете что, – она взяла меня за руки и заглянула в глаза, – эти годы тревог и забот примирили меня с вами. Они кончаются, и... мне жаль разойтись с вами...

Она молчала, задумавшись, молчал и я, дивясь целебному влиянию времени. Да, семь лет прошло – мы стали старше. Созрели. И юношеские страсти успокоились, и даже она, видимо, залечила свою мучительную когда-то рану.

Я сказал ей это и многое другое, потом взял ее руки и с благодарностью поднес к губам. Когда поднимал голову, то

на одно мгновение уловил странный взгляд – синие глаза смотрели пронзительно и в упор. Э-э, показалось... Теперь мы – друзья!

– Давайте ознаменуем этот день пирушкой? – вдруг тряхнув головой, неожиданно предложила Изольда. – Согласны? А? По-холостячки, в последний раз!

И как в угаре поплыли передо мной разноцветные огни, взрывы конфетти и серпантина, накрашенные лица женщин и черные спины мужчин. Уж давно я не был так пьян и так весел: танцевал, улыбался кому-то... Все пил и пил из бесчисленных рюмок и бокалов, которые замечал перед собой... Что-то двигалось и шумело вокруг... Было еще что-то, чего не помню...

Потом открыл глаза – и замер, не находя сил оторвать голову от подушки. Уж не сон ли это? Большая комната тонет в густой розовой полутьме... Роскошная постель... На ней лежу я, одетый в малиновую атласную пижаму... И прямо передо мной, на расстоянии протянутой руки, сидит Изольда. Совершенно обнаженная, скрестив руки на подобранных коленях. В третий раз я вижу жемчужно-розовую гладь холеной стройной спины, пышные светлые кудри и синие глаза, светящиеся чудесным блеском.

– Ну вот, мы опять одни, – мягко и певуче говорит Изольда, и металлический голос ее звучит теперь как рокот нежных струн. – Никого нет... двери заперты... прислуга убрана... Мир исчез, остались только мы вдвоем: вы да я.

Она с трудом перевела дыхание.

– Я все вспомнила и все восстановила, чтобы вы почувствовали победу радостней и ярче. Это – ночь вашего торжества.

Она медленно наклонилась надо мной. Несмотря на розовый свет, я видел смертельную бледность этого ястребиного лица и лежал, затаив дыхание, глядя в синие глаза, сверкающие, как пламень.

– Но прежде, чем вы протянете руки мне навстречу, я прошу дать обещание... Вы должны! Слышите – должны! Клянитесь!

Я молча кивнул головой, не отрывая глаз от ее безумного взора.

– Подарите мне Иоланту!

«Довольно!» – повторил я себе, глядя в окно, туда, где с низкого свинцового неба падали крупные хлопья снега. Они лениво кружились в воздухе и словно нехотя опускались вниз. Электрический поезд скрежетал на крутых поворотах, и го-

лова Иоланты, лежавшей в забытьи, слабо вздрагивала на подушке.

«Да, теперь – довольно!» Не спеша я закурил, удобнее откинулся на спинку дивана и приступил к составлению конкретного плана действий.

Изольда будет убита.

Глава 5

От Святого Иоанна? Гм... не знаю...

Больши сея любви никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя...

Евангелие от Иоанна, гл. 15, 13

Мысль убить Изольду зародилась при первом посещении крепости. Но тогда она показалась чудовищной: ведь голос справедливости подсказывал, что виноват я сам, с опозданием взяв на себя заботы только о материальном благосостоянии заключенной. Я оставил себе тело. Изольда воспользовалась этим и захватила душу. Чувство раздражения и злости потонуло в упреках самому себе.

Спустя четыре года эта мысль возродилась снова, но уже в форме ясного, осознанного решения: по выходе из крепости Иоланта опять стала объектом борьбы, и ненависть к Изольде, естественно, вспыхнула с новой силой. Но я спрятал жену в горах Швейцарии, три года она прожила вдали от мира, и связи с прошлым порвались. Все это отвлекло меня, успокоило, и тщательно разработанный план остался не приведенным в исполнение.

Письмо, с которым я вернул Изольде портсигар, было написано в ощущении одержанной победы, и потом мне бывало даже совестно вспоминать о нем – я упрекал себя в недостатке великодушия:

«Возвращаю эту безделушку за ненужностью, – писал я. – Она в моих глазах всегда оставалась символом определенной полосы в жизни Иоланты, но эта полоса пройдена, и нет оснований полагать, что старое может снова повториться.

Поэтому я спешу возвратить ваш подарок, в свою очередь, делая из этого символический жест.

Ваши уроки не прошли даром, и если когда-нибудь вам вздумалось бы повидаться с моей супругой и мною, то, доро-

гой учитель, вы, безусловно, порадовались бы, видя наше безоблачное счастье».

Годы выздоровления Иоланты промелькнули быстро, как волшебный сон, – чувствовалось, что это опять лучшие годы моей жизни: такого глубокого счастья я не испытывал раньше и, конечно, думал я, не испытаю никогда: в жизни человека, говорил я себе, оно переживается лишь раз, и ради таких светлых дней мы и живем на земле...

В эти годы произошел небольшой, но весьма неприятный для нашей страны случай. В нашем парижском посольстве работал на высокой должности поверенного в делах некий Беседовский, по национальности еврей, старый и проверенный член партии. Он воспользовался получением из Москвы секретного денежного фонда, уложил валюту и наиболее важные документы в чемоданчик и бежал из посольства в объятия французской разведки. Но благополучное и окончательное приземление на другой стороне боевой баррикады надо было еще заработать, и Беседовский сделал все, что мог – выдал все секреты посольства и всех подпольных работников, каких знал. Погибли люди, понесло ущерб дело. Потом на деньги наших врагов, ставших его друзьями и покровителями, изменник опубликовал книгу разоблачений. Ее внимательно прочел И.В. Сталин и в нужном месте написал на полях одно-единственное слово.

Меня вызвали на конспиративное свидание из норвежских фьордов в отель «Викинг» в Осло и приказали срочно явиться в Москву. Как австрийский инженер-текстильщик я немедленно отправился в долгий зигзагообразный путь и на Лубянке получил в руки злополучную книгу с отметкой «Возобновить» как раз против рассказа об одной глупой истории, разыгравшейся в парижском посольстве и теперь разглашенной изменником.

Беседовский сообщал, что в посольство явился человек небольшого роста, брюнет с красным носиком, в сером клетчатом костюме и котелке, с алой гвоздикой в петлице и большим желтым портфелем в руках. Незнакомец потребовал, чтобы его представили военному атташе. Очутившись наедине с последним, он вынул из портфеля переплетенные в черные обложки книги и тетради и заявил:

– Вот шифры и коды Италии. Стоят они двести пятьдесят тысяч французских франков. В случае вступления в силу новых, вы получите и их, но опять за двести пятьдесят тысяч.

Ценность моя как источника не в том, что вы получаете в руки ключи к тайникам враждебного вам государства, она заключается в возможности пользоваться таким источником многие годы. Вы располагаете, конечно, на парижской почте своей агентурой и собираете всякие шифрованные телеграммы, в том числе и итальянского посольства. Я вам доверяю. Возьмите книги, отправляйтесь в свой шифровальный кабинет и дешифруйте пару итальянских телеграмм. Когда убедитесь в подлинности принесенных мною документов, давайте произведем расчет.

Атташе убедился в подлинности шифров, сфотографировал их, возвратил незнакомцу и стал выгонять его из посольства, крича, что пришедший – мошенник, что проверка доказала негодность его материалов и что если он не уйдет добровольно, то будет вызвана полиция. Незнакомец был поражен, пожал плечами и сказал:

– Вы обокрали меня на двести пятьдесят тысяч франков. Для одного человека такая потеря велика, для большой страны такое приобретение – пустяк. Но вы сами отказались от редкого по своей ценности источника и тем самым доказали, что вы не разведчики, а крохоборы, мелкие плутоватые лавочники без государственного кругозора.

В Москву фотокопии были посланы с победной реляцией о ловком выкрутасе, открывшем нашей разведке тайны политики Муссолини и вместе с тем сбережении для советского государства большой суммы денег. Атташе получил орден за хорошую работу, а итальянцы немедленно изменили шифр, и весь успех лопнул как мыльный пузырь.

Мне объяснили все это и добавили:

– Хозяин пришел в ярость. Его отметка – приказ на жизнь и на смерть, иначе кое-кому из нас несдобровать: вы знаете его нрав. Словом, вам открывается неограниченный кредит на очень ограниченное время. Необходимо возобновить линию. Поезжайте и найдите этого человека.

– Какого?

– В котелке. С гвоздикой.

Я открыл рот.

– А где же я его возьму? Кто он? Национальность? Фамилия?

– Если бы мы все это знали, то обошлись бы без вас. Приказ понят? Выполняйте. Выезжайте из Москвы в эту же ночь.

– Куда?

– Куда хотите.

Это было любопытное задание – найти на земном шаре неизвестного человека с красным носиком. Долго я сидел на берегу Женевского озера и кормил белых лебедей. День за днем. Неделю за неделей. И думал, идя концентрически от большого круга к меньшему, мысленно исключая одну страну за другой, одно посольство за другим, одну должность за другой, одного человека за другим.

Пока не нашел человека с красненьким носиком – отставного офицера швейцарской армии, итальянца по национальности, с большими связями в Риме. Много позднее Носик рассказал, что торговлю шифрами наладил не кто иной, как итальянский министр иностранных дел, граф Чано, женатый на Эдде – дочери Муссолини. По его поручению Носик объезжал все великие державы и, собрав пару миллионов, переходил на средние по величине государства, которым продавал те же шифры дешевле, тысяч за сто, а объехав средние, опускался до мелких и загонял их им за пустяки, тысяч за десять.

Когда весь земной шар был снабжен, граф Чано менял шифр, и Носик пускался в новый объезд клиентуры, и колесил по всем большим, средним и малым столицам мира, до албанского городишка Тираны включительно. На этом и заканчивался тур, а от Тираны до Рима – рукой подать, а в Риме к этому времени уже был готов новый товар.

После разоблачений Беседовского семья дуче всполошилась: терять такую смачную кормушку не хотелось. Агент Чано в берлинском посольстве засунул шифровальную книгу за шкафчик уборной и объявил о пропаже. Чано нагрянул с ревизией и розыском, «нашел» пропавшую книгу и засадил шифровальщиков на итальянский «Чертков остров» – Стромболи. Там все они и погибли, тем самым показав итальянскому народу, что в борьбе за интересы родины фашисты не считаются ни с чем. Дело было удачно замято.

Болтая о том и о сем, Носик как-то проговорился, что в Локарно, в своей богатой вилле, проживает отставной полковник итальянского генштаба, некий Гаэтано Вивальди, человек пожилой, скучающий вдовец, убежденный монархист: он и в отставку уволен якобы за выступление против Муссолини в дни, когда тот пытался выудить у наследного принца Умберто Савойского согласие жениться на Эдде Муссолине, которую в разговоре с офицерами патриотический полковник публично обозвал б...ю. Теперь Вивальди скучает в райском Локарно неспроста: его вилла – центр итальянской разведки против гитлеровской Германии, за вооружением кото-

рой Муссолини следит с завистью и тревогой. Ему нужно решить, с кем идти – с англо-французским блоком или с Гитлером, а для этого необходимо узнать, кто сильнее. Через руки полковника проходят интереснейшие данные.

Я написал доклад. Генералы Малли и Базаров, которые за границей были моими начальниками, поддержали. Борис Берман согласился. Москва одобрила.

План был прост: выдать мою жену Иоланту замуж за полковника Вивальди.

У меня не было опыта выдачи любимой жены замуж для достижения общественно полезных целей. В литературе также не попадалось ничего такого, откуда можно было бы почерпнуть подходящие сведения. Приходилось самому решать, как целесообразнее повести разговор, чтобы Иоланта могла понять глубочайшее идейное содержание этого мероприятия. В ее сознании оно должно было бы сразу быть поднято над уровнем всего обыденного и привычного, вознесено до высоты жертвенного подвига. Иначе, конечно, можно заранее предвидеть отказ и драму.

– Елочка, – сказал я как можно мягче, когда однажды мы сидели в Давосе, в парке на скамейке, и белочки бегали по нам, совали носы в карманы и лапками выгребали оттуда орехи; я начал говорить по-русски, потому что английский язык с его обязательным обращением на «вы» кажется более холодным. – Елочка, мой оклад является предельным, он так и называется совмаксимумом. Мне платят 500 золотых рублей. Для тебя я получаю триста. Мне оплачивают гостиницы и непрерывные поездки. Получается тысяча золотых рублей или сорок тысяч советских рублей в месяц: этот курс я узнал на толчке перед Торгсином в Москве, на Кузнецком.

– Ну и что же? – сонно ответила Иоланта. – Неужто тебе мало?

– Нет. Слишком много. Наша работа хорошо оплачивается, и мы становимся героями с чековой книжкой в кармане. Когда-то ночью, на Карловом мосту в Праге, ты говорила, что не хотела бы пасть до этого.

Иоланта сразу открыла глаза и повернулась ко мне.

– Продолжай. Я слушаю внимательно.

– Надо встряхнуться и сделать еще один шаг вперед. Мы работаем у огня, который может нас обжечь, но не жжет. По существу, мы играем около него.

– А нужно?

Она, не глядя, смахнула с себя белок и уперлась в меня большими бледно-зелеными глазами.

– А нужно прыгнуть в пламя.

Иоланта засмеялась.

– Ты сам рассказывал, что когда Борис Берман узнал, что я освободилась из крепости тяжело больной, он радостно воскликнул: «Вот прекрасно: везите ее в швейцарские горы и лечите там. И держите у нее все ваши липовые паспорта. Это будет безопасно: ее тяжелая болезнь – лучшая защита от подозрений». Это тебе Борис шепнул, что делу выгодно, чтобы я не вертелась у огня, а прыгнула бы в него?

– Это тебе говорю пока что я. Твой муж, друг, товарищ по борьбе. Давай оставим в стороне дурно пахнущий быт и будем держаться в пределах идеи: мы работаем не ради Бориса или кого-нибудь другого. Слушай дальше.

Я собрался с мыслями.

– Позднее ты мне сказала, что, любя меня на жизнь и на смерть, ты хочешь взять от меня главное – мою душу и свою душу передать мне, а наши тела остаются у каждого из нас в своем, особом, самостоятельном, независимом распоряжении.

– Я не говорила так просто и грубо.

– Возможно, Иола. Но мы именно так вели себя. Когда я привез тебя на консультацию в Берлин, ты была еле жива и после неудачной операции френнкоэкзереза едва не умерла. Я вошел тогда в палату, а ты даже не могла повернуть головы на подушке, только повела в мою сторону глазами. Я почувствовал, что сейчас же разревусь, и, чтобы скрыть это от тебя, сделал вид, что закашлялся, и вынул платок. И вдруг вижу твою слабую улыбку – первую улыбку за все эти годы и месяцы. Игривую. Веселую. Задорную. И тут только заметил, что вместо платка по ошибке вынул розовые штанишки, которые накануне снял с хорошенькой девушки и впопыхах сунул в карман. Это было?

– Да, – ответила серьезно жена. – Это было.

– И я платил тебе тем же. Выезжая к тебе сначала в Арозу, потом в Давос, звонил из Парижа: «Я еду!» С границы: «Ты не забыла? Я еду!» Со станции внизу, перед подъемом в горы: «Я уже близко!» И наконец, со станции в Давосе: «Я здесь!» Чтобы дать тебе время убрать все следы, чтобы не найти у тебя чьих-то интимных вещей – галстука или носков.

– И ты их не находил.

– Спасибо. Подтверждаю. Но время идет, борьба обостряется, она делается все более и более беспощадной. Война надвигается, Елочка.

Я сделал многозначительную паузу. Она молчала. Потом рассмеялась.

– Ты подбираешься ко мне как идейно-красная лисица к глупенькой мешанской курочке! Смелей! Клади карты на стол без таких утомительных заходов с тыла.

– Они нужны, Иола. Когда Герман, наш чудесный источник, – провалился и был нами убит, Москва приказала нашей группе – мне, Пепику и Эрике выехать из страны. Я убрал их, но сам остался... У меня был паспорт, надежный, как глыба гранита: он обеспечивал отступление.

Я решил попробовать завербовать кого-нибудь из товарищей Германа по министерству. Его провал явился для нас слишком большим ударом, нужно было поскорее заткнуть дыру, даже рискуя собой. Я никогда тебе не рассказывал подробности. Теперь расскажу. Это надо сделать именно сейчас. Слушай! Вдова Германа пригласила меня к обеду и добавила, что придет один из товарищей покойного мужа, очень приятный человек, хотя и большой пьяница. «На ловца и зверь бежит!» – обрадовался я и явился к обеду, назвав себя новому знакомому представителем иностранного банка, в котором покойный хранил свои деньги. «Теперь я охраняю интересы вдовы и семьи умершего», – пояснил я.

Глядя на испитое лицо чиновника, я обдумывал, как ловчее подойти к нему. И вдруг он сам, оглянувшись по сторонам, встал, закрыл все двери и быстрым шепотом рассказал, что высшее начальство полагает, что умерший совершил тяжелое должностное преступление, что его смерть – не самоубийство, а убийство, и сейчас в городе находится неизвестный сообщник, агент иностранной державы, может быть, убийца покойного. С хозяйкой сделалось сначала дурно, потом она вдруг стала рассказывать вещи, от которых я похолодел: она, не понимая того, выдавала меня с головой, захлебываясь, рассказала, что в поведении вечно нетрезвого супруга было много очень странного, что он регулярно уезжал за границу и всегда увозил туда какие-то служебные документы в украденном казенном портфеле дипломатического курьера, что сам он незаконно получил дипломатический паспорт и даже попросил министра иностранных дел подписать иностранный паспорт на имя какого-то аристократа, который у них никогда не бывал.

– Фамилия? – рявкнул побагровевший чиновник. Томным голосом дама назвала фамилию моего «бетонного» паспорта.

– Ага, есть! Мы его поймаем на границе!

Он бросился к телефону, набрал номер, вполголоса назвал эту фамилию и приказал: «Объявите по всем границам розыск с немедленным задержанием! Весьма срочно». Потом добавил в нашу сторону: «Под самым носом у рейхсфюрера творятся такие дела! Ужасно! Ужасно!»

Тогда поднялся я. Надо сказать, что приступы страха у меня всегда наступают только тогда, когда действительная опасность миновала. Так случилось и теперь. Я довольно спокойно взял у чиновника из рук трубку и, улыбаясь, сказал:

– Думаю, что сумею вам раскрыть больше. У меня тоже давно появились подозрения, и я вам их изложу. Эта фамилия – наверняка чужая и вы такого человека не поймаете. Я предложу другой путь. Но это большой разговор. И очень скучный для нашей дамы. Предлагаю завтра встретиться ровно в два часа в ресторане отеля Адлон. Я сейчас закажу столик!

Набрал номер и сделал заказ. Еле досидел за столом до конца. Потом забрался в самый уединенный уголок Тиргартена – розарий имени какой-то королевы. Там, кроме детей и нянюшек, никого не бывает. Этот уголок я когда-то показал всем членам нашей группы:

– Вот место для встреч при чрезвычайных обстоятельствах. Запомните!

Теперь я вошел в розарий с чувством осужденного к повешению, который входит в камеру смертников. Сел среди роз. Задумался. «Все погибло... Я в западне... Надежды нет: я один».

Иоланта вспыхнула. Захлопала в ладоши.

– И вдруг появилась я! С другим паспортом в бюстгальтере! Для тебя, милый!

Я взял ее руку и прижал к губам.

– Ты спасла мне жизнь, Елочка. Я живу благодаря тебе!

Глядя на меня сияющими глазами, она махнула рукой:

– Да ну... Оставь, милый! Мы же товарищи!

– Да, – сказал я. – И как товарищ, спасенный тобой в борьбе, делаю тебе предложение: врежься в сечу глубже!

Иоланта побледнела. Широко открыла глаза.

– Ну?

– Ты должна выйти замуж. За пожилого итальянского полковника. Шефа итальянской разведки против Гитлера. Он часто уезжает в Рим и в Кельн, где проживает его родственница, жена тамошнего обер-банфюрера: он ими завербован. У полковника великолепная военная информация. Ты сделаешь оттиски ключей от сейфа и будешь впускать меня по ночам. Я буду фотографировать всю его добычу.

- А я?
- Что ты?
- А я должна выполнять роль его жены?
- Да.

Мы долго молчали. Когда пауза стала нестерпимой, я сказал:

– Но ведь ты не молилась же на мой портрет все эти годы работы в разведке. Какая разница...

Она тяжело подняла веки. Глаза показались мне странными.

– Ах вот что. Разница есть, и жаль, что ты ее не понял. Очень жаль.

- Июла, но...
- Когда нужен ответ?
- Завтра.

– Постой. Вопрос: Борис Берман и оба наши генерала от- правили бы в чужую постель своих жен?

– Дался тебе этот Борис! Что нам до него? Ты так хорошо говорила о смерти в победе, помнишь? А теперь тебе нужен кто-то для примера... Пусть Борис живет как хочет. Наше дело свое, нашенское. Или вперед – или назад. Мы отвечаем за свои души.

– Это ты хорошо сказал, – проговорила Иоланта, смотря вдаль, поверх моей головы. – Больше такой любви никто не может иметь, чем тот, кто отдает душу свою за других...

Я вдруг вспомнил: «Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто». И слова, так мучившие меня столько лет, вдруг потеряли бывшее значение, показались такими обыденными, мелкими... Они точно уходили вдаль, пока не растворились в серой мгле прошлого.

А ночью Иоланта вдруг разбудила меня. Очевидно, я очень крепко спал и не слышал ни ее рыданий, ни предшествующих слов. Открыл глаза, увидел, что свет в комнате зажжен, Иоланта торопливо одевается и, захлебываясь слезами, кричит мне:

– Не знаю, б..дь Эдда Муссолини или нет, но ты хочешь сделать меня б...ю! Как ты посмел?.. При чем здесь твои звонки с дороги? То вынужденная необходимость... Одиночество... А здесь – проституция!

Я сел на постели. Неожиданный поворот. Гм... Скверно получилось! В порыве раздражения человек может сделать шаг, последствия которого окажутся непоправимыми. В разведке это так. Нужно задержать ее, успокоить. Под последней елью на дороге к перевалу в жестяной коробке из-под конфет лежат пять паспортов...

– Елочка, успокойся. Возьми себя в руки! Пойми, что проституция – это тоже социальная необходимость, и никто не упрекает...

Натягивая на себя узкое платье, Иоланта просунула голову и руки вперед, долго путалась в складках, наконец, высунула лохматую голову в прорезь и, глотая ручьи слез, завизжала:

– Ты посылаешь меня... с каким-то полковником!

Она употребила очень грубое выражение.

Обтянула платье по фигуре, утерла слезы рукавом, схватила чемодан за ручку, выволокла его на середину комнаты, раскрыла шкаф и стала хватать свои платья и швырять их в чемодан, все время громко всхлипывая. Вдруг остановилась и повернулась ко мне крикнула по-английски:

– You bastard, lousy son of a bitch! (Ты подлец и негодяй! – Ред.)

Упала перед чемоданом на колени и уткнулась лицом в мятую грудку ткани.

Видя, что дело зашло слишком далеко, я решился на отчаянный шаг: сел на пол рядом, взял ее за плечи и как мог деликатнее, спокойнее и короче рассказал о своей связи с Фьорэллой Имperiали. Конечно, выпустив конец этой скверной истории – он говорил против нас и против этой подлой работы и оказался бы для Иоланты желанным аргументом.

– Ты видишь, Елочка, что мы оба в данном случае жертвы. Но жертвы добровольные. Слышишь – **добровольные**. Мы взошли на костер для самосожжения во имя победы нашего дела.

По мере того как я говорил, всхлипывания прекратились. Иоланта успокоилась, и я мысленно вздохнул с облегчением. И только хотел было сказать: «Ну вот, все устроилось», – и встать с колен, как Иоланта подняла лицо и я замер: это было то самое прежнее лицо слепой или ясновидящей, которое я впервые увидел много лет тому назад и затем забыл; оно не выражало ничего, пустые, широко раскрытые глаза цвета льда смотрели поверх этого мира в мир иной и видели потустороннее.

Она спокойно поднялась. Сказала по-английски:

– Простите, пожалуйста. Отодвиньтесь немного. Спасибо. – И стала укладывать платья обратно в шкаф: поднимет, встряхнет, снимет соринки, разгладит складочки и аккуратно одно за другим вешает на плечики.

Не оборачиваясь, через плечо:

– Это было в нашу первую брачную ночь?

– Да.

Молчание. Иоланта спокойно закрывает шкаф.

– И в месяцы наших прогулок, когда мы нашли друг друга и растворились один в другом?

– Да.

Иоланта раздевается, ложится в постель.

– Могу потушить лампу?

Мы лежим рядом в постели. С открытыми глазами. В темноте Иоланта говорит по-английски:

– Вы – герой. Но, надеюсь, вы понимаете, что между нами все кончено. Вы достигли своего: я стану женой полковника Вивальди. Но одновременно перестая быть вашей. Вы – страшный человек. Не прикасайтесь ко мне. Вы – убийца.

– Кого же я убил, Иола?

– Меня.

Я не собираюсь писать о советской разведке и о моей работе в ней, поражать читателя невероятными похождениями и выставять себя как героя: я пишу о жене и о разведке упоминаю лишь в минимальной степени, только чтобы изобразить нашу тогдашнюю жизнь, ее характер, если хотите – ее стиль. Никто меня не только не уполномочил раскрывать секреты, но даже не разрешал писать вообще, и поэтому я принял меры к тому, чтобы сказать нужное и в то же время ничего не раскрыть. Это старые дела, и, вероятно, никакой ценности они теперь не имеют. Но долг остается долгом, и я его выполняю. Как? Сейчас объясню.

Начав писать о своей работе в разведке, я решил описывать действительные факты так, чтобы при проверке они оказались бы ложью и навели бы проверяльщика на неверный след. Во-первых, действие перенес в разбитые и побежденные страны наших врагов – в Италию Муссолини и Германию Гитлера, или страны, где буржуазный режим уже свергнут, например, в Чехословакию. Таким образом, буржуазные правительства западных стран никогда не смогут использовать мои воспоминания как основание для расследования или протеста. Во-вторых, все иностранные фамилии заменены. Я стал перебирать классиков, и у Шиллера нашел подходящую фамилию для одной женщины, перед которой и теперь, сорок лет спустя, готов стать на колени и просить прощения – графиня Империали; о ней я писал раньше. Для одного мужчины я взял фамилию итальянского композитора – Вивальди. Графа, найденного для нас Гришкой, назвал Эстергази, и хотя он был венгр, в действительности его фамилия звучала иначе. И

так я поступал во всех случаях без исключения. Даже девушке моей первой любви дал фамилию Оберон, в честь шекспировского Эльфа, хотя она умерла, близких родственников у нее не осталось и можно было бы назвать ее настоящую фамилию – Камерон.

Наши советские имена и фамилии оставлены подлинные: Пепик, Эрика, Клявин, Берман, Базаров, Малли и другие. Некоторые персонажи, например, Носик, остались без фамилий; так лучше, безопаснее. Те, кого не следует ни жалеть, ни опасаться, названы прямо и точно – Эдда Муссолини, Умберто Савойский, граф Чано. Названия городов иногда заменены. Черт побери, в самом деле – Локарно или Лугано, не все ли равно? Оба городка прелестны и расположены рядом...

Так что же получилось?

Кальдерон когда-то сказал, что в этой жизни все правда и все ложь. Я утверждаю обратное: в этой жизни нет ни правды, ни лжи. Точнее, у меня описана святая правда, но так, что каждое слово описания – ложь, или наоборот – описана ложь, где каждое слово – настоящая правда! Эх, не все ли равно...

Гришка когда-то рассказывал об одном своем забавном знакомстве – старом графе Цезаре-Адольфе-Августе-Эстергази. Граф промотал все свое состояние, включая великолепный пражский дворец, и по договору пожизненно помещался в бывшем домике садовода. Домик состоял из одной комнаты, которую полностью занимал откуда-то снятый огромный каменный герб графов Эстергази – он был боком косо прислонен к стене, а под ним, в образовавшейся щели, спал пожилой граф со своим молодым лакеем: ни от герба, ни от лакея граф отказаться не мог. Это было единственное, что у него осталось от былого блеска.

Теперь Гришка предложил ему кругленькую сумму, и на средства рязанских и тульских колхозничков доставили женюху в Ниццу, где его ждала невеста. Иоланте достали паспорт на имя чехословацкой гражданки Роны Дубской, дочери государственного чиновника, 25 лет от роду, разведенной. Паспорт всем был хорош и даже несколько льстил Иоланте годом рождения, но беда была в том, что в графе «Особые приметы» стояло: «левая нога отсутствует» – опять подвел Георг, знаменитый паспортист с Лубянки! Но времени не было, и мы решили рискнуть – шла игра ва-банк. Французский католический священник чешского языка, конечно, не знал, а после заключения брака паспорт был срочно обменян по почте

из туберкулезного санатория. Новобрачного отправили назад в его щель под покосившимся гербом, в постель к молодому лакею, а новоиспеченная графиня сделала крюк в Париж, и после прикосновения волшебных рук из модных фирм с улицы Мира и при поддержке все тех же колхозничков превратилась в сногшибательную красавицу и роковую женщину. «Вот это да!» – хором сказали мы, когда в первый раз увидели ее на улице.

Неделя прошла в репетировании печальных и красивых поз, в нудном заучивании своей новой биографии. Затем графиня Рона Эстергази, с крохотной болонкой на золоченой цепочке, появилась в Локарно. Это был период между двумя сезонами – летним и зимним, – одна волна туристов уже схлынула, а другая еще не обрушилась на маленький городок, и блестящая одинокая иностранка не могла остаться незамеченной. К тому же она не говорила по-итальянски и нуждалась в помощи. Галантный полковник предложил свои услуги. Завязалась дружба, потом в скромной церквушке святого Луиджи старый священник скрепил таинством брака пылкую любовь пожилого офицера и молодой аристократки, к тому времени уже получившей свидетельство о разводе.

Была ли выдача Иоланты замуж ошибкой? Не знаю. «Преступление или геройство?» – сказал я себе тогда, но внутренне ощущал ее, как жертву, гораздо большую, чем если бы понадобилось отдать собственную жизнь. Именно совпадение горячего, радостного счастья с такой жертвой делало ее великой и святой: я отдал лучшее, что имел, больше у меня ничего не осталось...

На полковника Вивальди я смотрел без злобы и без ревности. Кто он? Случайный исполнитель? Служитель в храме моего бога? Ему, как и мне, выпало на долю совершить только обряд приношения жертвы. Я издали приглядывался к нему, видел прямолинейность этого простого и гордого характера и лишь радовался, что передаю любимую жену в руки честного и порядочного человека. Создалось настроение большого морального подъема, отрешенности от всего личного и житейского. Поэтому новое вторжение Изольды, на этот раз такое дерзкое и торжествующее, ранило меня чрезвычайно тяжело.

Уже присылка перстня в качестве свадебного подарка привела меня в бешенство – я воспринял его как разрушение своей мечты, как превращение морального подвига в житей-

ский проигрыш. Я почувствовал себя битым и оставленным в дураках.

Письмо, с которым Изольда прислала затем Иоланте и портсигар, унизило меня беспредельно. Только раз я мельком прочел письмо, и ее слова жгли меня потом, как пощечина:

«Я рада, что ваш бывший супруг принял столь благоразумное решение: развод лишь внешне оформил его внутреннюю несостоятельность. Он вынужден был признать поражение и передать вас мне – так именно я и понимаю его поступок, в этом смысле не лишенный известного благородства.

Возвращая вам свои прежние подарки я полагаю, дорогая синьора, что мы возвращаемся к тому счастливому положению вещей, которое существовало когда-то».

Пользуясь неведением мужа, Изольда переехала в их дом как подруга и постоянная гостья жены. Я попробовал издалика и закулисно удалить ее, но не смог... Что за горькое сознание бессилия я тогда пережил!

Но сцена, подсмотренная из-за кустов в саду их виллы... Проклятье! Она решила все. То, что я лишь теоретически предполагал и о чем всегда старался не думать, вдруг предстало передо мной в такой оскорбительной наготе. Просто и ясно, всем телом и душою своей я понял, что это – предел: отныне я буду жить только для одной цели – убить Изольду. Только ее смерть может сделать мое дальнейшее существование возможным.

Вопрос стал ребром: я или она. И все благие мысли об осторожности и грозном начальстве разом вылетели из головы. Я потерял всякое самообладание и разум. Превратился в зверя. Может быть, Изольда могла бы спать спокойно, если бы узнала, что ее безумно ревнует бухгалтер большого шляпного магазина или педагог средней школы: такие люди богобоязненны и оружием не располагают, а убить человека в культурной стране нелегко. Но я был человеком, прошедшим тяжелую жизненную школу, пистолет всегда оттягивал мой задний карман, и главное – я был разведчиком, в распоряжении которого находилась группа отчаянных людей. Потеряв голову, я стал опаснее любого зверя.

Я пишу это не для оправдания, а для объяснения. Человек всегда остается лишь человеком, и по существу важны только общественные последствия его проступка. Когда советский посол в Чехословакии Антонов-Овсеенко – человек, ведший войска на штурм Зимнего дворца и с наганом в руке арестовавший Временное правительство, а впоследствии став-

ший командармом Рабоче-Крестьянской Красной Армии, – в Праге позорно бросил свой дипломатический пост, жену и четырех детей и сбежал в Варшаву со смазливенькой служащей нашей Совкниги, то он унизил нашу страну, вызвал громкий скандал и дал пищу для очередного взрыва антисоветской травли в буржуазной прессе. Его проступок нанес нам вред. Я в Швейцарии был никем, человеком с фальшивым паспортом в кармане, и мой проступок прошел незамеченным и не нанес нам никакого вреда. Оправдываться перед ИНО ОГПУ мне не в чем, а перед своей совестью оправдания мне нет, и я мучительно сознаю это.

Перед судом совести я признаю – «виновен!».

Подготовка заняла неделю. Затем я «случайно» встретил Изольду на улице в Локарно; этот прием был нужен, чтобы не оставить следов в виде записки или не возбудить подозрений излишней настойчивостью.

Сделав удивленный и обрадованный вид, я объяснил, что приехал в Локарно по делам и, кстати, хотел предупредить бывшую жену, что ей в ближайшем будущем грозят большие неприятности со стороны гитлеровской контрразведки. Нужно что-нибудь предпринять... И поскорее! Изольда нахмурилась. В чем дело? Не знаю, право. Зачем мне совать нос в эти дела... Но в Гриндельвальде сейчас находится старый друг Иоланты, ее товарищ по прежней работе, он держит в руках все нити. Связь между ним и Иолантой давно прервалась. Вот он теперь просил меня, как можно скорее связать их снова... через посредника... как можно быстрее... да, да, конечно, я могу познакомить. Нужно съездить в Гриндельвальд, но потихоньку от всех. Вы? Да, могли бы поехать и вы... Но только обставив встречу так, чтобы все осталось незамеченным. Не хочу потянуть за собой хвост, оставляющий след. Стал трусливым? Нет, осторожным: ровно через 11 дней я уезжаю в Рио-де-Жанейро. Навсегда. Да, да, с Европой кончено. Начиная новую жизнь и вовсе не желаю влипнуть в неприятности накануне отъезда. Стал другим? Что же, пора... Мое дело только предупредить. Синие глаза Изольды блестели и светились. Внутренне я потерял руки от радости – тревога за Иоланту теперь не даст ей покоя и двинет вперед прямо в мои руки: она не побоится ничего.

Любовь... На этом остром крючке я завтра выволоку ее повыше в горы... Как можно выше...

У самого берега в тенистом парке я сидел на траве, окруженный стайкой ланей. Пугливые животные тянулись ко мне, осторожно перебирая ножками и вздрагивая. Я кормил их румяными персиками и обдумывал последние подробности завтрашнего дня.

Гриндельвальд... На каждом шагу я мог бы опуститься на колени и поцеловать землю – здесь когда-то проходила Иоланта в самые светлые дни моей жизни... Ах, сколько прожито счастливых минут!

Год назад я приехал в Интерлакен к вечеру и позвонил Иоланте с вокзала.

– Говорю из Базеля. Ты знаешь – неудача! Я не могу приехать. Пойди сейчас же на вокзал, там увидишь Улафа и от него узнаешь все подробнее...

– Ну вот – вечно дела! – разочарованно тянет Иоланта. – Я тебя так ждала...

Выйдя на обсаженный цветами бульвар, я радостно дышу полной грудью: впереди две счастливые недели отдыха в Гриндельвальде с Иолантой... Каждый день вместе... Четырнадцать дней! Я молод, здоров, погода чудесная! Ну, что бы я еще хотел сейчас? Ничего!

Но вот впереди показывается знакомая стройная фигура, Иоланта идет меж деревьев, и волосы то вспыхивают красным блеском, то потухают... Голова задумчиво обращена к цветам у края дорожки. Проходя, она играет с ними веточкой. Мы почти сталкиваемся, она испуганно поднимает лицо. Какая улыбка! Какие лучезарные, любящие глаза!

– Иоланта! Кругом люди!

Но она продолжает меня целовать, шутливо закрыв глаза, чтобы не видеть добродушно улыбающихся прохожих.

Все это было. Теперь я схожу с поезда и, как тень, крадусь вдоль стен, подняв воротник, избегая людей. Не напороться бы на знакомых, черт бы их всех побрал! Нужно только проскочить незамеченным проклятый Интерлакен: у меня на завтра заготовлено алиби в Мюррене. Там Улаф. Когда сделаю **это**, ночью по горным тропинкам побегу к нему. Лишь бы проскочить площадь!

И снова воспоминание.

Пройдя главную улицу, мы свернули на площадь. Начало быстро смеркаться. «Пожинаем на воздухе?»

«Конечно! Что у меня за аппетит! Но где бы сесть? Ты смотри-ка, милый, какая толпа...»

Действительно... На главной улице рестораны казались пустыми, а здесь – ярмарка. В чем же дело? Все смотрят в одну сторону... – «Ах!»

И мы застываем в безмолвном восхищении. Площадь, похожая на большой луг, заканчивается группами деревьев и рядом нарядных домиков. Где-то близко за городом, справа и слева зеленеют кудрявые крутые холмы. Дальше тянется гряда высоких синеватых гор, еще дальше и выше, в сиреновом вечернем небе мягко рисуются сизые зубцы Бернских Альп, кое-где покрытых вечным снегом. А выше всего, точно неподвижно паря в небе, треугольная вершина Юнгфрау, ярко освещенная лучами уже зашедшего солнца.

Минуту длилось это волшебное зрелище. На фоне всех оттенков зеленого, синего и сиреневого, мягких и легких, как затушеванная пастель, ярко блестел и искрился золотисторозовый цветок, похожий на нераспустившуюся розу. Потом его лепестки слегка потемнели, стали пурпурно-красными, теперь как будто гигантская глыба раскаленного железа вдруг жарко запылала в потемневшем, почти ночном небе. Но мгновенья прошли, и среди первых звезд, казалось, зловеще и мрачно догорал пожар. Потом основание багровой пирамиды померкло, стало сливаться с небом. Вот в темноте гневно вспыхнул налитый кровью яростный глаз – и все исчезло. Тогда только я заметил, что мы стоим обнявшись, и голова Иоланты опустилась мне на плечо.

С площади я выскользнул за город, направившись прямо к ущелью, ведущему в Гриндельвальд. Лес... Мельница у ручья... Справа и слева потянулись росистые, невероятно зеленые луга, за которыми отвесно поднимались горы. Вон там, прилепившись к уходящим в небо серым утесам, как гнездо ласточки, повис в воздухе Мюррен. Удастся ли мой план? Вопрос. А это может иметь роковое значение. Я вовсе не желаю зачахнуть в тюрьме! Мне нужно сегодня удачно избавиться от Изольды, чтобы завтра можно было впервые за последнее время по-настоящему веселиться. Сидя в баре с девушками, я попрошу газету и прочту небольшую заметку в отделе хроники: «Вчера близ Верхнего Ледника, между Гриндельвальдом и Шайдэггом, было найдено тело молодой туристки, сорвавшейся с тропинки при восхождении на Айгерванд. Погибшая опознана: это – мисс Изольда В.Э. Оберон, приехавшая накануне из Локарно. Несчастная будет похоронена на местном кладбище. Пусть трагическая смерть ее послужит нашим иностранным гостям страшным предупреждением; высокогор-

ный спорт безопасен только тогда, когда им руководят опытные альпийские проводники». И все. Прочту эти строки – и отхлебну глоток виски.

Вот и деревушка. Полпути сделано. На лужайке лежит выдолбленный ствол толстого дерева. Как по желобу, весело журчит чистая студеная вода из горного ручейка. Здесь мы шли с Иолантой. День был жаркий. Словно на мягкий ковер присели мы в траву, среди цветов, наклонились и медленными глотками пили прямо из желоба. А большая корова пила с другого конца, глядя на нас большими добрыми глазами. Тихонько звенел колокольчик... Пахло медом... Пчелы монотонно гудели вокруг... великий покой, сладкий и мирный, опустился нам в души, и мы молча сидели, как будто слившись с матерью-природой, точно растворившись в золотом сиянии дня.

Забавно: ведь придется приехать на похороны! Неудобно отказаться. А при малейшем подозрении нужно будет проявить особое сочувствие! Воображаю себя в черном костюме с постной физиономией возлагающим венок «От убитого горем друга!» Хе-хе-хе... Комедия...

Гриндельвальд. Уютная деревушка и десяток больших отелей. Незабываемый вид на три вершины – Монх, Айгер и Юнгфрау, отмеченные звездочкой во всех путеводителях: отвесная гранитная стена, уходящая за облака и увенчанная тремя снеговыми шапками – в жарком летнем воздухе они искрятся на солнце совсем близко. Из темных глубоких расщелин сползают два ледника. Сегодня к вечеру я поведу Изольду вон туда – в темную дыру, где над серо-зеленым льдом залегла пелена холодной мглы.

Мы договорились встретиться у мостика в долине. На всякий случай она остановится по данному мной адресу, в маленьком пансионе, окруженном садом. Разминуться нельзя. Сам я, конечно, не появлюсь в Гриндельвальде. Зачем? Буду ждать в кустах. Еще раз проверить выбранное место? Время, конечно, есть, но... Ведь и так я заучил наизусть все мелочи! Дойти до маленькой елочки у третьего поворота после выхода из леса. Приготовиться. Зайти с правой стороны от горы, чтобы Изольда очутилась прямо над пропастью. Это будет оформлено, как зажигание спички о скалу. Там есть одна. Удобная. Я наметил ее мелом, чтобы не сбиться. Маленьким белым крестом. Потом семь шагов вверх по тропинке. Остановлюсь перевести дух и скажу: «Посмотрите-ка, на леднике – люди». – «Где?» – спросит она, осторожно заглянет вниз. И все будет кончено. Навсегда.

В этом месте крутой склон горы переходит в нависший обрыв. Тело пролетит по воздуху метров тридцать, ударится о зубья скал и покатится дальше, пока не упадет на лед. Живым остаться невозможно. А если она крикнет в момент срыва с дорожки? Гм... Неприятно, конечно. Но – пусть кричит: как улика мертвое тело потом будет не опасно – ведь следов насилия не окажется, а короткого крика никто не услышит – он замрет в узкой теснине. Шагов через двадцать выше дорожка расходится вилкой: основной путь идет вдоль ледника, а чуть заметная тропинка отходит направо, на Шайдэгг. Я быстро побегу по ней. Через 5 минут начнется пологий склон. Там, без дорожки, я наискосок спущусь в лес. В этом месте протекает ручей. Сниму ботинки и спущусь по воде, место удобное. У большой дорожки на Мюррен надены ботинки, натру подошвы камфарой (кусочек запасен в кармане!) – и в путь. По дороге в дупле меня ждет уже другая обувь, с новым запахом. Э-э, нет, ничего не случится, все предусмотрено!

Основная неприятность кроется в другом. Я выбрал дорожку, по которой обычно никто не ходит. Но раз она все-таки существует, значит, люди на ней бывают, и возможна встреча до скалы с белым крестом. Это сделает весь план невыполнимым. Будет очень жаль... Придется отказаться...

Но и это предусмотрено. Наготове запасен второй вариант. Срочно вызываю Улафа и завтра же знакомлю его с Изольдой. Он увлекает ее в Амстердам. Это не будет трудно – ради Иоланты Изольда пойдет на все. В Аймюдене на уединенном островке наклонился над водой полуразвалившийся склад. Ни одного человека. Только море, дождь и крысы. Много крыс. Выстрел – и гибель Изольды свершится. Оттуда она не уйдет!

Но если сорвется и этот план, будет приведен в исполнение третий вариант. Венеция. Увитая цветами гондола. Изольда взойдет на нее лунной ночью, полной томления и трепета. Вот зыбкая лодка бесшумно скользит по сине-черной шелковой глади, вытанной золотыми отражениями звезд. Музыка, смех, пение слышатся тише... тише... и замолкнут для нее навсегда.

Я или она. Сколько бы раз не рушился план – цель остается неизменной. Сегодня, завтра, через год – не все ли равно? Изольда умрет. Умрет от моей руки.

Так проходят часы терпеливого ожидания в березовой роще за мостиком.

Здесь я когда-то писал этюд, а Иоланта собирала цветы. Вспоминаю: тогда на нее напал беленький козлик. Она спрята-

лась за моей спиной, а я палитрой отгонял обидчика, и нос у него стал сразу красным, лоб – голубым, а борода – зеленой. Иоланта, выглядывая из-за моих плеч, смеялась, как ребенок. Козлик, наконец, отстал, Иоланта снова принялась за цветы – как вдруг упрямая скотинка появилась и опять ловко наставила ей сзади на белом платье жирную и яркую кляксу! Тогда хохотал досыта я. Хорошее было время...

Ну, небо начинает желтеть. Пять часов. Сейчас она придет. Я вынул заготовленную бутылку коньяку и задумался. Неужели это нужно мне? «Вошь я или Наполеон?» Хе-хе-хе...

Когда мелькнуло средь кустов на другом берегу знакомое платье, я осторожно разбил бутылку о камень.

Итак, начинается...

– Вы одеты, словно готовитесь к восхождению на Эверест. Разве у вас нет комнаты в Гриндельвальде? – синие глаза смотрят подозрительно, но смело.

Спокойно я даю заготовленный ответ.

– Хорошо. Тогда идем. Ведите! Я не знаю пути.

Мы пересекаем долину по проселочной дороге, среди веселой березовой рощи. Предвечерняя тишина. Лишь неугомонно щебечут птицы. Как странно... Изольда не знает, что слышит музыку жизни в последний раз: в ее голове столько мыслей, планов... Она старается предугадать все, что скажет ей незнакомец... Вероятно, волнуется... Спешит... Она сейчас вся впереди, с Иолантой, и ради нее еще дальше – в угрожающей неизвестности: торопится вперед и вперед, пока не дойдет до скалы с белым крестом... Семь шагов дальше... И жизнь, наполненная великой любовью, в которой сплелись преступление и подвиг, вдруг оборвется... Я не победитель и не палач. Веду ее на смерть с брезгливым равнодушием. Потому что нет во мне сейчас ни злобы, ни торжества, но только физическое удовлетворение от мысли, что еще одно недолгое напряжение – и потом будет отдых. Хотя завтра я не смогу отдохнуть: нужно будет подчеркнуто веселиться... Но потом... Ах, да – похороны... Не будет покоя. Только когда-нибудь, когда положу усталую голову на нежные колени Иоланты... Не думать... об Иоланте... сейчас... Не надо... Не надо!..

Когда долина кончилась, и мы свернули на дорожку, круто шедшую на подъем, Изольда остановилась и взглянула вверх. Солнце зашло за горами, перед нами поднимался по крутому склону лес, в котором уже залегли вечерние тени. Из ущелья потянуло сырым холодком, как из открытого склепа...

– Я не понимаю, зачем столько таинственности? – обернулась ко мне Изольда, передернув плечами, как от внезапной дрожи. – Вы разыгрываете дешевый роман! Не лучше ли вызвать вашего знакомого в Гриндельвальд и поговорить с ним в номере отеля?

Сейчас будет опасное место. Так и есть: на повороте Изольда останавливается, видимо, пораженная. Внизу под нами, как на ладони, виден ресторанчик у ледника, куда мы якобы идем. Веселый домик, усыпанная гравием площадка, крошечные фигурки людей. Мы успели подняться высоко. Под домиком – дикое нагромождение бело-зеленых ледяных скал. Впереди нас – темная узкая расщелина, откуда внизу выползает ледник, а на уровне с нами нависло облако холодного, сырого тумана. В нем исчезают черные и мокрые уступы отвесных скал.

– Вон ресторан! – Изольда смотрит на меня в упор. Синие глаза, большие и злые, сверлят меня насквозь. – Вы что же это – повели меня ложным путем, а? Куда, позвольте спросить?

Я спокойно отвечаю, обстоятельно, убедительно, не настаивая ни на чем. Она колеблется. Глядит то вниз, на уютный домик и людей, то вперед – в сине-черную мглу. Закуривает, и я вижу, как дрожат тонкие, цепкие пальцы. Напряженно думает. Потом молча идет дальше в гору.

Ну, скоро... На том повороте кончится лес. Еще два коротких крутых зигзага по склону – и последний подъем к обрыву. Безумно хочется курить. Нельзя. Сделаю это у белого креста. Иначе не отожду ее на край.

Поворот. Леса больше нет. Только тяжело клубится серая мгла и уходят в нее черные, скользкие, голые стены ущелья. Страшное безмолвие, ледяной холод нас охватывает.

– Я не пойду дальше! Что это значит? Вы меня обманули!

Изольда шла впереди. Теперь она поворачивается ко мне и стоит на узкой дорожке, держась левой рукой за скалу, а правой словно защищается от зовущей пустоты и пропасти. Лицо ее смертельно бледно, глаза широко раскрыты и кажутся черными.

– Испугались? – усмехаюсь я. – Плохой же вы защитник. Идите вниз. А Рону верните в более надежные руки. – Я демонстративно даю дорогу и делаю оскорбительный жест рукой.

– Марш!

Долгие мгновения мы стоим, пронизывая друг друга глазами. У меня в кармане браунинг. Выстрел замрет в тумане. Но пулевое ранение на упавшем со скалы труп. Что делать?!

Отказаться? Или продолжать? Когда будет проходить мимо, можно толкнуть, но она уцепится за меня. Как быть?

Никогда не забуду ее взгляда, такого острого, точно читавшего мои мысли. Лицо стало белым как мел. В кармане я снял предохранитель. Пуля в стволе. Ноги дрожат немного...

Изольда осторожно, прижимаясь к скалам, спускается ко мне. Хватает за край куртки на груди. В упор перед собой вижу искаженное ненавистью белое лицо и страшные черные глаза.

Она силится сказать что-то и не может... Только судорожно кривятся ярко накрашенные дрожащие губы.

Безмолвие. Мгла. Скалы.

Изольда выпрямляется. Делает резкий поворот и идет вверх, держась за мокрые и холодные глыбы. Я тащусь сзади.

Первый зигзаг. Второй. Последний поворот. Подъем к скале с крестом. И семь шагов дальше. Сейчас. Собраться с силами... Конец кошмару...

Скала. Крест. Изольда твердо шагает вперед.

– Отдохнем, – слышу звучит мой голос, чужой и мертвый. – Я закурю.

Мы останавливаемся. В кармане дрожащей рукой я оставляю браунинг и беру спички. Вынимаю. Сигарета положена в рот. Белое, как мел, лицо и страшные черные глаза. Поворачиваюсь к скале, зажигаю спичку.

Большая птица испуганно взлетает из трещины в скале и с шумом проносится над нами.

Инстинктивно я поворачиваюсь и провожаю ее взглядом. В этот момент всем нутром чувствую быстрый шаг Изольды позади меня.

Резкий толчок в спину...

И, широко взмахнув руками, я лицом вперед лечу в пропасть...

Ощущения падения не было, только туман, в котором исчезла птица, вдруг мелькнул назад, и я увидел над собой бело-зеленые глыбы льда. Больно ударился лицом и грудью и сейчас же почувствовал, как оторвались и полетели вперед ноги. Я перевернулся через голову, опять увидел над собой туман и больно ударился спиной и поясницей.

На мгновение как будто прилип к скале и, широко разбросив руки и ноги, застыл над пропастью. Думаю, что более ужасного момента в моей жизни не было и никогда не будет – коротенькие секунды неопишемого душевного смятения, ощу-

щавшегося как физическое страдание. Потом тело поползло вниз... медленно... быстрее... стремительно, как камень.

Напрасно каблуками тяжелых спортивных ботинок я старался упереться в какой-нибудь выступ, напрасно цеплялся руками. Кожаная куртка, рубаха и белье сползли со спины, хомутом окрутились на шее и закрыли лицо. Все исчезло. В предсмертной тоске я вскрикнул и закрыл глаза.

Прошла секунда... Другая... Еще и еще...

Придя в себя, я открыл глаза, освободил лицо. На очень крутом, почти отвесном склоне я повис, зацепившись закрутившейся, как хомут, одеждой за пенек сосны, росшей когда-то из трещины.

Увидев под болтающимися ногами синеватую пустоту, я закрыл глаза и опять тихонько застонал, замер, парализованный страхом и отчаянием. Потом властно вступила в права животная воля к жизни. Я ощутил растущее давление одежды под мышками и понял, что под тяжестью тела руки могут вывернуться вверх и выскользнуть из рукавов. Осторожно я исправил положение. Открыл хорошенько лицо. То, что было под ногами, уже не привлекало никакого внимания: я совершенно забыл о пропасти. Очень осторожно, чтобы не сорваться с пенька и не вырвать его с корнем, огляделся по сторонам. Трещина идет к дорожке, расплзаясь в стороны, как паутина, более мелкими щелями. Я нащупал впадину ногой и поглубже засунул в нее каблук... Потом другой... Ослабил давление на пенек... Одной рукой уцепился за выступ, другой нацелился еще выше... Переменил положение ног... Сдул с ресниц мешавшие смотреть горячие капли пота. Собрался с силами – и повернулся лицом к скале!

Теперь лихорадочная энергия переполнила руки и ноги, сделав их на время ловкими и сильными, как никогда. Жить! Жить!! Я наметил выступы и впадины, по которым можно было выбраться на дорожку. Отдохнул. С замиранием сердца снял скрученную одежду с пенька. Это был страшный миг. Затем медленно пополз по стене, сперва пробуя прочность камня, только затем с опаской перенося тяжесть тела с одной опорной точки на другую. Ползти нужно было метров пять вверх и наискось. Сколько это потребовало времени – не могу теперь сказать. Весь мир исчез – остались выступы и впадины, несколько метров каменного крутого ската – их нужно было завоевать в тяжелой борьбе. Капли пота слепили глаза, я чувствовал их соленый вкус на пересохших губах... В гробовой тишине сам слышал свое хриплое, воющее дыхание... Нако-

нец, ухватился за край дорожки, подтянулся, лег на нее грудью и животом. Забрался с ногами. Буду жить! Буду!! И потерял сознание...

Вероятно, быстро пришел в себя, вскочил и, не глядя по сторонам, не понимая зачем, побежал вниз. Спотыкался. Пал. И все бежал, бежал... В лесу упал лицом в траву. Мыслей не было. Ничего не болело. Первое, что я вспомнил, когда заработал мозг, была мутноватая синева под болтающимися в воздухе ногами. От ужаса я вскрикнул и закрыл лицо руками. Началась мучительная рвота. Стало легче. Я умылся, почувствовал боль, сунул руки за спину – кровь. Тогда я разделся, намочил лохмотья рубахи в ледяной воде и растер ею утомленное тело. Оделся. И вдруг одна мысль, как удар молнии, пронзила меня с головы до пят: Изольда!

Я забыл о ней. Теперь вспомнилось сразу: ощущение движения сзади... Толчок между лопаток...

Воспоминание об Изольде подействовало, как живительная сила. Я внезапно позабыл про усталость и боль, рванулся бежать вниз. Потом остановился, тщательно привел в порядок свой костюм и закурил. Осмотрел браунинг и большой складной нож. И затем тронулся в Гриндельвальд.

Конечно, она уехала. Сейчас выясню, поездом или иным путем. Вызову Улафа в Интерлакен. Возьму такси и немедленно туда. Ночью увидимся, выработаем план действий. И в погоню! Она заедет в Локарно. Кончик нити, которая выдаст ее в мои руки, держит Иоланта.

Переулком я свернул к знакомому пансиону. И вдруг, случайно взглянув через изгородь, сквозь деревья и кусты сада увидел пепельные кудри в освещенном окне угловой комнаты нижнего этажа.

Ах, вот как... Ну, положение меняется!

Переулок пуст. Темнело. Я перелез через ограду, подобрался к окну. И засел в кустах.

Я могу прицелиться получше и закончить все одним выстрелом. Убежать, пожалуй, успею. Но это будет не то, нет, нет – это не то.

Я хотел просто избавиться от Изольды. Теперь этого уже недостаточно. Умирая, она должна знать, что это моя рука настигла ее. Не избавления жажду, но мести!

Моим оружием будет только нож. Он один в состоянии достаточно красноречиво выразить kloкочущие в груди чувства! И действовать буду не спеша: Изольда все-таки не уйдет теперь!

Начал накрапывать дождь. Я сидел и смотрел в открытое окно, дрожа от яростного нетерпения. Сейчас отойдет последний поезд. Неужели уедет?

Изольда вышла в ванную, долго плескалась там, momentarily мне казалось, что она незаметно ушла и я упустил ее. Но потом опять слышались звуки воды, и я с облегчением вытирал влажный лоб. Наконец она вышла в халате, позвонила и что-то сказала горничной. Заказала машину?! От волнения стучали зубы, я пожирал окно глазами... Вошел человек с чемоданчиком. Изольда села на стул, ее покрыли салфеткой. Началась длинная процедура подвиги и укладки прически. Зачем? Нашла время... Парикмахер работал очень тщательно и долго потому, что Изольда часто смотрелась в зеркало и давала новые указания. Я взглянул на часы – поезд отошел. Слава Богу! Наконец, осмотрев себя в зеркало со всех сторон еще раз, Изольда, видимо, осталась довольна. Парикмахер вышел. Подали фрукты и вино. Небрежно полулежа в кресле, она слегка пощипывала гроздь винограда, чему-то улыбаясь и встряхивая время от времени светлой головой. Сидя под дождем в кустах, я терялся в догадках. Что это такое? Не ждет ли она кого-то?

Вдруг Изольда встала и, присев на край стола, подняла телефонную трубку. Я услышал знакомый номер.

– Рона? Вы? Не спите?

.....
– Ничего не случилось. Просто хочу, чтобы последним впечатлением сегодняшнего дня было мое пожелание вам спокойной ночи.

.....
– Не знали, что и думать?

.....
– Не сейчас. Я сошла с ума уже давно и не жалею об этом!

.....
– Такой вы меня всегда и помните, Рона, – любившей вас больше себя.

.....
– Волнуюсь? Нет, это вам показалось!

.....
– Да нет же, нет! Все в порядке. Впрочем, возможно, что я задержусь на время. Если мы долго не увидимся, то, пожалуй, следует сказать вам несколько слов на прощанье...

И задумалась, опустив трубку. Взглянула в окно. Да что с ней сегодня? Неужели совесть? Глядит в темноту и представ-

ляет себе черную ночь в горах, дождь и мое истерзанное тело на мокрых зубьях скал...

– Дитя мое, будьте счастливы. Пусть Бог даст вам столько счастья, сколько вы дали его мне. – Голос ее дрогнул. Чтобы собраться с силами, она сделала паузу. Потом, овладев собой, закончила ласково и спокойно:

– Ну, спите спокойно. Бай-бай!

Время шло. Наконец, с бокалом в руке, Изольда снова показалась в окне, потушив свет в комнате. Тучи быстро неслись по небу, минутами становилось темно и моросил дождь, потом снова выглядывала луна. Фигура неподвижно стоявшей женщины то скрывалась, то снова вставала предо мной, озаряемая лунным сиянием. Я не мог разгадать выражения ее лица, оно было бледно, светлые кудри казались голубыми, как у русалки. Что думала Изольда, не знаю, я же вспоминал свою жизнь, через которую она пронеслась, как буря.

Эта женщина, сломавшая меня, стояла передо мной совсем близко, а я сжимал рукоятку большого ножа и глядел, и никогда раньше она не казалась мне такой прекрасной. Шитый золотом и шелком халат небрежно распахнулся, девственное тело, тренированное спортом и тщательно холеное, казалось юным, гибким, как у молоденькой девушки, но лицо поражало расцветшей красотой женщины, знающей жизнь и все то, что можно взять от нее.

Наконец Изольда очнулась. Громко произнесла какое-то слово (я не успел понять его), резко засмеялась и залпом осушила бокал. Взглянула на небо, на серебряное мерцание вечных снегов. И исчезла в комнате. Я понял, что она готовится ко сну.

Снова прошло время. Я взглянул на часы. 3:30. Минуты самого глубокого сна. Скоро рассвет. Пора.

Я снял ботинки, натер камфарой руки и подошвы чулок. Если придется стреляться, то не забыть бы выстрелить снизу, под челюсть, чтобы исковеркать себе лицо. В кармане документов нет. Я нигде не прописан. Нигде не осталось вещей. Оружие готово. Сердце не колотится, руки не дрожат. Спокойно заглядываю в окно. Вон кровать: Изольда спит. Как подойти к ней? При свете опаснее, но иначе она не узнает меня... Если набегут тучи, обожду в углу... Левой рукой схвачу за волосы, рвану вверх... и в то же мгновение – до крика – ударю ножом. Лезвие держать горизонтально, чтобы легче прошло между ребрами. Потом уже громко не крикнет. Буду держать ее перед собою, пока не потеряет сознание. Мое

торжествующее лицо – это последнее, что она увидит в жизни. Потом – в Мюррен!

Замечаю расположение мебели, чтобы не опрокинуть стула, не споткнуться о ковер. В темный промежуток втягиваюсь в окно. Терпеливо жду в углу.

Постепенно лунный свет опять заполняет комнату. Изольда спит на правом боку. Левая рука как-то непривычно лежит на одеяле, скомканном и почти сброшенном на пол. Не спалось? Я думаю... Ей снятся дурные сны, но еще ужаснее будет сейчас пробуждение!

Сердце бьется часто, но ровно. Рука уверенно сжимает рукоять ножа. Теперь она не уйдет. Моя!

Яркий свет. Я быстро делаю четыре шага. Изголовье. Вот они, пышные кудри, голубые, как у русалки. Схватить надо за локоны над бледным лбом.

Полной грудью вбираю воздух и одним страшным рывком поднимаю голову с подушки, широко замахнувшись ножом.

И застываю неподвижно...

Изольда мертва.

Долго-долго стоял я с ножом в руке, держа за волосы мертвую голову. Луна косо освещала большую комнату. Было тихо. Когда-то дерзкое, гордое и волевое лицо теперь безмятежно-спокойно, лишь губы чуть подернуты судорожной улыбкой. Синие-синие глаза, некогда полыхавшие, как пламень, закрыты. Изольды нет. Она далеко. И не страшен ей мой запоздалый нож или моя земная ненависть.

Горе и зло, разъединившие нас в жизни, теперь пали перед великой окончательностью Смерти. Луна призрачно освещала пустую и тихую комнату, а я, бережно уложив тело, стоял, как зачарованный, и все глядел на дорогое и любимое лицо. Потом осмотрелся. Хотелось, чтобы люди застали умершую в достойном виде. У изголовья рассыпаны какие-то таблетки. Это все равно. Я красиво оправил подушку и одеяло. На столе три письма: фрау Рюэгг с приложением денег – хозяйке пансиона, мистеру Т.О. Мак-Грегору, доктору права, нотариусу в Эдинбурге и синьоре Роне Вивальди, вилла Бэлла Виста в Локарно. Ни ревности, ни злобы. Но оно не нужно, это письмо. Иоланта едва оправилась от болезни. Слишком слаба пока. Портсигар. Крышка открыта, на ней детским почерком моей бывшей жены написано: «Люблю лишь тебя, и вся моя иная любовь – только ничто». Ни зависти, ни горя... Я взял портсигар и письмо и положил их в карман.

Еще раз, последний раз в моей жизни, посмотрел на тонкий профиль, такой безмятежно-спокойный.

Что же стоять дальше? Изольды нет. Она далеко. И не нужно ей больше мое запоздалое преклонение или моя земная любовь.

Остаток ночи шел в Интерлакен. Мог бы и ехать, конечно, но нужно было искать такси, а я не в силах был говорить с людьми. Кажется, моросил дождь. Возможно. Не помню. Я шел один в сером сумраке рассвета, окруженный видениями прошлого, непоправимого, страшного и драгоценного. На мостике остановился и долго-долго глядел на игру ледяных зеленоватых струй. Вот они поднимаются с яростным усилием и потом рассыпаются длинной вереницей пены и пузырей... Как моя жизнь...

Я вынул из кармана портсигар. Поцеловал его. Вытянул руку. Разжал пальцы. Все кончено... Кончено...

Но письмо выпало из небрежно заклеенного конверта, и я машинально стал читать его — несколько строк, написанных уверенным и смелым почерком на плотной бумаге, по которой ползли слезы холодного дождя:

«Я ухожу навсегда: вы слишком слабы для бремени моей любви, я слишком сильна для того, чтобы любить только созерцательно и бесплотно. Мне всегда хотелось, чтобы моя любовь была дерзким вызовом, восторгом движения и борьбы, упоением порыва к Недостигаемому, победным прыжком в пропасть. Но движение бури невозможно без сломленных ветвей и примятых цветов, и если я могу опрокинуть сильного, то не должна повредить слабому. Вам необходима тишина, и я протягиваю вам ее как мой последний дар.

Гордо я бросаю в вино яд и высоко поднимаю эту чашу, как факел: пусть в последний раз он озарит, объяснит и возвеличит мою любовь к вам и меня».

Я наклонил голову, как от удара хлыстом, но его не было. Был только торжествующий крик победы, последний громовой раскат гимна самоотверженной любви и человеческой свободы, которые сильнее, чем смерть.

Смерть! Закрыв глаза, я ясно видел ее, попирающие узкие рамки земного бытия и возносящую умершую к просторам бессмертия...

И снова я вытянул руки и разжал пальцы, и письмо косо и медленно опустилось в бурлящую воду потока, как приношение Изольды тому, что, — теперь я знал это, — останется для

меня навеки лишь Недосягаемым и что в жизни и смерти смогла достичь девушка с синими глазами, полыхавшими, как пламень.

Утром добрался до города. Хотел пойти прямо на станцию, но почувствовал, что силам моим приходит конец. Вошел в большую гостиницу и снял номер. Когда я нашел свой коридор, навстречу показался уборщик со щеткой. Я испугался, что он увидит мое лицо, и свернул в уборную. На стене, около умывальника, висел уютный голубой ящик. Автомат. Около отверстия для опускания монет красиво выведена надпись: «1 франк – полотенце и мыло»; «2 франка – бутылочка одеколона»; «3 франка – Тайна! Весьма полезно!! Только для мужчин!!!»

Чтобы не упасть, я обхватил автомат обеими руками и прижался жарким лицом к прохладному железу. Это было приятно. Плач, сначала беззвучный, перешел потом в глухие рыдания, похожие на собачий вой.

Глава 6

Гибель Серебряной Розы

Il faut fouler aux pieds des fleurs a peine ecloses,
Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieux,
Puis le coeur s'aperçoit qu'il est devenu vieux
Et l'effet qui s'en va nous decouvre les causes.

A. de Musset

Нужно попать ногами едва распутившиеся цветы, много рыдать, многому сказать «Прости!» и только тогда сердце поймет, что оно состарилось, и в результате этого ему откроются причины всех вещей.

A. де Мюссе

Разведывательные источники – это люди, а люди уезжают, переводятся на другую работу, болеют и умирают. Поэтому и источники не существуют вечно: работают и работают, потом случается то непредвиденное, что не дает разведчику дальше получать требуемую информацию. Тогда линия закрывается. А человек, именуемый источником?

Гм... Это уж его дело. Он интересен только пока «работает», то есть пока продает и предает.

Полковник Вивальди довольно часто уезжал, и Рона всегда точно знала, куда и надолго ли. Оттиски ключа она сделала удачно и усвоила технику открывания сейфа. Ночью, в отсутствии мужа, открывала окно в сад, я втягивался в комнату и производил фотографирование. Получалось, что полковник стал работать на Рим и Москву в равной мере, и все могло бы продолжаться спокойно и относительно безопасно долгие годы.

Могло бы. Но в жизни этого не получается.

Рим стал торопить влюбленного в молодую жену пожилого мужа. В первое время он обычно получит документы в Кельне или Базеле, доставит их на машине в Локарно и даст себе неделю отдыха – столько, сколько нужно мне для фотографирования. Но постепенно политическая обстановка стала накаляться больше и больше. Гитлер ускорил вооружение вермахта, и римские начальники полковника Вивальди начали требовать скорейшей доставки полученных материалов – получи и, не заезжая домой, марш в Рим – сдавать добычу! А я? А фотографирование? Римское начальство этого, разумеется, не учитывало, но московское – да, и еще как! Два случая прямой доставки добычи без снятия для нас фотокопий были оценены чуть ли не как мое ротозейство и халатность. Я переговорил с Роной, и та подняла шум – жена она или нет? Разве она не имеет права хотя бы на сутки задержать мужа?

– Имеет! – ответил полковник и стал в донесениях представлять неверные даты, выкраивая время на заезд домой, хотя бы на одну ночь.

Фотографирование в условиях его пребывания в соседней комнате – кабинет и спальня находились рядом – стало чрезвычайно опасным: полковник мог ночью неожиданно войти в кабинет по пустячному поводу, скажем, за пачкой сигарет, и провалить дело, и, главное, в ночной тишине слабое щелканье фотоаппарата становилось слышным даже из спальни комнаты: Рона это проверила.

Что делать? Москва ответила: идти напролом, на любой риск! Время было слишком серьезным!

Я уходил на работу с пустыми карманами и не имея прописки в Локарно, старался бывать реже и ночью (приезжал на машине из Цюриха). Под мышкой у меня был подвешен пистолет для быстрой стрельбы через пиджак, по-американски. Но главным моим щитом являлась Рона в случаях, когда ей можно было присутствовать при фотографировании. Однако часто это оказывалось невозможным, я запирал дверь изнут-

ри и оставлял окно открытым на случай бегства, а также разу-чил позиции, если придется стрелять на бегу к ограде в полковника, который мог выбежать на крыльцо. Пистолет у меня был большой, многозарядный и бесшумный, с длинной насадкой на дуле.

Каждая такая вылазка стала путешествием к собственной могиле.

– Почему в двери нет ключа? – едва слышно прошептал я.

– Его случайно взял Гаэтано, – еле шевеля белыми губами, беззвучно ответила Иоланта.

– Где он?

– Спит.

С вечера она нарочно «забыла» в кабинете свой халат и теперь тихонько вышла якобы за ним.

Работая в тончайших хирургических перчатках, я открыл сейф, вынул пачку документов и устроился за письменным столом – это было самое удобное место.

Тик... Тик... Тик... – защелкал аппарат под мягким толстым платком с прорезью: я через прорезь следил за наводкой, платок заглушал щелканье затвора и скрывал вспышку света.

Рона левой рукой болезненно прижимала к груди красный китайский халат и, не отрываясь, смотрела на дверь. Лицо стало беловато-серым. В правой руке она держала нож для разрезания книг, и, забываясь, иногда дрожащими пальцами прикладывала его к зубам и в мертвой тишине, не глядя и не слушая, я слышал дробный стук кости о зубы. Через три комнаты в коридор из ванной или кухни доносилось мелодичное цокание капель, падающих из до конца не завинченного крана. Далеко в городе иногда гудел автомобиль, да слышались сонные крикичаек. Воздух был полон едва слышными близкими и далекими звуками, которые все вместе подчеркивали гробовую тишину влажной летней ночи и нависшую над нами смертельную опасность. Это страшное многоголосое звучание тишины не могло заглушить тяжкое биение сердца и звон в ушах – сердце точно кто-то вынул из моей груди, и оно громко стучало на всю комнату, на весь дом и все Локарно, лежа рядом с пистолетом.

Мы услышали легкий шорох за дверью как раз в то мгновение, после которого она распахнулась. Полковник стоял в дверях и сладко зевал, закрыв глаза кулаками. Видны были только закрученные кверху черные с проседью усы и откры-

тый рот. Я успел схватить пистолет и прицелиться, когда он засмеялся и с порога промычал:

– Устал вчера... Что ты тут делаешь?

Шагнул в комнату. Повернул голову туда, куда смотрела Рона, и разом увидел все – направленный в него пистолет... меня... фотоаппарат под черным бархатным платком... папку секретных документов на столе... и позади всего этого – открытый сейф.

Несколько секунд мы молчали.

– Он тебя держит под пистолетом, Рона? – наконец прохрипел полковник.

– Нет, – громко, ясным голосом ответила та, все еще играя костяным ножом. – Дай ему уйти без шума. Помни о себе. Это главное.

Полковник тяжело навалился спиной на одну створку двери, левой рукой поддерживая себя за ручку второй, открытой створки. Он дышал, как загнанный зверь.

– Стрельба бесполезна: вы скомпрометированы, – произнес я по-немецки чужим и противным голосом, всеми силами имитируя английский акцент. – Вы проиграли. Закончим игру спокойно. Проходите дальше и ложитесь на ковер лицом вниз. Мы уходим первыми.

Но полковник уже пришел в себя. Потер лоб, как бы стараясь справиться с потоком мыслей. Вяло доплелся до кресла и повалился в него.

– Какая чепуха... Какая чепуха... А вы, женщина, не уходите далеко: я уложу документы, запру сейф и сейчас же уеду в Цюрих. По дороге случится авария. Вы устройте похороны и оформите все остальное. Поняли? О шпионаже ни слова. Я проиграл потому, что теперь не могу пристрелить вас обоих в моем доме. Поздно. И не к месту. Идите.

Полковник Вивальди свалился с машиной под откос. В сумке у сиденья нашли недопитую бутылку виски и стакан. Вскрытие тела обнаружило присутствие алкоголя в ткани мозга. Все было устроено самоубийцей как полагается, и заключение полицейского расследования ничем не уронило чести покойного и не затронуло интересов закутанной в черную вуаль вдовы.

Преждевременно исчезнуть для нее было опасно. Зачем спешить? Теперь уж некуда... Иоланта дотянула до конца всю длинную законную процедуру похорон и передачи наследства семье покойного.

– Ну, все. Ты свободна, Иола, – сказал я. Мы сидели в длинном и скучном кафе Гугенин на Станционной улице в Цюрихе: я уезжал в Париж, она получила отпуск и решила провести его на юге Франции, у моря. – Кончился еще один эпизод, скверный, но не последний для нас. Жизнь и работа разведчика из них и состоит.

Я закурил сигарету и отхлебнул глоток виски.

– После отдыха я уезжаю, – тихо сказала Иоланта.

– Куда, если не секрет?

– В Москву.

– Но...

– Оставь. Уговоры бесполезны. Я ухожу с этой работы. Я хочу стать в Москве тем, кем когда-то была в Праге, – маленьким счетным работником. Я не хочу жить.

– Почему?

– Потому что не могу больше.

– Прости за назойливость, Иола, но нужно выяснить все до конца: я рекомендовал тебя в нашу группу и отвечаю за тебя. Итак, почему ты не хочешь жить?

– Потому что это время – ваше, и жизнь теперь хороша только для таких, как ты.

Потом нам подали кофе. Мы заказали его, чтобы что-то делать. Снаружи лил дождь. Людей в кафе было мало, но иногда кто-то проходил мимо, и тогда на нас с чьих-то плащей срывались холодные капли. Нам было все равно.

– Я повторяю то, что сказала тебе когда-то. Ты – убийца.

Помешивая ложечкой в чашке, я долго молчал, рассматривая коричневую пену на черной блестящей поверхности кофе. Иоланта тоже молчала, хотя, конечно, спор продолжался, – просто иногда людям и не нужно говорить: слова мешают пониманию. Отвлекают. Снижают уровень разговора. Наконец я поднял голову и спросил:

– Кого же я убил?

– Меня, Газтано, Изольду...

Она бросила последнее имя как вызов. Я пожал плечами.

– Нет.

– Да.

– Но не Изольду.

– И ее. Ты нас прижал спиной к стене. У нее не было выхода. Ты убил Изольду. Ты.

Опять что-то подавали и убирали. Наши поезда уходили не скоро: мой в 22:30, ее – чуть раньше – в 22:05. Она ехала через Лион, кажется, в Ниццу. На улице зажгли свет, и мы

оба, безмолвно споря, равнодушно смотрели на блестящие скрюченные спины прохожих.

– Я тебя ненавижу, – тихо произнесла Иоланта и лицо ее искривилось. – За Изольду. За всех. Еду в Россию, чтобы умереть. Хочу смерти, понимаешь? Смерти!

Этот вечер был холодным и злым. Подобно зареву пожара пылал далекий закат, и гребни крыш в темнеющем небе казались объатыми пламенем. Где-то высоко выл ветер. Но в узком переулке уже сгущались сизые тени и было тихо: шум уличного движения ровно и мягко гудел издалека, редкие прохожие лишь усиливали ощущение одиночества. Я был один наедине с Иолантой и печалью разлуки. Когда-то экс-король Испании «открыл» уединенный комфортабельный отель в самом центре веселой столицы мира, отель вошел в моду, но Иоланта знала его давно, и я безошибочно нашел ее по записке из четырех слов: «Остановилась проездом. Зайди проститься».

Мы медленно шли по коротенькой улице. Потом остановились на углу. Я жадно искал в неподвижном лице какое-нибудь чувство, одно легкое движение симпатии. Нет, ничего не было, только замкнутость и равнодушие. Иоланта глядела на мертвый закат, я мысленно обнимал ее колени и каялся, просил прощения и давал клятвы. И молчал, неловко вертя в руках какой-то сверток.

Все кончено. Иоланта уйдет сейчас навсегда, такая далекая и чужая. А ведь она любила меня когда-то... Протяну руки – и сумрачное лицо вдруг просветлеет смущенной улыбкой, пустые глаза станут теплыми и живыми, эта девушка, замкнутая в себе, окажется простенькой и милой, как все девушки в руках своих любимых. Но я сам оттолкнул ее, все нити, связывающие нас как будто навеки, я порвал сам в угоду своему злему богу.

Однажды, лет пять назад, мы встретились в розовых зарослях цветущих магнолий на берегу синего озера. Это было в Локарно, в первые месяцы ее пребывания там.

– Вот неожиданность! Ты откуда? – Иоланта застенчиво прижалась ко мне и заглянула в глаза.

– Вон оттуда, – со смехом кивнул я на пылающую высь неба, где прямо над нами, на уровне близких снеговых вершин парил одинокий орел.

– Вы прилетели вместе?

– Нет, у меня были крылья посильнее. Я рванулсЯ сквозь туман – и оставил позади коричневую смерть.

И, небрежно закулив, стал рассказывать о своем последнем приключении в Берлине. После прихода к власти Гитлера и его банды разведка против нас была резко усилена – она стала протекать по множеству каналов и приобретала специализированный характер. В частности, одна могучая монополия, тесно связанная с американским капиталом, учредила у себя бюро по сбору сведений об СССР. Чтобы перестраховать себя от всяких случайностей, хранение совершенно секретных документов поручили немолодой горбунье, озлобленной и неприятной в обращении, – словом, надежной цепной собаке. После долгой подготовительной работы я сделал ей предложение и в залог верности попросил какую-то бумажку, косвенно касающуюся Румынии: я выдавал себя за богатейшего румынского помещика. Она сделала неосторожность – дала черту один длинный костлявый палец. Черт взял остальное, и когда влюбленная достаточно себя скомпрометировала, я передал ее другому работнику, тоже «румыну», а сам исчез навеки: поехал в Румынию и заказал траурные извещения о своей трагической гибели на охоте в горах. Товарищ показал газету невесте, та едва не скончалась от горя, но денежки рязанских колхозничков опять помогли, невеста-вдова оправилась, и линия продолжала исправно работать. Теперь я по необходимости остановился проездом в Берлине, пошел в кафе и в дверях нос к носу столкнулся со своей вдовой!

– Ты бы видела наши лица, Иола, – держа ее в объятиях и улыбаясь, вспоминал я тот острый момент. – Рядом стояли три эсэсовца: одно ее слово, легкий крик, невольный резкий жест – и я бы погиб. Но мы окаменели, понимаешь, окаменели без звука и движения! Я пришел в себя раньше: прошел мимо, свернул за угол, вскочил в такси и удрал! В нашей жизни быстрота реакции – главное: мы – как летчики, только летаем не в небе, а по кафе и ночным кабакам.

Лицо Иоланты приняло страдальческое выражение. Где-то глубоко в душе шевельнулся стыд, я чувствовал потребность замолчать, но говорил и говорил.

Иоланта опустила голову и молчала.

– Ну, что ты скажешь?

– Ты счастлив. Ты – герой.

Наши глаза встретились, но силы были неравны: я опустил взор, чувствуя, как краска стыда заливает щеки.

«Она права», – горестно шепнул внутренний голос, но я упрямо возразил:

– Ты не права, хотя я и прощаю тебе иронию. Она не обидна, потому что смешной герой – все же герой. Разве напрасно любят Дон-Кихота из Ламанча?

– Это твой предок. Но за триста лет род ваш измельчал, и ты уже не заслуживаешь симпатии, товарищ Кихот из гитлеровского Берлина. Ты подлее своего предка, потому что он нападал только на мельницы, и ты презреннее его, потому что он был господином Санчо Пансы, а ты – его покорный слуга.

«Она права!» – твердо сказал внутренний голос, но я ответил:

– Ты не права, тебе докажет это мое будущее.

Иоланта всплеснула руками, как ребенок.

– Твое будущее? Я предскажу его, слушай: ты бросился в бурную реку, чтобы переплыть ее. Ради дивного сада на том берегу. Вот ты плывешь, рискуя собой и топя тех, кто мешает, – ведь высокая страсть якобы освещает жестокость. Ты – сильный, ты доплывешь. Тогда настанет минута возмездия: переплыв реку, ты убедишься, что дивного сада нет, он существовал лишь в твоём воображении. Честный и гордый человек, ты не выйдешь на берег, но сложишь руки и погибнешь.

«Она права, права!» – страстно крикнул внутренний голос.

– Что же, сказал я, – понутив голову, – никто не знает своего конца. Будь что будет. Нужно бороться, потому что я – боец.

– Ты – творец прекрасного! – пылко закричала Иоланта, обхватив меня руками. – Верю в твой талант чудесного, оригинального художника, в твою фантазию, такую изощренную и причудливую! Ты мог бы быть гением, но ты пройдешь среди нас, незамеченный и неоцененный. Очнись! Знаешь ли ты, что самое страшное в твоём конце – это муки неиспользованной творческой силы, горечь сознания, что жизнь прожита ошибочно и напрасно?!

Я не слушал Иоланту, хотя внутренне сознавал ее правоту. Мой бог оказался сильнее, и я пошел по иному пути. Ну, что же... Время настало – мы расстаемся. Теперь все конечно. В этот вечер, холодный и злой, она пожмет мне руку, и никогда больше я не увижу слепых и ясновидящих глаз, для которых в душе моей не было тайны.

Иоланта взглянула на небо.

– Ночь надвигается. Пора. Прощай!

– Дай мне что-нибудь на память, – я протянул руку.

– Ты просишь, как нищий.

– Я остаюсь нищим... Не мучь меня! Оставь мне что-нибудь твое, что я мог бы хранить потом, как символ нашего прошлого.

Было почти темно – последние багряные блики угасали в небе. Я ожидал с протянутой рукой.

Огромные глаза цвета льда в последний раз опустошили мне душу, и я понял приговор. Она подняла сигарету и стряхнула пепел в мою ладонь.

Я замер. Маленький комочек одно мгновение жег и светился, потом потух. Вот дунул ветер – и ничего не осталось у меня в руке... Пустота...

Когда я поднял глаза – Иоланты уже не было.

Ничего не осталось...

Неужели нужно терять, чтобы научиться любить и беречь? И я осужден желать только невозможного и звать тех, кто не оглянется назад?

Да, ничего не осталось... Только драгоценный груз воспоминаний, мое призрачное сокровище, которое я отныне буду прижимать к груди пустыми руками, тащась вперед по извилистому пути к свободе.

Мне удалось вырваться с работы полгода спустя после отъезда Иоланты. Я приехал в Москву, получив обещание, что меня отпускают навсегда, предварительно предоставив один год отпуска. Со мной были рукопись публицистической книги для вручения ее в какую-нибудь московскую редакцию и рукопись научной книги с заготовленными в Париже клише, и пятьдесят картин: представлялось, что мое появление на культурном горизонте не останется незамеченным. Но вследствие стечения чрезвычайных обстоятельств меня упростили в **последний раз** съездить в командировку, и я сделал круг через Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию и благополучно вернулся домой. Между тем меня уже приняли в Союз советских художников и назначили на осень персональную выставку. Рукопись публицистической книги находилась на рассмотрении. Оставалось начать устанавливать контакты с ученым медицинским миром относительно второй рукописи. Я энергично принялся за дело.

Но как раз в этот момент я был вызван к высокому начальству. Мне сообщили, что отдыхать сейчас не время и нужно снова готовиться к выезду за границу на многие годы, так как решено связать меня с чрезвычайно важным для Родины источником.

– Вопрос стоит о тебе, Иола: едешь ты или остаешься?

– Еду.

— Почему?

— Потому что опять хочу жить. Я отдохнула и чувствую себя как хорошо прочищенная, смазанная и заряженная винтовка. Оружие, милый, для того и существует, чтобы стрелять, не так ли?

Мы жили в поселке Сокол и часто ходили гулять в лес по Волоколамскому шоссе: это недалеко.

— Но однажды в Цюрихе, часа за два перед нашим отъездом из Швейцарии, ты мне заявила: «Вот ты говоришь, что все свершенное нами якобы оправдывается полетом к свободе. А знаешь ли ты, что прутья клетки всегда перед нашей грудью и орел, стремительно взлетающий в небо, скорее и больнее почувствует их, чем червь, прилежно объедающий края листка? И самым свободным на земле является труп, потому что он лежит не двигаясь и никогда не ощущает тесных стенок гроба?» Ну, так как же обстоит дело с этим? Червь ты или орел?

Иоланта засмеялась.

— Какой ты слепой! Я женщина и все. Виноградная лоза, которая даст тем большие гроздья, чем прочнее будет у нее опора. Я ни червь, ни орел, но человек, не боящийся боли, вызываемой в груди прутьями клетки. Милый, милый, сколько раз мы проходили меж прутьев? Ведь мы — разведчики! И не напрасно нам говорят, что Родина нас не забудет!

Она задумалась. Вдруг покраснела.

— Я потеряла политическую перспективу. Такая фраза звучит так казенно, надуманно и фальшиво, что мне стыдно ее говорить. Но ведь это правда! Мы сделали так много жестокостей и подлостей другим, что были бы подлецами, если бы не идея, которой мы служим, и еще больше — мы были бы дураками, если бы сами приняли столько мук ни за что. Ведь мы солдаты Революции. Правда? Ну скажи же — это правда? А?

— Правда! — ответил я и опустил голову: я не мог забыть Фьорзеллу Имперали.

Так как паспорт, по которому мы должны были выехать в Японию и дальше, был канадский на имя инженера-лесовика, то нас отправили в Карелию для ознакомления с лесными разработками и заготовления фотографий, нужных для наших чемоданов при осмотре границы и на случай негласного обыска в гостинице. Мы снимались на фоне леса и бревен в канадских костюмах, с канадскими газетами или с банкой канадских консервов в руках.

Потом меня арестовали.

При обыске и многочасовом рассматривании найденных у меня фотографий из Африки Иоланта стояла позади моего стула и держала обе свои руки на моих плечах, а я сидел к ней спиной и положил свои пальцы на ее. Это был немой разговор: чекисты не понимали, что мы молча говорили друг другу слова любви, просьбы о прощении и благословении.

В ту ночь при пробуждении первое, что я увидел, были ее глаза. Она сказала: «Встань, милый. Они здесь». Я проснулся и увидел ее глаза. Когда меня уводили, она выбежала на крыльцо и накинула мне на шею свой платок на память. Глаза – это было последнее, что я видел.

Огромные. Блестящие. Лучезарные.

Полные нечеловеческого напряжения и выразительности. Руками мы говорили всю ночь. Глазами – мгновение.

Но сказали все. До конца.

Из Красноярска я написал письмо, в котором извещал, что осужден на сверхжизненный срок и рекомендовал ей выйти замуж, чтобы изменить фамилию и порвать видимую связь со мной. Я писал ей:

– Живые должны жить!

Иоланта в письмах никогда не жаловалась и писала о себе мало. Ее посылки поражали нелепым великолепием: посылалось все только самое лучшее, самое дорогое. В лагере своего ничего нет: все посылаемое грабили бандиты, поставленные начальством на должность **воспитателей**. Но никакие мольбы и приказы не могли заставить Иоланту изменить характер посылок.

– Я посылаю это не только для тебя, но и для себя. Иначе не могу жить.

А в июне сорок первого года она приехала на свидание смертельно больной. Проститься перед смертью.

К вечеру двадцать первого июня сорок первого года со штабного лагерного пункта Мариинского отделения Сиблага должен был уходить этап. Это было обычным делом – на то и существует штабной лагпункт, чтобы принимать и отправлять этапы, и этап шел самый обычный – человек двести отдохнувших мужчин, получивших на медицинской комиссии первую категорию («тяжелый труд») и теперь направлявшихся из легкого сельскохозяйственного лагеря куда-то на восток, на рудники и шахты.

Как обычно, начальство с каждым рабочим этапом отправляет и несколько урок, особенно надоевших бесчинствами, грабежами и убийствами. Так случилось и в этот вечер: отправляемые рабочие уже выстроились с вещевыми мешками у ворот, как вдруг несколько самоохранников во главе с нарядчиком ворвались в блатной барак и стали выволакивать несколько назначенных в отъезд бандитов. **Законный** или **честный вор**, то есть бандит, живущий по-воровскому **закону**, вещей не имеет и, засунув руки в карманы, равнодушно идет к воротам – у него в каждом лагере друзья, все лагеря и тюрьмы для него – родной дом. Но среди отправляемых урок оказался молодой парень, только что сошедшийся с красивой девкой из блатнячек, и уходить от нее ему не захотелось. А для того чтобы остаться, у **честняги** всегда имеется испытанный прием. Парень бегом пустился к кухне, схватил топор, которым инвалиды колют дрова на лучины для растопки печей, и понесся в амбулаторию, где я вместе с фельдшером, поволжским немцем Карлом Ганом, вел прием.

– Доктор, у mine обратно чтой-то болить в животе. Болезнь заразная и может скакнуть тебе на голову. Клади mine в больницу! И чтоб сей минут было направление, понял? Я обратно иду в этап!

Законный вор наклонился ко мне через стол, распахнул телогрейку и показал засунутый за пояс топор.

– Сейчас. Подожди минуту.

Я спокойно встал, не спеша шагнул к шкафчику с лекарствами и вдруг схватил прислоненный к стене лом: он стоял в углу и не бросался в глаза.

– Давай отсюда, падло, – зарычал я и угрожающе перекинул лом на руку острием вперед. – Катись!

Медлительный Карл между тем обмакнул перо в чернила, аккуратно поставил очередной номер на следующей графе амбулаторного журнала и вежливо спросил:

– Как фаш фамилий, имя, ошество?

– Вот так! – ответил честный вор и ударил его топором по лбу так, что череп до шеи раскололся на две половины, которые отогнулись к плечам. Секунду Карл испуганно смотрел на убийцу, разом с двух половин головы, потом рухнул под стол. А урка, довольный удачей, рысью понесся к этапу, где его нетерпеливо ждало начальство:

– Я остаюсь, начальники! – еще издали радостно закричал он. – Сейчас в амбулатории я **сделал** лекпома!

У него была **вечная десятка**: срок добавлялся до десяти лет за каждое новое преступление, а последнее имело место

месяца два тому назад, так что Карлуша обошелся **законнику** дешево. Но мне – нет: Ган был славным парнем, у него остались жена и ребенок, и отбыл он три года срока за кражу дров из больницы, в которой работал. С горечью оформлял я тело для приема в морг, с горечью плелся в свою кабинку. Сел на койку и долго смотрел на медицинскую книгу, часа два тому назад открытую Карлом: педантичный немец не забыл обернуть ее в чистенькую газету, а на недочитанной странице сделал чуть заметную отметку ногтем. Срок у него уже кончался, и он усиленно работал над собой, учился.

«Все чепуха... Все чепуха... Это фронт, на котором приходится ежедневно с утра выходить в атаку – без цели, без идеи, без смысла...»

После отбоя дневальный заключенного коменданта вызвал меня к нему. Вацек Сташевский на воле командовал дивизией и сидел за то, что в пьяном виде на повышенной скорости вел машину и тяжело изувечил прохожего. Он ожидал, что его скоро амнистируют, – такие слухи ходили в штабе. А пока внешне держал лагпункт в образцовом порядке, потому что здесь помещалось человек двести полек и поляков, сливки польского помещичьего и буржуазного общества, тщательно ссуженные при разделе Польши с Гитлером и теперь сидящие в заключении без вины, без суда и без срока. Начальство дало указание Вацеку и мне относиться к ним особенно внимательно. Он говорил с ними по-польски, я – по-французски; поляки вязали варежки или работали в художественной мастерской, точнее – ничего не делали.

Ночь была очень лунная и теплая. Июнь в этих местах Сибири самый приятный месяц. Я подошел к пристроенному к стене барака домику из свежих веток – там спал бывший командир, страдавший на нервной почве частыми сердечными приступами и удушьем.

– Ну, как – опять сердце? – негромко спросил я, войдя с освещенного луной двора в непроглядную темень зеленой хатки. Ответа не последовало. Я пощупал койку рукой – никого. «Значит, опять вызвали куда-то. Оттого и приступы. Сердце требует спокойного сна». Я положил шприц и коробку с медикаментами на стол и задумался, глядя в пылающую голубизну открытой двери. «Все чепуха... Все чепуха...» – повторял я, потому что не мог сбросить с себя угнетающую тяжесть зрелища смерти Карла... Вдруг контур женской фигуры четко вырос на голубом фоне беленой стены следующего барака.

Вацку! Муй коханий!

Я не успел узнать вошедшую. Но вежливо поднялся ей навстречу, чтобы сказать, что пана коменданта нет и что он сейчас же... Однако две руки уже обвилились вокруг моей шеи, и ее губы не дали мне говорить.

– Я те кохам... Я те кохам...

Незнакомка, дрожа от возбуждения, властно влекла меня к ложу из свежих листьев. Вацек отпустил себе золотистую бородку, как он говорил, в мою честь. Но ни ростом, ни фигурой мы не походили друг на друга. Однако молодой пани было некогда разбираться в тонкостях: это был взрыв страсти, рожденный отчаянием, как у человека, не имеющего завтрашнего дня – любовь у двери морга.

Когда все было кончено и мы, тяжело дыша, молча стояли в темноте друг против друга, слышались быстрые шаги и блеснул качающийся свет фонаря.

– Доктор, вы здесь? Простите, что задержал. – Вацек вбежал и остановился. – Гм... Приятная встреча, пани Ванда! Что вам угодно?

Ванда Рембовская числилась первой красавицей среди многочисленных красивых и хорошеньких полек. Такая гордая, недоступная... Так вот оно что... Мы удивленно переглянулись. Пани Ванда гордо подняла одну бровь и отвернулась, пожав плечами.

«Все равно... Все чепуха...» – думал я, закуривая закрутку на пути в свой барак. Уже светало. «Какая нелепая иллюзия жизни!»

А наутро, сразу после развода, меня вызвали на вахту и объявили, что ко мне приехала из Москвы жена и что за хорошую работу командование премировало меня пятью трехчасовыми свиданиями. Они должны происходить здесь же, на вахте, в задней комнатухе, на широкой и длинной скамье, где отдыхали стрелки. Знакомый молодой стрелок Иван доверительно прошептал:

– Ты не тушуйся, доктор, мы тоже люди: с бабой твоей делай здесь что хошь. Никто не заглянет. А насчет трех часов – так это форма, понятно? Сидите до ужина. Здесь я хозяин! Ты уже позавтракал? Ну, и все. Обед принесешь сюда, покушаете у двоих. Иди садись. Жди свою бабу.

Я сел. Ждал без мыслей, без ощущения времени. Меня как будто бы не было.

Потом услышал знакомый дрожащий голос, называвший фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место про-

писки. Я сидел совершенно неподвижно – не мог встать, был не в силах сказать хоть слово. Затем вошла она.

Через год в лагерях начался голод и тысячи людей умирали у меня на глазах от истощения. Я привык к бесполом оборванным фигурам, напоминавшим пугало на полях – ни мужчины, ни женщины, больше того – даже не люди, просто скелеты, обтянутые кожей и обвешанные тряпьем. С потухшими нездешними глазами. Даже не живые мертвецы. Скорее – привидения.

Теперь ко мне, странно вдруг приросшему к скамье, вошла молодая женщина необычайной худобы: на черепе с ввалившимися щеками и острым трупным носом ярко блестели огромные глаза, неестественно алел лихорадочный румянец, и дыбились растрепанные волосы. Это была безобразная голова умирающей, и я сидел, потерявшись от ужаса. Из поношенного жакета торчала неестественно длинная шея и две похожие на палки руки. На мгновение, открыв мне широкие объятия, умирающая развела руки, и я увидел пугало, обыкновенное садовое пугало, но страшное, потому что живое, раскрашенное румянцем и улыбающееся. Блестя огромными глазами, пугало сквозь кашель и сиплое дыхание громко хрипело:

– Ну вот мы и опять вместе... Как раньше... Как в Праге и Париже... Милый... Милый...

Я потрогал ее лоб. Он был горяч и сух.

– У тебя высокая температура, Иола.

– Все равно. Наверно, тридцать восемь с хвостиком. Все это чепуха. – Она мучительно долго кашляла и потом выплюнула в платок кровь. – Не обращай на это внимание, милый. Это только нелепая иллюзия жизни. Главное, что и настоящая у нас есть. Здесь. – Пугало указало себе на голову. – Она всегда с нами. Ее никто у нас не отнимет, даже они. Вот, смотри.

Она торопливо стала выкладывать из кошелки пачки самых дорогих сигарет и флакончики духов.

– Что это?

– Им. Пусть нас поддержат подольше. Скорей отдай! Ну! Скорей же! И давай вспомним старое время... Помечтаем... Ладно? Кстати, не называй меня Иолантой, милый! Из трех данных мне при крещении имен оно всегда всеми забывалось... Спросил бы ты у брата – он, наверное, и не помнит, что за мной оно числится по церковной книге... Ты любил его как символ нашей тогдашней жизни. Но Иоланта умерла вместе с Изольдой. Ведь она была жительницей красивых гор и блес-

тящих городов... Их не стало, и ее нет... А Милена умерла, когда нас сняли с работы в ИНО: ведь это имя было и моей служебной кличкой... Мы больше не разведчики, и Милены тоже нет... Зови меня Марией, как звали девушку, которая работала когда-то в пражском торгпредстве!

Она торопливо захлебывалась словами, задыхалась, кашляла, вытирала рот окровавленным платком и быстро, быстро говорила снова. Я молчал. Мы сидели рядом, и под складками старой юбки я видел острые углы ее колен и неестественные линии бедер, похожих на палки. Заметив мой взгляд, она улыбнулась.

– Узнаешь? Этот костюм я заказала в Париже, у Ворта на улице Мира! – Пугало страшно подмигнуло мне и, сжав обеими руками впалую грудь, сипло рассмеялось. Потом шепотом игриво добавило: Когда я была графиней Роной Эстергази! Но что же ты молчишь?

Я сидел, не смея шевельнуться. Боль, первоначально пронзившая меня, постепенно сменилась стыдом – я испытывал жгучий стыд за себя, за свое здоровье, за свое круглое колено, к которому прижималось ее колено, похожее на костлявый кулак. Я сгорал от стыда и не мог говорить. Только смотрел и смотрел на то, что осталось...

Проходили минуты и часы. Я сидел на скамье, опершись на нее обеими руками, чтобы не упасть. Она что-то говорила и много кашляла. Часто и подолгу переводила дыхание, полным ртом хватая воздух, как рыба, вынутая из воды. Я не мог вынести ее взгляда, выражающего, вероятно, любовь: это было выше человеческих сил... Любящее пугало – это страшно.

– Я умираю, милый, и приехала проститься. Как хорошо все удалось, правда? Вот мы сидим вместе, как раньше. Чем это не Давос? Ведь он должен быть внутри нас, не так ли, он – это мы сами, иначе его вообще нет: тот курортный городок в Швейцарии сам по себе нам не нужен. Ты понял мою мысль? Скажи же мне что-нибудь приятное! Будь весел, как я!

И я говорил что-то, потому что человек не может сгореть от стыда и от муки, все это только пустые слова, – чтобы сгореть, человеку нужен костер, а я сидел в задней комнате вахты штабного лагпункта Мариинского отделения Сиблага, и моя розовая холодная и сильная рука лежала в горячих костлявых пальцах страшного и жалкого скелета.

– Ты вспоминаешь иногда Изольду и все что было? Вспоминай! Это наша молодость! Лучшее, что у нас есть. – Она засмеялась, и я содрогнулся. Плохо, когда скелет смеется.

Смеющееся пугало – плохое зрелище. – Пепик недавно рассказывал, как он вместе с Эрикой вез тебя из Рима в Берлин! Ты изображал сумасшедшего лорда и сидел, высунувши накрашенный нос из-под пледа! Ха-ха-ха!

Она долго кашляла, потом вдруг сказала:

– Мы жили, как птицы!

Всему бывает конец и пытке тоже. Вечером вернулись рабочие бригады и ударили на ужин. Мы вышли из вахты в лагерь. Она остановилась перед калиткой.

– Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Место рождения? Место и время прописки?

Она с пустой кошелкой в руке улыбалась мне и отвечала на вопросы. Но когда тяжелый ржавый засов пополз назад и калитка вздрогнула, скрипнула и приотворилась и сквозь узкую щель я увидел другой мир – мир свободы, то пугало вдруг упустило кошелку на землю, обхватило меня руками и судорожно зарыдало.

– Я... ухожу... от тебя... навсегда...

Я сказал что-то и гладил ее волосы.

Прошла минута, другая.

Иван вышел из сторожки:

– Ладно, гражданочка, будя! Еще четыре свидания есть, слышь, говорю – четыре!

Он подошел и стал деликатно снимать ее руки с моих плеч. Объятия стали крепче. Иван решительно ухватил обе горячие руки и стал отдирать их с меня. Но ничего нельзя было сделать: откуда только в умирающей взялась эта сверхчеловеческая сила... От любви? От отчаяния? Я говорил что-то. Пытался успокоить. И не мог – не было сил: я едва держался на ногах. Тогда Иван дернул ее за плечи, не удержал, и она повалилась на спину. Закашлялась. И сразу же изо рта хлынула кровь и поползла с лица в дорожную пыль и грязь.

Тут силы, наконец, вернулись ко мне. Безумное отчаяние меня охватило. Я бросился на Ивана и стал бить его кулаками по лицу. Душить за горло. Рвать на нем гимнастерку. Мой палец попал ему в рот и надорвал щеку. Я разбил ему нос и губы, и кровь ручьем потекла по его груди и мазала мои руки. Потом стрелки унесли упавшую за зону. Иван сменился и ушел мыться. Я зашагал к себе в барак.

«Ну, все кончено. Теперь мне несдобровать. Все равно».

И действительно: сейчас же послышались крики самоохранников и рассыльных:

– Где доктор? Его срочно требуют в Оперчекистскую часть. Скорее! Сам начальник отдела из Новосибирска ждет!

Я умылся и поплелся на расправу. Мне не было страшно. Я видел еще перед собой улыбающееся пугало, бывшее когда-то Иолантой и моей женой. «К чему же были все эти невероятные жертвы? – думал я. – Ради чего мы так смело шли на бой? Что это – несправедливость или возмездие? Столько принято и причинено мук, и вот теперь – пустота. Все чепуха...»

В коридоре я еще издали услышал истошный крик, будто в кабинете начальника рожала женщина.

– Ой, скорей! Ой! Ой! Скорей!

Толстый начальник держится обеими руками за ухо, плачет и стонет.

– Мы ехали на машине... Ой! Ой! Скорей, доктор! Из Новосибирска. Ой! Ой! Гнали вовсю: немцы начали... Ой! Ой! Скорей! Войну против нас! Ой! Какого-то жучка... Ой! Воздухом вогнало мне в ухо! Ой, не могу! Ой! Он бежит по барабанной перепонке! Скорее тащите его вон! Ой! У меня нервы... Ой!.. И война!

И как всегда во мне проснулась воля к жизни и обороне. Я мигом принес большой шприц, теплую воду, несколько ампул стерильного камфарного масла и тонкие, прямые и изогнутые щипцы. Вынуть жучка было легко, но я не спешил: как только жучок замирал, голос начальника становился строгим, а едва насекомое начинало царапать когтистыми ножками барабанную перепонку – начальник сразу размякал и добрел. Я рассказал историю с дракой на вахте и попросил снисхождения. Несколько раз Иван, в клочья разодравший себе всю одежду и измазавшись кровью до пят, порывался войти с докладом, но я щекотал пинцетом жука, и он пускался в бешеный круговой бег по перепонке, как рысак на цирковой арене.

– Товарищ начальник, я...

– Пошел, дурак! Ой-ой-ой!

– Я... Он меня...

– Закрой к чертям дверь! Ой!

Когда я вынул жучка и начальник, томно закрыв глаза, отдышал в кресле, был вызван дежурный надзиратель, и дремотным голосом начальник изрек приговор:

– Пятнадцать карцера.

Я дешево отделался: меня спасла от суда начавшаяся война. Начальнику в этот день было не до меня.

Со стороны вахты и города лагерь огражден высоким забором, но с двух других сторон тянулось ограждение из ржавой колючей проволоки. Позади него виднелись кусты и поле. Из окошка карцера я два дня видел далеко-далеко, за прово-

локой среди кустов, высокую неподвижную фигуру. Она держалась рукой за березку и, не сводя глаз, смотрела в лагерь. На третьи сутки фигура исчезла.

Больше я никогда жены не видел.

В начале зимы сорок первого года, когда немцы победоносно рвались в глубь нашей страны и над советским народом нависла угроза поражения и порабощения, лагерное начальство пересмотрело дела заключенных в целях усиления режима для особо важных и опасных преступников. В эту категорию попал и я, был снят с должности врача и отправлен на первое режимное отделение без права работать в медсанчасти. Но дельные медицинские работники были очень нужны, меня сначала оставили лекпомом, а потом местное начальство само нарушило режим и негласно предоставило работу врача-терапевта на невидных местах – в больничных бараках. Положение заключенных резко ухудшалось со дня на день, параллельно ухудшению условий существования по другую сторону ограды, из колючей проволокой, но на другом уровне: если доселе сытые вольняшки стали недоедать, то среди недоедавших заключенных начался голод. Строгости усилились. Но наказания никого не пугали, и обезумевшие люди рвали друг у друга кусочки горького, выпеченного с полынью хлеба из гнилого картофеля и чечевицы и миски, где в мутной серой жидкости плавали обрезки турнепса или брюквы. Ограбления и убийства стали таким же ежедневным явлением, как и голодная смерть, но и смерть уже никого не пугала.

Цензором в то страшное время работала комсомолка Валя, хорошенькая тоненькая девушка, существовавшая сытно только потому, что числилась сотрудницей Оперчекистской части. И вот совершенно параллельно с обострением борьбы за жизнь и высвобождением самых низменных инстинктов рос и расцветал невиданно яркими цветами героизм людей, их готовность жертвовать собой для других. Комсомолка Валя потихоньку от начальника отдавала заключенным драгоценные для них письма, предназначенные к изъятию или уничтожению. В кошмарной ночи такого существования маленькая девушка рисковала самым главным – куском хлеба, не говоря уже о свободе (за это давали 10 лет). Рисковала и делала то, что считала долгом.

– Уж не знаю, верно ли поступаю, доктор, – прошептала она мне как-то вечером. – Из открытки, которую вы получили от начальника лагпункта с месяц назад, вы уже поняли,

что ваша жена умерла. В этом письме сообщаются подробности. Умершая перед смертью сама пожелала, чтобы вы все узнали. Все, понимаете? До конца. Ну, вот я и исполняю ее желание. Возьмите, прочитайте и уничтожьте.

В амбулатории я прочел это короткое письмо. Раз. Три. Десять.

Сжег его в пламени коптилки. Оно запечатлелось в моем мозгу навсегда, и клочок серенькой бумаги стал уже ненужным. Я составил список освобожденных от работы на следующий день и отнес его нарядчику. На пороге постоял, не зная, куда бы пойти. Мыслей не было, в голове только повторялись опять и опять слова сожженного письма и, поколебавшись, я пошел к уборной – за нею находился большой участок перед вышкой и забором, и там можно было побыть одному. Ночь была очень лунная, холодная и тихая, голодный лагерь ложился спать. Электричество погасло, кое-где откроется дверь, в клубах голубого пара мелькнет человек, и опять никого. Я обошел уборную, забрался в снег выше пояса и поднял голову к луне.

Из-за уборной на дорожку вышла укутанная женская фигура, сложила руки трубочкой и ласково и негромко – вышка и стрелок были близко – загудела:

– Премилый гражданин или товарищ, не знаю, как вас величать, не желаете ли вкусить сладости? Я лишнего не беру: махорочкой – стакан, хлебом – сто грамм. Идти недалеко – в уборную! Она темная. Давайте полюбимся на морозе? Желательно?

Мельчайшая ледяная пыль, словно прозрачная завеса, медленно опускалась на голубую землю с неба, светлого, с неясными изумрудными пятнами далекого полярного сияния. Вокруг луны эта завеса дрожала и колебалась кругами тусклой радуги, как розовые, голубые и желтые кольца. Я смотрел поверх черных скелетов вышек и скрюченных витков колючей проволоки прямо ввысь, в безрадостную бесконечность сибирского неба. И мысленно снова и снова читал строки письма. Это было нужно. Я не мог не читать.

«Пишу по поручению вашей покойной жены. Вы меня не знаете. Я такая же вдова еще живого мужа, как и она. Первого января в морозный день нас, неблагонадежных жен репрессированных мужей, в Москве погрузили на открытые платформы и повезли в Куйбышев. Мы все очень продрогли, а ваша жена прибыла в тяжелом состоянии. Нас поселили в пустом бараке, положили на холодный пол нетопленной ком-

наты. Горловые кровотечения у вашей жены стали долгими и обильными, и она просто-напросто мешала всем и сама больно переживала это. Конечно, она не виновата, но ведь и другие не виноваты, а возиться с кровавыми тряпками никому не хотелось, не хватало мыла, не было горячей воды. На десятый день после нашего отъезда из Москвы она сказала: "Мой муж должен знать все. Он сильный. Он выживет. Но ему **нужно** знать: это не должно умереть с нами. Обещайте написать все? Клянитесь". И я поклялась. Потом ваша жена потихоньку взяла в рукав пальто кухонный нож и, держась за стены и за изгородь, выползла в уборную. Дело было вечером. Электричество уже погасили – его сэкономили: ведь война. Ваша жена перерезала себе горло. Ее нашли мертвой. Ночью, на снегу, среди стаи одичавших голодных собак, привлеченных запахом теплой крови: замерзла ли она или умерла от потери крови – неизвестно. Ее сестра – не приспособленный к нашим условиям человек, одно слово – иностранка, к тому же плохо говорящая по-русски и со странностями. Я заняла у соседей детские саночки, и мы с ней положили на них тело. Оно уже замерзло и все соскальзывало с обледенелых саночек (на них возили воду и суп) то на одну сторону, то на другую. Веревок не было – наши вещи лежали нераспакованными. Мы долго возили умершую – ее нигде не принимали. Кому хочется рыть могилу на таком морозе – земля как каменная. Возили с одного места на другое. Роняли, грузили опять. Наконец, сдали под расписку. Вот и все. Не знаю, правильно ли я сделала, что выполнила волю умершей. Но я дала клятву. Может и правда: **это** не должно умереть вместе с нами. Вы должны выжить. Хотя бы как свидетель. За себя и за нас всех».

Ноги у меня подломились, и я упал в снег и лежал так и смотрел на луну, на три радужных кольца вокруг нее, на вышку с часовыми. Я бы замерз в тот раз, и **это** не дошло бы до пера и бумаги. Но сквозь мглу замерзания и смерти вдруг почувствовал, что кто-то трогает меня за рукав, и узнал все тот же женский голос:

– Вы что же улеглись здесь, гражданин? Занемогли, что ли? Говорю, занемогли? Вставайте. Нешто можно тут валяться?

Женщина, кряхтя и дымя махоркой, стала поднимать меня.

– Батюшки, да это наш доктор! Живы ли вы? Господи, спаси и помилуй!

Она впряглась в мои ноги, как в оглобли, и поволокла к дорожке и дальше, к барaku.

Это было спасено, и я тоже. А написанное слово не погибает.

Во время голода, то есть с сорок второго и по начало сорок пятого года, в Сусловском лагпункте меня перевели на новую работу: из амбулатории в специально открытые больничные бараки. Тогда люди умирали легко и быстрее мух, и гуманное начальство, кравшее у заключенных продукты питания, создало подобие культурных условий для умирания. Подыхать на дворе заключенным строго запрещалось. Каждый умирающий был обязан тащиться в барак, где, положив кирпич под голову, мог умереть на досках койки в присутствии врача, фельдшера и санитаря прежде, чем его заживо съедят клопы.

Умиравшие получали в это страшное время по стакану молока и котлетке из сырого мяса сверх больничной баланды и каши, и кое-кто из них выздоравливал – даже такого ничтожного количества белков хватало для восстановления. Но подавляющее большинство умирало потому, что всасывающий аппарат тонкого кишечника у них уже не работал, вернее, он просто отсутствовал, и больной продолжал голодать, даже когда получал достаточную по количеству и качеству пищу. При больничных бараках имелись бригады выздоравливающих, куда я списывал уцелевших; бригады размещались в бараке, напоминавшем уже условия больницы для рабочих – с койками, матрасами, подушками, одеялами и бельем. Через месяц окончательно восстановленный лагерник отправлялся уже в общий барак с третьей категорией «легкий труд».

В Москве после приезда из-за границы мы познакомились со студентом Государственного института кинематографии Юлием Куном, способным, но непутевым человеком. Юля специально для меня заснял мою жену на киноленту, отобрал лучшие кадры и отпечатал снимки в крупном размере и на хорошей бумаге. Эти снимки были присланы мне в Норильск и остались у меня на руках после смерти жены – как воспоминание об Иоланте, Милене и Марии. Они стали моим детищем, священными предметами культа, потому что напоминали не только погибшего человека, но и всю мою тогдашнюю жизнь. Я их рассматривал как кусочки прошлого, разбитого вдребезги.

И вдруг исчезли эти святые карточки, мои маленькие иконки, мои оконца, через которые я любовался навсегда ушедшим для меня миром!

Кто-то утром украл их из моей кабинки, вытащил из-под матраса. Дрожащими руками я обыскал кабинку и барак, перетряс тряпье больных. Все напрасно! Сокровище исчезло.

Нить, осязаемо и видимо связывающая меня с прошлым, то есть с настоящей жизнью, была кем-то порвана...

После обеда больные выловили в уборной обрывки фотографий. Вор оставил у себя тетради с рукописями книг «Превращения», «Пучина» и «Песнь о сладчайшем яде», а также кипу чистой бумаги, украденной для меня вольной девушкой, работавшей в штабе; я изготовлял для нее губную помаду. Портреты жены были уликой и не годились для клеения карт, писанный текст, очевидно, пошел на курево, а бумага – для производства **колотушек** (карт). Кипевшая во мне ярость вдруг будто стихла, но я знал, что у меня это означает только ее переход в высшую степень накала.

День ушел на торговые операции: я менял вещи на махорку. К вечеру наменял целую наволочку – тридцать пять пачек. Перед приемом пошел к нарядчику, молодому хулигану Мишке Удалому, который из законного вора перешел в **суки** и, был объектом жгучей ненависти уголовников и платил им особой жестокостью обращения. Мишка жил в большой кабинке с хорошенькой семнадцатилетней воровкой Машкой Фуриной.

Когда я вошел, Мишка и Машка сидели перед миской с котлетами и большой банкой молока.

– Здорово, доктор! Садись! – сказал Мишка. – Ты не сердишься мы здесь жратвой твоих больных балуемся.

– Пусть они обратно подохнут! – кокетливо добавила Машка, поправила белокурые кудряшки со лба и отпустила мне полный неги взор. – Ужась не люблю больных!

– Ладно, я пришел по делу. И серьезному.

Мишка проглотил очередную котлету и отпил молока.

– Об чем толковище?

– У меня украдены портреты покойной жены, записки и бумага. Сколько ты возьмешь за то, чтобы найти и убить вора?

Мишка утер губы и поцеловал Машку. Пояснил:

– Завсегда ее, суку, целую по еде, понял? То есть на закуску. А насчет серьезности в разговоре, так я ее не вижу. Что тут серьезного? Найти и убить у mine стоит недорого – пятьдесят пачек махры.

– Я даю двадцать пять.

– Мало, доктор. Вот дешевило же ты, право: и найти, и, обратно, убить – и все за двадцать пять пачек! Пятьдесят – и точка!

Машка обняла его за шею и нежно положила кудрявую головку на плечо.

– Мишунчик, доктор такой у нас хороший! Сделай ему уважение хоть бы для mine! Сделай этого гада за тридцать пять пачек!

Машка состроила такое необычайно томное выражение лица, что стала похожа на ангелочка, но из-под полуопущенных ресниц следила за мной. Она знала, что я считаю ее хорошенькой, к тому же я вылечил ее от гонореи и мог понадобиться еще не один раз, а земные расчеты, как известно, кое-что значат даже для ангелочков. Устраивая убийство, она расплачивалась за медицинскую помощь и, наконец, просто кокетничала с мужчиной, о котором в зоне шла слава, как об очень образованном человеке и самом опасном преступнике.

– Голубка моя, родненькая ты, сучка, до всего меня укалякаешь! – нежно сказал Мишка и чмокнул Машку в лоб. – Люблю гадину, доктор, просто до самой последней внутренности обожаю!

Я принес полную махорки наволочку. Мишка нахлобучил картуз и деловито потер руки.

– Двинулись. Ты после приема садись в кабинку, где работают зубисты, и слушай: я буду в твоей приемной вести допрос. Понятно?

И делопроизводство пошло в ход: сначала сыпались тяжелые удары, слышались негромкое рычание Мишки и заячий писк допрашиваемого больного. Потом получалась наводка.

– Кто?

– Не я, дядя Миша, ей-Богу, не я. Ой, ой! Что ты... Да я...

– Кто?

– Не бей, дядя Миша! Спрошай у Васьки Косого.

Через минуту самоохранники волокут Ваську.

– Васька?

– Я.

Удары. Писк.

– Ой, ой! Ей-Богу не я, дядя Миша! Ох-ох! Ты покалякай с Толиком-Хромым! Он знает, даст наводку. Понял?

Васьки-косые и Толики-хромые двигались под кулаками нарядчика, как на конвейере.

Часов в двенадцать Мишка отворил дверь.

– Выходи, доктор. Пошли.

Мы пришли в рабочий барак к койке молодого паренька Володи: он на воле работал в чертежной мастерской и украл лист ватмана, за что и отбывал год срока. Заболел. Я его месяца три, сколько мог, держал в моем бараке на хорошем

питании. Но, наконец, по требованию начальницы медсанчасти выписал, но не в рабочий барак, а в бригаду выздоравливающих, и опять держал столько, сколько удавалось. Володя, ласковый, как теленок, помогал мне как санитар и учетчик. Я спас ему жизнь, но лагерь остается лагерем. Уходя из больничного барака в бригаду отдыхающих, он обокрал меня.

– Поднимайся. Живо.

– Что ты, дядя Миша? Я...

Мишка сбрасывает его с койки на пол и поднимает матрас. Там лежат тетради и бумага. Бумага аккуратно разорвана на формат игральных карт, тетради порваны на формат писем и уже сложены треугольниками. Они уложены в ровненькие пачки, тщательно пересчитаны, перевязаны бумажной лентой и на ленте стандартным чертежным шрифтом выведено число листов, их назначение и цена как пачкой (со скидкой), так и поштучно. Бумага в лагере – драгоценность, потому что она крайне нужна заключенному и достать ее нигде: что значат крики воспитателей в дни отдыха: «Сегодня почтовый день! Сдавайте письма!», если писать не на чем, если пишут немногие счастливчики, а остальные угрюмо лежат на койках, лицом упершись в стенку? И все же я готов был извинить кражу бумаги. Рукописи, написанные урывками, с опасностью быть пойманным и с чрезвычайным напряжением душевных и телесных сил, были для меня бесценным сокровищем – ведь их было почти невозможно восстановить, их истребление означало гибель труда многих месяцев, но и это я мог простить. Наконец, варварское уничтожение моих иконок являлось ошеломляющим ударом, надругательством над святыней. Однако простить можно было даже это.

Но вид аккуратных стопок с пересчитанным и тщательно оцененным товаром, вид этих спокойных и каллиграфически деланных надписей вывел меня из себя. Эти надписи решили его судьбу. Выводя их на полосочках бумаги, Володя не знал, что подписывает себе смертный приговор.

Я вынул из кармана кусок марли, развернул и показал сырые обрывки фотографий, вынутые из жижи в уборной.

– Твоя работа?

Володя опустил голову.

– Отвечай веселей, не стесняйся! – мягко проговорил Мишка и незаметно наступил сапогом на Володиные босые ноги.

– Моя...

– В законе, доктор. Идем ко мне все втроем.

Окно кабинки тщательно занавешено. Хорошенькая Машка нежится в белоснежной больничной постели и накручивает перед зеркальцем льняные кудряшки...

– Ты, Мишунчик, не канитель гада – мне очень спать хочется и надо еще с тобой до сна сурьезно поговорить!

Она делает ему многозначительные глазки.

– Желаешь ему сказать что-нибудь на прощанье, доктор?

– Нет.

– Правильно. Ложись, малый! Да на спину, дурак! Что, думаешь, я тебя пороть буду? Нет, в лагере этого не положено. Здесь не фашизм, понял? Кровь проливать никому здесь не разрешено!

Он распускает лежащему пояс, поднимает рубаху и чуть спускает брюки. Потом вдруг опускается коленом на правое подреберье и мягко месит его как тесто.

– О-о-ох! – только успевает тихонько промычать лежащий и замолкает. Лицо его делается смертельно бледным, капельки легкой испарины появляются на лбу, нос заостряется.

Мишка поднимается и закуривает.

– Гм... Боюсь, что печенка у него как есть порватая... Травма от паденья, видать, споткнулся парень. И упал в яму, выртую около бани под пристройку. Жалко, конечно, самоохранники доставят пострадавшего в амбулаторию, а там ты его возьми в свой барак, а после смерти сам вскрой и напиши заключение. Понял, доктор? Ну, иди, все в порядке! Пошли барачных санитаров с носилками в амбулаторию.

– Спокойной ночи, доктор! – махнула розовой лапкой Фурина.

И все.

Уничтожена Иоланта. Уничтожена Милена. Уничтожена Мария. Уничтожены последние ее следы на земле.

Это ничего. Фотографии и прочее барахло затемняют смысл того, что было. Разменивают его на пустяки.

Нет ни живой, ни мертвой. Нет. Нет. Нет. Но остался дух ее. Серебряная Роза. Он будет жить во мне так долго, пока живу я. Ничто и никто не сможет вырвать его из моей груди, потому что Серебряная Роза – это моя бурная молодость, жертвенный порыв, чистая-чистая вера. Молодость прошла. Жертвенный порыв оказался напрасным. Поругана вера.

Но гордые воспоминания обо всем этом живут во мне и движут сквозь мрак такой жизни. Не будет Серебряной Розы, и я упаду. Ведь тогда у меня ничего не останется.

Я упаду.

В сорок втором году умерла Мария, я остался один и утешал себя тем, что осталась Серебряная Роза, которая не умрет, пока я жив.

Но прошли годы, и она все-таки умерла. А я стал еще сильнее.

Хорошо это или плохо?

Жизнь безмерно жестока, ставя перед человеком все новые, все более трудные задачи. Но она же и безмерно добра, создавая условия для преодоления трудностей и выдвигая людей, которые помогают нам дальше вершить положенное. Так случилось и со мной: я, конечно, давно бы погиб, если бы сам не изменился вместе с изменением условий бытия. Приспособляемость нужна, но не она предопределяет успех: нужно внутренне расти, своевременно производить переоценку прошлого и вовремя с благодарностью забывать. Молодость и связанные с ней прекрасные иллюзии, все то, что я называл Серебряной Розой, были втоптаны в грязь ночью восемнадцатого сентября тридцать восьмого года, на пороге четвертого десятка моей жизни. Сразу началась зрелость, годы глубоких размышлений в условиях унижений и мук. Чтобы устоять на ногах в тех жестоких условиях, понадобились новые друзья, новые люди: жестокие и сильные, прозорливые и ловкие. И милосердная судьба помогла мне найти в заключении такого друга – мою вторую жену Анну, бойца, стоящего со мной плечом к плечу. Она – твердый орешек с того самого советского дерева, как и я сам, – в огне не горит, в воде не тонет. Ее легко убить, но победить нельзя. Она создала мне живое настоящее, и поэтому мертвое прошлое само собой погрузилось в забвение: в моем сознании Серебряная Роза умерла совершенно естественно и закономерно.

Один в поле не воин, но двух в борьбе вполне достаточно. Чтобы вдвоем жить.

Вдвоем бороться.

И вдвоем побеждать.

*Сусловский лагпункт. Сиблаг. 1943–1947 гг.
Москва 1966 г.*

ШЕЛКОВАЯ НИТЬ

Книга шестая

Осенний день сорок второго года

1

Разное случается в жизни советского заключенного: дни – одни пустые и скучные, другие переполненные событиями, хотя и не особенно веселыми. Зимой в выходной день люди круглые сутки валяются на нарах и вагонках и нехотя поднимаются только три раза для получения пищи. Чему радоваться? Приварок неважнецкий – гнилая картошка, прелая капуста и вода, хлеб горький от примеси полыни и сырой от вики, гороха и воды, да и такого не хватает – пятьсот граммов на работягу, четыреста на придурка и триста на доходягу: глотнешь – и ничего не почувствуешь. В помещении холодно и темно – на окнах наплывы сосулек и пушистое одеяло изморози, на полу – грязный скользкий лед. В густой холодной полутьме длинными рядами неподвижно замерли на нарах люди, одетые в шапки, бушлаты, ватные штаны и валенки, прикрывшись всем, чем можно – тряпками, украденными где-нибудь на работе, в штабе или в клубе, грязными полотенцами и дырявыми портянками. Разговоры в такой день не клеятся, воровства и разбоя почти не бывает, ведь хозяева на месте, у своих вещей, и подобраться к ним не так-то просто. А иногда набегают и горячие дни, особенно в теплое время года: авральная работа от зари до зари, скажем, очередной перенос внутренних заборов и ограждений, парочка больших и тяжелых этапов или столь любимое начальством бессмысленное перемещение измученных людей из барака в барак: ведь при этом приходится тащить с собой всю мебель, которая создает заключенному уют и возможность существовать: гвозди, веревки, палки, проволоочки, щепки, кирпичи. Изредка случается побег из лагеря и последующая строгая проверка всего наличного состава по учетным карточкам со стоянием под проливным дождем или на лютom морозе часов десять, а то и больше. Да, всякое бывает. Но сейчас я хочу описать обычный теплый осенний день сорок второго года на первом лагпункте Мариинского отделения Сиблага, обыкновенный бесконечно длинный голодный день, не слишком порожний, но и не чрезмерно перегруженный событиями, что называется денёк-серячок. Я изложу, а лучше сказать – перечислю все

происшествия бегло, скороговоркой, без украшения и оценки, – как сухую хронику. Но почему же все-таки я заговорил об этом обычном дне двадцать три года спустя?

Потому, что он мне бесконечно мил и дорог. Я запомнил его во всех подробностях. И неспроста: в этот день я повстречал свое счастье!

Да, среди тысяч и тысяч женщин, проходивших мимо с этапами, нашел одну, которая за ржавой ключей проволокой сумела создать мне и себе семейный уют и успокоение, не бросила меня после своего освобождения, хотя мне предстояло томиться в загоне еще двадцать лет, поддерживала морально и материально, а когда я, наконец, был вытолкнут из лагеря как лишенный всех гражданских прав совершенно нетрудоспособный паралитик, – она смело взвалила меня себе на спину и потащила вперед. Позднее ее силы, надломленные трехкратным безвинным заключением, иссякли, и она споткнулась, но к этому времени я успел кое-как стать на ноги и, в свою очередь, протянул ей руку помощи. Именно тогда начался последний поворот нашей жизни – тихая, мирная, безоблачная старость, кажущаяся особенно блаженной потому, что мы оба были деятельными и беспокойными советскими людьми и к светлому закату с боем пробивались сквозь бесчисленные житейские бури и грозы.

Далеко не во всех странах и не во все эпохи заключенные находят свое счастье за закрытым замком и основывают прочную семью в загоне, под дулами автоматов. Скажу яснее: такое оказалось возможным лишь потому, что наш лагерь был советским. Вот почему сейчас, четверть века спустя, мы оба повторяем себе с горчайшей усмешкой:

– Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!

2

То далекое утро выдалось радостным и светлым, как весной, хотя уже начался сентябрь. Всю ночь мягко гудел гром и дождь, словно кто-то тяжелый и большой босиком выплясывал по железной крыше барака. С рассветом я вышел из своей темной зловонной конуры на высокое крыльцо, чтобы подышать утренней прохладой и проводить глазами розовые облачка, легко набегавшие с юга. Работяги уже плелись на развод к воротам среди пышных и ярких клумб: этим летом бывший бухгалтер из Таганрога Андреев, работавший в амбулатории зубным техником, выписал откуда-то семена и вырастил перед штабом и рабочими бараками триста тысяч цве-

тов. Лагерь был восстановительный и инвалидный, бесплатной рабочей силы хватало, и Андреев руками инвалидов бригад превратил зону в волшебный ковер. Особенно удались осенние сорта: георгины, астры и хризантемы. И этим ранним утром, обрызганные теплым дождем, крупные и яркие цветы красовались на редкость гордо и вызывающе, точно смеясь над ощерившейся со всех сторон ржавой колючей проволокой. Лишь слева опытным взглядом я сразу заметил три темных пятна: это ночью от голодного истощения повалились три поносника по пути в уборную или из нее и поэтически умерли под теплым дождем, одни среди цветов. Этим летом я каждый день собирал на клумбах несколько трупов, хотя начальство строго-настрого запретило заключенным умирать где попало, в особенности перед штабом, на виду у вольняшек: заболевшим приказывали вовремя убираться ко мне в больничный барак, зарегистрироваться, стать на больничное питание, расписаться в получении матраца, ложки, миски, получить место на нарах и только потом растянуться, положить под голову казенные ботинки, чтоб не украли, и законным образом навеки закрыть глаза.

– Привет помощнику смерти! – бодро крикнул мне молодой розовомордый нарядчик Мишка Удалой, любимец опера Долинского, его правая рука. Если бы к великой радости всей зоны кто-то отрезал бы ему кудрявую русую голову и прикрепил к ней пару белых голубиных крылышек, то получился бы херувимчик точно как на иконе. Слов нет, хорош был собою парень, даже приторно хорош. – Своих дохликов заметил перед уборной? Пошли санитаров убрать и идем на пару ловить дезертиров – до чего же импозантное выдалось утро, а, доктор? Вали сюда!

Слегка привядшая и побуревшая полынь после ночного дождя пахла остро и пряно. Мы всей грудью задымили самокрутками, вошли за бараклом в высокие и густые бурьянные дебри и двинулись вдоль огневой дорожки. Весной одна из московских комиссий распорядилась немедленно выстроить тут еще один больничный барак; наше начальство послушно нагнало инвалидов, которые за день выкопали ямы для столов и фундамента. Но когда столичные гастролеры укатили восвояси, их затея была немедленно забыта. Однако ямы остались, и теперь мы пробирались осторожно – в зарослях они были не видны.

– Так вот, доктор, расскажи мне про культуру! – вдруг мечтательно протянул Мишка, подмигнул и подбородком ука-

зал себе под ноги. – Страсть люблю слушать! Говори, не стесняйся, до развода еще минут двадцать!

Я заглянул вниз, в густой переплет высокого сорняка. Мишка обеими ногами стоял на макушке скрючившегося в узкой яме рабочего. Нарядчик был откормлен и тяжел, и держать такой груз на голове тощему рабочему было не под силу. Я сделал движение протеста, но Мишка свирепо погрозил мне кулаком и ласково сказал:

– Ты говори, а я буду бацать: не обижайся, я довольно обожаю чечетку!

Он начал притопывать сапогами, все время подмигивая, улыбаясь и придерживая крестик на груди, чтоб он не болтался в открытом вороте чистой рубахи. Дезертир сначала закрыхтел, потом замычал от боли.

– Звиняюсь, кто здесь? Ах, это ты, Лазарев? Импозантная встреча! Мое почтение! – Мишка сдернул с головы фуражку и отвесил бедняге глубокий поклон. Потом швырнул прочь закрутку, нагнулся, ухватил работягу за оба уха и рванул вверх. Зашипел сквозь зубы: Приехал, зараза... Подымайся, туша, слышь, говорю, становись на ноги! Вылазь! Топай к воротам, а вечером я тебе сделаю клоповник на твой последний литр крови, понял? Я тебя загоню в морг, собака! Катись в бригаду и не оборачивайся!

– Дядя Миша, я... – заныл дезертир.

– Исчезай, пока цел, а то...

Удалой ловко схватил дезертира за один палец и стал выворачивать его вбок. Работяга вскрикнул.

– Ладно, не ори, это я для смеха – люблю, мужик, побаловаться! – Он повернулся ко мне и другим голосом закончил: Сейчас зайду в БУР (барак усиленного режима), потом в больницу – Тэра Исмайлловна сегодня дает людей на картоху. В лечебных целях, понял?

Легко прыгая через кусты и ямы, он добежал до угла барака и скрылся. Я вздохнул и, глядя в сторону, проговорил:

– Надо через силу, но выходить на работу, Лазарев. Не ради начальства, а для собственной пользы. В работе заключается единственная возможность сохранить силы и раздобыть лишний кусок пищи. В живых останутся только те, кто эти годы выстоит на ногах. Кто поддастся соблазну и ляжет, тот уже не встанет. Отдых – ловушка и опасность, больница – преддверие к моргу! Держитесь за работу!

Лазарев все еще обеими руками гладил свою стриженую макушку, на которой Удалой давеча бацал чечетку коваными сапогами. Его лицо кривилось от боли и ненависти, тусклые

глаза, подернутые пеленой голодной тоски, сейчас пылали гневом. Он задышался и с трудом выдавил из себя:

– Пусть начальники нам читают проповеди... Им положено... А вы, доктор, чего подпеваете? Стыдно! Вы же не такой садист, как эта продажная тварь!

Сжимая голову в руках и покачиваясь от слабости, Лазарев побрел к воротам. В зубах у него болталась дырявая шапка. Я посмотрел ему вслед и пожал плечами: у заключенных отвращение к подневольному труду заглушает разум.

Удалого я нашел у вахты БУРа. В этот час ворота были раскрыты. На вышке старик-стрелок с забинтованной щекой раздраженно гладил повязку, плевал вниз и наблюдал, как похожие на взъерошенное зверье штрафники собирались перед вросшим в землю длинным кривобоким баракком, чтобы наскоро позавтракать и двинуться на работу: буровцев выводили после кадровых рабочих вместе с инвалидами в так называемый второй развод.

У стрелка на вышке, как видно, не на шутку разболелись зубы – он морщился, притопывал ногами словно от мороза, и все гладил себе щеку, все сплевывал на огневую дорожку тягучую слюну.

Внизу четыре оборванца попарно держали на плечах палки, продетые через ушки объемистых бочек. В руке передние держали фанерки с указанием числа порций супа и каши.

Надзиратель у ворот вынул папироску изо рта.

– Все, что ли? Копаетесь цельное утро, сучье мясо! Говорю, все, что ли?

– Все, начальник! Разрешите носильщикам идти, стрелок! – крикнул часовому Коля, учетчик БУРа, раньше работавший на кухне в больнице у Тэры. Я его знал, это был молодой парень, по характеру напоминавший теленка, – добрый и пугливый; положение буровца никак не шло к его приятному лицу деревенского подростка.

– Идите, – буркнул стрелок и страдальчески поморщился.

– Сколько? – крикнул Коле Удалой сквозь ворота.

– Всего в бараке восемьдесят два. С бригадой уходит семьдесят шесть. Идите, ребята!

Штрафники тронулись, придерживая руками раскачивающиеся на палках бочки. Удалой записал на свою фанерку: БУР – 82/76.

– Импозантно! Пошли в больницу, доктор!

Мы повернулись к больнице. На кухонном крыльце стоял повар, красивый черноглазый человек, москвич, сын генера-

ла, по профессии журналист; он отбывал пятерочку за мужеложство.

– Привет, дядя Саша! – крикнул ему Коля через ворота.

– Привет, Николай! – махнул рукой Александр Сергеевич своему бывшему подчиненному. Мы как раз проходили мимо, сказали оба разом «Привет, Саша!» и пошли дальше, потому что больничные работы собирались на развод у другого конца дома, перед главным входом.

– А миску для пирожков по ударному питанию забыли? – вдруг за нашей спиной крикнул Коля. – Эй, вы, дырявые головы! Вернитесь за миской! Стрелочек, я их сам догоню, а то время идет! Обернусь враз!

Не ожидая ответа, он рванулся вперед, успел пробежать ворота, вахту с двумя надзирателями и уже почти догнал нас, Удалого и меня. Я успел услышать за плечами его дыхание и шепот: «Эх, безголовые!» – как вдруг в тишине ясного утра нелепо громко бухнул выстрел. Коля пробежал мимо нас, точно споткнувшись, упал лицом в лужу и с разбега проехался по грязи на животе, странно болтнув пятками по воздуху. Железная миска с жалобным звоном покатилась дальше, потом свернула в траву и покорно легла набок. Все это произошло в несколько мгновений.

Мы бросились к упавшему. Повернули его на спину. Покрытое грязью лицо выражало удивление.

– Убили? А, доктор? Скажите!

Удалой пугливо косился на вышку: он был **нервный**.

– Куда его шарахнуло? В бок?

– Нет, не видно... Ага, вот сюда: в бедро! Поднимай за ноги, Мишка, а я под руки! Осторожно! Заводи обе руки под колена!

Стрелок, опустив винтовку, морщился и гладил забинтованную щеку, надзиратели захлопнули ворота и засунули засов. Закричали буровцам:

– Пошли в барак! Ну! Живо! Разойдись, гады!

До заднего крыльца было не больше десяти шагов. Втроем, с Александром Сергеевичем, мы быстро протащили Колю по коридору и уложили в перевязочной на топчан, покрытый простыней.

– В чем дело? Кого? Опять из БУРа?

Торопливо накидывая халат, в кабинет вбежала Тэра Исмаиловна Таирова, смуглая, дородная и очень боевая женщина. Именно ее стараниями все четырехугольное пространство между БУРом, ее больницей, новым строящимся баракom и

моим больничным баракom было превращено в больничный огород, и на кухне дядя Саша выдавал коечным больным густой ароматный суп без порций, **от луза**. Благодарные больные звали Таирову **мамой**.

– Кто это? Ты, Коля? Голубчик... Сейчас, деточка, потерпи, мы наложим жгут и кровотечение прекратим. Впрыснем сердечного – и в хирургическую больницу, на операцию! Скоро будешь здоров, мой мальчик!

Жгут наложен в считанные секунды. Но обмытое лицо раненого вдруг сильно побледнело и как росой покрылось мелкими капельками пота. Тело вздрогнуло и задрожало. Тэра нежно вытерла пот со лба, выпрямилась, закусила губу и стала смотреть в окно.

Вдруг Коля сказал:

– Убили, гады!

Широко раскрыл глаза... Вытянулся... И умер.

– Загнулся? – шепотом спросил Удалой. – С чего это?

– Мозг из раздробленной бедренной кости попал в пробитую вену и с током крови проник в сердце. И остановил его, – объяснил я. Тэра молча кивнула головой.

Минута скорбного молчания. Но жизнь не может останавливаться. Нигде. Даже в лагере.

Тэра встрепенулась.

– Санитары, сюда! Тело в морг! Медведю скажите, что вскрытие будет завтра. Нарядчик, забирай людей, они ждут у крыльца! Быстро! А вы, Дмитрий Александрович, зайдите в мой кабинет и напишите объяснение начальнику. Идемте, утро кончается! Фельдшер, займитесь стерилизацией!

Но когда мы вышли в коридор, она засмеялась и с видом заговорщицы прошептала:

– За мной! Бегом! Сейчас удобная минута – все заняты трупом... Умоетесь потом... Ну, скорей же... Сюда, сюда!

Таирова втащила меня в кухонную кладовую. Оглянувшись на дверь, прошептала: «Запереть нельзя, опасно!» Схватила с полки тяжелый зеленый эмалированный кувшин и налила из него полную кружку.

– Пейте же скорее! Ну!

– Что это?

– Сливки, дурень! Могут войти! Быстро!

На пальцах у меня бурые липкие пятна Колиной крови. Я вытираю их о штаны и глотаю густую маслянистую жидкость. У меня кружится голова от знакомого запаха: я не пил холодных сливок со дня, когда в Москве незадолго до ареста мама

поднесла мне из зеленого эмалированного кувшина кружку сливок. Я глотаю с закрытыми глазами и вижу ее старые сморщенные руки в крупных веснушках и добрые, преисполненные любви, сияющие глаза. Но ее нет. Всего этого нет. Я пью сливки голодных больных. Их сливки. Я – вор.

– Ну? Как?

Тэра Исмаиловна игриво подставила пухлую щечку:

– Целуйте – я заслужила!

Потом, взглянув на меня, увяла. Задернула марлевой занавеской кружку и кувшин, поправила волосы и обычным бодрым и громким голосом заговорила:

– У Коли было воспаление легких, я его вылечила и подкормила на кухне у Александра Сергеевича. Выйдем в кабинет! Закройте дверь, пожалуйста. Хороший был паренек этот Коля, ласковый. Срок получил за кражу пары галош, а БУР – за то, что зимой, работая на РМЗ (ремонтно-механический завод), лег за печку согреться и заснул. Перед уходом в зону конвой его нашел и обвинил в подготовке к побегу. Нелепая история! Уж этот мне БУР! А знаете, что случилось этой ночью? Еще не слышали? И стрельбу тоже нет? Ха-ха-ха! Слушайте же. Какой-то мальчишка, как стемнело, полез через ограждение из БУРа в зону, видно, за табаком: его послали в наказание буровские паханы, предварительно избивши в кровь. Так и вытолкали на огневую дорожку с окровавленной головой. Стрелок заметил и выстрелил. Надзиратели с фонарями выскочили и нашли на огневой дорожке неподвижное тело. Посветили – голова в крови, не дышит, не отвечает, короче – мертвый. Вызвали меня. Я накинула плащ и вышла. Дождь косит, ничего не разберешь. Пульса вроде нет. Я говорю Мишке Удалому: «Давай его в морг, днем разберемся». А перед рассветом Мишка пошел будить возчиков и слышит, что в морге кто-то царапается, хочет изнутри высадить стекло в окне. Он с надзирателем вошел и увидел, что тело лежит не туда головой, куда он его положил вечером. Засучил рукава и говорит: «Сейчас я мертвого воскрешать буду». А мертвец соскочил со стола и смеется: «Стой, дядя Миша, не бей! Я уже воскресился!» Ха-ха-ха! Теперь я должна писать оперу объяснение, черт побери!

Мы докурили папиросы, и я встал, потому что не хотел оставаться наедине с Таировой.

Но едва открыл дверь в коридор, как со стороны заднего входа послышались крики:

– Тэра Исмайлловна! Скорей! В БУРе опять убивают!
Мы выскочили на крыльцо.

Ворота БУРа снова были раскрыты. Бригады рабочих штрафников, позавтракав, стояли в зоне и, повернувшись назад, угрюмо глядели в свои ворота. Там захлебывался в истерических криках высокий молодой цыган Иван: обеими руками он раздирал на своей груди телогрейку и рубаху и иступлено визжал стрелку на вышке:

– На! На грудь, гад! Стреляй, собака! Кончай безоружного человека! Объективно пей кровь, зверюга! Пей!

Надзиратели растерянно топтались на месте. Стрелок кривился и держался рукой за повязку на щеке. Он должен был смениться через считанные минуты.

Таирова прямо с крыльца бросилась к воротам.

– Часовой! Не стреляйте! Это больной!

Часовой стал медленно поднимать винтовку.

– Это убийство! Не стреляйте! Надзиратели, что же вы стоите?! Заступитесь! Чего ты хочешь, Иван?

Стрелок опустил винтовку.

– Зубы! Зубы болят, мама Тэра! Сил нет – за ночь измучился! Прошу объективно отвести в амбулаторию и выдернуть зуб! Сил нет! Спасите!

И цыган шагнул из ворот к Таировой. Стрелок вскинул винтовку и прицелился. Плачущим голосом закричал из-под повязки:

– Заберите эту заразу! У меня тоже зубы! Заберите его от меня! Убью! Убью! Не видите – у меня зубы! Не позволю издеваться!!

Все кругом шарахнулись в стороны. Только Тэра шагнула вперед, заслонила собой цыгана и раскрыла белый халат на груди:

– Стреляйте прямо в сердце! Убейте меня!

Все замерли – оборванная и грязная бригада штрафников, молодые надзиратели, Александр Сергеевич, я, а по другую сторону ворот – толпа буровцев, похожих на лохматое зверье.

– Ладно! Не стреляй, часовой! Я беру все на себя! – наконец громко вздохнул старший надзиратель Плотников и вытер рукавом пот со лба. – Доктор Быстролетов, отведите больного в амбулаторию. Кстати, цыган, что б ты сдох!

Под восхищенными взглядами всех зрителей этого лагерного театра Тэра Исмайлловна медленно и с достоинством запахнула халат на груди, гордо закинула голову и победоносно зашагала в больницу.

В амбулатории толстый стоматолог Буш только пожал плечами.

– Полюбуйтесь, Дмитрий Александрович!

Зубы у цыгана, как у крокодила – сильные, белые, острые и ровные. Похожие на хорошо отточенную новенькую пилу. Ни одного испорченного.

– Что же ты, Иван? А? Слазь с кресла, мозгокрут!

Цыган счастливо улыбается:

– Спасибо вам, доктора! Я обратно здоров, это объективный факт, но у нас ночью с куревом осечка получилась, так вы отведите меня по дороге в рабочий барак. Прошу!

Мы даем Ивану по увесистой затрещине – справа и слева. Артур Карлович, благодушный рижанин с носом, похожим на крупную картофелину (он сидит за развращение малолетних), принимается за стерилизацию инструментов, а я веду цыгана в рабочий барак, где он у дневального быстро покупает махорку. Потом сдаю на вахту БУРа, подтвердив, что Иван был болен.

– Да я и сам вижу, что у него морда распухла! – соглашается надзиратель и пропускает цыгана без обыска. Все кончается удачно, и в БУРе цыгана встречают чуть не с поцелуями.

На разводе я долго не торчу – некогда: дел по горло и еще больше! Издали, пробираясь меж цветов в свой больничный барак, вижу, как из бани лениво выплывают две дамы в нарядных платьях и небрежно наброшенных на плечи новеньких, сшитых на заказ и **по моде** телогрейках; позади дам семят их служанки с тазами, в которых сложено сполоснутое белье, мочалки и мыло. Это – заведующая амбулаторией Тамара Рачкова и заведующая ветеринарной лабораторией Елена Метельская. Обе сидят за мужей-секретарей обкомов, обе отхватили по десятке, обе связаны с опером, обе через него получили **блатную работенку** и откормлены до предела. Помимо работы обе заняты поисками новых любовников – царица Тамара ловит уставших на освобождение от работы, а Елена Прекрасная – голодных на обрезки мяса, получаемые для анализов, и яйца, перепадающие ей при оскоплении быков и кабанов. Чересчур вялых и не в меру страстных любовников после месяца или двух сожительства обе сдают в этап при помощи Мишки Удалого, который всегда нуждается в возможности освободить нужного человека от развода и сам не прочь отведать жаркого из блестящего медицинского стерилизатора.

– Что сегодня в клубе? – кричат мне обе дамы – я работаю в культбригаде, мне известна программа.

- Вечер самодеятельности. Потом танцы!
- До упаду? На прошлой неделе, говорят, один из танцующих упал от голода? Ха-ха-ха!
- Я стискиваю зубы и тяжело шагаю на развод.

3

Перед вахтой мимо штаба и двух женских барачков тянется плац для сбора бригад на развод. За плацем расположены клумбы цветов, и если косо пересечь этот большой четырехугольник по пути с развода, то попадешь в амбулаторию, а дальше по тропинке, направо будет мой больничный барак. Возле него я с трудом поднимаю с травы ползающие на коленях и руках оборванные фигуры: это до завтрака мои больные уже расплзлись по зоне в поисках пищи. Поедать овощи с грядки Таировой они не могут, – огород охраняется сторожами с палками, за пожирание цветов на клумбах Андреева нарядчик Мишка избьет сапогами до полусмерти, он любитель всего красивого. А загаженная и затоптанная трава никому не нужна. На четвереньках, в серо-черных лохмотьях, мои больные очень похожи на стадо пасущихся овец: они рвут траву в котелки, чтобы потом выпросить у дяди Васи соли и съесть, конечно, в невымытом виде, ибо есть траву не положено и потому давать воду для ее мытья санчастью запрещено, это – забота о людях.

– Вставайте, сейчас завтрак! – повторяю я, тряся за ворот ползающих людей. – Хоть бы котелки вымыли на водокатке!

Но слова здесь напрасны: медленное длительное голодание вызвало у больных глубокий психический сдвиг и чувство голода из физического и утоляемого превратилось в психическое и неутолимое. Некоторые поднимают лица и, видимо, стараются понять меня. Но в чуть помутневших глазах уже нет сознания, они выглядят безжизненными на лицах, напоминающих череп, обтянутый серо-желтой, сухой, шероховатой кожей, или на тарелку полупрозрачного студня: болезнь имеет две формы – отечную, когда раздутые, как большие колбасы, люди умирают от избытка в организме воды, и сухую, при которой тело обезвоживается и больной превращается в пустой кожаный мешок, внутри которого, судя по обвисшим складкам, движется скелет. Однако наиболее яркими признаками белкового и общего голодания являются «три Д» – диарея, деменция и динамические нарушения. Диарея – это неизлечимый понос, обусловленный исчезновением в кишечнике ворсинок, всасывающих питательные вещества: пища у

такого больного не всасывается и не усваивается, а потому диарея – это признак приближающейся голодной смерти. Деменция – слабоумие голодающего, весьма напоминающее старческое по внешним признакам и по внутренним причинам: в обоих случаях происходит обезвоживание и изменение клеток мозга вследствие недостаточного усвоения организмом белка. И, наконец, динамические сдвиги голодающих – это закономерная реакция со стороны всей нервно-мышечной системы: длительно голодающие, которых в лагере было приказано называть пеллагрозниками, чтобы избежать слова **голод**, движутся с трудом, медленными, неверными и нецелесообразными движениями, напоминающими движения пьяных. Вначале болезнь обратима: дать такому больному белок в любой форме – мясо, рыбу, яйца или молоко, и он в месяц-полтора возвращается в нормальное состояние, потому что в его кишках пока сохранился всасывающий аппарат – ворсинки. Но потом последние атрофируются и исчезают, внутренняя поверхность кишки становится гладкой, как пластмассовый чехол для колбасы. Такое состояние необратимо, и больной обречен на голодную смерть при любом питании и лечении – пища и лекарства выбрасываются неусвоенными. Тогда приходит на помощь спасительный понос, и полубезумный человек тихо покидает мир бредовых грез о еде.

– Забирайте, забирайте их! – кричат с порогов амбулатории и лаборатории обе дамы: их избушки стоят друг против друга, почти порог в порог, так что царица Тамара и Елена Прекрасная всегда болтают, стоя на своих крылечках. – Ваше стадо под окнами целый день косит траву ртами, как косилками, – смотреть противно! А ведь к нам ходят вольняшки! Стыд и срам!

Если поставить больного на ноги и слегка толкнуть в спину, то он пойдет прямо, пока не наткнется на препятствие. Управлять ими не трудно. Вот я, превозмогая головокружение и слабость, поднял их и ставил на ноги, сказал: «Марш в барак! Сейчас начнется завтрак!» И они действительно потащились в барак, потому что он расположен как раз на пути. А я свернул на помойку больницы Таировой, благо она тут же, у огневой дорожки, рядом с уборной. Ясно, что в это голодное время на помойку попадало только все абсолютно несъедобное, иначе оно было бы съедено поварами и санитарями. И все же по сравнению с общелагерной помойкой больничная считалась **богатой**, здесь всегда былолюдно и оживленно: в лужах помойной жижи и мочи постоянно ползали мокрые, скользкие

и вонючие существа, классом ниже моих лохматых, но сухих баранов – они напоминали даже не животных, а червей. Здесь было лагерное дно, то, о чем великий Горький не догадывался, а великий Станиславский ставить на сцене просто не смог бы: бароны, сатины и компания не смогли бы тут заниматься болтовней.

Ютились помоечники в норах, выкопанных в мусоре, зимой – под снегом. На приличном расстоянии прохаживалась зоркая стража из моих больных. Три раза в день – перед завтраком, обедом и ужином – больничные санитары сваливали тут груды теплых картофельных очисток. Часовые их замечали еще при выходе с заднего крыльца больницы, давали сигнал. И тогда мои больные высыпали все сразу: ковыляли, падали и поднимались и дружно нападали на помоечников. Малосильные человекоовцы живо разгоняли бессильных человекочервей и уносили добычу в барак – мыть, сортировать, перемешивать с хлебом и вареной капустой и лепить аккуратненькие котлетки. Последние потом весь день пеклись на плите, непрерывно топившейся даже летом – голодающим всегда холодно, да и горячая вода нужна фельдшеру Бусе на приеме больных и санитарам – дяде Васе и Петьке – для мытья кадушек, черпаков и мисок: посуду Петька скребет осколками битого стекла, и она всегда у него блещет нарядной чистотой. А котлетки выходили у больных румяными и аппетитно пахли, но на вкус были горькими и, надо полагать, вредили здоровью. Но жизнь есть жизнь: за котлетку давали по две больших самокрутки, а за здоровье не дали бы и окурка, потому что в моем бараке все чувствовали себя смертниками.

Разогнав с помойки ходячих и пересчитав ползающих, чтобы потом послать за ними санитаров, я поспешил в барак: раздача пищи голодным – это большое дело, и присутствие врача считалось обязательным.

После светлого и душистого утра больничный барак казался темной, сырой и зловонной берлогой: проветривать помещение голодные не позволяют (им всегда холодно), маленькие окна загорожены нарами, а электрический свет на день выключается по всей зоне ради экономии. Барак забит поносниками, на двухъярусных нарах копошатся двести человек: одни лезут вверх, другие – вниз, часто совершенно бессмысленно, потому что думать они не могут и движутся либо в силу инстинкта, бессознательно, либо под влиянием случайной мысли, которая мелькнула в затуманенной голове и

исчезла, пока тело медленно, косыми, неверными движениями еще пытается осуществить забытое желание.

– Приготовиться к завтраку! Стройся! – команду я в шелеющуюся темноту и громко хлопаю в ладоши.

Около печки устанавливается короткая широкая скамья на толстых ножках; она хорошо выскоблена и насухо вытерта. На скамью ставят две большие бочки с овощным супом и кашей. Хмурый рыжий дядя Вася, бывший гвардейский фельдфебель, теперь сектант и бессрочный заключенный, торжественно одевает на нос железные очки и на плечи чистый белый халат и, сурово сжав губы, берет в руки жестяной черпак на длинной деревянной ручке – страшный символ власти над людьми в лагерях, по смыслу более похожий на железный посох Ивана Грозного, чем на золотой скипетр Николая Второго. Рядом становится фельдшер Фельдман, мой помощник, бывший студент третьего курса Ленинградского медицинского института, разбитной малый в казачьей шапке, из-за которой ему дали кличку **казак Буся**; его посадила невеста, дочь профессора со второго курса: когда Буся перешел на третий, он нашел подходящую дочь другого профессора, преподававшего на третьем курсе, но обиженная девушка написала в ГПУ о еврейских анекдотах, и Бусе дали пятак. С другой стороны становится санитар Петька, готовый разнимать дерущихся и укрощать строптивых, а голодные – народ злой.

– Начинайте! – даю разрешение я, и рассадивши помоечников на нары в проходе, ухожу в свою кабинку: на столике уже стоят два котелка с баландой и кашей – я на рабочем питании. Проворный Петька уже принес котелки с общей кухни.

Но прежде чем выстроившиеся в длинные ряды больные делают шаг к заветным бочкам, ко мне, опираясь на палку и покачиваясь от слабости, входит Борис Владимирович Майстрах, когда-то командовавший дивизией в Первой Конной, а затем преподававший в одной из московских академий. У него сухая форма белковой недостаточности – высокая прямая фигура похожа на эффектно задрапированный в лохмотья скелет, но в каждом движении и теперь чувствуется выправка бывшего царского офицера. Красивая осанка в сочетании с рубищем делает Майстраха трагическим, величественным и жалким: в зоне его с любовью величают **нашим маршалом**.

– Я... я... неделю назад... утверждал... что к сегодняшнему дню... немцы отойдут... километров на сто от Харькова... но они держатся в пределах пятидесяти. Я слышал сводку Совинформбюро по радио около штаба. – Он качнулся, но под-

пер себя палкой. Отдышался. Уставился в меня мертвыми глазами высушенного судака. Пролепетал: – Я проиграл пари. Возьмите пайку.

– Что вы... Я давно забыл про пари! Идите завтракать.

Скелет моргает невидящими глазами. Собирается с силами. Вытягивается. Щелкает грязными босыми пятками. И гордо отвечает:

– Я офицер! Не лишайте меня последнего... что осталось: уважения... к себе...

Он решительно кладет драгоценный кусочек хлеба рядом с моими котелками, кое-как поворачивается, но в дверях путается и не может выйти обратно: мозг давно не получал белков и истощился; глаза хорошо видят, но человек не понимает то, что видит. Я вывожу Майстраха через дверь и смотрю на раздачу, хлебная баланду с кашей из котелка.

Там в очереди уже обычная ссора – злая и ожесточенная, но совершенно беспричинная, если не считать главную и единственную причину – голод.

– Я... тебя... как стукну... так перевернешься... – сипит раздутый отечник соседу, высохшему, как мумия. Тот бешено скрипит зубами:

– Задушу... зарезу...

Но такие чувства для обоих – непосильная нагрузка. Сидя на нарах, оба начинают покачиваться, подпирают себя обеими руками, качаются больше и больше, и вдруг валятся один на бок, другой на пол. Они лежат как связка лохмотьев и швабра. Минуту молчат и не двигаются, потом начинают шевелиться. Бормочут:

– Мозги... полетят...

– Кишки... выпущу...

Но чуткое ухо Петьки не пропускает ничего.

– Эй вы, бойцы! Кончайте воевать! А то подохнете до завтрака!

Курносый Петька добродушно поднимает лежащий на нарах живой скелет и даже ставит его в очередь. Потом наклоняется к лежащему на полу отечнику. Петька сидит за хулиганство, и чтобы не работать на морозе, два года тому назад сам себе отрубил пальцы на правой руке, но неудачно: топор в левой руке после первого удара скользнул и отрубил не только четыре пальца, но и кости кисти до запястья: остался один средний палец. От ежедневного упражнения он потолстел и вытянулся, и рука, если глядеть на нее от плеча, превратилась в постепенно суживающееся орудие или оружие,

смотря по надобности, страшное по силе и ловкости приспособление, когда нужно – похожее на стальной крюк, а когда требуется – на гибкий розовый хобот. Этим рукопальцем Петька поднимал у нас за шиворот мертвых, а в Мариинском расприде за трешку обслуживал набожных сектанток, которые сожительство с мужчиной почитали за грех, а на услуги розового хобота решались – ведь в святых книгах это не запрещено. Порывшись в груди тряпья, Петька выпрямился и вытер руки о штаны.

– Доктор, а доктор! Пойдите сюда! Второй боец обратно помер!

Дожевывая кашу, я подхожу.

– Это который поднял шумок. Психанул и задрал копыта. И завтрак даже не получил!

Услышав последние слова, очередь заволновалась:

– Мне ту порцию... Я с ним дрался...

– Чего это как раз тебе? Гад! Делить на всех!

– На всех! На всех!

Еле двигая ногами, больные повернулись спиной к дяде Васе и бочкам с едой и толкуются около меня, Петьки и трупа: им кажется, что именно здесь я сейчас начну делить на двести ртов оставшуюся неполученную одну порцию.

– Как вам не стыдно! Тише! Тише!! Вас двести человек, а завтрака – два черпака! Чего делить? Получите по чайной ложке и все! По местам! Живо! Раздача продолжается!

Шум стихает так же внезапно, как начался: больные уже забыли о мертвом и спешат получить свою порцию. Но никто не интересуется своей миской, все с острой завистью заглядывают в миски соседей.

– Иванову-то какой лист достался... как кочан...

– И резать на кухне не умеют... Собаки...

– А раздатчик... Тоже... Тварь...

Все роздано. В темном бараке дружное чавканье: двести человек жадно и молча жуют капусту. Буся и Петька тащат в морг не вовремя психанувшего бойца.

Вдруг в тишине раздается протяжное:

– А... а... а...

Из темноты жалобной трелью вьется тоненький, слабенький голосок.

– В чем дело? – строго спрашивает дядя Вася и снимает железные очки и белый халат: он роздал больным не только суп и кашу со сливочным маслом, но и по котлетке из сырого мяса весом в 50 граммов, и разлил по стакану горячего молока.

Страна, истекающая кровью на тысячекилометровых фронтах от Белого и до Черного моря, не взирая на недоедание рабочих на военных заводах, все-таки отпускала мясо и молоко заключенным, судя по приговорам – своим врагам. Голодный дядя Вася эту фантастическую еду раздавал с торжественным благоговением, движением священника, творящего причастие. Теперь он кончил и вытер пот со лба с некоторым облегчением: запах мяса и молока мучительно щекотал ноздри. – Так в чем дело, спрашиваю?

– А... а... а... Я спрятал окурок... под тюфяком... думал закурить после завтрака... А кто-то... его... украл...

Покрывая тупой хруст жующих челюстей, из темноты несся слабый отчаянный плач. И вдруг оборвался.

– Петька, ты уже здесь? В чем дело? Расследуй!

Петька из темноты сообщает:

– Готов!

Больные жуют. Петька пробирается к печке, вытирает руки о штаны и берет свои миски.

– Что случилось?

– Ничего. Пожрал, согрелся. Ну и психанул. Очень просто.

Почти каждая раздача пищи сопровождается смертью. Пища тяжелая и обильная, еже живые люди набьют себе желудок и сердце не выдерживает. Люди умирают счастливые, часто с улыбкой удовлетворения, кто с недожеванной капустой во рту, кто с недокуренной закруткой в губах. А тут после еды еще и неприятность – украли окурок: как тут не умереть?!

– Внимание! Здрасьте, граждначальник! – вдруг бодро кричит Петька, встает, вытягивается и стоя хлебает суп. Входит вольнонаемный начальник КВЧ, старенький, скрюченный человечек, бывший пожарник. Он эвакуировался с Украины и сейчас кое-как работает: без продуктовой карточки теперь не проживешь – война... Кряхтя, как будто бы рассыпаясь на ходу, начальник останавливается у печки, разворачивает газету и дребезжит в полутемное пространство:

– Я принес свежую газету, больные. Зараз хочу вам почитать сводку Советского информбюро. Будете слушать?

Молчание. Из темноты слышится хруст капусты.

– Ну? Спрашиваю – будете слушать?

Пауза. Потом чей-то мертвый голос спрашивает:

– А... добавок... будет?

Начальник ничего не понимает.

– Что он спросил, доктор?

– Дадут ли дополнительную порцию еды, если они будут вас слушать, гражданин начальник.

– Нет, вы только подумайте! – кипятится согнутый старичок. – За Информбюро – капусту! Нахалюги! Хиба ж це не граждане, доктор?

– Граждане, гражданин начальник, но уже другой страны – замогильной.

Это не нравится начальнику.

– Це неправда! Кажу – неправда, доктор! Ось ваш больной Майстрах уже ждеть не дождется у двери – буде просить газету хоть на минуту!

– Это не пример: Майстрах – герой, образец. Но все люди не могут быть героями. На то и образец, чтобы отличаться от других.

– Так, но вин тэж больной!

– Тоже, только у него мозг умирает позже рук и ног, а у этих всех – раньше. В этом и вся разница.

Едва капуста дожевана, как больные валяются на бок и погружаются в глубокое оцепенение, похожее на сон.

Входит Мишка Удалой.

– Накормил своих дохляков, доктор? Давай шесть гавриков стеречь цветы.

– Их нельзя туда посылать – съедят половину.

– Дьяволы. Два человека раздавать мыло в бане.

– Упадут от жары. Помнишь, еще на прошлой неделе...

– Ладно, помню. Давай десяток чистить картошку.

– Ну, это другое дело. Эй, ребята, кто хочет идти чистить картошку?

Гробовое молчание: все сыты, согрелись и оцепенели под тряпьем.

– Вот псы, – сердится Удалой. – Я сам выберу.

Он берет веник и рукояткой сбрасывает тряпье с лежащих. Петька зажигает коптилку и светит над каждым.

– Этот не пойдет. Слаб. Посвети этому руки. Морду. Этот пойдет. Эй, ты, повернись. Слышь, идол, повернись! Да у него нет ноги. Не пойдет. А ну этот. Эй, дядя, подымайся! Ну, гад, хочешь палки? А? Подохнуть успеешь и завтра! Вставай!

Петька водит коптилкой над лежащим. Мишка грубо скребет ему ребро и спину рукояткой веника. Раздается недовольное рычание. Больной открывает один глаз.

– Вставай, падло! Петька, тяни его с нар за ноги!

Так набирается рабочая бригада в десять человек. Оцепенение у всех прошло, выбранные шарят под нарами – ищут котелки, в которых принесут с кухни очистки, а под ними украденные картофелины или куски турнепса.

– Петька, отведи их на кухню, а на обратном пути захвати в амбулатории больных с направлениями к нам. Будет прием. Иди!

После ухода нарядчика я сразу же начинаю запись и предварительный прием новичков, присланных из амбулатории с утреннего приема: это отцеженная для нашего барака порция смертников. Мне помогает Петька, а Буся тем временем раздаст лекарства и выполняет назначенные ранее несложные процедуры – впрыскивания, перевязки, втирания. Лекарства больные любят только темного цвета и отвратительного вкуса и запаха – «чтоб продирало насквозь», бесцветным и безвкусным лекарствам здесь не верят. Особенной любовью пользуются банки, и Буся щедро удовлетворяет все просьбы – по опыту мы знаем, каким мощным лечебным средством является психотерапия и всякого рода плацебо-таблетки и порошки безвредного характера (сода, белая глина и прочее). Старичок, который, может, завтра умрет от истощения, кряхтит под чудовищно присосавшимися банками, нюхает ватку со спиртом и сосет таблетку – и доволен: он в этом мире пренебрежения к человеку и поругания его личности чувствует, что о нем заботятся, его желания выполняют, и он доволен, он может быть в эти минуты счастлив. И я бывал доволен, потому что помнил, что это не просто больной, а безвинный мученик, которого надо не только лечить, но и пожалеть.

Между тем одни новички потеснее рассаживаются на скамье, остальные на полу, потому что грязных скамеек не хватает, а на чистые их посадить нельзя – чистые у нас ставятся во время обеда под бочки с едой.

Докуривши закрутку, я бодро приступаю к делу.

4

– Ну-с, начинаем! – Я беру чисто-начисто выскобленную фанерку и огрызок карандаша; фанерок передо мной – целая горка, она здесь заменяет стопку бумаги. – Встаньте, больной! Подойдите ближе! Скажите фамилию, имя и отчество и данные. Да не волнуйтесь! Спокойней! Спокойней!

Медленно, неуверенно, кряхтя и дрожа, со скамьи поднимается высокий, тощий старик. На нем картинно развиваются лохмотья, показывающие, что это человек из инвалидной бригады, рабочее обмундирование у него отобрано. Кожа на его лице потемнела от грязи, отросшая седая щетина на лице и голове кажется снежно-белой. Старик – иконописный великомученик. Он силится что-то сказать, но не может. И вдруг начинает рыдать.

– Не волнуйтесь! Это не помогает делу! Спокойней! На что вы жалуетесь? Петька, внимание! Давайте свои данные!

Старик делает два шага ко мне, широко вскидывает длинные руки, с которых свисают грязные лоскуты рубахи, и, рыдая, смотрит на меня огромными, полными ужаса, глазами. Потом начинает покачиваться в мою сторону. Он стоит, как журавль, расправивший крылья, чтобы улететь, или как Христос, сошедший к людям с креста ради последнего, еще не сказанного слова. На всякий случай я прикрываюсь рукой.

– Петька, держи его за плечи! Ну, в чем дело?

– По... поо... оо... нос...

И глотая текущие по лицу слезы, старик начинает **давать данные**, нечто вроде визитной карточки заключенного – фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статью, срок, начало и конец срока. Я скребу огрызком по фанере, а Петька уже дал старику хлебнуть теплого сладкого чая из котелка и повел на нары, крепко обнявши за талию. Потом докладывает:

– Я ему под голову кирпич засунул вместо подушки, больше из белья у нас ничего нет. Матраса не дал – враз обгадит, а стирка у нас почитай через месяц. Он загнется в неделю, а кому потом приятно лежать на таком матрасе?

Новички равнодушно кивают головами. Петька им разъясняет:

– Я уж знаю, – раз ложится с поносом, значит не жилец и начальничку свой срок задолжает. Психи, которые высохли, те тянут дольше. Вот, получайте такого, доктор!

Он подтаскивает к столу другой серый скелет, увешанный лохмотьями. Очень спокойный. Даже слишком: с одного взгляда мне все ясно, и я заранее вздыхаю.

– Фамилия?

– А?

– Не акай. Фамилия, спрашиваю.

– Чего?

– Говорю, как фамилия? Ты что, оглох, миляга?

У меня начинают чесаться то нос, то затылок. Я перебираю ногами идвигаю свой табурет. Наконец успокаиваюсь.

– Ладно. Фамилия?

– Чья?

– Не моя же! Я свою знаю. Как фамилия?

– А?

Я вытираю со лба пот. Петька сочувственно кивает головой:

— Тяжелый случай! Тут одно фамилие не вытянешь, а все данные в законном наборе? На час работы! Дать ему по роже для ускорения?

— Нельзя. Он больной. Поставь на табурет.

Это изобретенный мной диагностический прием — «проба на адинамию». Петька легко ставит иссохшего человека на табурет.

— Слезай! Слышишь? Слезай сейчас же! — нарочито громко и грозно командуя я.

Больной меня понял, но не знает, как выполнить требование. Он растерянно топчется на невысоком табурете, трясет лохмотьями и пристально вглядывается в пол, вымытый хлорной известью и потом еще выскобленный стеклом — пол тускло светится, как свежеснесенное яичко, и кажется полупрозрачным. Но до него сорок сантиметров! Пропасть, которая пугает своей непонятной глубиной... Больной просто не может сообразить, что нужно сделать, чтобы слезть вниз: он балансирует вытянутыми руками и, наконец, равнодушно замирает и стоит на табурете, не шевелясь и полужакрыв глаза, изображая собой живой памятник Голоду.

— Очумел законно, деменция с адинамией, — поясняет Петька сидящим на полу новичкам, пока я делаю себе заметки. — Но раз высушен, значит еще поживет. И как он раньше к нам не попал? Завалился в бригаде ослабленных, што-ли? Тута бригадир виноватый, да, доктор? Этому и наши котлеты не помогут — нет ворсы в кишках, поняли, ребята? Я на «трех де» насобачился до ужаса — диагноз ставлю с ходу!

И так они ползут один за другим. Их не много, но добиться ответов на вопросы невозможно, здесь терапевт находится в положении педиатра или психиатра — ему нужно думать самому и понимать больного без слов. Но иногда попадаютсся и более редкие случаи.

— У отечника, которого вы, доктор, давеча сами притащили с помойки, температура 39,8, — докладывает Буся. — Он наш, барачный. Лежит на нарах.

— Петька, ты его хоть обер?

— Да как сказать? Смотреть можно. Выдержите!

Мы втроем находим место и лезем на нары. Темно. Запах такой острый, что режет в носу, как ножом. «Да, это, брат, не уборная, здеса не будешь прохладжаться!» — бормочет Петька и начинает ворочать человека, похожего на стокилограммовый бурдюк с водой, одетый в мокрое, скользкое тряпье. Буся светит копилкой. Я разгребаю трубочкой тряпье и ны-

ряю туда лицом. В легких у больного сравнительно чисто. Сердце работает ускоренно, но ритмично. Живот вздут – безболезненный. В чем же дело? Вчетвером мы вытаскиваем больного в проход и потом несем в мою кабинку. Я шпателем раскрываю рот и нахожу на нижней десне справа небольшое черное пятнышко, от которого по внутренней поверхности щеки к углу рта поползло бурое ответвление.

– Нома? – в один голос говорят мои ассистенты.

– Да. Водяной рак. Направлять его к Таировой уже нет смысла. Жалко – молодой парень. Несите его к Святославу Ильичу – пусть попробует хирургическое лечение. Там его хоть вымоют как следует...

– Это Ян Сурниньш. Инженер-строитель из Риги. Мы ехали в одном этапе, – поясняет Буся и добавляет: а дома, небось, ждут... Помойная смерть – страшное дело!

Серые тени по очереди, кряхтя, поднимаются с пола и ковыляют к моему столу. Еще один... Еще... Последним, едва передвигая слоновьи ноги, тяжело переваливается человек неопределенного возраста. Из оборванных рукавов торчат тощие руки. Больной вяло бубнит положенные **данные**, сам ставит себе диагноз «голодный понос» и собирается ползти вон.

– Куда же вы?

С искаженным лицом больной молча показывает себе на ноги. И тут только мы понимаем несоответствие между руками и ногами: он худ до предела, но зимние ватные штаны туго перетянуты у щиколоток и на поясе и до верха наполнены жижей. Она течет из него беспрерывно, штаны под ее давлением раздуты в виде двух стеганых баллонов, и сквозь мелкие дырочки здесь и там текут мутные слезы.

– Я полон, доктор! – со злобным отчаянием сквозь зубы рычит больной. – Проклятье! Как я боролся... Нет, довели начальнички до социализма... В брюках ведро, не меньше! Их хватает часа на три... Надо идти в уборную слить. Проклятье! И откуда берется? Ведь жрать нечего! Дайте напиться, умираю от жажды!

Петька перекидывает его руку вокруг своей шеи и обнимает больного за талию. Медленно они уходят. Утренний прием новичков кончен. Дежурный больной (он за обедом получит добавочный черпак супа) шваброй подтирает пол. За окном слышно, как Петька говорит больному:

– На, браток, докури. Махра с мятой, понял? Оно, конечно, – ты устроился законно: уборная всю дорогу при тебе. Но, милоч, тут бойся одного – всасывающего аппарата!

Все новички записаны в школьную тетрадь с надписью «Больничный журнал» и разнесены по двум фанеркам – на 400 грамм хлеба и барачное питание: это обычное, так называемое **общее** питание, но приготовлено оно Александром Сергеевичем чище, лучше и, главное, честнее, чем на лагерьной кухне. К нему добавляется котлетка из сырого мяса и стакан молока (еще два фанерных списка).

Каждый больной получил какое-нибудь врачебное назначение на новых фанерках: оно необходимо психологически, это та соломинка, за которую хватаются утопающие. С завтрашнего дня Буся будет смазывать йодом ушибленное колено человеку, который повалился от голода – но все равно, смазывать надо, даже если нельзя накормить: лишить страдающего еще и надежды – это было бы слишком жестоко! Петька уже показал новичкам места на нарах и перетащил их под руки в баню. Там он сполоснет всех прохладной водой без мыла (горячая вода выдается только работягам и по одной шайке раз в десять дней вместе с десятиграммовым кусочком дрянного мыла) и затем ослабевших, почти полуобморочных, по очереди притащит на спине обратно в барак.

А я с Бусей выхожу на крыльцо и торопливо делаю несколько глубоких вдохов. Затем мы стискиваем зубы и отчаянно лезем на нары – начинается обход лежащих больных. Ежедневно я осматриваю половину наличного состава, то есть сто из двухсот. Человек пятьдесят, так называемые **ползуны**, сами доберутся до кабинки, а вот остальных, именуемых **дохликами**, мы обязаны осмотреть на месте. Казак Буся, с коптилкой в одной руке и фанерным списком в другой, пробирается между лежащими первым, я ползу вторым. Вот он осветил фамилию в списке, справился у соседей о состоянии больного, заполз больному за голову, приподнял ее и разгреб лохмотья на груди и животе.

– Лопатин Степан Иванович, лежит второй месяц.

Я ощупываю, простукиваю и выслушиваю больного. Взяв в руку коптилку, освещаю нужные места – лицо, живот, промежности, анус, конечности.

– Отметьте – плюс/минус = минус.

Это наш шифр – «состояние ухудшается».

Мы выползаем в проход, Буся делает отметку, и мы снова лезем в темный смрад. Буся водит коптящим огоньком направо и налево и находит следующего.

– Иванченко, Парфен Игнатьевич. Один месяц и три дня.

Найти пятьдесят больных в темноте нелегко: они совершенно равнодушны к окружающему, не отвечают на вопросы и все похожи один на другого, как однообразны и симптомы их болезни, или лучше сказать состояния.

В тусклом кружке света я вижу выющую струйку копоты, напряженное лицо Буси с каплями пота на лбу и то, что мы ищем. В груди черных и серых тряпок вдруг выплывает из мрака холодная, сухая, шероховатая, серая или синеватая кожа больного сухой формой: оттянешь такую кожу от выпирающих костей, и она долго не расправляется и торчит жесткой складкой, как скомканная оберточная бумага. Или покажется голая нога отечника, похожая на блестящую, очень толстую и плотную колбасу: привычного очертания ноги нет, от паха до кончиков пальцев на матрасе лежит холодная, влажная, полупрозрачная колбаса, из которой внизу чуть торчат человеческие ногти; сверху кожа до блеска натянута, но цела, а ниже того места, где должно быть колено, — не выдержала натяжения, лопнула и дала розовые трещины, из которых сочится прозрачная влага.

— Нечипуренко Влас Власович, три месяца десять дней, — прочтет по списку Буся у следующего и осветит череп, к костям которого как будто прилипла истонченная мертвая кожа; ввалившиеся глаза полузакрыты, зубы оскалены в застывшей насмешливой усмешке.

— Что-то ты сегодня плох, Влас Власович! — скажу я. — Буся, освети его целиком. Надо уточнить общий статус, это скоро понадобится. Вы поняли?

Мое лицо как будто ползет по торчащим ребрам — короткой трубкой я ловлю в легких признаки начинающегося застойного воспаления, предвестника конца. Агонизирующих мы перетаскиваем на единственную вагонку, стоящую у двери — там больше света и воздуха и никто не толкает. Буся поворачивает то, что когда-то в миловидной украинской деревне было Власом Нечипуренко, и мы видим выпяченные углы лопаток, острые шипы позвонков и реберные дуги, ниже — ножеобразные края тазовых костей, а под ними, вместо ягодиц, два пустых, сморщенных кожаных мешка, между которыми темнеет глубокая воронка: зажимы прохода ослабели и разошлись, и он зияет так, что кажется, освети Буся воронку получше — и через нее будет видно еще живое сердце...

Закончив осмотр, мы моем руки и валимся на табуреты — выбраться на воздух нет сил. Так мы сидим, скрючившись, подпирая головы руками. Потом начинают возвращаться силы.

Мы делаем закрутки и курим, все еще молча. Пьем воду. Когда восстанавливается речь, я диктую назначения и сам заново записи в ученическую тетрадь – она заменяет истории болезней, на человека полагается одна страница. Отечники получают мочегонные и сердечные, а также отсасывающие компрессы на участки лопнувшей кожи. Удалять воду из брюшной полости троакаром нельзя – получится инфекция, рожа и смерть, да и сердца слишком ненадежные. Сухарям назначают сердечные и переливание своей крови, если начался фурункулез. С карбункулами я отправляю больных к хирургу, желтушников – к Тэре. Серьезных инфекций в зоне, изолированной от внешнего мира, нет (вшивости тоже), бич моих больных – понос – явление функциональное. Атеросклероза и гипертонической болезни у голодающих в серьезной форме не бывает. Свежий рак в зоне – редкость: за восемнадцать лет я наблюдал только три таких случая.

Затем я погружаюсь в канцелярскую работу: разношу на фанерки и дощечки множество данных, за ними – живые люди, это требует точности. Я царапаю списки на раздачу лекарств, на процедуры, на направление в больницы, а также ведомости на питание для двух кухонь (на больных и обслугу), заявки для каптерки и бани. На особой фанерке ведется список тяжелых больных на случай прихода начальства, для МСЧ и первого отделения штаба – кварталный список умерших. Во второй школьной тетради я делаю для аптеки выписку лекарств. Все! Теперь нужно отложить дела в сторону, закрыть глаза и сосредоточиться.

Наступает сладчайший час творчества – из-под небрежно наваленных фанерок и ученических тетрадей я извлекаю бережно туда засунутую и тщательно замаскированную толстую самодельную тетрадь. Особую. Ту, которая теперь мне в жизни всего дороже. Мою литературную рукопись – да-с, именно литературную! Я пишу роман из африканской жизни – это мое каждодневное путешествие в Сахару и Конго прямо из сибирского барака смертников. Фантастическое и блестящее путешествие, невидимое бегство на волю прямо под носом у грозного начальства и стрелков на вышках! Оно дает мне волю и силу жить, в этот заветный час я чувствую себя человеком, силой духа попирающим нечеловеческие условия своего существования. Это час смелого вызова судьбе, и час победы над ней. Чтобы Буся, Петька и дядя Вася не догадались, я небрежно посвистываю и курю, и стучу фанерками, а на самом деле бисерным почерком заполняю положенные на каж-

дый день четыре драгоценные страницы – больше нет бумаги и чернил, надо все экономить и писать без исправлений, на-бело. И это не все. Есть у меня наслаждение поострее: поми-мо романа я еще пишу и мемуары – записки о виденном и пережитом в сталинских лагерях. Бумаги мало, нужно записы-вать самое главное – не о дырявых валенках и гнилой картош-ке, а о заключенных сталинского времени, моих соотече-ственниках и сверстниках, о советских людях, многих из кото-рых я считаю героями. О нашем времени – трудном, жестоком и великолепном, возвышающем обыденное до уровня героиче-ского.

Я знаю, что за это мне может крепенько влететь – новый срок и год штрафного лагеря в Искитиме означал бы при моей теперешней слабости и истощении мучительную смерть... Но... Игра с опасностью захватывает, а глубокое убеждение в ис-торической ценности таких свидетельских показаний прида-ет силы. «Будь что будет!» – шепчу я и, искоса взглянув на дверь, достаю эту вторую сверхсекретную и драгоценную тетрадь: в ней я начал писать о Норильском лагере, из кото-рого прибыл в Сиблаг в 1940 году. Я пишу героическую поэму в прозе, гимн живым и павшим борцам. Дядя Вася прилег вздремнуть, Петька таскает из бани вымытых новичков, Буся ушел рыскать по зоне в поисках еды и любви: кухня и женский барак – это обычные цели его налетов, и не случайно я утром заприметил у него в карманах четыре морковки. У меня в го-лове план сегодняшней записи продуман до мельчайших под-робностей, я творю, когда занят другим, а сейчас лишь побы-стрее записываю. Работа идет плавно и гладко.

К сожалению, наслаждение длится недолго: положенное записано, и тетради опять спрятаны. Но какое сильное чув-ство, ах, какое чувство меня охватывает: я встаю бодрый и сильный, – ничего, мы еще подержимся и повоюем...

Пока я творю – я человек! А пока я человек – я борец!

Потирая руки от нахлынувшей радости жизни, я выхожу из кабинки.

Перед баракom на скамейке сидит наша интеллектуаль-ная элита, цвет и лучшие люди барака: бывший комдив Пер-вой конной Майстрах, бывший посол в Бухаресте Островский, бывший секретарь посольства в Праге Щеглов и бывший ко-мандир подводной лодки Абашидзе – разные люди по возра-сту и национальности, теперь вдруг ставшие очень похожими друг на друга: у всех в глазах голод и вместе с тем страстное

желание превозмочь унижительную животную тоску. Майстрах, Щеглов и Островский опирались на клюшки, но еще ходили – у них была сухая форма; Абашидзе отек и задыхался, друзья водили его под руки. Все сидели и спокойно беседовали так, как если бы это было в ялтинском парке, хотя, как врач и голодающий, я понимал, чего им стоит такая выдержка. Я знал, что на этой скамеечке передо мной отдыхали Бессмертные, и внешне такая спокойная беседа на отвлеченные темы – это их победный пир!

Подпершись клюшкой, чтобы не слететь на землю, и от слабости клюя носом, Майстрах говорил:

– На этом я и заканчиваю свои комментарии к последней сводке Совинформбюро. Сегодня в клубе концерт, и после него начальник КВЧ даст мне газету минут на десять. Там, у карты, мы встретимся и еще раз обсудим положение на фронтах. Но уже бесспорно: инициатива в наших руках, окружение и взятие Москвы немцам не удалось так же, как и захват Ленинграда. Это наши первые исторические победы, товарищи! Немцы, всегда учившие генштабистов всего мира, что наступать надо похожим на острие пирамиды концентрированным ударом в сердце врага, на деле осуществили противоположное – рассыпали свои силы от моря до моря, от страны к стране, разделили свое внимание между второстепенным и потеряли главное. В этом залог нашей конечной победы. В должное время мы займем Берлин.

Старый командир выпятил тощую грудь. Голос его приобрел металлическую твердость. На остром носу повисла капля.

– Все дело в сроках войны, Борис Владимирович, – задумчиво возразил Абашидзе. – Мы одна страна, хотя и огромная. У Гитлера – Европа. Его тыл обладает несравненно большим промышленным потенциалом. Затяжная война на износ нам невыгодна, она нам не под силу. Она... – Но Островский поднял сморщенное, как печеное яблочко, бескровное лицо: от внутреннего волнения он даже порозовел.

– Георгий Давыдович, простите, но Европа, Германия и Советский Союз – не изолированный мирок, а лишь часть большого мира. Немцы выиграли франко-прусскую войну потому, что Германии тогда еще не существовало и мир не знал таящейся в ней угрозы. Немецкие государства объединились, угроза стала очевидной, и мир не позволил Германии выиграть первую мировую войну. Немцы хорошие бойцы, но плохие дипломаты, и эту войну они тоже проиграют: она задумана на ложных предпосылках. Поймите: это главное! Пораже-

ние – исторический удел Гитлера, война на износ – это как раз то, что его прикончит: Германия и Европа означают меньше, чем наш Союз, Америка и весь мир. Наш тыл сильнее. Мы...

Островский поперхнулся и осел: такая речь голодному не под силу. Он вдруг побледнел и схватился за сердце.

– Что с вами? – ворчливо проговорил Щеглов. – Мы, мы... Молчали бы лучше, Миша. Мы – это советские люди в скотском загоне. Полудохлое барахло.

– Ну и что же, Щеглов? – вызывающе повернулся к нему Абашидзе.

– А то, что до победы никто из нас не доживет!

– Ну и что же? – упрямо повторил грузин. – Доживут другие! Важно, кто именно победит в борьбе – Союз или Германия, или еще точнее: коммунизм или фашизм? Вот историческая задача мировой схватки. А потом, где-то на десятом месте, поставлен и разрешится вопрос, что будет с нами, каково место миллионов советских заключенных в нашей победе или поражении. Я считаю, что если победит Гитлер, то нашему народу крышка, всему советскому народу. С ним погибнем и мы: эсэсовцы нас перестреляют с вышек, не открывая ворот, – мы нежелательный довесок в двадцать миллионов негибаемых и неподкупных патриотов. А если победит Сталин? Тогда руки у него будут свободны: он тихонько передушит нас и примется за новую охоту на людей – его режим зашел так далеко, что возврат к ленинской разумной демократии невозможен. Дело пойдет об удержании в руках власти, а вместе с ней и головы на плечах. Все эти берии, малышковы и прочие не удержатся без всевозрастающего террора. Я прав?

Все разом открыли рты для ответа.

– Нет, – опередил всех Островский. – Мы победим, а наша победа означает поход в Европу миллионов одураченных Сталиным людей. Они понюхают там воздух, и эта замурованная от остального мира тирания рухнет. После первой отечественной войны совершенно закономерно и неотвратимо пришли декабристы из Парижа на Сенатскую площадь в Петербурге, а после второй отечественной будут Красная площадь в Москве и коммунисты, вернувшиеся из Берлина! Будут, товарищи, обязательно будут!

– Победа на фронте – наша победа! – вмешался я. – Наша армия освободит заключенных во всех лагерях мира: живые пойдут по домам, а мертвые останутся на полях немых сражений! Мы выйдем за ворота, перешагнув через их тела!

Все вздохнули и задумались.

– Я боюсь за судьбу этих победителей на Красной площади, – снова начал Абашидзе. – Сосо Джугашвили – это психически и нравственно неполноценный человек. Откуда я это знаю? По людям, которых он выбирает себе в помощники. Пример: Берия – мелкий уголовник, пролезший в милиционеры, потом в чекисты. Для чего? Для своих личных целей, для преступлений во все более крупных размерах: ему нужна власть, чтобы убирать из жизни всех, знающих сегодня его вчерашние мерзости. Только такие нравственные уроды годятся Сосо Джугашвили для осуществления своих планов, а в этих планах главное – опять все те же задачи удержания в руках власти: члены клики борются каждый за себя и все вместе – за свой режим. Такие люди обведут вокруг пальца ослепленных победой героев, рассеют их и перебьют по одиночке. Решающим историческим моментом явится демобилизация. Если Сталину она удастся, то...

Абашидзе вдруг качнулся и как бы в шутку сполз со скамейки на траву. Поднял голову и засмеялся.

– Ну вот, приехал! Поднимайтесь, Георгий! – сказал я, поддерживая его за плечи. – Поднимайте его, товарищи! Ну, раз-два, взяли! Раз-два, взяли! Ну, ну... еще... Поднимайте за пояс, Островский! Ф-фу, и тяжел же ты, подводник! Идите все полежать! Объявляю заседание закрытым!

Все поднялись и, поддерживая друг друга, поплелись в барак.

Когда хочется есть, то время тянется нестерпимо долго: мучаешься, мучаешься, и будто все еще утро! Но время не стоит на месте даже при голоде. Скоро обед.

Дядя Вася, опустив руки по швам и расправив плечи, как когда-то в гвардейском полку, докладывает:

– Водовозы развезли воду во все три больницы, морг и к нам. Можно посылать их за добавочным супом?

Четыре водовоза мигом приносят с больничной кухни суп в десятилитровом бочонке. Густые постные щи хорошо сварены из свежих овощей с больничной плантации, овощи чисто вымыты, мелко накрошены и проварены в тщательно вымытом котле, а затем заправлены растительным маслом: пряный запах здоровой пищи режет ноздри, как и барачная вонь. Четверо выздоравливающих больных, с рассвета таскавших водовозную бочку на себе, впрягшись в оглобли как лошади, поставили бочонок на траве, сели вокруг под завистливыми взглядами больных, выползших из барака, и дружно ударили

ложками. Раздался лошадиный хруст, прошло несколько минут, и бочонок опустел. Едоков бросило в пот. Они вынули кисеты, но скрутить курево не смогли от утомления – потянуло на сон. Тут же, не вставая, под нежарким осенним солнышком все четверо откинулись назад, на спины, и заснули, предвзвительно развязав на животах веревочки. Только один, уже засыпая, успел сердито пробурчать:

– Работу требуют, гады, а не кормлють...

Эта четверка будет жить! Петька уносит бочонок и ложки и отдает их дневальному. Тот сливает юшку из бочонка в миску, а из миски себе в рот и принимается за мойку – скоро нужно будет идти за обедом. А я с Петькой бегу в быстрый обход зоны, на ловлю «своих».

В женском рабочем бараке мы натываемся на расправу Мишки Удалого с отказчицами от работы, старушками-монашками. Они сидят кружком на верхних нарах и тихо тянут псалмы. Мишка толкает их ногой в спины, отказчицы не сопротивляются, но продолжают сидеть и петь. При каждом толчке пение делается громче:

– И ввергни нечестивцев в геенну огненную... – тянут монашки.

– Доктор, ты их освободил? – кричит мне Мишка.

– Нет!

– Я ж им говорю, падлам! Но бесполезно! В последний раз спрашиваю: идете на работу? В тепло? Латать барахло?

– Работать на бесовскую силу бог не велит! – мягко улыбаются монашки и ясными глазами глядят на нарядчика снизу вверх.

Это фанатички. Они чувствуют себя здесь как первые христиане на арене языческого цирка и готовы с радостью принять мученичество.

– Ух, звери! – рычит Мишка и вместе с дневальной по кличке Швабра поднимает легоньких, как перышки, старушек, раскачивает и прямо сверху швыряет на пол. Те шлепаются плашмя и не поднимаются. Пение смолкает. Двое больных – одна с флюсом, другая с ушибом ноги, – равнодушно занимаются своим делом – кроют новую кофту из старых мужских брюк. Забежавшая на минутку из штаба высокая статная женщина стоит у окна, задумчиво играет с котенком и кормит его с пальца сливочным маслом. У меня рот начинает наполняться слюной. «Сволочь!» – думаю я и отворачиваюсь. Мы бежим дальше.

Если сильный здоровый человек вдруг начинает голодать, то есть прекращает принимать еду, то голодание приобретает

ет у него другие формы, и он может умереть недель через пять без признаков общего разрушения организма медленным истощением. В лагере голодающих в таком прямом смысле не было, здесь люди понемногу кормились и все же тысячами умирали не от голода, а от белковой недостаточности и от глубочайших дистрофических изменений всех систем организма. Если начать правильно кормить голодного, то он быстро возвращается к норме; но здоровье наших лагерников сорок второго года восстановить в большинстве случаев оказывалось невозможным – изменения у всех зашли слишком далеко. Пробегаю по баракам, я с первого взгляда мог определить, дошел человек до роковой черты или нет: если на лице у него напряжение и тревога, если он лихорадочно ищет еду и ест только съестное, которое удалось добыть, то он еще по эту сторону, он в ведении Таировой; но если он безразличен и вял и ест уже то, чего есть нельзя – значит он на той стороне, он мой. Однако на этот раз безразличных и вялых мы не видим, все освобожденные от работы суетятся у плиток, на которых что-то варится или печется, упавших на цветочные клумбы нет, мертвых тоже. Мы поворачиваем к себе. И все-таки на помойке обнаруживаем лежащего человека. Он жив и сразу открывает глаза от ватки с нашатырным спиртом.

– Веди к нам, Петька! Скажи Казаку, пусть поставит на питание. Чтоб не сбежал обратно на помойку – раздень донага и прикрой шинелью, что осталась от умершего полковника. Она лежит за большой печью. А я еще заверну в морг.

Петька крепко держит помоечника за плечо. Руками тот прижимает к груди грязную лошадиную кость, она сырая, из прижи торчит бахрома розового хряща.

– Этап пришел однако! – вдруг замечает Петька, случайно взглянув на ворота. – Женский! Сейчас и к нам повалит пополнение! Ну, пошли, мужик, шевелись! А знаете, доктор, кто это? Один жид с распреда, Финкель. Год назад был там старшим учетчиком, поняли? А на воле работал доцентом, вот как! Большой был человек, а у нас дошел... Ну, пошел в барак, жид, кидай кость, а то налетим на опера Долинского, так он тебе с хода сунет трое суток. Пошли!

5

У большого двухэтажного здания больницы № 3 для obsługi и ослабленных, где на первом этаже помещается клуб,

стоят наши артисты – расходятся к обеду с репетиции. Мне издали машут руками.

– Доктор, идите сюда! Есть свежий «Огонек»! Интересные снимки! Угощаем!

Я показываю на морг.

– Некогда, спасибо! Спешу туда. Кто со мной? Приглашаю!

В ответ невеселый смех.

– Рано. Спешить некуда!

Одна из девушек, студентка, за малый рост прозванная «Малышкой», берет у Николая Кузнецова, тоже московского студента и своего лагерного мужа, гитару с огромным красным бантом на грифе, делает несколько бравурных аккордов и поет:

Итак, да здравствует чума!

Нас не страшит могилы тьма,

Нас не смутит ее призванье...

Делает зазорное движение плечами, смеется и вдруг начинает хныкать:

– До чего есть хочется! Лучше чума, чем голод! Мама, я есть хочу! – Она садится на ступеньки и прячет лицо в пальцах рук. Осенняя погода неустойчива: с утра было безоблачно и тепло, а вот к обеду набежали тучки и веселые солнечные пятна побежали по траве и березкам в перегонки с тенью. Но всем становится скучно. Плачущую трогают за плечи.

– Ладно, Малышка, брось...

– Малышка, здесь не только голод, но и пир! – кричу я, готовясь зайти за угол. – Выше носик! Поздравляю: вы бессмертны!

И Малышка улыбается сквозь слезы:

– Меняю бессмертие на пирог с мясом, яйцом и луком! Приходите танцевать! Эх, черт, да здравствует чума! Ура-а-а!

«Быстрая смена настроений – хороший симптом! – думаю я, входя в морг. – Это – голодное возбуждение коры мозга. Пока оно есть, Малышка не у черты, она еще таировская, не моя...»

Морг приветливо манит подчеркнутой, почти кокетливой чистотой. Еще бы! Ведь здесь санитаром работает Коля по кличке Медведь: он плечист, широкоплеч, косолап. Глаза маленькие, взгляд исподлобья, лоб низкий, в глубоких морщинах. Перед финской кампанией его призвали в армию, но он изловчился и удрал домой, в глухую рязанскую деревеньку. Получил десятку за дезертирство и этим спас жизнь и как бытовик обеспечил себе тепленькое местечко в лагерной

иерархии. Живет с Галькой, личной служанкой царицы Тамары. Официально Галька числится санитаркой амбулатории, но в действительности последнюю убирают по наряду мои инвалиды. Спит эта пара в приемной на полу у печки. Ревнивый Медведь каждый вечер сопя и ворча привязывает свою супругу за ногу к ручке печной дверцы, но Галька ночью отвязывается и **гуляет** в мужских бараках, откуда перед рассветом возвращается с богатой добычей – луковицей, ломтиком хлеба или домашними сухарями, а то и с кусочком вареной свинины, украденной на бойне. Женщины составляют всего двадцать процентов наличного состава, они в спросе и все с кем-нибудь сожительствуют: иначе нельзя – забьет нарядчик, затравят хулиганы, обделят повара, задавит голод и, что превыше всего – загонит в гроб тоска. В жизни, где женщины от подъема до отбоя слышат только похабщину и угрозы и видят несправедливость, беспорядок, своеволие и насилие, единственный выход – соительство, и этой возможностью здесь пользуются все, кто может: недаром упитанность мужских бригад понижена или резко понижена, а женских всегда удовлетворительная или хорошая. Исключения не в счет – это или дряхлые старушки или религиозные фанатички. Галька не так хороша собой, чтобы понравиться повару, но и не так дурна, чтобы связаться с работягой: как-никак она – служанка всеми ненавидимой Тамары, она ее наперсница в темных делах, а Коля-Медведь любит называть себя зав моргом и метит на титул **дяди**. Утром Галька потуже затягивала себе ногу веревкой, будила своего дядю и засыпала, а Медведь вставал и готовил для обоих добавочную еду на весь день, дивясь, откуда это у Гальки в мешочке опять появилась какая-то снедь. Он приписывал это тайной торговле медикаментами и кабинкой Тамары. Торговля и тем, и другим процветала: наркотики покупали богатые паханы, а кабинкой за мзду пользовался начальник режима и кое-кто из надзирателей для соительства с новенькими девочками с этапа. Но делиться доходами Тамара не любила, считая, что место ее служанки уже само по себе является в лагере **блатной работенкой**. Словом, супруги жили счастливо, и Медведь выходил на работу, неплохо подзаправившись.

Есть люди-однолюбы – они топчутся по жизненным дорогам в поисках предмета своей любви и счастливы, когда в конце-концов его находят. Я знал гальюнщика на «Рионе», маленького паршивого мужичка со страстной тягой к идеалу. Он в молодости подался в монастырские послушники, но ра-

зочаровался, поступил в полицию, но увидел, что и это не то, и, наконец, нашел себя: стал ассенизатором. Это был влюбленный в свое дело тонкий специалист и знаток, так сказать, артист божьей милостью, и его уборная всегда своей чистотой напоминала алтарь. Ее хозяин работал, ел и отдыхал лишь там и только спать уходил в кубрик – боялся боцманских кулаков. Таков был и Медведь: морг для него был его восхитительным царством упоения и любви. Гоголевский Акакий Акакиевич на службе наслаждался чудесным духовным общением с буквами, а Медведь обожал морг и человеческие трупы, и мог от подъема до отбоя внутренне общаться с ним. Без всякой на то нужды он ежедневно горячей водой мыл стены, пол и мебель, а для этого с любовью переносил трупы то к печке, то к окну, то в переднюю. Тщательно и аккуратно он раскладывал их по росту, они у него не валялись, а красовались, как мясо на прилавке. Целый день Медведь разговаривал с ними, любовно бормоча себе под нос: «Ты, Долговязый, ложись сюда!» Или: «А ты, божья старушка, можешь подвинуться отсель к окну, не велика птица!» С трупами он обращался по-приятельски, но не фамильярно, а так, в меру, «чтоб они все чувствовали, хто здесь есть начальник».

По положению я был обязан вскрывать всех больных, умерших без диагноза или пролежавших в больнице менее трех суток. В спорных и интересных случаях вскрывал я сам в присутствии всех вольных и заключенных врачей, но вскрытие моих дохликов никого не интересовало: Медведь, важно насупившись, мастерски разрезал им мягкие ткани на груди и животе и затем аккуратно и красиво зашивал снова, вешал на ногу бирку с номером, датой и **данными**, а я тут же за столиком, наспех и не думая, строчил акт. Текст повторялся из одного акта в другой без изменения. Он мне не забудется до смерти... «Наружный осмотр: питание резко пониженное, слизистые бледны, кожные покровы сероватого цвета, истонченные, сухие, шероховатые. Анус воронкообразно зияет. Наружные половые органы гипертрофированы. Внутреннее исследование: подкожная жировая клетчатка отсутствует. Легкие: в верхних долях викарная эмфизема, в нижних – застойные явления с участками соединительнотканного перерождения. Сердце: малого размера, дряблое, на разрезе ткань тусклая, бурой окраски, с беловатыми точками и полосками соединительнотканного перерождения. Печень: небольшого размера, дряблая, на разрезе паренхима бурая, тусклая. Желудок: без изменений. Кишечник: внутренняя поверхность

тонкого кишечника патологически измененная, гладкая, глянцевитая, без ворсинок. Остальные органы без патологических изменений». И все: так выглядела в сорок втором году путевка в смерть, написанная на линованном листке ученической тетради... Я строчил их сотня за сотней, покачиваясь от голода и думая о своем романе или о еде. Трупы хоронились голыми – снятое с умерших тряпье стиралось, чинилось и опять шло в дело. Иссохшие или раздутые от отеков трупы казались похожими друг на друга тем, что они были мало подобны людям – серые, бесполое, без признаков возраста и чего-то характерного, говорившего об умершем как о личности. Мне они казались исковерканными голодом остатками существ, которые лишь по документам числились людьми, мужчинами или женщинами и имели возраст.

На вскрытии особо примечательным был мозг. Он выглядел обезвоженным, уменьшенным по размерам, серым, тусклым, будто несвежим. На секционном столике он расплывался вширь и очень напоминал большую сырую лепешку из некачественной муки. Это был потерявший работоспособность человеческий орган, по своей интеллектуальной продуктивности не превышавший мозг животного, и жалко, что у нас не было условий и оборудования для гистологического, химического и другого исследования такого богатейшего материала, и научный труд, который обобщил бы найденные результаты, никто из нас написать не мог. Вскрывши череп, я и Коля-Медведь молча и долго стояли над серой плоской лепешкой.

– Неужто и у меня вот такой мозг? – спрашивал Коля, ловко сгребая лопаточкой зыбкую массу в чашку черепной коробки. – Чтой-то не верится, доктор!

– И правильно, что не верится. У тебя, Коля, мозг упругий, розовый, стоит высоко, блестящий, я бы сказал – аппетитный.

– Хе! Похож на хорошую котлету?

– Точно: на котлету.

Коля облизывает губы; думает и потом говорит:

– А жрать-то как хочется! Страсть. Одначе время идет, замечаете по этой полоске солнечного света на окне? Скоро ударят на обед. Еще хорошо, что солнце по небу ползает, а то без него начальники нас и вовсе заморили бы!

В дверях посыльный.

– Доктор, умойтесь и к нарядчику! побыстрее! Там начальник режима раздает посылки вашим инвалидам.

Из бани я пересекаю наш пышный цветник и являюсь в домик нарядчика. В кабинке стоит лейтенант Фуркулица с

трубкой в зубах и не спеша осматривает продукты, которые один самоохранник вынимает из вскрытых посылок. Двое других сторожат дверь. Здесь же переминается с ноги на ногу небольшая очередь инвалидов; работяги получают посылки вечером, когда вернутся с работы и поужинают, и присутствовать будет Тэра. При виде жалкой снеди присутствие делают судорожное глотательное движение.

– Иванов, получай!

– Спасибо, гражданин начальник! – кланяется трясущийся от нетерпения старик.

Лейтенант сыплет в подол рваного бушлата ржаные сухари. Один падает на пол и звенит, как металл.

– Размочишь в сладком чае и сухарики полезут в горло, аж запищать, – умильно осклабясь, сипит косой самоохранник. – Дай, папаша, я тебе посылочку донесу до самого барака! Оно безопасней, понял?

Старик мнетяся в мучительной нерешительности. За услугу бандит сдерет половину, а не дать же нельзя – в зоне налетит шакалье из малолеток, вырвет все и расхватает до крошки... Деться некуда! Надо соглашаться... Только банку с тушенкой старик любовно сует за пазуху.

– Ладно уж... Что поделаешь... Идем, что ли!

– А папиросы? – напоминает Фуркулица.

– Закурите сами, гражданин начальник! На здоровье!

– Спасибо, Иванов. Идите!

Счастливец медленно ковыляет к двери. «Половину сухарей отберет самоохранник, а в бараке накинута Петька и соседи по нарам, – соображает он с тоской. – Что же останется? Гм... Как откупорить и сожрать тушенку, чтобы никто не видел? Ночью? В уборной? Но чем открыть? А если налетит Мишка Удалой?!»

– Эх, спаси господи и помилуй! – в сердцах бормочет старик и медленно закрывает за собой дверь.

Фуркулица с чувством закуривает: таких папирос в Суслово не достать.

– Сейчас счастливец устроит себе чаек, а, доктор?

– Сейчас будет обед, гражданин начальник. Если полученную еду у него не растащат, то он после обеда съест все сразу – и сухари, и тушенку: то, что не съедено, то не его, желудок единственно надежное место хранения. Потом, возможно, он умрет.

– Как так?!

– Просто: сердце не выдержит нагрузки. Эти посылки – меткие выстрелы родственников, они часто бьют счастлив-

цев наповал. Чем сытнее посылка и чем удачнее получатель сумеет уберечь присланное, тем опаснее для него. Съест сразу больничный обед, кашу, хлеб, котлетку и еще восемь килограммов домашней еды – это много для здорового, а ведь они еле живы.

Фуркулица хохочет.

– Еще бы! Он умрет от разрыва кишок?

– Нет. Съест, ляжет на койку, обязательно укроется с головой, унесется в мир счастливых грез о еде и... умрет от остановки сердца.

– Да не может быть! Вот интересно! А что бывает в рабочих бараках?

– Там лучше: люди здоровее, сердца могут справиться с внезапной перегрузкой. Да и кулаки крепче, не нужно пожирать все сразу.

– Вы получаете посылки, доктор?

– Нет. Вы же сами это знаете, гражданин начальник. Моя семья вымерла. Разрешите идти?

Обед.

Опять в полутьме выстроились неясно различимые хвосты людей, опять дядя Вася, одев халат и очки, священнодействует у бочек.

С больничной кухни дают пищу больше нормы порций на шесть – семь. Добавки получает вся обслуга – и больные, получающие больничное, и мы: я, Буся, дядя Вася и Петька, получающие общее. Это приказ начальника и лагерный обычай.

Расторопный Петька уже принес с лагерной кухни мой котелок с вонючей баландой и кашей с песком и камнями. Иногда зав кухней может сунуть туда морковный пирожок или кусочек мяса: это премиальное. Такие добавки получают ударники, но и порции премиального питания делают сверх положенного количества за счет недовеса. За все это надо платить, незаконный добавок – это острейший крючок, на который повар ловит нужных ему людей: зав баней платит мылом и бельем, зав каптеркой – телогрейкой или валенками, врач – освобождением от работы, наркотиками или инъекциями, якобы, придающим мужчине потенцию. А мыло, белье, телогрейка или лекарства пойдут в оборот дальше, – в обмен на водку или другие блага или уплывут за зону: так блатной товарооборот между **дядями** смыкается с нелегальной торговлей через вахту. Таким же путем сбывается все добро, украденное или награбленное в зоне. Это характерная особенность

лагерной жизни. Не будь такого рода смычки, не было бы в зоне грабежей, воровства и убийств – некуда было бы сбывать добычу. Характерно положение и с лекарствами. Лагерный дядя без труда может набрать себе целый гарем «жен», но он ему мало полезен: по количеству дядя ест больше, но по качеству – вряд ли. И приходится ему идти на поклон к врачам за стрихнином или пантокрином. А бывает, что дядя подхватит венерическую болезнь. Тогда ему беда – он попадает в когти Тамары Рачковой и на новую жену пирожков ему уже не хватит – дородная Тамара любит покушать!

После обеда плита топится вовсю, потому что нужна горячая вода для мойки посуды. Это время, когда инвалиды, сумевшие украсть в кухонной корнечистке или на помойке горсть картофельных очисток, пекут из них котлетки. Очистки хорошо вымыты и размельчены, котлеты выглядят очень аппетитно – аккуратные, золотистые, хорошо пахнут. Но они сильно горчат, и есть их приятно только глазами и носом. Тут же тушатся в соленой юшке супа листья лопуха, запекаются в золе купленные у кухонных дроворубов картофелины, варится украденная вика или овес, в чьем-то котелке булькает подозрительная требуха с помойки. Около плитки оживление – эти выздоравливающие уже не умрут, они перебороли понос, отеки и смерть. В них вновь загорелся бойкий огонек жизни.

Вокруг поваров кипит торговля – место около плиты еще и барачный рынок. Теплые котлетки меняются на обгорелую картошку, требуха на вику, овес на махорку. Обсуждается питательная ценность каждого продукта, содержание в нем витаминов и минеральных солей. Старые опытные шакалы сыпят терминами как всамделишные специалисты. Однако настоящего знатока к плитке не пускают – это известный диетолог, кандидат наук из Московского института питания. Он все знает, но его уже ловили и били за воровство – заморочит голову учеными словами и стянет с плиты румяную котлетку!

Старик с оторванной штаниной (она пошла на два теплых чулка, а чулки выменяны на табак) оживленно рассказывает:

– Долинский такой невыразимый гад: к штабу подъехал на двуколочке начальник Сидоренко, подвесил к морде лошади торбу с викой и овсом и пошел в бухгалтерию. Мы стерегли за углом. Он в дверь – мы к торбе. И тут из дверей опер! И начал сладчайшим голосом: «Нехорошо, заключенные! Стыдно обижать бессловесное животное! Оно наш друг!» Несет эту околесицу, а мы стоим без шапок, руки по швам и думаем: «По трое суток мы уже, считай, заработали, а вот вопрос – дога-

дается ли он отобрать вику?» И только это он начал вроде закругляться: «За отсутствие гуманности и несознательное отношение к животным я должен всех вас...» Как вдруг начальник открыл окно и поманил его: «Зайдите, Анатолий Эдуардович, по срочному делу!» Ловко получилось, а? Просто здорово! Долинский едва затворил дверь, как мы двинули врассыпную – чисто воробы! Я, братцы, две горсти вики и овса налушил!

6

Наскоро съедена баланда и каша. Началась вторая половина обычного, голодного, бесконечно длинного дня. Надо поторапливаться. Песок проглочен, камни выплюнуты в котелок – их общий вес соответствует весу украденной поварами крупы. С чувством, на закуску, съедена миска больничного супа. На десерт я медленно прожевываю ломтик хлеба. Он весит двести грамм, но по виду он кажется крохотным: в нем сорок процентов воды, сорок процентов крупноразмолотого гороха, вики и овса и двадцать процентов ржаной муки, списанной свиньям из-за примеси полыни. Эта мука украдена начальником снабжения у свиней, которые получили взамен мороженную картошку, а хорошую картошку начальник украл у нас, заменив ее свиной горькой мукой. Ломтик по виду и плотности напоминает плитку столярного клея: такое тесто не выпекается, а спекается, и по запаху напоминает сырую глину, а по вкусу – полынь. И все-таки это **хлеб** и я с благоговением жую мерзкую массу и получаю острейшее наслаждение, потому что это чувство управляется не разумом, а большой психикой. После обеда выкуриваю половину настоящей папиросы. Они время от времени попадают в мои руки потому, что я делаю карандашные портреты не только заключенным, но и вольным: на мое счастье в вольном городке нет фотографа. Портреты рисовать нетрудно: едва я берусь за карандаш и начинаю напряженно искать в лице заказчика присущие ему индивидуальные черты, как он говорит:

– Не делайте меня стриженным – я на воле носил длинный волос. И чтоб не был худой – жена меня помнит другим, тогда я был помордастей! Сделайте усы: я ведь жил на Кавказе. И оденьте шляпу: в тридцать седьмом я у одного моряка купил в Батуми импортную шляпу!

Я удовлетворял все просьбы и тщательно отрисовывал шляпы, усы, волосы и прочее, все, чего не видел, и когда на бумаге появлялся мордастый и уса́тый молодой незнакомец,

то у истощенного, стриженного и бритого лагерника проступали слезы умиления, и я получал свою честно заработанную мзду: полпайки хлеба или пяток папирос, или пару луковиц, или ломоть сала. Один пожилой лагерник заказал мне нарисовать руки молодого подростка – они напоминали ему руки обожаемой жены, а потом он вшил «портрет» себе в гимнастерку на груди... Что делать?... Грустно, конечно, но я послушно рисовал все, что хотели от меня, и этим немного подрабатывал: такие добавки к еде отнюдь не отягощали мой желудок, но все-таки существенно скрашивали жизнь. Вольным девчонкам из штаба я из амбулаторной мази и лабораторных красок делал румяна и алую губную помаду. Сначала выходило плохо, потом ничего, наловчился... Однако, как врач я понимал, что такие приработки не вознаграждают потери сил при работе от подъема до отбоя, и замечал, что медленно и неизбежно иду к гибели. Я еще работал, но уже видел у себя роковые признаки голодной дистрофии. Конечно, у меня истощение нарастает медленнее, чем у работяг, но все же оно нарастает. Эх, если бы добавить к питанию хотя бы тыщонку калорий в день, если бы съедать столько белковой пищи, сколько Мишка Удалой, скажем, по две-три котлетки и пару стаканов молока в день, – то все было бы в порядке. Но где взять эти белковые и общие калории? Как добыть один стакан разбавленного водой молока и одну котлетку, в которой мясо добавлено в основном для запаха? Мишке с кухни повар, с ведома Долинского, посылает миску котлет и кувшин молока, но ведь Мишка не только опричник, но и любимец... Сколько протянется война? Наши уже под Харьковом... До границы еще далеко... Дотяну? Вряд ли: похороню еще тысячу работяг и в следующем году сам попаду в ласковые лапы Коли-Медведя...

Так думал я, проходя мимо амбулатории и ветеринарной санэпидстанции в медсанчасть.

На крылечке стоит сторожиха тетя Паня. Она по-бабьи подперла рукой щеку склоненной набок головы в чистенькой косыночке, приветливо улыбается и ждет, пока я подойду ближе.

– А вот и наш милый доктор идет! Зайдите! У меня сегодня особый случай: настоящий чай! – тетя Паня говорит нараспев и лукаво щурит лучистые глаза. Лицо у этой тридцатипятилетней женщины обезображено малиновым бугристым пятном, но голубые глаза хороши – всегда ласковые и человеческие, а ведь как мало в лагере ласковых и человеческих глаз! – Сегодня один стрелочек забежал за ватой для семьи, так я

вату выпросила у вольной аптекарши и пульнула ему, а он за это мне насыпал чайку и сахару! Пейте, доктор, не стесняйтесь – жизнь у нас у всех короткая. Чего уж там, пейте!

Из передней мы входим в узкий коридорчик и сворачиваем в крохотную комнатку, почти целиком занятую плитой. На ней всегда греется чайник воды – в Сибири в любое время года приятно опрокинуть кружку кипятка, а если в кармане завалялся и кусочек сахару, то еще и сладкого, а он в лагере – лакомство. Чистенькая коечка сторожихи приютилась за печкой, вдоль стены, завешанной новенькой больничной простыней вместо ковра. По верхнему ее краю – ряд фотографий: мальчика от рождения до примерно восьми лет: и на круглой подушечке ножками вверх, и за детским столиком перед мисочкой молочной каши, и на трехколесном велосипеде, и с первыми книжками и тетрадями в руках. Несколько снимков, в которых уложилась вся короткая и нехитрая детская жизнь! И все же не хватает одной. Последней. Никем не снятой...

При взгляде на фотографии лицо доброй женщины с малиновым пятном и лучистыми глазами становится особенно привлекательным: уж такова извечная материнская любовь, которая освещает лицо изнутри и делает его неизменно прекрасным!

Отец маленького Вовочки погиб на финском фронте, и молодая вдова позднее нашла себе подходящего мужичка, когда началась Отечественная и из госпиталей повалили отработанные войной защитники родины. Но мужичок не захотел расписаться и переехать насовсем – Вовка мешают: как любовь крутить в каморке, где может поместиться только одна кровать? Тогда мама смешала в обеденной эмалированной кастрюле литр керосина и литр бензина, облила спящего сыночка и подожгла. Постель и кастрюля уличили преступницу, да и Вовочка перед смертью успел дать показания. Детоубийца – не контрик, мягкосердечные судьи подвесили тете Пане петушок, а гуманное лагерное начальство устроило ее на теплое местечко и дало бесконвойку.

Для врача это был любопытный случай психического дефекта: зверь-убийца и добрая мать в душе этой женщины мирно жили рядом, так что она могла каждый день с улыбкой смотреть на портреты своей жертвы. Услужливой была эта женщина, что и говорить: в тот день я насладился не столько сладким заваренным чаем, сколько **идеей** чая, – она для лагерника превращает в **настоящий** чай мутную сладковатую

воду, пахнущую веником: в жизни прежде всего нужна идея, будет она, тогда приложится и все другое.

Со времени Норильска я записывал рассказы интересных заключенных о себе с приложением тщательно выполненного портрета. В эту тетрадь попали многие персонажи, упоминаемые в этих воспоминаниях: под номером двенадцатым у меня прошел Пашка Гурин, тринадцатым – Владимир Александрович, двадцать пятым – шестым – графиня Марго с мамой и Симка-Жаба, а вот под номером сорок вторым – тетя Паня с лучезарными глазами. К моменту отъезда из Суслово у меня образовалась коллекция из пятидесяти биографий, записанных со слов самих героев и в их собственной манере выражаться. Эту пухлую тетрадь я доверил вольному врачу З.Н. Носовой, которая вынесла ее из зоны, но после моего вызова в Москву исчезла из поля зрения. А жаль! Это был любопытный человеческий материал...

Выпив кружку чая, я прошел в канцелярию и сейчас же погрузился в статистику – на моей обязанности лежала отчетность, – и я запомнил некоторые цифры, хотя все это случилось в сорок втором году, четверть века назад. Это неудивительно: я **хотел** их запомнить, я считал себя обязанным донести их в памяти до времени, когда смогу изложить на бумаге свои свидетельские показания. Пусть советские люди когда-нибудь прочтут их и будут дивиться условиям нашей лагерной жизни, пусть они не пожалеют нас, но будут гордиться нами: сталинский контрик – это звучит гордо! Я запомнил, что в течение сорок второго года в зоне, где помещалась тысяча человек, ежедневно умирали один-два человека из числа ослабленных белковым недоеданием, но бывали дни, когда умирало до пятнадцати, а всего за год – около тысячи, т.е. лагерь вымер бы, если бы не было этапов.

Запомнилась цифра восемьсот двадцать – количество умерших за три первые квартала того года. И все-таки лагерь был оздоровительным и кое-как выполнял свое назначение: он принимал ослабевших шахтеров и производственных рабочих и восстанавливал их силы работой на полях и в свинарниках. Люди, прибывшие с рабочей категорией «инвалид», уходили как работяги второй, а то и первой категории (средний и тяжелый труд). Состав этапников в зоне менялся два-три раза в год, так что за это время лагпункт восстанавливал трудоспособность примерно у 2500–3000 человек; в усушку-утруску в сорок втором году ушла тысяча человек, в следующем – немного меньше, а потом общее состояние здоровья

населения страны и лагерных контингентов улучшилось, люди с воли попадали в заключение более работоспособными и легче переносили улучшавшийся из года в год режим, так что эта цифра стопроцентного вымирания была и осталась наиболее высокой за все время моего пребывания в лагерях. Сколько бы ни грабили начальники и сколько бы ни воровали лагерные **дяди**, все равно кое-что из питания до работяг доходило, а уж чудесный воздух, солнце и здоровая работа выдавались без ограничения и делали свое дело: Сибирь – это чудесный край!

Составление списков – канительное дело: рядом с фамилией заключенного надо обязательно выписывать все его **данные** – статью, срок и т.д. Я пыхтел, торопился и все думал – «не опоздать бы в клуб» и «черт бы побрал пир во время чумы», потому что на этот вечер мы заготовили маленькую шутку начальникам режима и КВЧ. А посему, закончив список умерших и приложив к нему справку Коли Медведя о количестве постояльцев в его гостинице на сегодняшний день, а также заполнив заявку начальнику лагпункта на вывод бригады для копания могил и захоронения трупов, я зашел в баню сполоснуться перед приятным вечером, а главное – прожарить свои вещи: прожарка полностью устраняла трупный запах, который приобретала моя одежда.

7

В бараке меня ждали поэты, члены моего кружка. Щеглов в молодости был типографским наборщиком, потом стал партийным работником и дипломатом – мы познакомились в Праге, где оба работали в Полпредстве. Заключение подарило ему еще одну специальность: поэта-переводчика. Катя Владимирова перед войной работала учительницей, и во время немецкого наступления на Москву в ее школе остановился штаб. Гитлеровцы прожили в школе недели две, много работали, вечерами пили водку и заставляли учительницу печь им настоящие русские пирожки и варить русский борщ. Когда их выбили, Катя за измену родине получила десятку и была доставлена в Мариинское отделение Сиблага, откуда вместе со мной, Мишкой Удалым и другими штрафниками пешком дошла до первого отделения в Суслово. Здесь мало-помалу у нас спаялась прочная группа писателей, поэтов и художников, связавшаяся с подобными группами на других лагпунктах. Это не было трудно потому, что все мы состояли в культбригадах, которые периодически обходили все лагпункты для

показа своих новых программ, а, главное, все лагпункты регулярно посещались центральной культбригадой из Мариинска, которая, во-первых, сама состояла из наиболее квалифицированных любителей искусства, а во-вторых, являлась прочным связующим звеном между группами и группками.

В описываемое время у нас с воодушевлением работали два «поэта» – деревенская учительница Катя Владимирова и московский студент-технолог Николай Кузнецов, один «прозаик» – я, один «поэт-переводчик» – Щеглов и «художник» – бывший студент Московского архитектурного института Борис Григорьев. Это было постоянное ядро: мы дружно помогали друг другу жить и творить, чтобы не попасть в плен мешочкам, паечкам и котелочкам.

Вокруг нашей группы теснились другие любители искусства и просто культурные люди – инженеры, военные, врачи, – все вместе мы составляли невидимый начальству второй клуб в зоне, дополнявший клуб Культурно-Воспитательной Части и пользовавшийся помещением последнего и некоторыми послаблениями режима, позволявшимися работникам бригады. В последнюю входило также несколько уголовников и бытовиков, желавших выступать на сцене в качестве актеров, певцов, музыкантов и танцоров. Они не мешали нам, напротив, – их присутствие делало законным существование нашей группы контриков или, лучше сказать, делало ее незаметной для начальства. Мы это понимали и всеми силами старались поддерживать наилучшие отношения с ворами-актерами, растратчиками-певцами и хулиганами-танцорами. Несколько осложняло дело то обстоятельство, что сочувствующие нам контрики и работавшие рядом уголовники и бытовики постоянно менялись – первые большей частью умирали от истощения, вторые – конфликтовали с начальством и попадали в этап. Но наша группа держалась крепко – она просуществовала от 1942 до 1947 года; мы только старались вовремя находить замену выбывшим и не допустить распада бригады. Никакой общей особой политической платформы у нас и в подобных группах на других лагпунктах не было и быть не могло, потому что все мы были простыми советскими людьми, с обычным советским мировоззрением – все горой за идею, но все против методов ее воплощения в жизнь, против расхождения между словами и делами.

Никто из нас не считал себя **пятой колонной**, все полагали, что Сталин и его подручные напрасно присваивают себе монопольное право толкования Маркса и Ленина и антиста-

линские настроения шельмуют как антисоветские и контрреволюционные. Это нам казалось сознательным обманом народа, трусливым жульничеством или отговоркой, прикрывавшей грубую борьбу за власть. Даже сталинский режим мы понимали как неизбежный исторический этап и могли бы поэтому спокойно воспринять ссылку и работали бы на совесть и с пользой для страны в любом глухом углу: ведь всякий наш труд идет на пользу Родине, и Сибирь – наша русская земля. Но проволочный загон с ориентацией командования на урок и физическое истребление честных советских людей через суд мы принять спокойно не могли и не хотели: это и было первопричиной нашей драмы, и чтобы не потерять в себе человеческое, мы занялись тем, о чем никогда и не помышляли на воле – разведчик стал писать рассказы, учительница и студент – стихи, дипломат – переводы, архитектор – политические карикатуры.

В беспросветной тьме лагерной жизни было легко заблудиться, но мы верили, что выход есть. Однако до него нужно дожить, и к выходу из загона могла привести только путеводная нить. Мы искали ее и нашли: это – шелковая нить творчества. Полуживые от голода, у самого края могилы мы нашли в себе силы поднять конец этой нити. Творчество стало для нас приютом и защитой. «Силы не в баланде, а во внутреннем горении, – повторяли мы друг другу. – Нужно занять себя, и тогда мы выстоим наперекор всему. Через творчество – к победе над голодом и к свободе!»

Я оказался старшим по возрасту (кроме Щеглова) и самым богатым по жизненному опыту. Самым цепким! Может быть, тут сказалась закалка, а может быть, и врожденное жизнелюбие и жизнерадостность. Поэтому так получилось, что именно я стал центральной фигурой нашей группы, ее движущей пружиной. Ежедневно и неумолимо я повторял товарищам слова бодрости и надежды, подстрекал их к творчеству, подсказывал темы, устраивал читки и обсуждения, вселял уверенность в своих творческих силах и тем самым не давал свалиться в кровавое месиво лагерного быта.

Помимо моральной стойкости на моей стороне были организационные и материальные преимущества – отдельная кабинка, возможность поместить в больничный барак на лечение или дать освобождение от работы на день-два, замолвить словечко начальству, спасти от этапа, перевести с тяжелой работы на более легкую. Поэтому к началу голода и массовой смертности от истощения, то есть в самый страш-

ный период моей и общей лагерной жизни, мы оказались стоящими рядом, крепко связанными друг с другом и с Жизнью одной шелковой нитью.

В кабинке закрывать дверь нельзя: кто-нибудь из дневальных обязательно работает стукачом у Долинского. Поэтому мы трое уселись поближе к окну, закурили и завели не громкий, но и не тихий разговор.

– Новость! – оживленно заговорили Катя. – С сегодняшним этапом прибыла молодая девка. Гадина, каких мало: подговорила своего родного отца сожительствовать с ней, а когда родился ребенок, то убедила его задушить крошку. Сидит за кровосмешение и детоубийство. Дрянь, конечно, но в девке что-то есть. И даже очень. Много обаяния. Вроде как у красивого животного. Кажется очень невинной. Экземпляр для вашей тетради, доктор.

– Да нам-то что от этой гиены?

– Фуркулица как увидел ее, так и трубку выронил изо рта. Засмотрелся. Вы не поняли, у нее наружность совсем не гиены, а скорее лани или серны. Фуркулица уже обещал вызвать ее на допрос! Тамара заработает на кабинке, а мы – на декламации стихов. Я предлагаю заменить этой девкой нашу Малышку. Малышка – мямля. Она заморит всех Некрасовым. Девку зовут Женей Зориной, блатная кличка – Грязнулька. Она прочтет...

– Блатные стихи? Не пойдет, Катя.

– Что вы! У нее готово замечательное стихотворение Эренбурга. А он сейчас в моде – истинно русский человек и советский патриот на все сто. Стихотворение заденет каждого культурного лагерника! Верьте! А за Грязнулькой проскочу и я – буду читать свое собственное. Фуркулица уже расписался на листке с текстом, где я поставила: «А.С. Пушкин. Перевод с греческого». Посмотрел, сделал интеллигентное лицо и кивнул головой.

Мы рассмеялись.

– Пройдет, доктор, как у вас прошлый раз с Горьким! Я иду. Пришлю девку. Надо познакомиться.

В прошлый раз я читал сначала Буревестника, а потом монтаж из моего рассказа о Норильске под названием «Дуй же, ветер, в лицо!». Кусок ритмической прозы гладко сошел за горьковский.

– Так собирайтесь, Дмитрий Александрович!

– Сейчас раздадим ужин, и я иду!

Щеглов после ее ухода показал свои фанерки.

– Вот перевод верлэновской вещи «В пансионе», а это – из Гете. Вышло не очень коряво, а? Я старался как можно меньше всунуть отсебятины. Очевидно в этом единственное достоинство моих переводов. Перепишите и верните фанерки – у них очень удобная поверхность, гладкая, как бумага. Это вам для африканского романа? Ладно, хорошо. Ну, я иду.

И хромой Щеглов заковылял к дяде Васе – он во время раздачи еды отмечал фамилии получивших на большом фанерном листе. Дело это было отнюдь не легким – в бараке темно, двести неясно нацарапанных фамилий сливаются, а половина больших норовит смошенничать и получить еду второй раз. По лагерному священному обычаю в таких случаях сумрачный дядя Вася бил мошенника по лбу мокрым черпаком, и бил крепко, иногда до крови, но это никого не устраивало – зажуленной еды не вернешь: пока ловкача бьют, он уже съедает лишнюю порцию.

Но я не сажусь ужинать. Я знаю, какая работа мне предстоит, и жду.

– Доктор, бригады с работы на ужин возвращаются, идите к маме Тэре! – кричит в окно Петька.

Этого я и ждал.

Эта шестая книга моих воспоминаний целиком посвящена 1-му лагпункту при станции Суслово. Он же упоминается в седьмой и в десятой книгах. Поэтому надо дать общее представление о месте действия, чтобы читатель яснее понимал ход событий.

Лагпункт представлял собой прямоугольник, как бы сложенный из двух квадратов; протяжённость длинной стороны – почти километр. На языке начальства и заключённых пространство, огороженное высоким дощатым забором с отстоящими друг от друга шагов на сто вышками и двумя огневыми дорожками – внешней и внутренней, называется зоной.

Зона поперечным забором из колючей проволоки разделена на две половины: рабочую и больничную с БУРом. Со стороны станции, откуда долетают паровозные гудки, а по ночам и стук колес идущего мимо поезда, к зоне проложена дорога, заканчивающаяся нашими воротами. Поверх них на столбах прибита окрашенная в красный цвет доска с белой надписью: «Только через честный труд з/к, з/к могут войти в семью трудящихся». Та же мысль, но в более чеканной форме красовалась и над входом в гитлеровские лагеря – «Труд делает свободным».

Надо полагать, что мысль украсить места страдания и смерти столь лживым лозунгом Гитлер позаимствовал у Сталина в порядке обмена на титул **вождь**. Придуманный первым европейским диктатором, португальским генералом Кармоной, этот титул по очереди обошёл всех самозванцев нашего времени, причём каждый захватчик власти переводил его на свой язык: после каудильо появился дуче Муссолини, фюрер Гитлер, каудильо Франко и, наконец, вождь Сталин. Он от Николая II заимствовал двубортную тужурку с отложным воротником и петлицами и придуманное царем для все-русской переписи обозначение своего положения – **хозяин** (земли русской), а от фашистского фюрера – титул. Позднее в переводе на испанский язык этот же титул присвоил себе и палач Франко, так что кремлевский вождь-хозяин добровольно причислил себя к весьма живописной компании. Попытки Н.С. Хрущева построить свой собственный культ окончились неудачей: фильм «Наш дорогой Никита Сергеевич» вызвал смех и претендент в вожди получил кличку кукурузника. На фронте идолопоклонства образовался вакуум, который, по мнению знающих это дело лиц, вреден для народа, а потому в наше время он заполняется назойливым и грубым внедрением культа личности Ленина, хотя это явно подрывает всенародное уважение к нему: ни в чем не повинный Владимир Ильич принижается до уровня, где вместе с Франко пребывает великий кормчий Мао Цзэ-Дун, наикраснейшее из наикраснейших солнц...

Однако возвратимся в Суслово. Под перекладной находились ворота и калитка, а рядом с ними – тёплая сторожка, откуда вахтёр, не поднимаясь с места, мог выдвигать и задвигать обратно тяжёлый железный засов.

Внутри зоны перед воротами был расположен плац для развода рабочих бригад и этапов, а дальше вдоль ограды кольцом тянулись аккуратные дома, а в центре красовался огромный цветник с многочисленными клумбами. На них, как чёрные галки, копошились мои инвалиды под начальством Андреева. Направо стояли два небольших женских барака: чистый – для obsługi и женских рабочих бригад и грязный – для мамок и девушек-малолеток. Дальше выросла в землю большая старая общелагерная кухня, а над ней горделиво высился длинный двухэтажный бревенчатый дом-штаб. Тут в поте лица трудилось сто двадцать агрономов, инженеров, экономистов и бухгалтеров, которые из рук вон плохо обслуживали вместе с полусотней вольняшек, хозяйство, анало-

гичное которому, где-нибудь на Украине до революции не плохо управлявшееся у помещика одним управляющим, одним счетоводом и одним объездчиком.

Перед штабом красовалась берёзовая рощица, а в ней высилось второе двухэтажное здание зоны – больница для обслуживающего персонала № 3. В этом доме помещались больничная прачечная, кабинеты вольных врачей и зал клуба (бывшая лагерная столовая) со сценой и двумя крохотными уборными для артистов. Вдоль другой стороны зоны тянулся одноэтажный барак – хирургическая больница № 2 для заключённых с палатой для вольных. Дальше рядышком стояли домики – канцелярия начальника медсанчасти, морг, баня, ветеринарная, санэпидстанция и амбулатория для рабочих и obsługi. Слева от входа выстроились мужские рабочие бараки, а от последнего из них через всю зону к амбулатории тянулся забор, отделявший рабочую зону от больничной. Против амбулатории виднелась днём охраняемая самоохранником калитка в больничную зону. Там здания тоже теснились к огневой дорожке вдоль заборов, а в центре находилась плантация капусты, картофеля и лука, насаженная моими инвалидами по инициативе мамы Тэры. С той стороны, где в рабочей зоне стояли жилые бараки, тянулась терапевтическая больница № 1 для рабочих с комнаткой для вольных; с противоположной стороны чернел мой старый инвалидный барак.

Вдоль ограды между двумя зонами строился ещё один большой и красивый больничный барак для выздоравливающих и отдыхающих, а с противоположной стороны торчали увитые колючей проволокой столбы, позади которых покоился к земле барак усиленного режима (БУР) – земное отделение преисподней ада. Калитка в БУР имела вахту и вышку и была расположена прямо против маленькой кухни Александра Сергеевича; другая небольшая кухня была рядом с моим баракком, около калитки в рабочую зону. Позади общего ограждения зоны, то есть уже «на воле», находились ШИЗО, или штрафной изолятор, аптека, пекарня, сыроварня, ремонтно-механический завод, автобаза, конобаза, склады вещевые и продуктовые, баня и клуб, и жилье для вольных – казармы охраны и убогие избы, в которых жило начальство с семьями. Тут же под кое-как сколоченными навесами коротали невесёлую жизнь обшарпанные, низкорослые коровенки и дикого вида тощие куры. Горсть этих неряшливых изб величалась вольным городком, который не шёл ни в какое сравнение с нашей зоной, поражавшей своим великолепием – чистотой и

порядком, я бы сказал – нарядностью. Мы, заключённые, мечтали о нескольких избах за забором как о земном рае, а его обитатели и обитательницы с радостью приходили в зону, чтобы отдохнуть и развлечься.

За рощей, позади вольного городка, находился поселок и станция Суслово, дальше во все стороны, куда ни глянь – сибирские дали; холмы и торфяные болота, леса и перелески, могучая река Мара и приземистый пыльный городок Мариинск, над которым гордо высилось красное кирпичное здание тюрьмы. Это была наша столица, предел всех мечтаний и практических расчётов.

Среди лесов и болот, на расстоянии 20–30 километров друг от друга, прятались ещё девять лагпунктов и один распред, подчинённые штабному отделению в Мариинске. Каждый из нас там бывал, каждый хотел бы побывать ещё, это был пуп нашего мира. Таких отделений было пять, и все они составляли лагерное государство, именуемое Сиблагом, со стольным градом Новосибирском. Он был уже вне пределов наших мечтаний – в Новосибирске никто из нас не был и о нём никогда не думал. Мы знали, что наше лагерное государство граничит с такими же другими – на западе с Карлагом со столицей в Караганде, а на востоке – с Краслагом со столицей в Красноярске. Оттуда всех нас и этапировали в Сиблаг и Суслово, мы знали об их существовании из практики собственной жизни. Но была и ещё одна столица, куда каждый месяц мы писали заявления о пересмотре своих дел, – Москва. Однако, достоверность её наличия в этом мире ничем фактически не доказывалась, её мы не помнили и интуитивно ощущали, что свои заявления направляем на тот свет, тем более, что эта мифическая Москва всегда и неизбежно отвечала только отказом, который, кстати говоря, нам сообщался из вполне конкретных мест – из Новосибирска через Мариинск. Но если Москва не существовала как реальное понятие, то оно жило в нашем сознании как понятие фантастическое, божественное и роковое – именно оттуда на головы лагерников проливался редкий золотой дождь внезапных и ничем не объяснимых освобождений. Конечно, это был не особенно сложный трюк – держать несчастных людей в состоянии постоянного приятно-го возбуждения: «Ведь если сегодня освободили моего соседа, то завтра могут освободить и меня!» – «Писал и, счастливее, заявления в Москву? Ого! И сколько!» И вот каждый выходной весь лагерь погружался в сосредоточенное молчание – все строчили заявления из месяца в месяц, из года в год, из десяти

тилетия в десятилетие. Заявления с каждого лагпункта увозили мешками и грузовиками, а из всего лагеря – поездками. Накладное дело? Нет, не очень. Вozить письма стоило дешевле, чем содержать стрелков, а без золотого дождя из мифической Москвы лагерники давно озверели бы и разнесли в щепы заборы и в ключья малочисленную охрану. Нет, золотой дождь – это была хитро задуманная комедия и трезво рассчитанный обман.

Итак, по Петькиному зову я отправился к маме Тэре. Выставив вперёд живот, засучив рукава, подбоченясь и расставив ноги, она стояла посреди процедурной как усмиритель зверей на арене цирка. Перед ней стояли помойные ведра и тазы, а на столике ожидала высокая бутылка с подогретым растительным маслом: начальник Сидоренко так уважал медицину, что даже в этот страшный год нехватки продовольствия по первому требованию отпускал драгоценное масло для лечебных целей. Заболевших уборщиков урожая самоохранники под руки тащили в больницу прямо от ворот, и полдесятка их уже корчилося и кричало, валяясь на траве у крыльца. Другие от ворот бегом неслись в уборную. В основном это были мои люди, посланные на работу по приказу медсанчасти для укрепления сил и чтобы подкормиться. Но голодный не имеет разума, он ест всё, что может схватить, и столько, сколько успеет проглотить, до пределов набивая за день работы на полях свой желудок нежеванными овощами – горохом, ви-кой, картофелем, свеклой, турнепсом, морковью, луком, капустой. К концу рабочего дня проглоченное под влиянием животного тепла, желудочного сока и выпитой горячей баланды разбухает и увеличивается в объёме. Возникает желудочная непроходимость, резкое растяжение желудка и угроза мучительной смерти. Объемшиеся сначала попадали к Тэре, затем, если терапевтические процедуры не помогали, – к Святославу Ильичу на операцию. Те из объемшихся, кто в изнеможении залезал на своё место на барачных нарах, в страшных мучениях умирали на следующие сутки. Спасённые, с очищенным и промытым желудком, ложились спать, на утро опять ползли на поля, а вечером мы встречались у Тэры снова: это была вертушка, раскручиваемая рукой голода, и выбраться из неё было нелегко.

– Ну, Петька, давай первого! Быстро! Шевелись! – по-бo-евому, басом командует Тэра. Больничные санитары волокут скрюченное воющее чучело, с размаха швыряют его на табу-

рет и запрокидывают голову, оттягивая её назад за оба уха. Я согнутой под подбородком рукой прижимаю её затылок к своей груди, а другой рукой вставляю в рот железную воронку. Санитары держат страдальца за руки. Тэра льёт в воронку масло. Через минуту начинается бурная рвота. Смазанная маслом плотная разноцветная масса колбасой выёлся из горла.

– Готов! Воду! Ещё кружку! Ещё! Нагни ему голову ниже, Петька! Так! Хорошо! Следующий!

Петька волочит спасённого по коридору и швыряет на траву перед крыльцом и обратным ходом доставляет нового. Мы работаем слаженно, быстро, как машины: их жизни зависят от нашей расторопности.

– Петька, следующий!

Топот. Отработанное чучело, болтая тряпьем, исчезает в дверях. Топот. На стуле новое. Быстрые, сильные движения. И снова:

– Петька, следующий! – Так на конвейере летит один десяток за другим.

Между тем, пока мы, увлечённые работой, зазевались, один из спасённых за нашими спинами успевает быстро проглотить чью-то рвотную массу из ведра. Его обрабатывают снова, но на этот раз Петька спускает его с крыльца вниз головой, и бегом уносит на помойку полные ведра и тазы. Спасённые, счастливо сопя, ковыляют в барак, на ходу утирая рукавами вспотевшие от напряжения лица. А в бараке уже толпа шакалов теснится вокруг жарко горящей плиты – все котелки полны, в них булькает овощное рагу: набухшие в чьих-то желудках непрожёванные зерна щепочками извлечены в уборной и на помойке, хорошо промыты на водокатке и теперь пущены в дело вторым оборотом.

Вечер – час азартной борьбы за пищу: успеешь – поешь досыта, только не зевай!

8

Возвратясь в кабинку, я прежде всего закурил и повалился на койку. Но не на долго. Вкрадчивое:

– Можно?

В кабинку через полуоткрытую дверь боком, плечом вперёд вскользнула, как будто бы вкралась молодая девушка. Чёрная казённая гимнастёрка вправлена в чёрную же узкую и короткую юбку, на ногах – щёгольские ярко начищенные сапожки, русые волосы прикрыты большим чёрным платком. Я встаю навстречу. Она нараспев спокойно мне говорит:

– Я на осмотр. Меня направил на отдых начальник режима. Вот записка.

Она подходит ко мне так близко, что её грудь касается моей и пристально смотрит вперёд, точно не видя, как будто бы сквозь меня. У неё большие широко расставленные карие глаза, чистые и прозрачные, но без выражения, как у зверя. «Глаза лани, – думаю я. – Нечеловечьи».

– Так осматривайте, доктор.

Она берёт мою руку и сует себе за пазуху.

– Они тёплые.

– Кто?

– Грудь. Я из бани.

В ладони я действительно держу маленькую грудь, будто согретое солнцем яблоко. Смотря мне в глаза и в никуда, она тихо поёт:

– Вы сами на больничном питании?

– Гм... А зачем тебе знать?

– Я из Карлага. В Долинке жила с доктором. Он и мне выписывал будто бы на одного старика-туберкулезника. – Девушка спокойно рассматривает кабинку, рукой прижимая мою руку к своей груди. – А вещей у вас вроде негусто, а? Как моё сердце?

– Чувствую, что любвеобильное.

Её ясный взор как будто бы замечает меня – на правильном лице появляется отражение какой-то мысли.

– Что значит это слово? Да? Спасибо. Я у вас буду только на питании, а жить – в женском бараке. Со штабными – у них чисто и культурно. Не люблю старых, больных и грязных. Люблю молодых и чистых.

Я вынул свою руку из-за ворота и сел на табурет.

– Да, ты чистенькая. Точно вся выстиранная и выглаженная.

Лёгкая тень усмешки пробежала по её худому, очень правильному лицу.

– Что вы... Я такая грязнулька. Меня и зовут – Грязнулька. Не смейтесь. Я – невесёлая, доктор. Вы с кем живёте? С толстой чернявой докторшей?

– Нет.

– Вечером придёте в клуб? Я буду говорить стихи.

– Приду.

– Я их много знаю. Люблю стихи. Учу от контриков.

Она опять, думая о чем-то другом, внимательно и вместе с тем рассеянно скользнула глазами по кабинке.

– Так я передам.

– Что?

– Да насчёт буду ли жить с вами или нет.

Не притрагиваясь к двери, она легко и плавно боком выскользнула вон. Как ящерица.

Я посмотрел на свою руку, всё ещё ощущавшую тёплую округлость солнечного яблока, и покачал головой. Сел к столу и стал разносить **данные** новой подопечной на свои фанерки. И снова стук в притолоку полуоткрытой двери.

– Разрешите? У меня направление в женское отделение.

Невысокая женщина с нежно-белой прядью над молодежным лицом подала мне бумажку и устало садится на второй табурет.

– Иванова Анна Михайловна. Инженер. Работала в авиации. – И дальше, полузакрыв глаза, она произносит всю формулу.

Я записываю данные.

– Вы откуда?

– Из Москвы. Муж сидит на севере, в Чибью. У него десятка.

На ней хорошо сшитый лыжный костюм – куртка и короткие штаны. На ногах толстые чулки и спортивные ботинки. Ноги красивые, вся фигурка, маленькая и стройная, напоминает что-то далёкое, забытое... Другой мир... Помолчав, женщина поднимает печальные серые глаза:

– У меня нет ценных вещей, но вот здесь, видите, коробка настоящего кофе. Это – единственное моё богатство. Я слышала о вас как о порядочном человеке и прошу оставить её на хранение. Я иногда приходила бы и делала себе кружку кофе. Можно?

«Какое породистое, хоть и измученное лицо, – думал я, разглядывая её исподлобья. – Она отойдёт, если только её не двинут дальше на этап. Однако мне пора. Начинает смеркаться. Сейчас в клубе начнут собираться наши. Вот принесло её не вовремя».

– Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь поддержать сердце. И перевяжите ногу. Мы шли пешком целый день.

Я торопливо наливаю в кружку лекарство и начинаю перевязывать стёртый палец. Она морщится и вскрикивает.

– Тише, вы не дома. Поверните ногу. Быстро. Так. Готово. Чего же вы не пьёте лекарство?

– Я уже выпила.

Я разгибаю спину и смотрю в окно на предвечернее золотое сияние. Надо спешить.

– Петька, позови Федьку-Шрама. Он будет сторожить посылки. Пусть поужинает и сейчас же приходит. Как, вы выпили лекарство? Вот оно, в кружке!

Женщина сидит, прислонившись спиной к стенке. Глаза у неё закрыты.

– Я выпила из мензурки, – сонно отвечает она.

Я хватаю мензурку. Так и есть – пустая.

– Лекарство бурого цвета. Пахло йодом.

Снежная прядь медленно падает на лоб, голова опускается на грудь. Она засыпает. Я трясусь от ярости.

– Я украл это чернило у самого начальника лагеря, понимаете?! В зоне чернил нет, мы царапаем слова гвоздями на фанерках. Я добавил в чернила йода для количества! Я пишу роман, чёрт подери, вы слышите?! А вы являетесь и выпиваете мои чернила, все до капли! Чёрт бы вас взял! Видите, видите – ни капли не осталось! Знаете, это уж слишком! Просто нахальство какое-то – прийти и выпить чернила! А ещё инженер! Откуда я теперь возьму чернила, а? Вы об этом подумали?!

Но виновница спит. Пройти меж собак и штыков тридцать километров с вещами на плечах голодному и истощённому человеку трудно. Да и ноги в тюрьме и на этапе разучились ходить. Мне делается её жалко. Я наклоняюсь, поднимаю выпавшую из рук коробку и ставлю её на полку, где у меня хранится много чужих богатств – сало, папиросы, консервы.

После раздачи ужина больным я беру её за плечо. Нехорошо, что я поднял крик. Жалко чернил, конечно, но ничего не поделаешь. Что уж там...

– Проснитесь. Вот суп. Ешьте. Сейчас пойдем на концерт – вам полезно посмотреть на обстановку и познакомиться кое с кем из людей. Они пригодятся. Вам с ними жить.

Она молча хлебает суп сначала с закрытыми глазами, потом горячая еда начинает действовать – её лицо розовеет, в глазах появляется живой блеск. Она встаёт, энергично подтягивает куртку и штаны и послушно говорит:

– Я готова.

Но в дверях уже стоит, широко улыбаясь и протягивая вперёд сильную руку, молодой коренастый мужчина. Новенькая телогрейка раскрыта, виден ворот дорогой вольной рубахи. Из-под форменной шапки вызывающе торчит клок вьющихся волос. Лицо открытое, сильное, сухое. Через лоб и щеку тянется шрам. Два смеющихся голубых глаза внимательно оглядывают незнакомку, потом меня.

оп – Привет, медицина!

Мужчина крепко трясет меня за плечи и протягивает руку моей собеседнице.

– Иванова Анна Михайловна. Инженер. Очень приятно, – неуверенно говорит та.

Мужчина насмешливо косит на меня глазом и в тон отвечает:

– Федька-Шрам. Бандит. Очень приятно. Будем знакомы! Они обмениваются рукопожатием.

– Федька, я ухожу в клуб. Будь другом, полежи здесь до моего возвращения.

– Заметано. В законе. Об чём речуга?

Федька размашистым движением снимает телогрейку и шапку, бросает всё это на табурет и садится на мою кровать.

– Чай будет?

– А как же! Дядя Вася, чай Федьке! И погорячее!

– Федька-Шрам – один из знатных людей зоны. Законник. Пахан. Уважаемый человек и среди блатных, и среди контриков, – объясняю я Анне Михайловне. – Если бы не он – в кабинке нельзя было бы держать ничего съестного – ведь весь лагерь голодает: всё растащили бы в миг. А еда эта – чужая, работяг.

Не будь места надежного хранения, пищу пришлось бы съедать сразу, во вред своему здоровью. А так посылочки приходят и берут своё добро по кусочку. Доброе дело делает этот замечательный человек!

– Вы работаете на кухне?

Федька хохочет: это оскорбление для честного вора, но он прощает фрайерше – она новенькая.

– Он голоден, как волк.

– И будет стеречь чужие продукты?

– Да.

– И он... – инженер запнулась.

Федька вынул кисет и начал делать закрутку. Поднял лицо и усмехнулся.

– Не стесняйтесь, дамочка, говорите до конца – «даже, если он бандит?» Я именно потому и берегу, что бандит: кто же ещё уберёжёт, – он зажёл закрутку с очень гордым видом.

– А... ваши... если придут?

– У нас этого не бывает, дама. Если один вор-законник что-то делает, то ему поперёк дороги никто не становится. А уж вроде силу применить против своего – ни-ни. Сразу суд, наш, блатной то есть, и ночью его сделают начисто: за насилие у нас строго – вышка. Поняли? Мы не шуткуем! Законный

вор сюда не придёт, я всем уже сказал, что иду в этот барак. Я стерегу фактически от ваших же доходов – с ними вот возня. Да и малолетнее шакальё в зоне – это вольница, ни нашего закона не признают, ни вашего. Ну а с ними можно сладить. Эй, дядя Вася, дай нож, которым скоблят пол! Спасибо!

Федька воткнул огромный, зловещего вида, чёрный нож в паз моего грубо сколоченного стола и засмеялся:

– Пусть себе торчит на показуху доходягам и малолеткам! Пусть знают, какой страшный бандит есть Федька-Шрам!

Мы засмеялись и повернулись было к дверям: уже смерклось.

– Стой, доктор. Ещё одна минута.

Федька вынул из кармана чистую тряпочку, развернул её и подал мне самопишущую ручку. Она была выточена из чёрного эбонита и выточена мастерски – корпус слегка изогнут, чтобы ловчее ложился в пальцах, на колпачке сидели фигурки двух голубков, по корпусу тянулась надпись: «Эрне от Феди». Это была художественная работа.

– Здорово, Федька. У тебя золотые руки!

– Вы работаете токарем в РМЗ?

– Да нет, я законник, а по нашему закону работать не полагается. Хожу и работаю для себя. Меня инженер один учит токарному и слесарному делу. – Он поднял на меня широко открытые живые глаза и сказал многозначительно: Может, когда-нибудь пригодится.

– Дай боже, Федька. Славный ты малый. Кончай с ножами, а?

– Кончать старое нелегко, а начинать новое и вовсе трудно.

Мы помолчали, вертя в руках музейную вещицу.

– Твоей музыкантше, конечно?

– А кому же? Ей.

– Откуда вы взяли перо? Оно золотое?

Тёплое выражение мгновенно исчезло. Бандит ухарски крикнул и сдвинул шапку на затылок.

– Конечно, золотое. Его мне на память оставил прокурор из Москвы. Зашёл, дурак, в малолетский барак, а там у меня есть дружок. Ну и... прокурор уехал в Москву без ручки. Американская была. Серая в полосочках, вроде прозрачная. Завтра передам мою ручку с нарядчиком в Мариинск.

Он стал любовно заворачивать подарок в платочек.

– Не боишься, что украдёт Мишка Удалой?

Жёсткая складка легла в углах Федькиного рта.

– Путь он боится. Я из него выну душу, и он это знает. Ну, идите, а то опоздаете.

Проходя мимо барака, мы заглянули в окно. Федька уже лежал на моей койке и читал «Былое и думы» Герцена. На столе, воткнутый в паз между досками, торчал огромный, свирепого вида, нож.

– Кто эта Эрна?

– Крупная пианистка. Немецкая еврейка. Окончила берлинскую консерваторию. Бежала с родителями от Гитлера в Америку, но там ей не понравилось, и она приехала к нам. Дура. Рассказала, что в Сан-Франциско вышла замуж за американского морского офицера и развелась с ним потому, что он ей начал очень напоминать немецких эсэсовцев. Ну, ей подвесили восемь лет за пэше.

– Что это?

– Подозрение в шпионаже. Дается без суда по Особому Совещанию.

– И что она в Мариинске делает?

– Учит музыке детей начальства. Хорошая женщина. Тихая, скромная. Немецкая интеллигентка. Старше Федьки года на три. Он её любит на жизнь и на смерть.

– Пианистка и бандит? Ей позор!

– Не спешите. Вы не знаете Федьки.

– Но ведь он бандит! Я ненавижу блатных.

– Я тоже. И Федька действительно бандит. Но он остался сторожить вашу коробку кофе. А он тоже любит настоящее кофе, я знаю.

Мы молча прошли калитку больничной зоны и зашагали меж цветов.

– Для чего же он это делает? Наверное, из сочувствия? Кто-нибудь из его родственников сидит?

– Нет, в том-то и дело. Он делает это только из **человечества**, как он говорит.

– А бандитизм?

– То другое – бандитизм это профессия.

Мы вошли в рощу перед клубом. Там уже толпились люди.

– Странно. Человечный бандит. Разве такое бывает на свете?

– На свете всё бывает... В этом-то вся загвоздка!

9

Тысяча человек наличного или, как принято говорить в лагере, **списочного** состава, делилась на пять резко отличных групп. Человек двести составляло штатную кадровую службу. Свыше сотни числилось работниками штаба. Все они

были контриками с высшим образованием и помещались в чистой и светлой секции (изолированном отделении) барака obsługi, спали на вагонках, с матрасами и подушками, ходили в новеньком обмундировании первого срока и ежемесячно получали по записке начальника дополнительное питание натурой – по несколько килограммов картофеля или моркови, а иногда и по одной-две горбуши. Это были молчаливые люди, громко говорившие только казённые истины, потому что половина из них работала осведомителями у опера, все не доверяли друг другу и дрожали за своё место. Мысль об этапе или общей, то есть физической работе их ужасала, и эта боязнь являлась нитью, на которой их вёл за собой опер и начальник. Все много и с показным рвением трудились.

Вторая, меньшая по количеству часть obsługi, – хозяйственная, примерно человек восемьдесят, состояла из бытовиков, в прошлом работавших в торговле или в промышленности. Из них выбирались **дяди**, т.е. заведующие кухней, баней, каптёркой и складами, а также повара, учётчики, бригадиры-специалисты. Это была неоднородная группа: верхушка блаженствовала с женами в отдельных кабинках при месте работы, остальные спали во второй секции барака obsługi, более тёмной и неряшливой, чем штабная. Одеты они были хуже и пайка натурой не получали, а промышляли кто как мог, в основном воровством по месту работы, иногда по договорённости с начальством. В этой подгруппе были и весьма сытые и не весьма и полуголодные. Это была нахальная банда, из них постоянно кто-нибудь летел в этап за мелкое воровство или садился в ШИЗО или ДОПР за крупное и за нелады с начальством. В своём и в общем понимании штабники являлись служилой аристократией, а хозобслуга – буржуазией зоны.

Третью группу составлял пролетариат – рабочий переменный состав, доставлявшийся этапами с шахт и заводов для отдыха и поправки. Первое время всё свободные от работы часы они лежали плашмя и спали, а когда силы восстанавливались и просыпался интерес к газетам, радио, клубным концертам и библиотеке, то тут как раз подвертывалась очередная комиссовка, оживший человек получал рабочую категорию (средний или тяжёлый труд) и попадал в обратный этап, так и не успев как следует соприкоснуться с культурными интересами и жизнью зоны.

Четвёртую группу составлял люмпен-пролетариат, всякого рода выродки и моральные отбросы, внутрилагерное хули-

ганье, воровье и **законные** воры, которых на работу не выводили и не судили за отказы. **Законники** жили в отдельной секции и занимались разбоем и воровством, командуя шайками шпаны, они паразитировали на жирной прослойке **дядей**, поддерживали тесный контакт с низовым начальством и отнимали здоровье, хлеб и жизнь у работяг. Их боялось и начальство, и заключённые, за отказ работать не судили, а за убийство добавляли срок до первоначального, что законников не пугало. Особенно страшны были **духари**, то есть те, кто объявлял, что ничего не боится и в любой момент готов к смерти. Эта прослойка населения зоны являлась ее истинным проклятьем, особенно шпана: в силу **гуманности** советских карательных органов мелкое хулиганье и воровье – разложившийся, разнузданный и насквозь антиобщественный элемент лагеря, – не выгонялся на работу за зону, а жил за счёт коллективных шакальных неожиданных нападений на всех и на всё, так называемых налётов на **шап-шарап** – на дневальных, несущих в корзинах хлеб для рабочих бригад, на больных, получивших из кухонного оконца порцию каши и баланды и прочее.

Таким образом, отделённый от внешнего мира колючей проволокой и забором, лагерь являл собой точную копию человеческого общества, где хищные и умные, ловкие и бессовестные, простоватые и крепкие всегда и везде образуют три основных прослойки. Я наблюдал эти три прослойки среди матросов большого военного корабля – вопреки одинаковой одежде и форме существования три основных типа человеческих характеров быстро разбивали массу новобранцев на три эти категории – жилистые шли в унтер-офицеры, толстенные – в каптёры, а ширококостные – в рядовые. Помню, даже в Норильске новоприбывшие заключённые, только что получившие в каптёрке чёрные суконные маски и представлявшие собой удивительно страшную своей безликостью однородную массу, быстро, месяца через два-три распались на эти три социальные прослойки, соответствующие типу человеческого характера – погоняльщиков, снабженцев и работяг. Утром первого дня идя на работу в тундру у всех на виду я сунул в карман лист бумаги и карандаш.

– Что, гад, контрик, и здесь в министры хочешь? – зарычали вокруг бытовики и уголовники. – Нет, падло, здесь придётся поработать руками, понял? Мы тебе здесь житуху ещё сделаем, увидишь!

На рабочем месте мы увидели голые кусты и лужи воды, в которые валил мокрый снег. Тысяча людей стояла почти по

колени в мешанине из льда и грязи. Всем стало страшно. Вдруг к колонне подскочило два всадника.

– Заключённые, с вами говорит начальник строительства! Сейчас я отберу людей и раздам им карандаши и бумагу. Они станут бригадирами, организаторами дисциплинированного труда. Отобранные должны в свою очередь отобрать по тридцать человек. Рабочие будут их содержать из своего заработка, а мы, начальники, во всём их поддержим!

Всадник вынул из седельной сумки горсть карандашных обломков и листочки бумаги.

– Ты, подходи! Ты тоже! Вон тот, длинный, иди сюда! Получай! Ты тоже!

Трясаясь от холода, все стали смотреть за раздачей. Перед чёрным фронтом работяг стала формироваться куча бригадиров.

Я незаметно вынул из кармана свои собственные бумагу и карандаш, обошёл лошадей начальников и втёрся в группу избранных: что делать, ведь столько лет я был разведчиком. Обратная наша колонна шла уже по бригадам: сбоку бригад шли мы, бригадиры, и хворостинками бодро подгоняли приунывших работяг. Позднее кое-кто из бригадиров не подошёл к роли и был смещен, но я вывел свою бригаду в число передовых на строительстве и ушёл только когда понял бессмысленность своего девиза – «Через ударный труд к досрочному освобождению». В лагере честного ударного труда не может быть, и досрочное освобождение даётся не за него.

Имелась в лагере ещё и пятая группа – инвалиды-доходяги. Она складывалась из быстро меняющегося списка – одни по прибытии с этапом ослабленных не могли встать на ноги и в порядке естественной усушки-утруски списывались на смерть в мой барак, другие попадали туда из числа кадровой obsługi, так как у всех упадок сил постепенно прогрессировал, и в перспективе всех нас ожидала одна участь – барак и морг.

Спасти нас могло только изменение условий существования во всей стране, зависящее от победы на фронте. Я дотянул до победы, и выжил, и знаю, кому благодарен за это – советскому солдату. Но безликая масса доходяг уже находилась вне общества, даже лагерного.

В этот страшный год голод и насилие были самыми характерными особенностями лагерной жизни, и честный начальник лагпункта Сидоренко ничего не мог сделать потому, что все его вольные помощники сами являлись голодными ворами, а позади тёмных сил в лагере стоял лощёный щёголь опер

Долинский и группа связанных с ним заключённых – нарядчики, самоохранники и сексоты. Организованный отпор вольным и заключённым нарушителям порядка в этих условиях был совершенно невозможен, и пять разнородных групп лагерного населения вынуждены были сосуществовать, будучи всем своим телом день и ночь плотно прижатыми друг к другу: восемьсот бывших и будущих этапников и двести человек постоянной obsługi, или, другими словами, полтысячи усталых, голодных рабочих, которым было не до КВЧ и культурных развлечений, триста умирающих от голода инвалидов с полностью перестроенной психикой и двести человек ослабевших от белковой недостаточности людей, ещё не потерявших последних связей с жизнью, – как раз столько, сколько мог вместить клуб.

Вся тысяча человек населения была одета в одну чёрную форму, но и одежда сама отличалась по степени изношенности, и люди были мало похожи один на другого – рядом с молодым щёголем могло сидеть на скамье оборванное чучело нечеловеческого вида, а потому и лагерная толпа в клубе не казалась убийственно однообразной: она была не лишена своеобразной экзотики, как и всё само помещение, доверху наполненное матерщиной, культурной речью, звуками ударов, криками и музыкой хорошо произносимых стихов, как и содержание концертов – ведь на сцене и в зале находились опасные бандиты и убийцы, невинные советские люди, расхлябанные бытовики и опустившиеся доходяги.

Стены бревенчатых бараков в сибирских лагерях изнутри обтыкаются колышками, заглаживаются глиной, чисто белятся и покрываются затейливыми цветными узорами как механическим разбрызгивателем через трафарет, так и от руки. Мастеров и любителей у нас везде много, и клуб Суловского отделения при тусклом свете маленьких двадцатипяти свечёвых ламп казался большим и нарядным залом, погруженным в таинственный полумрак.

Когда мы подошли, зал быстро наполнялся желающими отдохнуть. Анна Михайловна и я остановились в боковом проходе – свободных мест уже не осталось.

– Это ничего, вы сразу увидите много нужных вам людей. Я их покажу. – Я перечислил всех начальников, сидевших в первом ряду. – Во втором...

– Я вижу мерзкую женщину – Тамару Рачкову, она была санинспектором в распреде. Обирала этапников, торговала лекарствами. Связана с уголовниками и опером.

– Всё правильно. Хорошо, что вы её знаете.

– Она жила по очереди со всеми поварами по мере того, как их выгоняли за воровство. Тамара – дорогая любовница, она может съесть разом кастрюлю пирожков. Одного любовника спланила в этап сама – говорит, что надоел. Он бегал по зоне с длинным кухонным секачом за час до этапа. Но Тамара зарылась в куче тряпья на складе и уцелела. Её перевели сюда, когда в зоне слишком громко заговорили о её связи с опером. – Анна Михайловна помолчала, потом покачала головой. – Помню, как по наряду я скребла ножом пол на кухне. Еле двигалась от голодной слабости. Тамара как раз сидела надо мной, ела больничные пирожки, брезгливо подбирала жирные ноги и говорила: «В бане я видела, Иванова, что у вас хорошая кожа и фигура. Хотите, я вас познакомлю с каптёром дядей Изей? Вы в его вкусе». Отвратительная баба. А кто эта высокая женщина в углу слева?

– Агроном Леля Монахова. Живёт с вольным начальником производственной части, стариком Шеленковым. Чтобы связь не слишком бросалась в глаза, Шеленков подыскал ей лагерного мужа, инженера, и устроил его в штаб. Тот с радостью играет положенную роль ширмы за килограмм картофеля в месяц. А Леля сегодня утром в бараке кормила сливочным маслом своего любимого котенка. Я не завидую ей, не думайте. Я их всех ненавижу. Будьте с ней осторожны.

Мы помолчали. Каждый думал о своём.

– Да, голод обнажает души, – проговорила, наконец, Анна Михайловна. – Кто этот белокурый мужчина, который читает книгу при таком шуме?

– Главный вор нашего лагпункта, суперпахан. Кличка – Метеор. Внешне тихий и спокойный человек. С ним нужно держаться просто и вежливо. Обязательно на «вы».

– Как с вашим Федькой-Шрамом?

– Никоим образом. Федька – миляга, душа нараспашку, а этот пока для меня загадка. Мне кажется, что он очень уставший человек. Ищет чего-то. А рядом с ним бывший командир дивизии Майстрах и бывший дивизионный комиссар Островский. Прекрасные люди. Оба из Первой Конной.

– Да не может быть?! Я тоже была в Первой конной!

– Ну и прекрасно, завтра познакомлю. Видите, как хорошо, что вы не улеглись спать. Отоспаться успеете – дня два вы не пойдёте на работу. Сзади них сидит атлетически сложенный парень, с чёлкой, видите? Это Боб-Горилла, хулиган и вор, первый Дон Жуан среди блатных. Сука. Может быть полезным.

– С ним рядом хорошенький мальчишка. Белокурые кудрявые волосы – редкость.

– Законный вор. Кличка Барашек. Опасная гадина. Держитесь от него подальше. А эта женщина справа – наша...

– Доктор, вот два места, быстро занимайте! – крикнули мне из соседнего ряда. Мы протиснулись и сели. Стало уютно среди чужих чёрных спин и стриженных затылков.

Заколыхался занавес, сшитый из казённых больничных одеял.

– Мы как в Большом! – проговорила, улыбаясь, Анна Михайловна. – Ах, сколько воспоминаний! Кажется, ещё минута – и оркестр начнет настраивать инструменты. Вы не чувствуете какой-то внутренний подъём?

– Ещё бы! Мы все ходим сюда из-за этого чувства. Наш чумазый зал в позолоте – приют горьких грез. Но сегодня ощущение радости у меня сильнее, чем обычно. Из-за вас. Мне действительно кажется, что я в Москве, в Большом, с элегантной дамой. Давайте играть в Москву? Ладно?

– Ладно! Я рада.

– Для полного сходства нужна коробка шоколада и лёгкая болтовня. Шоколад есть!

Она раскрыла глаза. Я, осторожно оглядевшись, вынул из кармана запеченную в золе картофелину и незаметно сунул ей в руку.

– Что это? Какая прелесть! Ещё тёплая.

– Ешьте незаметно. У меня ещё две.

– Откуда?

– В лагере такой вопрос считается бестактным. Где-то украл или выменял, не всё ли равно. Давайте же болтать, как в театре!

С наслаждением она осторожно отщипывала кусочки горелого картофеля и незаметно клала их в рот.

– Да, всё как в Большом... Как давно это было. И было ли... Но вы говорите, надо болтать? Конечно! Когда мы выходили из вашего барака, откуда то справа доносились удары и унылый крик. Я не разобрала слова. Что это было? Где?

– Справа за огневой дорожкой БУР. Голос кричал: «Эй, в зоне! Передайте на вахту, что человек в БУРе повесился».

– Так что же вы не побежали на помощь?

– Это в БУР-то? Эх вы, новичок! Туда поведут или вольного врача или заведующего больницей № 1 Таирову – она по распоряжению командования обслуживает БУР. Видите, Таировой на концерте нет.

– А кто же мог повеситься?

– Никто. Заключение в БУРе это – смерть, и, чтобы выбраться из этой тюрьмы в тюрьме, буровцы иногда убивают друг друга. Обычно малолетку. Кирпичом или доской. Убийцу переводят в ДОПР, дают срок и включают в этап. К сроку уголовники равнодушны, а жизнь спасена! Просто?

– Как сказать... Ценой чужой жизни? А если всё же кто-нибудь повесился?

Я положил картошку в рукав и тоже стал незаметно отщипывать сладковатую тёплую мякоть.

– Вряд ли. Если только они не **сделали** кого-нибудь из своих по решению блатного суда и уже мёртвого сунули в петлю, чтобы избежать следствия. За пять лет в лагере я видел попытку покончить с собой только один раз. Однако я сегодня решил быть рыцарем до конца – вот вам ещё одна картошка. Нашли мою руку? Держите осторожно – жалко, если упадёт. Больше нет.

– Спасибо. Чудесно – **картошка на концерте**. В Москве не случилось есть ничего более вкусного. Так где же случилось это самоубийство?

– Здесь, в Суслово. Какой-то дурак зашёл сзади к уборной и прыгнул в яму.

Отщипывая румяные кусочки, она спокойно покачала головой.

– Странная жизнь. Станные люди. Вероятно, мы тоже теперь стали странными.

– Без сомнения. Но отчаявшегося вытащили. Он получил обмундирование первого срока и остался вполне доволен.

Моя собеседница вернулась к своим мыслям.

– Как ведёт себя Рачкова здесь? Как она попала в заведующие амбулаторией? Ведь в распреде она выдавала себя только за студентку зубоучебного училища?

– До неё амбулаторией заведовала молоденькая вольнонаемная сестра, хохлушечка из Полтавы, Оксана Петровна. Она заведовала также и амбулаторией для вольных за зоной и одновременно обслуживала своей любовью всех командиров и добрую половину стрелков – работала на совесть, а дня три в месяц за ту же цену угощала посетителей своей молоденькой санитаркой из заключённых – та сама мне хвалилась. Оксана Петровна всегда кокетливо повторяла: «Чого вони вид мене хочуть, не знаю. Лыпнуть, як муси на мэд!» Как-то она забежала к начальнику, но застала там одного опера Долинского. Началась подача скорой помощи – очередной порции

меда, но тут кто-то осторожно постучал. Долинский спрятал хохлушечку под своей дохой, висевшей на вешалке. Вошла Тамара и с ходу, захлебываясь от усердия, начала давать агентурные сведения на всех нас. А хохлушечка потом расказала об этом мне и попросила предупредить товарищей.

Мы тихо рассмеялись.

– Вот вам и хохлушечка! Молодец! Да, Тамара пожирает пирожки неспроста: они хорошо оплачены. А что за красивая девка сидит как раз позади тощего инвалида, которого вы, кажется, называли Островским?

– Это Верка-Гроб, известная в Сиблаге паханша. Опасная женщина. Недавно, чтобы поддержать свою репутацию, она в присутствии всех женщин барака изрубила топором заигравшуюся цыганку. Рубила долго, потом сделала перерыв и курила вместе с истекающей кровью умирающей жертвой.

– Красивая баба. Уж не казачка ли?

– Кубанская. Сидит за то, что из ревности застрелила мужа и зарезала лагерного любовника. Своеобразие нашего положения заключается в том, что вместе с ней на концерте сидит Островский, умница, большой добряк, и герой.

– Чем?

– Тем, что будучи нашим полпредом в Румынии, знал о терроре и всё-таки вернулся. У него был друг, Раскольников – советский полпред в Болгарии. Помните мичмана Раскольникова, который привёл в Петроград кронштадтских матросов? Дал живую силу октябрьскому вооружённому восстанию? Вспомнили? Да, этот самый. Островский и Раскольников, предчувствуя предстоящий вызов в Москву и неминуемую гибель, повидались и посоветовались, как быть. В принятых решениях сказался характер каждого. Раскольников бросил службу в Наркоминделе и изменил партии и Родине – повернул на Запад, устроился в Париже и, надо полагать, неплохо: идеологических беглецов из Советской страны там встречают радушно. Островский остался верен до конца – вернулся, был изувечен на допросах и теперь обречён на гибель. Пока сидит на концерте в обществе Верки-Гроб: ему обеспечена смерть в романтической обстановке.

Но Анна Михайловна холодно посмотрела на меня и подняла брови:

– Разве Раскольников стал фашистом?

– Нет, но...

Она сурово нахмурилась. Сказала тихо и твердо:

– Тогда он никому и ничему не изменил. Только Сталину. Как вы не понимаете этого? Странно! Островский – честный глупец – он спутал партию с генсеком. Коммунист должен думать реалистически. Ленин приехал из Швейцарии в Россию через воюющую с Россией Германию с помощью кайзеровской полиции. Он изменник? Нет, просто реалист: кайзера и его полиции нет, а революция живёт. Сталин тоже реалист и всегда разобьёт всех своих противников – он дальше видит и действует не оглядываясь. Мне сказали, что вы – бывший разведчик. Тогда я вас плохо понимаю: чекист-идеалист такая же нелепость, как добрый бандит. Островский, Федька-Шрам и вы – любопытные люди.

Она задела самую болезненную из числа недодуманных и нерешённых мною вопросов нашей трагедии: мой следователь на Лубянке, полковник Соловьёв, узнав, что я за границей имел деньги и иностранный паспорт и всё же вернулся домой, назвал меня дураком, **бесчувственным** человеком. С тех пор одна половина во мне кричала, что я – верный сын своей Родины и герой, а другая – что я всего только фантазер и простак. Нет, во мне были чувства, но какие?

Я задохнулся от наплыва мыслей и приготовился было разразиться речью – не для собеседницы, а ради себя самого, чтобы ещё раз (в который?!) убедить себя в своей правоте, – но она, забывшись, положила на колено ладонь, на которой лежала картофелина, отщипывала от неё маленькие кусочки и бережно подносила к губам: видимо, ей хотелось переменить тему разговора.

– Как я люблю печёный картофель, – мечтательно начала она. – На воле, по правде говоря, я его никогда не пробовала. Но здесь наслаждаюсь. Мякоть розовая и сладковатая, а зарумянившиеся места горчат... Сколько наслаждения может дать человеку один маленький кусочек жалкой пищи... А сколько иного, гораздо более прекрасного, прошло мимо нас совсем незамеченным... Заключение – это яма, из которой яснее видно небо, не правда ли? – Она задумалась, потом вдруг засмеялась и другим голосом спросила: Сегодня я несколько раз видела в зоне пожилого мужчину с пенсне на носу. Он прохаживался среди пышных клумб совершенно голым и босым. Это было очень забавно! В руках держал лист бумаги. Кто он?

– Крупный ленинградский инженер-мостовик. Его вызывают в центр по наряду. В бане шпана украла все его вещи. От шапки до ботинок.

— Почему же ему не дадут что-нибудь?

— «Что-нибудь» он брать не хочет — у него было обмундирование первого срока. Он вертится перед окнами штаба и старается попасть на глаза начальнику. Вечером он исчез, заметили? Сейчас или сидит в изоляторе, или уже добился своего и ждёт концерт, как и мы с вами. Это случается здесь нередко.

Вообще, особый романтический колорит толпе заключённых придают инвалиды с оторванными рукавами или штанинами: сейчас ещё тепло, из рукавов и штанин они шьют ноговицы на зиму, ноговицы в ходу на лагерной толкучке.

— А что там ещё продают?

— Кто что может. Кормящие матери сцеживают своё молоко, добавляют к нему мел и воду и меняют работягам на краденый лук или мясо, а то и инвалидам на ноговицы. Малолетки на шап-шарап грабят бумагу у вольных девушек в штабе — она идёт на заявления в Москву, письма родным и игральные карты. Бесконвойники продают...

10

Но долговязый начальник режима вдруг поднялся, вынул трубку из рта, поднял руку и закричал:

— Эй вы там, на галёрке! Тише! Начинаем концерт! Будете шуметь — отправлю в клоповник! Понятно? У меня не разгуляетесь! Самоохранники, закройте входную дверь. Тише! Слово предоставляю начальнику культурно-воспитательной части для зачитания последнего номера центральной газеты! Садитесь все и слушайте!

На сцену выполз старичок-начальник, одел очки, развернул газету, и поскольку лампочка светила плохо и мигала, он поднял газету повыше и заслонил ею своё лицо так, что до зала стало доходить только недовольное глухое ворчание и отдельные фразы:

— «Правда» номер двести двадцатый вид субботы четвёртого сентября сорок второго году слушайте передовую под общим названием «Наступление Красной Армии». Бур-бур-бур-бур... Бои уже ведутся в коренном Донбассе на земле Украины... бур-бур-бур... От Советского Информационного бюро. Сводка за третье сентября «бур-бур-бур... Бои в Донбассе... освобождено пятнадцать населённых мест... южнее Брянска... юго-западнее Харькова... бур-бур-бур-бур...» Прослушайте подвальную статью Наркомюста СССР Н. Рачкова под общим названием «Война и законность» бур-бур-бур. В советских законах выражены интересы рабочего класса, трудового

крестьянства и интеллигенции нашей страны... бур-бур-бур-бур... Ленин учил: малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка...

Чтец опустил газету, поднял очки на лоб и закричал в зал:

– Што за смех? Раскашлялись! А ты, там, в углу, ещё раз свиснешь, так я тебя собственноручно потащу в изолятор!

Потом снова опустил очки на нос, прикрылся от слушателей газетой и забулчал:

– «...есть ещё дыра» – да тише! Что смешного в слове дыра, дураки? Тише! – «дыра, которую немедленно используют враги трудящихся». Тише! На XVII съезде ВКП(б) и XVIII партийной конференции борьба за строгое соблюдение законов была определена как одна из важнейших обязанностей коммуниста. Что за идиотский смех? Я спрашиваю, почему в залу идиотский смех? «Закон есть закон для всех. Мы все – слуги государства. Этому нас учит товарищ Сталин», – говорил... Какой это дурак там у двери чихает десять раз кряду? Што за чих? – говорил товарищ Маленков... бур-бур-бур-бур... «Сталинская конституция с предельной ясностью показала, что у нас в стране социализма обеспечен расцвет права и законности»... Опять ты чихаешь там, у двери? Самоохранник, зараз дай его за дверь, чтоб вычихався!... «Полное совпадение того, что есть на деле и выражено в законе – непреложный принцип социалистического права».

В зале начался общий весёлый шум.

Чтец опять опустил газету и снял очки. Он, наконец, потерял терпение.

– Топчете, а? Эх вы, лошади! Бескультурие! Одно слово – заключённые. Ну чого вот ты улыбишься? Кажы, чого? Шо я казав щось смешного, а? Читать вам неохота, да?

Начальник в сердцах сложил газету, очки сунул в футляр, не спеша захлопнул крышку и бережно спрятал футляр и газету в карман. Потом нерешительно потоптался немного и стал, кряхтя и ворча себе под нос, медленно и неуверенно спускаться в зал по шатким ступенькам. И сейчас же позади него занавес вздрогнул, зашевелился, от середины по его поверхности пошли складки, и вдруг обе полы разошлись, и на на авансцену вышла невысокая женщина с бледным приятным лицом, в телогрейке, оборванной юбке и больших рабочих ботинках. Она медленно обвела зал глазами, сделали привычный жест приветствия и с положенной улыбкой начала:

– Добрый вечер, граждане начальники и товарищи заключённые. Начинаем очередной концерт культбригады КВЧ 1-го лагпункта. Ведёт концерт заключённая Владимирова.

Женщина сделала паузу. Шум стих. Волоча тяжёлые ботинки, женщина подошла к рампе.

– Первым номером сегодняшней программы будет выступление заключённой Екатерины Владимировой, то есть моё. Я прочту известное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Кто не причастен». Стихотворение представляет собой вольный перевод с греческого. Оно написано в ссылке, в селе Михайловском, и относится к тем лирическим произведениям великого поэта, которые прочно вошли в сокровищницу нашей поэзии.

Тут Катя вскинула голову, глядя поверх голов, замерла на мгновение и затем звучным и сильным голосом начала: Кто не причастен тайному счастью...

– Стой, кто идёт? – вдруг неожиданно гаркнул за стеной хриплый голос: вышка находилась как раз против сцены.

– Надзиратель Чуркин!

– Пррррроходи!

– Выступление гражданина Чуркина закончилось! – громко крикнул кто-то в зале. Вспыхнул смех.

Катя улыбнулась, нашла меня глазами и сделала чуть заговорщицкий знак. Потом вытянулась и снова вскинула голову:

Кто не причастен тайному счастью,
Значит навек отомщён!
Верую страстно – друг мой прекрасный
Будет ко мне возвращён!

В этом порука – тайная мука,
Богом мне данная страсть,
В сердце безбрежном, буйном и нежном,
Я признаю её власть!

Радость свидания, жар обаяния
Не придаю я суду, –
Днём или ночью, друг мой порочный,
Я тебя трепетно жду!

Тайне всесильной в муке бессильной
Я причащусь у тебя,
И напевая, горя не зная,
Прочь отойду, не любя!

Зал ответил приличествующими случаю аплодисментами. Товарищ Пушкин пользовался официальным покровительством и считался обязательным блюдом всех меню наших культурных мероприятий. Демонстративно аплодировали все

вольные врачи и начальники. В зале находилось только несколько человек, знавших, что стихи написаны ради озорства самой Владимировой. «Сошло!» – смеялись её глаза, но она опять посерьёзнела и объявила новый номер – молодой цыганинок Коля вышел бацать чечётку. В руках у него мелькали две лагерные деревянные ложки, в зубах он зажимал петлю от большой стеклянной кружки Эсмарха, из которой в амбулатории ставили клизмы – её удобно было держать за петлю, оставляя свободными руки.

Это было сверхъестественное удовольствие! Блатные умеют бацать, и в зоне человек сто в других условиях сошли бы за первоклассных исполнителей чечётки. Но здесь был лагерный театр, и среди зрителей находились десятки тонких знатоков и сумасшедших любителей этого искусства. Коля топал и крутился, стоя на месте пускал тончайшую ритмическую дробь каблуками и ложками, шёл вприсядку, ползал на коленях и, в конце концов, довёл зал до исступления. Резкий звон стекла и треск ложек потонул в реве зала, все встали и с потерянными улыбками смотрели на человека, который с таким совершенно изумительным чувством ритма плясал с клизменной кружкой в зубах, то сунув ложки в кружку и прихлопывая себя ладонями под коленами, по ляжкам и даже по лбу, то отбивал такт коленами по полу, а ложками по подошвам. «Давай, гад! Давай, падло, чтоб тебя зарезали!» – орали зрители. Наконец, когда накал восторга достиг апогея, Коля, потный, малиново-красный и растрепанный, поставил кружку на пол, и зал стих. Это был последний и коронный номер: танцор, расслабив мышцы челюсти, стал бить себя снизу по подбородку, извлекая из собственных зубов чёткий и предельно ритмичный лязг и подбрасывая при этом носки сапог выше головы.

Когда это дикое, языческое, поистине лагерное зрелище кончилось и все успокоились, Катя опять шагнула вперёд.

– А сейчас прослушайте нового члена нашей культбригады заключённую Евгению Зорину. Она прочтет стихотворение Ильи Эренбурга из цикла «Молитвы за Россию».

Это было новое озорство, но этого раннего цикла никто из начальства не знал, а Эренбург тогда официально котирировался очень высоко, и все вольняшки опять демонстративно захолопали.

– Пожалуйста, Женя.

Грязнулька спокойно прошла из-за кулис вперед к самому краю сцены. Стройная, чёрная фигурка с красивым лицом, не

выражавшим ничего, спокойно поклонилась. Несколько мгновений стояла, опустив голову и не шевелясь, потом медленно выпрямилась.

– Девка что надо! Такую бы к нам в бригаду, – одобрительно бухнуло из зала несколько голосов, но Грязнулька не повела бровью, и шутники стихли. Медленно, ясным голосом она начала:

Наши потомки прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов, и цифры убитых, и даты,
Но они никогда не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как звонко стрекотали средь грома пушек стрижи,
Как была прекрасна в те годы жизнь.

Никогда, никогда солнце так радостно не смеялось,
как над городом разгромленным.
Когда люди, выползая из подвалов, дивились: «Есть ещё солнце?»
Гремели речи мятежные, умирали ярые рати,
Но солдаты узнали, как могут пахнуть подснежники
За час до атаки.

Вели поутру, расстреливали...
Но только эти узнали, что значит весеннее утро:
В косых лучах купола горели,
А ветер молил: «Минуту... Ещё минуту...»

Целуя, не могли оторваться от горьких губ,
Не разжимали крепко стиснутых рук,
Любили: «Умру... Умру...»
Любили: «Эх гори, огонёк, на ветру!»
Любили: «О, где же ты, где?»
Любили, как могут любить только здесь,
на мятежной и нежной звезде.

В те годы не было садов с золотыми плодами,
Но только мгновенный цвет, один обречённый май,
В те годы не было спокойного «Так до свиданья!»,
Но только звонкое, короткое «Прощай!»
Так читайте ж о нас и дивитесь!

Грязнулька говорила хорошо, подчёркивая ведущие слова голосом и лёгкими движениями руки, и многие в зале поняли стихотворение: оно им показалось написанным для них самих, для русских людей и восемнадцатого, и тридцать восьмого года. Кое-кто встал, другие вытянули шеи. Кашель стих, зал обратился в слух. Когда девушка гордо бросила в зал:

Так читайте ж о нас и дивитесь!
Вы не жили с нами – грустите!

Многие гордо подняли головы, как будто вдруг поняв красоту нашего трудного и жестокого, но великолепного времени. В этот напряжённый миг из тёмной щели между двумя половинками занавеса вытянулись две голые волосатые мужские руки, отвели девушку в сторону, и перед залом предстал заведующий водокачкой Эльбрус Казбекович Азизов, до пояса голый, в ярко-синих домашних кальсонах, вправленных в огромные добротные валенки: Эльбрус Казбекович страдал ревматизмом и носил валенки даже в тёплое время.

– Ми энергически протестуемся! – закричал он в зал тонким голосом. – Гражданин начальник режима! Гражданин оперуполномоченный! Зачем нам Паук грабил? Почему нам снимал суконный рубаха и домашний сорочка? Ми категорически протестуемся!

Грязнулька нырнула за занавес, Катя сбежала вниз в зал. Поднялся невероятный шум. Большинство людей вскочило с места и полезло к сцене, но самые опытные лагерники ринулись к двери, понимая, что сейчас события примут плохой оборот.

Лейтенант Фуркулица вскочил и мгновение смотрел на бушевавшую толпу сонным взглядом. Потом вдруг очнулся, выхватил трубку изо рта, шагнул на сцену и загремел:

– Самоохрана! Закройте двери! Шмон! Общий поголовный обыск!

Он рванул в стороны полы занавеса и заглянул за кулисы и в маленькие уборные артистов. За кулисами было пусто, из мужской уборной он выволок трёх артистов в гриме и костюмах.

Следующим номером должна была идти агитка под названием: «Вперёд за Советскую Родину!» Два артиста были одеты в красноармейскую форму, один – в какое-то подобие немецкого мундира с погонами и в каске (это была моя работа – мундир по моему рисунку сшили в портняжной мастерской, а каску с рожками я слепил из газет и окрасил в жабий цвет). Артистов поставили посреди сцены, самоохранники вывернули им карманы и заглянули под гимнастёрки и в спущенные до колен штаны, но ворованных вещей там не оказалось, хотя один из артистов был уткой, второй – бытовиком, третий – контриком.

– Где мой вещи? Вай-вай, почему ми грабился?

– Женщины! Выходите первыми! – гремел Фуркулица, стараясь перекрыть провокационное улюлюканье шпаны: он тор-

чал у ramпы с широко расставленными длинными руками и был похож на дирижера разбушевавшегося оркестра.

Я схватил за руку смуглого подростка с длинным носом и печальными выпуклыми глазами.

– Али-Гуссейн, доведи эту женщину до маленькой женской секции в новом бараке! В больничной зоне, понял? Быстро! Держи её крепче за руку! Бегите!

Анна Михайловна и её проводимый кивнули головами и дружно врезались в толпу у выходных дверей.

– Держитесь ближе к вольняшкам! – крикнул я им вслед. Они уже исчезали в общей давке. Там же теснилась к дверям и Грязнулька: её большой чёрный платок был спущен на спину, но из-под него я успел заметить кусок синей шёлковой сорочки. Девушку старательно прикрывал долговязый рябой самоохранник по кличке Кот.

Между тем опер Долинский встал, оправил ремни и кивком головы указал самоохранникам место перед собой. Туда толкнули Азизова.

– Как вы попали за кулисы? – процедил сквозь зубы Долинский обычным спокойным, вежливым и холодным тоном. Это был на редкость выдержанный человек.

– Ми энергически любим концерт. Ми слушали из дамской уборной!

Грянул весёлый смех – это было продолжение постановки.

– Проворный, гад!

– Каждую уборщицу на водокатке ощупает!

Но Долинский повёл бровью, и все стихли.

– Кто из женщин находился в женской уборной?

– Зорина, гражданин начальник.

– Позвать её сюда!

– Уже смылась, начальник! Такая ждать не будет!

Между тем два самоохранника выволокли на сцену из-за задней кулисы рыжего горбуна. Это было странное существо, с длинными руками и кривыми ногами, с маленькой головкой на большом и плечистом туловище. С жёлтого плоского лица, не мигая, смотрели два крупных безжизненных глаза. Это человекоподобное насекомое было известным в Сиблаге законным вором и **духарем** по кличке Паук.

– За печку сховался и прижух там, начальник! Я думал – швабра! – захлебывался словами самоохранник.

«А не затырена ли за ней мазута», – думаю. Потянул – а это не швабра, а обратно Паук в своей личности! Но вещей под ним не оказалось – уже кому-то успел передать!

Сразу воцарилось молчание: все знали характер Долинского и Паука.

Долинский шагнул вперёд, сунул пальцы за пояс и, расставив ноги, уперся красивыми холодными глазами в мёртвые круглые глаза Паука. Горбатый урка согнулся, его длинные руки почти касались пола.

– Ну? – процедил сквозь зубы опер.

Паук не шелохнулся.

– Что ж ты молчишь? Испугался?

– А я не лошадь, на нуканье хвостом не махаю.

Долинский передёрнулся.

– Это ты снял с Азизова вещи? Где нож, а? Говори!

– Не помню, начальник. У мене обратно некачественная память: всё забываю.

Долинский не спеша закурил английскую сигарету: сладкий аромат повис в воздухе.

– Это не беда. Я твою память исправлю на допросе. Эй, самоохрана! Отвести его на вахту и передать, чтоб сейчас же доставили в Оперчекистский отдел!

– Эх ты, розовое падло! – негромко, с презрением произнёс Паук, глядя куда-то вперёд, – у него нельзя было понять, на кого он смотрит. Да, он был похож на насекомое...

Долинский живо обернулся и посмотрел на урку через плечо, губами играя дымящейся сигаретой. Голова у Паука не поворачивалась на шее и глаза не двигались в глазницах. Медленно, всем телом он повернулся к оперу. Так они уставились друг на друга. Прошла минута.

– Что это ты сказал? Ну-ка, повтори!

– Сказал: ты – падло.

Все замерли. Долинский криво усмехнулся.

– Ах, так... Отсидишь добавочно десять суток. В смирительной рубаше.

На рыжем от веснушек плоском личике Паука мелькнула тень улыбки. Но она не сделала его более похожим на человека. Он облизнул бескровные губы, вздохнул и начал:

– Ты ещё и гад. Значит, двадцать суток? Мусор! Тридцать. Шпана! Сорок. Отброс! Пятьдесят. Подонок! Шестьдесят. Педераст! Семьдесят. Дерьмо! Восемьдесят. Говядина! Девяносто. Фашист! Сто! Ну как, хватит с тебя, паразит? Наелся?

И снова минуту красивые голубые глаза Долинского растерянно смотрели в безжизненные паучьи глаза бандита. Потом не выдержали, дрогнули и опустились. Опер перевёл дух и отвернулся, изо всех сил стараясь сохранить достоин-

ство и самоуверенный вид. Смахнул соринку с рукава. Затянулся и красиво пустил дым над головами безмолвных зрителей.

– Взять! Немедленно ко мне!

Самоохранники потащили Паука к выходу, крича молчаливой толпе: «Разойдись! Дорогу!» За ними зашагал Долинский. Лицо у него было мрачное, губы злобно сжаты, а это по общему нашему опыту предвещало недоброе. Только один Майстрах, совершенно не заметив ничего вокруг, стоял с газетой в руке у карты и с довольным видом расставлял цветные флажки на булавах. Потом свернул газету, стукнул клюшкой и зашагал к выходу, – высокий, прямой, сухой. Зал опустел. Остались одни члены культбригады да человек десять актива из этапников. Все сделали закрутки и с удовольствием затаились.

– Опять не дали довести концерт до конца. Сволочи! Для такого сброда стараемся! – начал Николай Кузнецов и презрительно оттопырил губу.

– Чёрт с ним, с концертом, – отмахнулась Катя. – Мы тут не при чём. Подготовили и ладно – в отчёте будет одной единицей больше. А Пауку сегодня ночью попадёт. Но слов нет – духарь что надо: душок у него есть!

– Подойдите-ка поближе, товарищи, что я вам сейчас скажу! – прошептал Иосиф Израилевич, суфлёр, старый ростовский нэповец и спекулянт, когда-то бывший очень полным, а сейчас выглядевший как человек, по ошибке одевший чужую кожу, номера на три большую, чем надо. – Один инженер с РМЗ, фамилию я вам таки не назову, мне доверительно рассказал, что этим летом Долинский заказал его другу и однодельцу электрический стул, что? Тот сделал проводку на деревянное кресло, всё как следует, и Долинский шуганул его в этап на Колыму. Спрятал концы в воду. Ви мине поняли?

Все сначала сделали большие глаза, потом фыркнули.

– Иосиф Израилевич, – вмешался я, – при прохождении тока тело чернеет: кровь свёртывается в сосудах, от поражённого током идёт пар. Такой труп – улика.

– Пхе, кто здесь сказал про казнь? Долинский себе таки не дурак! Он известный в Сиблаге законник, и Советский Союз – это не проклятая Америка. Электрическое кресло нужно Долинскому для допроса, что? Ток не сильный, и привязанный ремнями человек только дергается, вроде пляшет, а Долинский сидит за столом и особой ручкой регулирует себе своё удовольствие – то больше пустит тока, то меньше. Это же не казнь, а игра – как мишки с кошкой!

Все задумались.

– Да, это на него похоже...

– Наверно, полирует при этом розовые ногти, сволочь.

– Здорово его отделал Паук! Хоть и блатной, а молодчина!

Не нам, контрикам, чета!

– Паук отлежится в изоляторе и на горе нам не пропадёт, – отрезала Катя. – Но зрелище было интересное – красивый скорпион и безобразный ядовитый паук. Две враждующих родственных твари. Тема для следующего стихотворения, а, доктор? – Она задымила закруткой и задумалась.

– Жаль, Катя, что в лучших из них пока нет прока: они опасны до такой степени, что их записывать нельзя, а заучить нет времени – голодный мозг работает медленно. «Песня о Мамлакат Наханговой, девочке на коленях у Сталина» – это шедевр, «Баллада о советских матерях» – тоже. Очень сильные вещи. А результат? Вы прошептали их нам на ухо и сожгли фанерки, мы восторгались и хвалили, радовались за вас, а текст забыли не только мы, но и вы сами. Остаются шуточные, вроде сегодняшнего.

– А разве оно плохое?

– Нет. Но не настоящее, не ваше. Больно думать, что настоящие не дойдут до читателя. Проклятый загон!

Все вздохнули.

– Время идёт! – вдруг вскрикнула Малышка. – Давайте закончим вечер священным танцем!

Все кряхтя взобрались на сцену. Пожилой цыган-гармонист сел на кривой стул и взял тихий аккорд. Все разбились на пары и закружились в вальсе.

– Совсем как в венской оперетке! – довольно пробасил какой-то долговязый этапник.

Но непрерывные повороты слишком тяжелы для истощённых людей.

– Голова кружится! Падаю! – пискнула Малышка.

– Ох! И я! – сказал этапник.

– Степан Иванович, танго!

Цыган тряхнул головой, напустил на вороватое голодное лицо страстное выражение и начал танго – с бурными перекатами басов и необычайно знойной модуляцией одной какой-то высокой нотки, которая мне сразу напомнила лунную ночь в Валенсии, когда я стоял под пальмой, наблюдая, как Аржентина, знаменитая в те времена танцовщица, исполняла прямо на набережной танго для матросов и бродяг. Дамы сбросили телогрейки и старательно изгибались в бессильных руках кав-

леров, у которых дрожали тонкие ноги, но это не помогало: у всех на плечах лежала каменная рука слабости. Это был та-нец храбрых, непокорных привидений. Красноватая лампочка невесело подмигивала кружащимся парам. Все молчали: трудно было держаться на ногах да ещё соблюдать подобие ритма.

– Кто идёт? – вдруг опять проревел за стеной простужен-ный бас часового.

– Товарищ Голод! – в тон ему зарычал Николай Петрович – он был шутник.

– Прррроходи! – хором ответили танцующие.

Но на танцах принято говорить, и, задыхаясь, мы тоже ста-рались поддержать обстановку салонной бездумности.

– И всё-таки мои стихи – не бегство от действительности! – сказала мне Катя. – Это попытка препарировать её скальпе-лем. Когда я ищу формулировку для мысли, то мозг напряга-ется до предела, – ведь нужно втиснуть страницу холодной прозы в считанные слова страстной стихотворной строки. Я работаю для себя!

– А я есть хочу! – неожиданно захныкала Малышка.

Страстно сплетённые руки разжались.

Это было не смешно и не трагично. Это было великолепно. Потому что человечно.

11

В бараке темно, – лишь у печки коптит робкий огонек са-модельной лампы. Под ним клюет носом больной, назна-ченный на эту ночь дневальным.

Тихо.

Но уже в дверях сквозь однообразное сопенье и бормота-нье спящих я различаю из дальнего угла какие-то другие, живые и бодрые звуки. Что там делается? Держась рукой за края верхних нар, я осторожно пробираюсь в полной темноте на странные звуки. На нижних нарах у стены больше чувствую, чем вижу копошащиеся фигуры и чиркаю над ними спичку. Обычно очень неприветливая начальница Набережнова как раз сегодня подарила мне коробочку. Вожу робким дрожащим огоньком и вглядываюсь.

Снизу на меня оборачивается недовольное, потное лицо Петьки. Под ним лежит новый больной, молодой поносник. Он судорожно поводит в воздухе руками и ногами. Припав к нему на грудь, санитар своей здоровой рукой старается отвести руки больного, а другой, искалеченной рукой, душит его: при коротенькой вспышке света я успеваю различить, что един-

ственный страшный палец, как нога осьминога, обвился вокруг тощей шеи, – розовый хобот уже впился в судорожно трепещущее горло.

– Ты что это делаешь, а?

Петька ослабил хватку и отдышался.

– Да вот, доктор... Они, гады, все как есть умирают под утро и ихнее барахло достаётся дяде Васе на сдачу... А ведь каждая тряпка в лагере деньги тянет, она – хлебушек! Поняли? Так я хочу помочь – ему всё равно помирать, а я человек рабочий и нуждаюсь в питании...

Спичка погасла. Петька снова припал к лежащему, – я услышал из темноты предсмертное хрипенье.

– Оставь, гадина! Брось, слышишь!

– Не брошу.

– Брось, говорю!

– Уйти от греха, доктор. Прошу убедительно!

После огонька спички у меня перед глазами в темноте плыли светлые пятна. Я нащупал табуретку и поднял её. Но тяжёлая, грубо сколоченная вещь выпала из пальцев, и я услышал, как острый угол громко тюкнул Петьку, надо полагать, по темени: Петька хрюкнул и на четвереньках пополз прочь.

Я постоял немного, держась обеими руками за края верхних нар. Это был приступ слабости: хотелось не закурить, а лечь на койку и закрыть глаза. Из темноты снизу донеслось слабое лепетанье:

– Спасибо... доктор... спасли...

Я ничего не ответил. Обычный день кончился. Денёк-серячок. Мешанина лиц, разговоров, поступков. Год, прожитый за день от подъёма до отбоя... Жизнь в загоне, где люди всякого сорта насмерть притиснуты один к другому грудь с грудью... С меня на сегодня всего довольно. Отбой был, и я имею право на отдых. И я поплёлся вдоль нар на лампадку дневального. И вдруг вспомнил – нет, мой день пока не кончен: осталось ещё одно очень неприятное дело.

12

Утром Борис Александрович Майстрах после короткого комментария сводки Совинформбюро отвёл меня в сторону и загадочно прошептал:

– Сегодня после отбоя жду вас в кабинке нового барака. Рядом с уже заселённой женской секцией. Очень, очень важное сообщение. Касается лично вас. Приходите точно.

Лицо у него стало очень серьёзным, суровым и многозначительным. Он плотно сжал губы и насупился.

– Зачем такая таинственность? Говорите сейчас!

– Не могу. Будьте осторожны. Вами интересуется Оперчестская часть. Потом всё поймёте.

Он грозно поднял палец и кому-то погрозил в пространство.

По ночам Майстрах дежурил в строящемся бараке, чтобы кухонные истопники и барачные дневальные не растащили доски на растопку. Место свидания обеспечивало секретность, но... Я терялся в догадках... Весь день не находил покоя. В чём дело? У нас нет прав, нет защиты... Лицо у Майстраха было такое значительное... Кто-то донёс?! Возможно! Это Тамара Рачкова, никто как она... И я с ненавистью весь день смотрел на кокетливый домик амбулатории, в окошечке которого иногда мелькала красивая голова. Конечно, за мной водились грешки, – маленькие, как за всяким лагерным врачом, и большие. Очень большие. Из них главным и особо злонамеренным были записки о Норильске. Правда, опасные страницы перетасованы с менее опасными и слиты в книгу, которую я назвал «Три девственности», потому что падкий на эротику лейтенант Фуркулица при обыске мог просмотреть политический характер записей. Эту тетрадь я как-то обещал дать почитать нашему больничному врачу (фамилию не помню), ленинградскому косметологу и острослову. Он зашёл за ней, не застал меня в кабинке и приколот к двери такую записку:

«Трёх девственниц» мне как-то раз
Вы дать пообещали.
Боюсь, что девы возле вас
Остались девами едва ли...

Признайтесь, друг, что это так,
Иначе объяснить чем можно,
Что выполнить такой пустяк
Вам оказалось невозможно!

Эта игривая записка и была наклеена на обложку. Я крепко на неё надеялся, но... Если тетрадь попадёт к оперу, то мои надежды напрасны: Долинский – умный человек. Но сейчас не в этом дело: что мне надо делать именно теперь? Сию минуту? Порвать записки? Порвать?! Я содрогнулся от одной мысли... Один тоненький голосок во мне испуганно кричал: «Рви! Своя шкура дороже – будет она, будут и новые записки!» Но другой суровый голос предостерегал: «Нет, не спеши!

Если Майстрах сексот, то оперу уже всё известно. Нужно узнать, в чём дело, а потом будет видно! Ах, как тянется проклятый день! Хоть бы скорей поговорить!»

Я положил заветную тетрадь на заслонку печной трубы, чтобы в случае прихода Долинского успеть бросить её в огонь, приказал дневальному топить всю до моего прихода и, стиснув зубы, отправился на тайную встречу.

Новый большой барак строился перпендикулярно к старому, в котором я работал. Из окна своей кабинки я видел тусклый свет в окне будущей врачебной приёмной, где сейчас дежурил Майстрах. Другой конец этого барака упирался в больницу № 1, оттуда через поле капусты и картофеля светилось окно в кабинке Тэры Исмаиловны. Я сделал вид, что иду по делу к Таировой, с больничного крыльца осмотрелся, убедился, что обхода надзирателей и шляющихся больных нет, и только тогда, чертыхаясь в темноте, пробрался между грудами досок и кирпича и не без опаски приоткрыл дверь будущей приёмной. Опера и солдат в помещении не было. Я судорожно перевёл дух и стал вглядываться через щель.

Это была большая квадратная комната без потолка – вверх, в полутьме виднелись стропила и настил крыши. Бревенчатые стены уже были обиты колышками, на которых потом будет держаться глина. Посредине на дощатом полу стоял фонарь, вокруг которого виднелся светлый круг, пересекаемый четырьмя полосками тени от жестяных фонарных рамок, в которые были заделаны никогда немытые стекла. Эти четыре тёмные, почти чёрные тени потом, расширившись, помутнев и посерев, поднимались по тускло освещённым стенам и тонули в полумраке крыши. Каждый из нескольких сот вбитых в стены колышков также бросал тень, так что комната от пересекающихся полосок света и тени казалась рябой, странной и фантастической.

Летом я насыпал под пол своего барака бочку хлорной извести, и огромное полчище грязных мокрых крыс и крысят как-то днём, на виду у людей, перекочевало сюда, в это новое жилище. Теперь, когда я вошёл, крысы разбежались по углам, но не убрались в щели, а нагло ощерили на меня хищные морды, и я видел, как их злые глазки искрились и блестели.

Над фонарем, длинный, как столб, с наброшенным на нём тряпьем, торчал Майстрах, внизу у ног освещённый ярко, а выше постепенно делаясь неясной и мрачной тенью, сливающейся с призрачным сумраком пустой комнаты. Только длин-

ный голодный нос освещался снизу, да иногда, при некоторых поворотах головы, поблескивали красным светом два глаза, ввалившихся в глубокие глазницы. Причудливая и большая тень, дважды переломленная, тянулась позади Майстраха по потолку, стене, крыше и повторяла все его движения, как будто бы кривляясь и грозя.

– Подойдите ближе, – загобным шёпотом зловеще приказал Майстрах. – Ещё ближе. Так. Я вызвал вас, чтобы сообщить ужасную весть.

Я замер. Майстрах размеренно, словно читая смертный приговор, начал:

– По распоряжению коллегии ОГПУ НКВД СССР в Москве вам, Дмитрий Александрович,...

– Да не тяните... Скорей...

Майстрах не шелохнулся.

– ...как мне стало известно из совершенно секретных источников...

– Ну?! Ну?!

– ...вам во время сна была впаяна в лоб медная пружина для приёма радиосигналов из Москвы в качестве передвижной установки крупного военно-политического значения.

Майстрах оперся костлявыми руками на клюшку, выпрямился и с достоинством смолк.

«Чтоб ты сдох, проклятый псих! – шипел я себе под нос, в темноте пробираясь по бараку к выходу. – Напугал как, а? Это голодный психоз! Надо срочно попросить у начальницы ещё один больничный паек: у неё сейчас роман с каким-то важным гепеушником из Новосибирска, и она подобрела... Но ведь надо же так естественно подъехать ко мне с таким бредом! Ай да маршал! А ещё утром так логично рассуждал о положении на фронте... Тьфу! Проклятый псих!... Какой мне выдался беспокойный день!»

Но когда я выбрался наружу, вдохнул полной грудью свежую ночную прохладу и с нежностью взглянул на большие осенние звезды, от души расхохотался: драгоценная тетрадь пока в безопасности, шёлковой нити виться всё дальше и дальше.

А Майстрах – милый! Его я включу в свои записки!

13

С тех пор, как я решил собирать материалы для воспоминаний, у меня выработались правило и привычка – вечером на койке подводить итоги прожитому дню. Беглый просмотр

пережитого имел и второй смысл – лечебный: после того, как зимой я получил извещение о гибели матери и жены, у меня что-то сдвинулось в голове. Днём ничего, как будто всё в порядке, а ночью лягу, закрою глаза, успокоюсь – и тут-то начинаю замечать, что ко мне тянется чья-то рука. Обыкновенная рука. Это не было кошмарным сном, а чем-то гораздо для меня более неприятным – бредом наяву: я мог по желанию, не открывая глаз, шевельнуть рукой или ногой, то есть дать себе доказательство, что ещё бодрствую, а рука упорно тянулась то из-за правого плеча, то из-за левого. Иногда появлялись кривляющиеся рожи, а бывало, что и маленькие человечки, прыгающие и шевелящиеся, как черви. Мне не было страшно, но вся эта канитель утомляла. Потом рука, рожи и человечки тускнели, расплывались, появлялись медленно и ритмичнодвигающиеся зеленоватые пятна и наступал желанный сон. «Может быть, это голодный психоз?» – с тревогой думал я. Меня охватывал страх, и в порядке борьбы и самообороны я и устраивал себе просмотр виденного за день, чтобы при этом незаметно погрузиться в небытие.

Светлое утро... Душистая прохлада... Мишка стоит на голове дезертира... Кокнули Колю... Миска с жалобным звоном катится мимо... Таирова... Надо держаться от неё подальше... Сливки... Какой стыд – обворовывать голодных больных! Я держал кружку пальцами, бурыми и липкими от колиной крови... Цыган стоит в воротах, выпятив волосатую грудь на стрелка... Мама Тэра даёт спектакль... Какие страшные у меня больные. Главное, что в бараке нет ни умывальника, ни воды, ни мыла: мы все моемся только в бане три раза в месяц, почти без мыла и воды. Когда я однажды утром поднимал за шиворот травоедов, то вдруг потерял равновесие и стал на четвереньки... Поднялся еле-еле... Через полгода я умру от голодного поноса: при каждом резком движении у меня в штанах выступает капля – ослабели мышцы зажимов... Чихну – капля, споткнусь – капля... Я медленно умираю... Что будет с моими воспоминаниями? Они умрут со мной на радость начальству... Нет, надо жить! Надо выжить! Даша, вольная картотетчица из первого отделения штаба, дала мне перед концертом четыре горячих печёных картошки за баночку губной помады – я успел сделать её из медицинской лабораторной краски и какой-то мази на ланолине. Две картошки я отдал новой знакомой. Зачем? Чёрт знает... Она выпила мои чернила, я раскричался, потом подобрел от раскаяния... У неё простое имя – Анна Михайловна Иванова, но лицо – не-

простое. Чем-то сразу понравилась – на концерте я незаметно любовался её профилем. И чуть брезгливой складкой красивого рта... Породистое лицо... А Пауку сейчас приходится плохо... Наверно, дергается на электрическом стуле... Да, духарь... Избыток, извращение или отсутствие воли? В полусне я пошевелил правой ладонью, в которой давеча держал, как в чаше, горячую маленькую грудь Грязнульки... Грязнулька и её красивые глаза... Нечеловечьи... Да, да... как у Паука! Газельи и паучы, и у обоих – нечеловечьи... И вот среди этих вырожденков приходится жить. А разве это плохо? Ах, какие прекрасные слова написал Эренбург! Как это у него сказано? «Целуя, не могли оторваться от горьких губ»... «В те годы не было спокойного “Так до свиданья!”, но только звонкое, короткое “Прощай!”». И самое главное и верное: «Так читайте ж о нас и дивитесь! Вы не жили с нами – грустите!»

Всякая жизнь – радость, и эта наша – тоже!

Неизъяснимая гордость вдруг переполнила меня: как хорошо, что мне довелось жить в это трудное, жестокое и великолепное время! Там, на фронте, и здесь, в тылу, всюду равно велик и несгибаем советский народ, герой и победитель! Сквозь неопишуемые страдания он пробьётся к счастью! Он достоин счастья! Оно будет!

«А может, ощущение радости – только голодная эйфория? Психоз, как у Майстраха, но только в другой форме? Может, это и есть впаянная мне в мозг начальством медная пружина?!»

Я пощупал себе лоб. Да нет же... Радость будет!

В темноте сказал себе вполголоса: «Так читайте ж о нас и дивитесь!» От душевного подъёма согрелся и успокоился, и незаметно погрузился в глубокий сон...

Глава 2

Зимний день сорок третьего года

1

Утро. Развод. Такая досада: при морозе в сорок градусов и выше на работу не гонят, а сегодня тридцать девять. Проклятый один градус! Подвел, сукин сын... Бригады уже давно

молчаливо мнутя перед воротами – до развода с шумом и криком вывели в этап человек сто подлечившихся работяг и десяток надоевших начальству блатных. Теперь взъерошенные люди, обвязанные полотенцами, обрывками одеял и неведь где добытым тряпьем зябко переступают с ноги на ногу, трут рукавицами лица и кашляют. Все злобно ворчат:

– Один градус... А?! Безобразие!

На снегу, спинами прислонясь к бревенчатой стене вахты, сидят рядом четыре урки: это **порезавшиеся**. Если молодой блатной **заимел** на лагпункте **маруху** или **кореша**, с которым он **вместе кушает**, то есть делится всем, что имеет, то первое, что он делает, когда начальство списывает его в этап, – это идет к амбулаторному врачу с топором под телогрейкой и требует направление в больницу. В случае, когда врач успел спрятаться и в амбулатории кроме старика-дневального никого нет, остается **сунуть** нарядчику взятку. Нечего дать – тогда остаются две возможности: **духарь рубает** голову первому встречному заключенному или, например, возвращается в амбулаторию и **делает** старика-дневального.

Бессмысленность такого убийства считается обстоятельством, облегчающим участь преступника: ему повышают срок до десятки, а за время следствия и суда начальство о нем забывает, и год жизни на лагпункте обеспечен. Но иметь **дух** дано не всякому, и последнее средство – это резаться.

Режутся по особому ритуалу. Обязательно на виду у всех начальников и этапников. Стоя перед уже раскрытыми воротами, режущийся начинает истерически ругаться и рвать на себе платье: этим он себе **нагоняет душок**, примерно так, как пароход поднимает пары. Когда истерия доведена до нужной степени накала, комедиант срывает пояс и обнажает живот, с пронзительным воплем он двумя пальцами захватывает кожу, как можно дальше оттягивает ее, чтобы не прихватить мышцы, и лезвием безопасной бритвы одним размашистым движением разрезает ее вместе с подкожным жировым слоем. Затем картинно падает наземь и изображает дикие боли или обморок. Рана обычно достигает десяти и даже двадцати сантиментов в длину и выглядит страшно: ее края отворачиваются к наружи, струйки крови текут поверх ярко-желтого жира. Такие раны кажутся смертельными, как японское харакири. На самом деле являются безопасным трюком. Теперь дело за начальником: новичок испугается, отставит порезавшегося от этапирования и положит его в больницу;

зверь вызовет фельдшера, заставит обязать живот тремя-четырьмя оборотами бинта и погонит за ворота пешком до станции; разумный опытный руководитель на сей раз отменит этапирование, для острастки помучит порезавшегося на виду у воровской братии, поместит в больницу для тщательного лечения и потом неожиданно турнет в этап, но уже в дальний штрафной, который зачастую означает смерть.

В то время начальником лагпункта у нас был Сидоренко, бывший буденовец, ходивший в папахе набекрень и в полушубке, распахнутом так, чтобы на груди был виден орден Красного Знамени. Работяги его ценили, любили и ласково величали **батей**.

Этап вывели за ворота, и начальник конвоя принялся еще раз пересчитывать людей и проверять большие заклеенные конверты - личные дела. Чтобы использовать время, Сидоренко шагнул к уркам, сидевшим на снегу с распоротыми животами, и громко, чтобы все работяги слышали его, **толканул речугу**.

Подбоченясь и подкручивая лихой ус, он начал:

– Вы, конечно, полагаете, што шея у мене для того, што б я вас, подлюки, носил як вам буде угодно. Вы хотите начальника Сидоренку вести за нос на веревочке, як бычка, по вашей удобной дорожке. Цього не буде! У мене на шее сидыть тысяча честных работяг, которые для нашей геройской армии добывают пшеницу, сало та мясо. Я их на шее ною с удовольствием, бо воны роблять великое дело. Им – честь! А вас, гадюки, Сидоренко загонить на Колыму, чи в Норильск, в таки миста, што и костей ваших никто потом не найдет! Поняли? Доктор, заберыть цю шантропу! Хай не мозолять глаза честным работягам: зашьоте раны и зараз заклычте нарядчика. Нарядчик! Усих порезанных по оказании помощи – в изолятор на хлеб та на воду на пятнадцать суток!

Урки закатали глаза и притворились мертвыми. Я нехотя пошевелил замерзшими губами:

– Сейчас, гражданин начальник, пришлю санитаров.

Ловкого нарядчика Мишку Удалова за месяц до этого случая амнистировали и забрали в армию. Новый нарядчик, долговязый хулиган по кличке Кот, отличался грубостью и глупостью. Он наклонился над сидящими урками и пнул одного валенком.

– Могут идти на своих двоих! Пошли!

И стал за шиворот поднимать их на ноги. Притворяться было бесполезно.

– Не научился жить в лагере? Так сегодня узнаешь, сука! – процедил сквозь зубы последний из порезавшихся, Васек-Хромой, поднимаясь сам и прикрывая ладонью залитый кровью живот. – Тебе, видать, жить надоело, продажный ты гад!

Все четверо побрели через занесенные снегом цветочные клумбы в хирургическую больницу. Затем развод пошел как обычно: укутанные в тряпье фигуры рядами выходили за ворота, там их окружали стрелки и собаки, одна за другой бригады выслушивали недоброе напутствие «шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой стреляет без предупреждения. Слышали?» Несколько хриплых голосов нехотя отвечало: «Слышали! Вперед», – бодро командовал начальник конвоя, и бригада погружалась в синюю ледяную мглу.

Когда последние работяги вышли за зону и плац опустел, дежурный надзиратель в тяжелой дохе до пят стал медленно закрывать запорошенные снегом ворота, а перед вахтой с калиткой собрались бесконвойники и отсидевшие срок освобожденные. Бесконвойники – это оканчивающие изоляцию уголовники, обычно из хулиганов (настоящие урки своего срока никогда не кончают) и бытовики, которые по легкой статье вообще быстро получают право работать за зоной без конвоя, например, отбывающие год-два наказание за халатность или нарушение каких-либо административных правил. Это были, в основном, возчики, поддерживающие связь лагпункта со складами в Мариинске, – сытые, наглые скоты в добротных полушубках, под которыми были спрятаны украденные за ночь вещи.

– Ну как, доктор, водочки из Мариинска не надо? Давай деньги, к обеду ставлю поллитровочку! – задорно крикнул мне Валька Романов, красивый парень в ухарски надвинутой набок ушанке, из-под которой пушился белый от изморози чуб. У него были удивительно красивые глаза – небесно-голубые, веселые и дерзкие. – Начальник, разреши привезти доктору поллитровочку!

Сидоренко открутил сосульки с бровей и усов и отвернулся:

– Не чипляйся до мене, а то враз заработаешь, Романов: я шутковать при исполнении обязанностей дуже не люблю! Понял?

– Не обижайся, батя, я шуткую любя, очень тебя обратно уважаю! – с насмешливым почтением ответил хулиган и за спиной начальника соорудил насмешливую рожу. – Ну, пошел, чучмек!

Он потащил к проходу вахты маленькую закутанную фигурку.

– Али, что ж ты, и попрощаться не хочешь? Валька, оставь его! Дай руку, Али! Ну, желаю здоровья и счастья в жизни! Больше ложек в столовке не воруй!

Али поправил заиндевевшее тряпье на лице – из узкой щели показался длинный красный нос и большие черные грустные глаза.

– С воровством кончено, доктор. Ложка мне обошлась непомерно дорого! Прощайте, желаю скорого освобождения! Анне Михайловне передайте привет!

Али снял рукавицу и протянул руку. Потом поколебался и вдруг порывисто обнял за плечи.

– Спасибо, доктор!

Он задохнулся от волнения и мороза.

– За что?

– За дружбу... За человеческое отношение... Как отец родной вы были... Поддержали... Спасибо...

Я потрепал его по голове – поверх шапки он повязался дырявым полотенцем и выглядел, как старый замшелый гриб.

– Что ты, дурачок! При освобождении радоваться надо, а ты плачешь! Вернешься в Ростов, окончишь вуз, будешь человеком! Все забудется – Сибирь, ложки, лагерь... Все!

– Никогда, доктор! – твердо отрезал маленький человечек. – Сколько хороших людей здесь оставляю – товарища Абашидзе, вот и вас, и Островского... Никогда не забуду!

Надзиратель крикнул от калитки:

– Эй ты, освобождающий, пошел на волю! Заговорился – не выпроводишь! Садись в сани. Романов, прихвати его до станции в Мариинск! Пошел, ну!

– Торопитесь, господин вольный гражданин! – Валька Романов за ворот протаскил маленького человечка через калитку, надзиратель засунул обледенелый засов – и все было кончено.

Можно было идти завтракать.

2

«Я с ней кушаю»... Я повторил себе эту лагерную фразу и улыбался от счастья: только заключенный понимает ее большой внутренний смысл. Для вечно голодного лагерника еда – праздник, и как хорошо, когда три раза в день можно праздновать вдвоем!

Вот и для меня одиночество кончилось: у меня есть человек, с которым я отныне сажусь за стол. Я стою на разводе в любое морозное утро и знаю, что в теплой амбулатории уже

хлопочет Анна Михайловна: на плитке, среди кипятящихся шприцев и декоктов, греется два котелка с нашей баландой и пекутся ломтики хлеба. Сейчас я зайду на кухню № 2 и, может быть, получу лепешку, а то и две – Марья Ивановна, повариха, немолодая женщина с доброй душой, меня подкармливает.

– Я вас видела в окно и уже все подала на стол! – встречает меня Анна Михайловна. – Садитесь! Надо побыстрее позавтракать!

Она ничего другого не говорит – садитесь, мол, и все, и если бы я был слепым, то на этом бы разговор и кончился: но я не слепой, я вижу ее глаза, сияющие тихим светом радости, и понимаю, что не в еде дело: мы едим вдвоем, нас двое, мы не одиноки, для нас одиночество кончилось! И мои глаза, вероятно, говорят это же, и мы садимся около котелков с серой дурно пахнущей жидкостью, в которой плавают гнилая капуста, обрезки турнепса и черная мерзлая картошка, и начинаем наш маленький пир. Мы сидим в процедурной, на трех топчанах, покрытых чистыми простынями. Нас три пары, каждая разложила около себя котелки, хлеб и разные добавления к пайку. Рядом с нами едят Коля-Медведь с Галькой и Тамара со Степой, молодым летчиком, сидящим за то, что на фронте он похвалил немецкие авиационные моторы; он работает на РМЗ механиком. Коля молча сопит, как и полагается медведю, Анна Михайловна и я разговариваем глазами без слов, Степа печально жует печеный турнепс, принесенный им с завода, Тамара снисходительно беседует со своей служанкой.

– Сегодня ночью во время обхода ты так стонала во сне, Галька, что Плотников отворил дверь и заглянул к вам в приемную. Говорит, что ты плакала и материлась.

Галька подняла большие и светлые глаза.

– Точно. Переживала. Мне все видится он.

– Медведь?

– Да куда там... Он, понятно? Зверь, которого я под Ташкентом утопила в арыке.

– Зверями блатные называют среднеазиатских нацменов, – пояснила Тамара Степе; тот ничего не ответил. – Ну, так как же ты его отработала, а, Галька?

Докончив один котелок, Анна Михайловна и я принялись за второй.

– Мы задержали за городом колхозную почту. Ребята ножами пришили кучера и охранника и стали забирать мазуту. А почтальон, хромой старик, со страху прыгнул в арык, увяз

по пояс, стоит и обратно ревет. Черный такой, с белыми усами, правильный зверь. «Сделай его, Галья, начисто, а то он всех нас потом завалит!» – подал голос Толик-Селедка, – он у нас, конечно, был за главного. Я тоже прыгнула в арык, а дно там – самый ил, ноги вязнут, и стоять трудно. Подобралась к старику, тяну к нему руку с ножом и качаюсь, а он, значит, обороняться собрался, тоже навстречу тянет руки и качается. Смотрит на меня, слезы по черным щекам обратно бегут, он все повторяет вроде во сне: «Минэ жалеть надо, девушкам, – восемь у минэ детишкам! Минэ жалеть надо!» Я его никак не ухвачу, оба болтаем руками по воздуху, и он плачет и повторяет: «Восемь детишкам, девушкам». И тут я качнулась и обронила в воду нож, а зверь хотел слезы с глаз смахнуть, чтоб лучше видеть, поднял обе руки и вконец потерял равновесие – упал, стоит коленями в тине, только черная голова с воды торчит. Я его сгребла за уши и лицом пригнула в воду. А он руками мои руки от своих ушей отрывает и лицо из воды всю дорогу нахально поднимает – уши-то у него мокрые, скользкие, вроде намыленные, никак их не ухватишь.

– А пышек нет? – шепотом спросила Анна Михайловна.

– Нет.

– Жалко.

– Да, – тоже шепотом ответил я, – как видно, и не будет. Жалко, конечно.

– Помолчите, товарищи, не перебивайте! Галья, рассказывай дальше! Люблю, знаете, блатные рассказы: с перчиком истории, их равнодушно слушать нельзя. Бери этот пирожок, Степа. Галья, давай свой блатной роман.

У Гальки глаза были особые – как у побитых собак, безнадешных пропойц и привычных убийц. Потерянные глаза. С каплей нечеловеческой муки. Она виновато, как-то криво улыбнулась.

– То есть, понимаете, Тамара Матвеевна, я его окуну, он забулькает пузырями, задержается, еще бы минутку подержать лицо в воде и все тут, но тут евойные уши из моих пальцев нахально скользнут, и он опять свое: «Восемь детишкам... Девушкам... Минэ жалеть надо». И все в глаза мне смотрит... Замучил, зверюга! Тут Серега прыгнул в арык и стукнул его по кумполу рукояткой шпалера, зверь в воду окунулся, я подержала голову под водой пару минут, отпустила, гляжу – не всплывает. Думаю – все! Но нет, оказалось обратно не все...

– Ешьте теплые хлебные палочки, это вкусно, – шепнул я Анне Михайловне. – Эту ешьте тоже – я на разводе съел варе-

ную морковку. Половинку, но большую. С палец. Ешьте, пожалуйста.

Галья подняла опущенную голову.

– Мы счастливо смылись. Завалились и сели уже опосля, по другому то есть делу. Потом открылось и это с ограблением почты, и мне за зверя особо добавили. Если по человечности подумать – я с ним в полном расчете. Но вот же судьба: евоянные глаза мне являются в ночи, то есть проснусь и вроде слышу: «Восемь ребятишкам, девушкам. Минэ жалеть надо»... Тьфу, думаю поутру, привязался старик! Крестик в РМЗ заказала, вот ношу на шее – не помогает. С чего бы такая нахальность? Выпью – еще хуже! Жизнь мою молодую этот старик как есть спортил: нет мне спокойствия или, как бы это выразиться, радости! Убил меня заживо энто гадский зверь!

Галья потупилась. Тамара обвела слушавших смеющимися глазами:

– Тебя просто бог наказал, Галья! Тут крест не поможет! – и с напускной набожностью вздохнула: Ну, давай начинать прием, в передней уже толкуются люди! Пошли!

– Когда-нибудь будет странно вспомнить наши встречи за едой, – проговорила Анна Михайловна, когда мы остались одни. – Я старалась не слушать и не видеть Гальку. Но как же быть, если у нас есть уши и глаза, которые слышат и видят помимо нашей воли? Галья – это лагерь. Из него не выскользнешь вон по желанию...

– И все-таки теперь он потерял над нами былую силу. Нам стало легче. Разве сегодняшний завтрак это то же, что вы чувствовали в распреде, ползая у ног Рачковой с половой тряпкой? Ведь появились минуты, когда мы забываем лагерь. И это – главное! Теперь о делах наших. Сегодня я по дороге с развода зашел на кухню к добрейшей Марье Ивановне, но она поджала губы, отвернулась и через плечо отрезала: «Пышек не будет». И стала молча крошить турнепс. Что бы это означало?

Анна Михайловна покачала головой.

– Вы напрасно считаете ее добрейшей. Она расчетливая женщина. И все.

Мы стали пить горячую воду, чуть-чуть макая языки в торбочки с сахарным песком.

– На что же она рассчитывает?

– На вас. Странно, что вы это не понимаете.

– Гм...

– Вот вам и гм! Вчера вечером она меня отозвала в сторону и спросила: «Скажите прямо, вы намереваетесь жить с Бы-

стролетовым?» Я смутилась, ответила, что не думала об этом. «А не думали, – ответила она, – так не мешайте другим. Не путайтесь в ногах. Вас я кормить пышками не намерена».

Мы помолчали.

– Теперь я понимаю. Вчера вечером, очевидно, до разговора с вами, она зашла сюда и попросила осмотреть ее. Говорит: «Возьмите дверь на крючок!» Я стал искать стетоскоп на столе. Оборачиваюсь – она стоит голая. Спрашиваю: «На что вы жалуетесь?» Она удивленно посмотрела на меня, пожала плечами и отвечает: «Ни на что». Стало очень неловко. Она оделась и ушла. Я не знал, что означал этот приход.

– Смотрины. Она показала товар лицом. Ну, и каково ваше впечатление?

Я засмеялся.

– Мне жаль пышек!

3

После завтрака мы расходимся по рабочим точкам: Анна Михайловна, как работяга III группы работает мойщицей в баню, где она, а я спешу в свой барак – у нас сегодня банный день.

В бараке необычное оживление: Буся-Казак, Петька и дядя Вася одеты в телогрейки и шапки, больные выстроены в ряды и разбирают дополнительную одежду из кучи активированного тряпья у выхода. Тут же заготовлена пустая параша, сквозь ушки которой уже просунута палка. У Буси через плечо сумка скорой помощи с красным крестом, Петька держит на плече свернутые носилки.

– Доктор, а где мы будем обедать?

– Хлеб брать с собой можно?

– Дмитрий Александрович, спрячьте себе мой крестик!

Я быстро отвечаю на все вопросы, потом несколько раз громко хлопаю в ладоши.

– Тише! Тише! Все приготовились? Вперед!

Двери распахиваются настежь, навстречу клубам морозного пара наголову разбитая жизнью армия смертников выступает в поход. У больных теплых вещей нет, поэтому с первых холодных дней они не выходят гулять. Теперь, выйдя на крыльцо, все жмурятся и с удивлением смотрят на светлое небо. Но задние напирают, и лохматый Змей Горыныч медленно выползает вон и, извиваясь по дорожке, начинает ползти к бане.

Кто посильнее, идет сам, растопырив руки для равновесия и раскачивая свисающие с плеч лохмотья. Более слабые идут

взявшись под руки по три, совсем слабых ведут за талию мои помощники и я сам.

Голова лохматого змея уже вползла в дверь бани, а тело еще вьется по дорожке из дверей барака. Наконец, показываются дневальные с парашей и Буся с сумкой скорой помощи. Он подбирает двух упавших, отводит их в баню и потом вместе с Петькой бежит назад в барак. У крыльца уже стоят широкие розвальни, в которые запряжена полудохлая и полуслепая кляча по имени Чемберлен. Теперь она пушится от белой изморози и уныло дрожит рядом со своим поводырем, кривым казахом Алтынбаем. Начинается вынос и укладка не ходячих: их кладут на слой грязных рогож и потом прикрывают рогожками сверху. Потом кляча начинает дергать возок вперед и кое-как дотягивает до крыльца бани.

Ну, все доставлены. Сто человек по счету. В предбаннике – невообразимая давка и крик. Кто-то упал и не может встать, в одном углу уже вспыхнула драка, один маленький поносник не успел добежать до параша и одноглазая чувашка Васена, старшая уборщица, уже ладонями сгребла жижу с пола и в наказание измазала ею лицо провинившегося. Тот покорно стоит, моргает и плачет. Зрители довольны: это – лагерный спектакль. Раздевшиеся нанизывают свою одежду на тяжелые железные кольца и партиями сдают их прожарщику, татуированному татарину Мухамедзянову, для обработки жаром в дезинсекционной камере. Постепенно делается просторнее – часть больных выведена в моечную комнату. Тогда начинается стрижка. Молодая эстонка Луиза, выдающая себя за супругу таллинского буржуазного министра, садится на скамью у замерзшего окна и открывает прием. Вокруг нее – голая толпа, все спешат поскорее отделаться от неизбежного мученья. Луиза хватается очередную жертву за член и начинает тупой щербатой бритвой скоблить лобок и мошонку.

– Не крути так, Луиза! – стонет больной. – Оторвешь!

– Давай, давай, выкручивай с корнем, он ему уже не нужен! – хором кричат зрители. Слышится смех: больные не ходят в КВЧ, баня раз в десять дней – их единственное развлечение. С левой руки у Луизы – ведро с мыльно-карболовым раствором; выскоблив несчастного, она большой кистью мажет ему лобок вонючей жидкостью.

Между тем в моечной Анна Михайловна раздает мыло – кусочек в десять граммов и теплую воду – пол шайки, примерно литра три-четыре. Сегодня она спокойна и работает без напряжения: полуживые больные не спорят, ничего не

требуют и довольны тем, что дают. Иное дело – рабочие РМЗ: они приходят, черные от копоти. Им дают по шайке кипятка и по кусочку мыла вдвое большему, но разве можно отмыть сажу с машинным маслом одной шайкой воды? Рабочие волнуются, спорят, требуют, а больше давать нельзя: нет дров на подогрев, надо выполнить норму расхода воды на определенное число вымытых. Но все знают, что зав баней ворует дрова и мыло для кухни в обмен за лишний черпак супа или ломоть хлеба. Отсюда и раздражение, а спорить с уголовниками – опасное дело: маленькая незащищенная женщина сидит между голым разъяренным хулиганьем и только и ждет, когда ей плеснут в лицо кипятком или ударят по голове тяжелой деревянной шайкой.

Тепло плохо переносится слабыми: около Луизы толпа редет, а около Буси, который открыл прием на соседней скамье, уже лежит несколько человек. Моя задача – следить за временем прожарки: прожарщик норовит сократить его и сэкономить дрова, а мне положено отвечать головой за вшивость, и тут мы не можем обойтись без жестоких стычек. Но вот смрад и жар усиливаются: Мухамедзянов швыряет на пол первые партии дымящегося барахла, а из моечной появляются первые вымытые больные. Начинается раздача белья. Хорошенькая прачка Шурочка, сидящая за мошенничество и спекуляцию, старается под видом белья сбыть активированное тряпье, потому что краденое белье выносятся за зону бесконвойниками и охотно раскупается в колхозах, несмотря на клейма: все вольное население в деревнях вокруг лагерей ходит в лагерном белье и обмундировании. Поэтому дядя Вася не спускает глаз с ловких шурочкиных рук: ему отвечать, а больному все равно, он напялит на себя любую рухлядь. Больные не способны к самозащите. По существу инвалидный контингент – это лакомая пища для всех **дядей** и обслуги зоны – каптеров, поваров, учетчиков: где умирающие – там и нажива.

Наконец, Анна Михайловна выходит в предбанник, вытирает лицо мокрым кусом марли и устало садится на скамью. Раздача воды и мыла закончена. У меня налажена прожарка и подача первой помощи. Минут сорок у нас свободны. Я этого ждал. Мы усаживаемся рядом в углу, подальше от уже полной парашаи, и начинается тихая беседа под шумную брань, стоны и крики и с каждой минутой растущий жаркий смрад.

Кругом крошечный ад, но мы одни. Может быть, для нас это земной рай? Может быть...

– Пора нам ближе знакомиться друг с другом, – тихо говорю я. Край моей ладони прикасается к краю ее ладони, и оба мы чувствуем это легкое прикосновение. Другие ничего не видят и не знают – для них мы просто сидим на скамье рядом и устало опираемся в нее руками.

– Пора, – соглашается она.

– Начните вы. Расскажите о себе, о своей семье, детстве, юности. Все, что сможете и захотите сказать. Сделайте шаг мне навстречу.

Недолго раздумывая Анна Михайловна начинает:

– После окончания Донского политехнического института в Новочеркасске...

– Погодите, – прерываю я. – Вы отрезали детство и юность!

Опять она бойко, как по шпаргалке, строчит:

– Я родилась 26 декабря 1902 года в посаде Новая Прага Александрийского уезда Херсонской губернии, в семье...

Но я сделал тот же останавливающий жест рукой:

– Снова не то! У вас получается заполнение анкеты. Поймите: мы хотим лучше понять друг друга, а человека характеризуют не формальные данные, но мелочи быта, особенности среды: мы с вами их производное. Начните издали, расскажите, что представлял собой этот посад, как выглядел ваш дом, какими вспоминаются дедушка и бабушка, родители, братья и сестры. Расскажите о муже и дочери. Кончите – вот и будет рассказ о себе и добавлять придется, вероятно, немного. Ну, разбегитесь и начните в третий раз!

Видимо, для того, чтобы сосредоточиться, Анна Михайловна несколько минут молчала. Я ждал. Наконец она медленно, совсем другим голосом повела тихий рассказ, слегка отвернувшись, чтобы пристальней взглянуть в свое прошлое сквозь облака банного пара.

4

– Представьте себе начало нынешнего столетия и богатейший уголок старорежимной Украины – черноземный край с великолепным климатом. Сытый, зеленый, чистенький помещичий городок с дворянским клубом, офицерским собранием, богатыми церквями и благоустроенными гимназиями. В городке стоят кавалерийские полки и множество выложенных офицеров красуется на тенистых улицах. Городок уютный и тихий, но совсем не сонный. На мощеной булыжником площади – царский дворец и обелиск с чугунным земным шаром и парящим над ним двуглавым орлом: он воздвигнут дворян-

ством и полками в память августейшего посещения. На главной улице – лавки еврейских коммерсантов в котелках и длинных сюртуках, с отменно учтивыми приказчиками и уймой товаров, выписанных из Одессы и Варшавы, Вены и Парижа. Мимо катятся взад и вперед лакированные коляски с наряженными дамами, в вековом парке чинно прохаживаются воспитанные дети с гувернантками, а по тротуарам стучат каблучками горничные с коробками и пакетами в руках. Вечером в парке играет военный оркестр, а на бульваре шумное гулянье – променады и показ нарядов.

В городке несколько банков – Дворянский, Крестьянский и Коммерческий, немало государственных учреждений и господ чиновников, здесь в собственных удобных особняках заканчивают век отставные полковники и два генерала. Домики служилого люда всякого положения кольцом окружают городские дома ближайших помещиков, а сам городок теряется в необозримых тучных полях, оживленных живописными деревеньками с белыми мазанками, яркими мальвами в сачках и поливными горшками на плетнях. Довольно? Ясна ли декорация для первого акта моей человеческой комедии?

Рассказчица перевела дух и слабо улыбнулась.

– Вполне, – ответил я. – Продолжайте!

– На главной улице стоит полтораэтажный просторный каменный дом – белый с зелеными ставнями, а при нем – флигеля, службы и сад. Если войти в широкие железные ворота, то сразу предстанет все внутреннее устройство: направо – высокое барское крыльцо и веранда, дальше по кругу двора – большая кухня с помещением для женской прислуги, кладовые, амбары, ледник, рядом – конюшня и каретник с помещением для мужской прислуги. За ними – барский сад с беседкой, дорожками и клумбами – он спланирован лет сто тому назад проезжим садовником-англичанином, а цветочные клубни и семена выписываются из Кременчуга от представителя голландской фирмы. Справа от входа – флигеля, которые снимает лучший в городе портной, лысый маленький господин Гидаль Мельснер, – он живет тут же с семьей и подмастерьями. Это и есть вольготное гнездо, из которого я выпорхнула в широкий мир. Казалось, оно было свито на веки.

– Гм... Казалось... Но продолжайте, пожалуйста!

– Продолжаю. Летнее утро. На высокое крыльцо выходит Старый Барин или барин Александр Борисович, – в фуражке с белым верхом и красным околышем с кокардой, в чесучовой поддевке и сапогах; в руках у него хлыст. Это высокий и сухо-

щавый, розовый и голубоглазый старик, гусарский ротмистр в отставке. У него роскошные седые усы с пышными подусниками. Барин начинает медленно спускаться, а за углом конюшни этой минуты уж давно ждут конюх Серафим и кучер Нечипор. В те времена барские кучера и конюхи ценились по наружному виду – они должны были быть заросшими до полного звероподобия, с чудовищными бородами, гладко расчесанными большими деревянными гребнями. Серафим с расвета до блеска начистил коней и теперь выводит их по очереди к крыльцу деревянным солдатским шагом.

– Здравия желаю, барин Александр Борисыч! – рычит он, от усердия выпучив глаза.

Старый Барин внимательно щурится и небрежно похлопывает хлыстом себя по сапогам.

– Здравствуй, Серафим!

– Здравия желаем, барин Александр Борисыч! – хором хрипят и вытягиваются Нечипор, отставной унтер Иван – пильщик дров и уборщик двора, и Парфен – ночной сторож: он не может пойти спать, не поздоровавшись со Старым Баринком – ведь старик тоже отставной гусар.

– Здравствуйте, ребята! – четко и приветливо отвечает Александр Борисович.

Начинается неспешная церемония осмотра лошадей, поглаживания по крутым крупам, ласкового щекотания за ушами и кормления с ладони кусочками сахара. Кони радостно ржут и от удовольствия смеются. Подается двуколка и Александр Борисович уезжает. У него много дел – земля, на которой зреет урожай, люди – управляющий, счетовод и объездчик, уже набирающий по окрестным деревням десятки крестьян для уборки урожая, и городская недвижимость, требующая летнего ремонта: Александр Борисович женился весьма выгодно, невеста принесла в приданое ряд построек на главной улице, в них помещаются лучшие магазины.

Вечером вся семья забавляется – старшие – в клубе, дети с гувернанткой – у большого круглого стола под лампой с зеленым абажуром, а возвратившийся с объезда своих владений Старый Барин еще долго стоит в кабинете с сигарой в зубах перед высокой конторкой и внимательно просматривает колонки цифр.

Когда урожай будет снят и продан еврею-скупщику, Александр Борисович вдруг обнаружит у себя какую-то болезнь и исчезнет на месяц-два лечиться в Петербург и в Москву. Он деловой человек и веселый гуляка, умеет ладить с мужиками

и рабочими, но богатую помещицу Марию Евстигнеевну за несколько неосторожных колких слов обидел насмерть, назвавши Евстигнеевной свою новую выездную кобылу. Таков был мой дед.

Бабушку в доме не любили. Это была красивая старушка, как будто отлитая из полупрозрачного фарфора, — маленькая, стройная, всегда одетая по последней моде. Все время, свободное от визитов и вечеров в клубе, она посвящала уходу за собой и примериванию платьев. С утра, затянувшись в корсет, она являлась к столу в кружевах и лентах, как бы спускалась с неба на землю специально для того, чтобы с обидным высокомерием доказать окружающим свое подавляющее превосходство. Мужа она не любила за равнодушие, к сыну относилась холодно за слабоволие, сноху презирала, как бесприданницу, нас, детей, просто не замечала. Когда мы подходили к ручке, бабушка нарочно путала наши имена, чтобы досадить маме. Она никогда не повышала голос, и все-таки весь дом ее боялся.

Сын Мишенька, или Молодой Барин, окончил Новороссийский университет в Одессе и Строгановское училище в Москве. Мишенька — добряк, щеголь и даровитый лентяй. Он носил ботинки на очень высоких каблуках, чтобы не казаться ниже жены, и закручивал кверху нафабранные усы, чтобы походить на отца в годы его молодости. Мишенька брался за все и ничего не доводил до конца. Стал присяжным поверенным и обставил себе солидный рабочий кабинет с сотней толстых книг на полках, но дальше этого дело не пошло, и юриста из него не получилось. Занимался живописью и иногда целыми днями тер краски по примеру прославленных мастеров Возрождения, но всегда писал только голову Христа в терновом венце и поэтому художником тоже не стал. Установил связь с революционерами-подпольщиками и открыл собственный книжный магазин для прикрытия конспиративной квартиры, но был раскрыт и лишен права распоряжаться имуществом. Любил во фраке и цилиндре посещать церковь и дворянский клуб и подметать двор босиком и в кумачовой косоворотке. Всерьез его не принимали ни дома, ни в клубе, ни в церкви, ни среди революционной молодежи: он остался на всю жизнь только милым Мишенькой.

Моя мать, Елена Лаврентьевна, славилась в городе зелеными глазами и иссиня-черными волосами: она считалась признанной красавицей. Это была очень занятая женщина: блистала на балах, устраивала благотворительные концерты, по-

печительствовала в женской гимназии и дирижировала народным хором, пела, играла на любительской сцене и очень толково руководила домом. Любила парадные верховые прогулки с офицерами и амазонки предпочитала из алого бархата, а шляпки – черные, с белым страусовым пером. Дедушка ее очень ценил и любил: она была его деятельной помощницей, а после смерти Старого Барина возглавила семью. С бабушкой мама поддерживала состояние вооруженного нейтралитета. Летом обе дамы вместе уезжали лечиться – в Карлсбад или Баден, а на обратном пути обязательно останавливались в Варшаве.

Нас было четыре сестры. Воспитывала всех гувернантка Леонарда Иоановна и старая няня Варварушка, выходившая Мишеньку и являвшаяся третьей разумной головой в доме. Сестра Лида была старше нас на несколько лет и находилась на особом положении: она была предметом сумасшедшего обожания со стороны отца – ей позволялось решительно все, даже дерзкие выходки и издевательства над маленькими сестрами.

В общем, семья жила спокойно и тихо. Вечерами прочитывалось множество журналов, газет и книг, и никто из нас не чувствовал себя провинциалом. Мерное течение времени нарушалось только громкими городскими скандалами и семейными драмами. Помню взрыв страстей, вызванный поездкой мамы купаться в имение, – у нас там был пляж на тихой речке, там ее и обнаружили в обществе молоденького уланского корнета; потом дедушка отнимал у папы крохотный блестящий револьверчик. Помню смерть дедушки: у него был рак языка, говорить он не мог, и когда явился священник для свершения обряда исповедания и отпущения грехов, и бабушка по этому случаю произнесла несколько язвительных слов, то умирающий улыбнулся, вытянул руку и торжественно показал ей кукиш. Теперь вы достаточно знаете о нашем городке и доме, и я перехожу к рассказу о себе. Можно?

Я кивнул головой.

– Я росла бойкой девочкой. Помню неприятность, вызванную попыткой всерьез подражать старой няне: я набрала в саду большой ворох цепких репьев, усадила детей реба Мельснера в длинный ряд и всем по очереди старательно втерла в густые кудри репы вместо мыла. Мадам Мельснер упала в обморок, детей побрили, а меня очень больно, и не в последний раз, отшлепали. Когда подросла, то играла только в солдаты и подговорила одного робкого мальчика взорвать

наш дом: мы разрядили дедушкины охотничьи патроны и положили порох под веранду; этим едва себя не изувечили, а веранда благополучно сгорела.

Позднее я научилась скакать верхом по-мужски и к началу первой мировой войны стала одной из лучших и наиболее необузданных наездниц в городке, где помещицья молодежь понимала толк в верховой езде. Училась небрежно, но хорошо. Когда началась война, то в возрасте двенадцати лет потихоньку от родителей подала прошение великому князю Николаю Николаевичу о направлении меня на Кавказский фронт; особым любезным письмом великий князь через своего адъютанта отказался от моих услуг.

Потом грянула революция. Наш городок переходил из рук в руки. Мимо моих окон, иступленно размахивая клинками, скакали гетмановцы, петлюровцы, красные, белые и опять красные, снова белые и опять красные, а между ними – банды самозванных батек и атаманов. Мне шел шестнадцатый год, когда я начала привыкать к виду крови и убитых, к стонам раненых и умирающих.

Именно тогда у меня начал складываться определенный характер – иногда он был удобен для семьи, иногда нет. Во время петлюровцев к нам вдруг прибыла сестра Лида со своим мужем, шикарным ротмистром Левушкой. Они с блеском показали семье и всему городку очарование старого режима. Но петлюровцы в одну ночь бесшумно отступили и на смену им, до прихода красных, в городок ворвалась очередная банда. Начались пожары, грабежи и убийства. Тут-то и сказались характеры: папа срочно заболел и слег, Лидочка с истерической поспешностью бросилась упаковывать в сундуки фамильные ценности для вывоза их в более безопасное место, то есть к себе, и потом удачно исчезла с добычей, мама металась по дому с ревущими детьми и ломала себе голову, откуда достать к обеду хлеб, а галантный Левушка снял лакированные сапоги с серебряными шпорами, переоделся в оборванное платье, брошенное поварихой, и улизнул из города под моим личным руководством. Я, рискуя жизнью, вывела его на большак под самым носом пьяных усатых бандюг. Примечательно, что Левушка, всегда считавший стратегией единственно интересной областью военного дела, в этой суматохе показал свои недюжинные способности: он сбежал не к отступающим петлюровцам, а к наступающим красным, стал у них штабистом, а впоследствии, в звании орденоносного полковника, преподавал в одной из наших академий.

Так произошел незаметный распад семьи, в частности, мой выход из нее: родители сочли вполне естественным, чтобы их шестнадцатилетняя девочка рискнула своей жизнью для спасения жизни мужа обожаемой Лидочки. А я этого не забыла и не простила. Позднее, когда я была расстреляна, но не убита, ни отец, ни мать, ни сестры не оказали мне помощи: я оказалась брошенной на произвол судьбы, каждый из моих близких был занят своими делами. Под ударами обстоятельств мы стали друг другу совершенно чужими. Вы понимаете, что и здесь, в Суслово, поэтому я не получаю от них ни писем, ни помощи.

Переход от безмятежного благополучия к тревожной нищете совпал у меня с переходом от детства к юношеству: он свершился незаметно для меня самой. Впервые я осознала себя в этом мире именно как неимущая, и это имело для всего последующего большое значение. Я и теперь помню помещичий дом и могу во всех подробностях описать его, но в мое сознание не укладываются три слова: «я – дочь помещика». Я?! Не может быть! Какое мне дело до помещиков, если уже в этом доме не туманные детские, а отчетливые юношеские воспоминания у меня связаны с голодом и холодом, копилками и самодельными тапочками на веревочной подошве? Каждый человек отвечает только за свои разумные действия, а я, как разумное существо, ни одной минуты не была помещицей.

Дедушка и бабушка к этому времени умерли, отец, нагрузив на крестьянскую арбу тридцать три тяжелых тома Свода Законов Российской Империи и множество мольбертов и палитр, отбыл в Елизаветград, где первый раз в жизни занялся делом – стал маляром, мама жила тем, что перепродавала купленные у знакомых крестьян яйца, младшие сестры питались морковным чаем и кукурузными лепешками, прислуга разбежалась, землю взяли себе крестьяне, торговые помещения, переставшие приносить доход, стали ненужными, наш дом был посильно разорен борющимися сторонами – белыми за то, что отец считался революционером, а красными – потому, что он слыл генеральским сыном, хотя ни то, ни другое не соответствовало действительности.

В то страшное время шатания и растерянности мне исполнилось семнадцать лет: я получила аттестат зрелости, хотя зрелость пришла позже казенной бумаги. Я была постоянно голодна и не верила в своих родителей: они растерялись и топтались на развалинах старого, а мне хотелось действо-

вать и идти вперед. Однажды под окнами прошел красный конный отряд матроса Несмачного, боровшийся с батками и атаманами. На площади среди бойцов я неожиданно узнала знакомое лицо – Степана Чиркина, рабочего с паровой мельницы: когда-то он привозил нам муку и крупу. Степан дал мне поесть и объяснил, что они воюют за правду. Я не поняла, за какую именно, но бойцы меня поразили сдержанностью и убежденностью. Они что-то знали, чего не знала я и мои родители, и решительно действовали. Я чувствовала, что у них есть будущее, потому что за ними – большое дело. Без долгих размышлений я вступила в отряд, в команду разведчиков, возглавляемую товарищем Чиркиным.

Рассказчица вздохнула и закусил губу. «Начинается главное!» – подумал я.

– Это было героическое время – жестокое и целомудренное, грозное и прекрасное. Народная война свирепа и величава: маленькая, чистенькая девушка очутилась одна среди рослых молодых бойцов, и ни один из них ни разу не попытался обидеть ее: черные от загара, запекшейся крови, пота и пыли эти отчаянные люди всегда оставались для меня добрыми отцами и великодушными братьями. Я переплывала реки и пробиралась через неизвестно кем занятые деревни, скакала по полям днем и ночевала под телегой ночью, стреляла и перевязывала раненых.

Но в какой-то деревушке под Елизаветградом нас на расвете врасплох захватил конный отряд белых. Схватка длилась не более минуты: внезапный топот, крики, взрыв гранаты, несколько выстрелов – и вот мы в плену. Тринадцать человек... Тащимся по затихшей улице мимо искромсанных тел наших двух товарищей...

5

– Доктор, – крикнул Петька, – нам пора выходить!

– Да, придется прервать рассказ. Спасибо. Наши больные все помыты и одеты, – поднялся я. – Запишите – сто человек из инвалидного барака. Сейчас мы начнем выгружаться. Вторая половина станет прибывать ровно в три, и к шести мы освободим баню.

– Сейчас будет уборка. Где мы обедаем?

– В моей кабинке. Какое у нас меню?

Она морщится.

– Обычное. Добавлений нет.

– Добавление за вами: продолжение рассказа в бане!

– Это будет горькое блюдо! – задумчиво говорит она, но ее глаза сияют: она рассказывала человеку, который ее внимательно слушал и понимал. В лагере такое случается не часто. Это был один час отдыха. То, что мы оба искали. Сладкий час благодатного умиротворения.

Я поворачиваюсь к своим помощникам.

– Петька, выноси парашу! Вымой пол вокруг нее! Буся, розвальни готовы? Рогожки согреты? Высохли? Ну, начинаем! Быстро!

Мы под руки бегом тащим доходяг вон и укладываем их навалом в розвальни на подостланные теплые рогожки. Они лежат в два слоя, как малиновые, добротные проваренные раки в стильной плетенке на прилавке хорошего гастронома. Проворный Буся укрывает их сверху слоем горячих рогожек. От саней валит густой белый пар.

Между тем Алтынбай уже давно ударами хворостины старается вернуть к жизни насквозь промерзшего Чемберлена. Изморозь так повисла на его длинной сибирской шерсти, что низкорослая лошадка кажется белоснежной большой овцой, сотворенной для новогодней витрины затейником-кондитером из сбитых сливок и сахарной пудры. Сани скрипят по снегу в облаке пара, Петька с дядей Васей, щелкая зубами от холода, носятся с парашей на плечах в уборную и обратно, длинная вереница малиноворожих ходячих больных опять вьется по дорожке. Большое дело закончено, скоро обед.

Я захожу в Медсанчасть и даю сводку: мытье инвалидов барака производится по графику, все в порядке. Я уже предвкушаю отдых и приятный обед вдвоем, но при выходе сталкиваюсь с маленькой седенькой старушкой, доктором Волковой, и нарядчиком Котом. Оба заметно взволнованы.

– Начальник лагпункта приказал, чтобы мы втроем сейчас же осмотрели больных в БУРе.

– Там нет никаких больных! Я был на разводе, и заявок не поступало.

– Но сейчас штрафники через проволоку увидели в зоне Сидоренко и подняли крик, что они сидят без медицинской помощи. Что делать? Надо идти! Берите сумку «скорой помощи». Я буду смотреть, вы – давать лекарства, а товарищ нарядчик прикроет нам тыл. Будем держаться кучкой!

«Экая неприятность! – думаю я. – Лагерь – это фронт; никогда не знаешь, что случится через минуту!» И мы медленно идем меж двух рядов трехъярусных нар, изломанных, грязных, сырых. Полутемно. Люди лежат ногами к промерзшим сте-

нам, головами к проходу, где теплее – посреди барака в проходе высится печь, она чуть-чуть топится. К ней, прижавшись телом и лицом, отчаянно жмутся голые подростки, почти дети: они проиграли паханам всю одежду и теперь день и ночь будут стоять у печки до весны или до отправления в больницу, если получат воспаление легких.

Напряженная, зловещая тишина.

– На что жалуетесь? – дрожащим голосом спрашивает Волкова.

– Кодеин есть?

– Откуда? Разве в БУР пустят с кодеином?

– А опий или понтапон?

– Их тоже нет.

– А что ж у тебе есть? Слабительное? Катись, гадина.

Мы делаем шаг к следующему изголовью.

– На что жалуетесь? – снова дрожит старческий голосок в сером сумраке холодного, занесенного снегом барака.

Человек молчит, вытянувшись под деревенским пестрым стеганым одеялом, поверх которого наброшена немецкая зеленая шинель.

– Вы слышите? Что у вас болит?

Все головы поднимаются с нар в ожидании.

Волкова осторожно протягивает руку и, поколебавшись, приподнимает край одеяла. В неясном сумраке я вижу плоское веснушчатое лицо. Круглые глаза насекомого широко раскрыты и неподвижны.

– Это Паук! – вскрикиваю я.

Мы наклоняемся ниже. Из открытого рта через щеку виден след слюны и крови.

– Он мертв, – шепчет Волкова.

Паук после памятного допроса у Долинского отсидел пятнадцать суток в карцере и затем был бессрочно водворен в БУР. Дерзкий вызов оперу обошелся духарю дорого: он уже не поднимался с нар и умер.

В течение года Паук еще несколько раз добывал **мазуту** для Грязнульки, не пользуясь ее ответной благосклонностью: это был платонический роман, романтическая связь законного вора с самой красивой из молодых уркачек – такая связь нужна законнику для поддержания престижа, как нелепые убийства случайных людей или наскоки на начальство. Теперь все было кончено: Паук лежал навзничь с широко раскрытыми пустыми глазами и цепь его преступлений и страданий была оборвана.

– Эх, пройтись, что ли, – громко и вызывающе прозвучал молодой голос. Курчавый русский подросток по кличке Барашек спрыгнул с нар и, на ходу натягивая на себя полушубок, прошел мимо.

– Звиняюсь! – насмешливо процедил он сквозь зубы, задев кого-то из нас болтающимся в воздухе еще ненадетым рукавом.

Волкова испуганно выпрямилась. Вдруг Кот обеими руками обхватил ее за шею и щекой прижался к ее груди.

– В чем дело? Как вам не стыдно! Нахал! – вспыхнула она.

На нарах кто-то хихикнул. Но руки Кота разомкнулись, и щека медленно поползла вниз по груди Волковой: нарядчик оседал наземь.

– Доктор... я... убит...

Оцепенев от ужаса, Волкова и я смотрели, как ноги нарядчика подогнулись, он опустился на колени, потом пригнулся головой еще ниже. В мертвой тишине гулко стукнул лбом о грязный обледенелый пол и замер. Из выгнутой колесом спины торчал небольшой нож.

Анна Михайловна сидела на моей койке. Перед ней на столике стоял медицинский тазик. Она хотела казаться спокойной, но бурная радость так ярко светилась в глазах, что я остановился и уже с порога сразу заметил, что в тазике красуются два ломтика хлеба, а на них – аккуратные кусочки сала.

– Радость! – сказала она торжествуя. – Я получила посылку от дочери Лины! Смотрите-ка на полку: вот мешок с сухарями, а здесь в тряпочке – кусок сала! Здорово?!

– Конечно, – проговорил я печально. – А я не получу ничего. Мои уже умерли. Отдача невозможна.

– Глупости! Вы доставали пышки!

– Да, пока мне делала авансы повариха...

– Забудьте о ней! Давайте жить счастливым моментом.

Мы усаживаемся к столу. Боже, какой деликатес может сравниться с кусочком сала на ломтике черного хлеба? Мы языком прижимали сало и хлеб к небу и сосали их как лакомство.

– Однако повариху я не забуду, – наконец проговорил я. – Она рассказывала, что ее дочь работает судьей где-то на Волге, кажется, в Сызрани. Пишет, что не может спать по ночам: судьи получают разверстку на число осужденных и количество лет срока. Цифры теперь меньшие, чем были в тридцатых годах, но и возможности выполнения плана ухудшились – теперь столько не арестовывают.

– Так она не знает, откуда набрать людей для забоя?

– Нет. Как выполнить план по количеству лет. А выполнять надо. План у нас имеет силу закона. А где же баланда?

Но у Анны Михайловны запас чудес не истощился. С видом фокусника она открыла котелок и победоносно засмеялась:

– Это тюря! Четыре сухаря я выменяла у нас в бараке на большую луковицу, накрошила в холодную воду, добавила ломаных сухарей, посолила, и получилась тюря! Попробуйте!

– Отлично! Напоминает окрошку со стерлядью в белогвардейском ресторане в Париже около Большой Оперы. Только вкуснее!

Это был великолепный обед. Сначала мы ели молча, ощущая все оттенки неописуемого удовольствия, потом принялись болтать. О чем? Конечно, о чем-то лагерном, ведь это был наш мир. Но главное в этом разговоре было то, что беззвучно говорили глаза. Это было прекрасно. Мы были счастливы.

– Да, остаться в БУРе без охраны с двумя трупами – неприятное дело! – закончил я рассказ.

– А Барашек?

– Вернулся из уборной, вежливо попросил у меня таблетку «от живота». С чувством проглотил и вышел с нами к вахте сообщить об убийстве. Сейчас он в ДОПРе, поел в тепле и наверное блаженно дремлет на коечке с шерстяным одеялом и белой подушечкой. Для Кота это расплата за утреннюю грубость с порезавшимися. Я слышал, как Васек-Хромой, один из урок, пообещал Коту, что сегодня же он получит отплату. Барашек раньше **шестерил** Хромому.

– Не спешите, а то тюря кончится! У нас есть время до трех часов.

– Мне надо в баню резать мыло. Слушайте: Кот убит из-за Грязнульки – он с ней жил, а жить с ней означает необходимость ее кормить. Баня – это поле деятельности многих воров, но всем добычи не хватает, и они грызутся между собой. Я предсказываю, что следующим **мужем** Грязнульки будет Боб-Горилла.

– Боб?

– Он самый. Вы видели его голого? Какая татуировка на спине – красный дракон! Горилла – красавец.

Но, чтобы иметь в лагере роскошную мускулатуру, нужны деньги, и Боб в бане – главный расхититель. Он связан с прачкой Вaley, а мазуту ему выносит за зону второй **красюк** – Валька Романов, тот, который сегодня повез в Мариинск нашего Али-Мухамеда. Да, да, не удивляйтесь, это так.

– Откуда вы все это знаете?

– Да ведь я работаю в бане и все вижу.

Я почесал переносицу и задумался.

– Будьте осторожны. Никому ничего не говорите. Вы ничего не знаете потому, что ничего не замечаете. Поняли? Иначе могут убить и вас. Горилла заведует секцией выздоравливающих – Горилла и ослабленные. Ха-ха! Но выводить его на работу за зону запретил сам Долинский.

– Поняла. Я иду. Свидание в бане.

– В три часа.

После ухода Анны Михайловны я осторожно прикрыл дверь и вынул из-под подушки мои новые кальсоны. Искусство требует жертв, и хотя мне грозил промот и лишение дальнейшего получения обмундирования, я смело вырезал из штанин два аккуратных куска и обклеил материей обложки двух тетрадей – с черновиком и беловиком первой и второй частей африканского романа под названием «Тэллюа или начало одного путешествия» и «Бубу или конец одного путешествия». Клей мне принесли из столярки, две краски – красную и зеленую и черную тушь подарил Борис Григорьев. Я быстро смешал две краски и получил коричневый цвет, которым загрузовал фон. Затем черной тушью провел волнистые косые линии, между которыми набросал на одной тетради красные, а на другой – зеленые блики: красный цвет должен был символизировать жар Сахары, где произошла встреча героя с туарэгской красавицей, а зеленый цвет изображал таинственную чащу девственного леса Конго, где герой романа встречает пигмейского вождя Бубу.

На передней стороне обеих обложек я нарисовал медальоны с профилем героя, девушки и дикаря. Все было тысячу раз заранее обдуманно до мелочей, и поэтому обе обложки были готовы через двадцать минут работы-наслаждения. Это была недурная приманка для лагерной цензуры, а в получении штампа от лейтенанта Фуркулицы я не сомневался. Когда все было готово и обе тетради высушены у печки над котлетами из очисток с помойки, я показал свою работу Щеглову, Абашидзе и Островскому. Все похвалили замысел и выполнение, а кальсоны посоветовали потихоньку раздобыть у зав баней – он подторговывал бельишком.

Майстраха в бараке уже не было: проезжий московский ревизор обратил на него внимание, и теперь отставной комдив жил в отдельной чистенькой кабинке с личным дневальным, – он писал какие-то секретные соображения о ведении

войны с немцами. Однажды, когда я постучал в дверь и получил солидное «войдите», увидел, что Борис Александрович обложился акварельными красками, кистями и листами александрийской бумаги.

– Вот, взгляните, – важно пробасил он. – Я вырабатываю эскизы орденов для наших героев. Война затягивается, и с одними Красным Знаменем и Красной Звездой нам не обойтись. Да и политический фон борьбы теперь другой. Я предлагаю ордена имени Кутузова и Суворова. Смело? Еще бы! Уверен, что полковнику это понравится и он протолкнет идею вверх уже от своего имени. Пусть! Кабинка и дневальный этого стоят!

– Доктор, примите труп, кого-то из наших подобрали на дороге! – крикнул мне Коля-Медведь, когда я шел в барак вместе с Николаем Кузнецовы, нашим поэтом.

Грузчик разгружал с саней тело, обернутое в кусок брезента. Тощие голые ноги, обросшие синей шерстью, показались мне знакомыми.

– Скорей, Николай Петрович! Идемте, случилось несчастье! С дороги привезли голого человека!

Коля и грузчик уже положили тело на секционный стол, я снял коробающийся обледенелый брезент. Тело казалось стеклянным и очень маленьким. Темные впадины под мышками и между ног, волосы на голове, глазницы и уши были забиты снегом, странно подчеркивающим зеленоватый ледяной блеск кожи. Из матовой белой маски запорошенного лица торчал длинный блестящий зеленоватый нос.

– Ваш приемный сын, доктор?

– Да.

Мы скорбно стояли над трупом. Уходя, Кузнецов в прихожей присел над одетым в белье телом, лежащим у стены.

– Кто это?

– Какой-то татарин или калмык. Возчик. Коля! Белье отдай в прожарку и верни под расписку каптеру.

Сидя на корточках, Кузнецов указал пальцем на стену. Старик-конюх завшивел, и после смерти вши, спасаясь от холода, поползли по стене. Их было много, и силы у них были разные – одни проползли подальше, другие замерзли быстрее. Над телом на белой, крашеной известью стене образовался отчетливо видимый бисерный серый веер.

– Здорово, а? – прохрипел Николай Петрович и отставил нижнюю губу. – Веер смерти? Крыло смерти? А? Как лучше

сказать? Поэты всегда называют их черными. А вот в жизни они серые... По крайней мере, у Смерти, которая пришла за старым лагерником...

Сидя на корточках, он долго сосредоточенно молчал, потом оттопырил губу еще больше и вышел.

– Бодлер написал Смерть усталых и Смерть влюбленных. Я должен написать Смерть заключенных. Объединить студента Али и неизвестного калмыка. Вечером я разыщу Вальку: он нужен для дополнительных сведений.

Романова еще до вечера я увидел по дороге в баню – он шел туда греться.

– Погреюсь и – в изолятор! – крикнул возчик, возбужденно блестя голубыми глазами. Он был сильно навеселе. – Ты понимаешь, доктор, какая заваруха получилась: выехал я в Маротделение на пару с Ленчиком-Рябым, ты его знаешь, правильный парень, свой в доску, хотя и бытовик. Проезжаем мимо сторожки, что около железнодорожного пути, и Ленчик мне и брякни: «Валька, завернем, мол, к Титовне, у ней завсегда есть на продажу самогон». – «А мазута? Титовна баба сурьезная, она в долг не даст». А Ленчик улыбится, гад: «Да у тебе мазута в кузове: везешь четыре поллитры и сам того не знаешь». – «Какая же у меня есть мазута? Мы едем порожняком за мукой». – «А зверь?» Тут только я схватился: эх, мол, фраерская у mine душа! Мы это коней обратно остановили, зверя наголо раздели и пустили на снег – иди, мол, добрая душа, в Мариинск пешим ходом, только смотри не простудись – мороз тридцать девять и с ветерком! Зверь запрыгал, потом образумился и лег в сугроб носом кверху. А мы завернули к Титовне и гуляли аж по сию пору. Титовна нам и блинов напекла, мы ее после выпивки по очереди оформили. Этот зверь для mine оказался, доктор, законной охотничьей добычей – одним выстрелом я сбил литровку, блины с салом и толстую бабу на закуску!

Валька потопал ногами у печки, умылся горячей водой и вышел из бани, молодой, сильный, красивый, довольный жизнью и своей судьбой.

– Одначе здесь прохладиться нечего – иду ночевать в изолятор, а завтра покачу в Мариинск сполнять план: коммунизм без плана, говорят, не построишь! Прощай, доктор!

И все. Так погиб эвакуированный студент Ростовского института, отбывший один годик срока за кражу ложки из столовой в Мариинске. Он был сиротой и жил плохо, неустроенно, старая ростовская ложка сломалась, а без ложки су-

ществовать трудно. Милый, тихий человек он отдал жизнь – за что? За ложку? За казенное обмундирование, которое он, безденежный студент, так старался сохранить чистеньким к моменту освобождения? Это пресловутое освобождение, зачастую являющееся обманом и надругательством?

Я вышел на крыльцо, чтобы остыть. Ярость кипела во мне. Но это была бессильная ярость. Возчик Валька Романов подчинен нарядчикам вроде Удалого и Кота, нарядчики Удалой и Кот – это верные слуги оперуполномоченного капитана Долинского, а на долинских зиждется грандиозная каменная надстройка бюрократической системы принуждения – послушные и бездушные начальники райуправлений и облуправлений ГПУ, на крепких плечах которых сидят царедворцы ежовы и бери, высоко поднятыми руками, в свою очередь, поддерживающие трон, с высоты которого за великой страной бдительно, зорко, недоверчиво и беспощадно следит Хозяин, творец этой системы принуждения, будто бы обеспечивающей строительство земного рая, воплощение светлой мечты человечества.

Я мог бы ударить Вальку. Бесполезно – он моложе, сытее и сильнее меня. Мог бы написать заявление Сидоренко. И это бесполезно – начальник боится опера не меньше, чем я: ведь в этом и заключается политический смысл трехслойного пирога: внизу народ и его родная советская власть, выше – якобы руководящий рядовой партийный состав, на самом деле, давший сотни тысяч заключенных в лагеря, а совсем наверху – подмявшие под себя сподвижников Ленина действительные властители и их личная охрана – крепко спаянная система принуждения от Вальки до Хозяина, потому что тут одна ступень не может существовать без другой, они взаимозависимы.

Получается чудовищное искажение: честные советские люди, партийные и беспартийные вечно чего-то боятся и безвинно попадают в число врагов народа, а подонки вроде Вальки Романова даже в условиях лагеря не боятся ничего и никого, они – друзья народа.

Долго стоял на крыльце, подставляя пылающее лицо под ножевые удары ледяного ветра, потом вздохнул и сказал себе: «Это неразумно, а неразумное исторически недолговечно. Ленинская человечность неизбежно возьмет верх, а сталинское изуверство изживет себя и рухнет. В нашем тяжелом и жестоком времени заложена конечная победа добра...»

– Ну что ж, давайте продолжать, – сказал я Анне Михайловне, когда мы второй раз уселись вместе в углу и уперлись в скамейку руками так, чтобы края наших ладоней встретились: это было физически необходимо, только так мы чувствовали себя по настоящему вместе под взглядами стольких людей. Снова в жарком предбаннике шумели, пели, дрались и сквернословили – бессмысленная похабная ругань зловонным облаком висела над нами, а Анна Михайловна опустила голову, вжилась в воспоминания и начала:

– Гражданская война очень подвижна: непрерывного фронта с окопами и укреплениями нет, отдельные конные отряды быстро передвигаются из одного населенного места в другое и занимают его. Дерутся все против всех, и если удержаться удастся, подходит пехота и закрепляет победу. Мы знали, что в Елизаветграде стоят белые, и продвигались осторожно, а к ночи решили прилечь до утра в ничейной деревне, потому что от крестьян узнали, что никаких воинских частей в ближайших деревнях нет. Не раздеваясь, бойцы прилегли кто куда и мгновенно заснули; два человека остались около нерасседланных коней. Белые медленно подъехали через распаханное поле. Конский топот не был слышан, и часовые не успели вовремя поднять нас. Враги неожиданно наскочили, и произошла внезапная жаркая схватка. Силы были неравны – нас пятнадцать, их – около сотни. Наши часовые успели выстрелами и гранатой свалить с коней несколько всадников, но были зарублены, а нам, вскочившим с земли после глубокого сна и не успевшим схватить в руки оружие, – не осталось ничего, как сдаться. Я только успела крикнуть «Беяки!», как меня сшиб с ног удар сапога в спину.

Жители мгновенно спрятались, даже куры залезли под крылечки. Наступила мертвая тишина. Четырём нашим бойцам связали руки веревкой и всех вместе погнали к реке на расстрел. Почему к реке – непонятно: добить пленных можно везде, но такова уж была традиция тех лет. Утро занялось сырое и туманное. Идти пришлось недалеко – деревушка раскинулась у воды. Мы брели по лужку босые, еле волоча ноги по мокрой траве.

– Не бойся! Только не бойся, Анюта! – шептал мне Чиркин, стараясь поддержать плечом и улыбаясь. – Ничего не бойся!

– А я не боюсь! – цокая зубами, отвечала я. Страха не было, потому что не хватило времени, чтобы осознать слу-

чившееся. Меня трясло от ярости, от внутреннего протеста, от еле сдерживаемого порыва переиграть проигранную схватку.

– Становись!

Тринадцать пленников выстроились рядом спиной к реке. Позади меня торчал стожок почерневшего прошлогоднего сена – он был густо покрыт светлыми капельками росы и казался серебряным, но это вспомнила полгода спустя. Еще в деревне пожилой офицер обратил на меня внимание и спросил фамилию и имя. Позднее в Елизаветградском осваговском листке было сообщено об уничтожении красной банды, в том числе дочери известного революционера из Новой Праги. Так Мишенька моими стараниями попал в печать.

Мы выстроились перед палачами кое-как, и они закричали:

– Становись кучнее! Ближе! Еще ближе!

– Только не бойся, Анюта! – повторял мне Чиркин и сделал вид, что тянется ко мне для последнего поцелуя. Я ничего тогда не поняла. Но он рассчитал каждое движение палачей и перед залпом мгновенно прикрыл меня собою. Я услышала выстрелы, почувствовала толчок в бок и в ногу и упала, а на меня навалилось тело мертвого Чиркина. Я потеряла сознание.

Очнулась вечером от жгучей боли: кто-то тряпочкой вытирал мне раны. Белые давно ускакали, жители уже успели зарыть мертвых, но два человека остались живы – черноморский матрос Иван Перебейнос, молодой крестьянин, хорошо знавший эти места, и я. Иван был ранен в живот и в грудь, вскоре умер и был похоронен здесь же на зеленом лужке, а я выжила: сквозь меня пули прошли счастливо, не задев ни сердца, ни ребер, ни бедренной кости. Поврежденными оказались только легкое и мягкие ткани. Меня напоили кислым кваском и повезли в город. Случайных раненных в те годы было много, и раненая девушка ни в ком не возбуждала ни любопытства, ни подозрения. Но обо мне было упомянуто в листке, и это ставило мою жизнь под угрозу. Меня нужно было не только лечить и кормить, но и прятать, а прятавший надевал себе этим петлю на шею. Посоветовавшись с городскими знакомыми, мужики сдали меня провизору Безкоровняку, жившему в собственном небольшом домике. Сын его служил у белых, и это снимало со старого еврея всякие подозрения. Я не знаю, был ли провизор рад моему появлению, видимо, он хотел поддерживать дружеские связи с крестьянами и, скрепя сердцем, уложил меня в дальней кладовке. Дочь его Полина принялась отпаивать меня давленным крыжовником, а сам

старый седой провизор – рыбьим жиром, единственным лекарством, которое у него имелось.

Раны, как я сказала, оказались не тяжелыми, но выздоровлению очень мешала обстановка. Начались нагноения. К счастью, легкое зажило, но в плевре и под коленом образовались очаги. Я была прикована к постели и всецело зависела от чьей-то помощи. В такое беспокойное время это был ужасно – и морально я страдала больше, чем физически. В довершении несчастья заболел сыпняком мой добрейший провизор. У бедной Полины теперь на руках стало двое больных и ни одного куска хлеба: во что бы то ни стало надо было перевести меня в другую семью. Но кому хотелось рисковать головой?

Однако свет не без добрых людей, и осенью меня взяла к себе бабка Анфиса: муж её и сын были убиты на войне, а в деревне жили братья и сестры, связанные с красными. Из деревни могла поступать и кое-какая пища. Ночью меня перетащили к бабке. Бабка оказалась хлопотливой, и кто-то из соседей заметил необъяснимое изменение ее образа жизни. Донесли. Ночью контрразведка сделала обыск и нашла меня на чердаке. Началось следствие. Меня поместили в больницу для подсудимых – она была наскоро организована в помещении школы и состояла из двух маленьких палат – мужской и женской, с часовыми под окном и в коридорчике. Хлеб и приварок солдаты носили из казармы, медицинскую помощь оказывал врач из городской больницы. Дела у белых на фронте и в тылу шли неважно, и контрразведке было не до девчонки, случайно найденной у старухи на окраине города.

Расстрел был неминуем, смерть висела надо мною, но каждое казенное дело требует оформления, и убийство тоже: расстрел в городе после следствия это одно, а в деревушке после боя – другое.

Холода начались рано, зима наступила морозная. По ходу допросов я поняла, что моя личность установлена и разгадана причина моего пребывания в кладовке у провизора, хотя к тому времени он уже умер. Я тоже сделала выводы. В морозный вечер накинула халат поверх пары мужского белья, одела тапочки и вышла в уборную – она находилась во дворе около разрушенной изгороди.

Было время ужина. Солдат, приставив винтовку к ноге, хлебал суп из котелка. Я огляделась и быстро перелезла через забор.

Освещение на улицах было скудное, и редкие прохожие испуганно смотрели на измученную девчонку в грязном хала-

те и в тапочках, бегущую по снегу от одного поворота улицы до другого. Я бежала без цели. Керосина тогда было мало, в окнах тускло светились огоньки, и я не могла решить, в какой дом войти и где попросить помощи. Наконец поняла, что в хорошие дома на центральных улицах стучаться бесполезно или опасно, нужно снова выйти на окраину и там попытаться счастья на пороге какой-нибудь развалюхи: милосердие могло встретиться только там.

Тем временем отмерзла левая грудь. Я почувствовала себя плохо и сбавила шаг. На улице же меня и схватили. Привели обратно. Теперь состояние здоровья резко ухудшилось.

Но судьба моя была связана с общим военно-политическим положением. Меня перестали вызывать, потом белые стали готовиться к отступлению, и о нас, подследственных больных, окончательно забыли. Наконец пришли долгожданные красные. Я получила свободу и жизнь. Раневые рубцы на боку и на ноге и искалеченная морозом грудь остались на память.

С почетом, как боевая красная партизанка, расстрелянная слащевцами, я поступила делопроизводителем в финансовый отдел Управления снабжения 4-й особой дивизии Первой Конной армии.

– Так вы буденовка? Поздравляю! – воскликнул я с почти-тельным восхищением.

– Да. Но службой делопроизводителем я не горжусь. Вершиной моего жизненного пути в юношеские годы была беззаветная боевая жизнь в отряде Несмачного и ее венец – расстрел белыми. Кто прошел подобный путь, пусть очень короткий, но предельно яркий, – тот особенный человек. Минуты под дулами и священный поцелуй прикрывшего меня командира – это такие воспоминания, которые облегчают все другие жизненные невзгоды, какие бы они не были: они не только моя слава, но и моя опора!

В Финотделе со мной вместе работали старые спецы, люди пожилые, притворявшиеся советскими. Ко мне они были вежливы, но я легко угадывала их мысли. После тифа я очень выросла и из юркой чумазой девчонки превратилась в хорошенькую девушку. Обстановки целомудренного героизма в Финотделе не было и не могло быть. С дивизией мы сделали путь под Варшаву и обратно, но отношения в отделе для меня обострялись с каждым днем: предложения, угрозы и грубые приставания делали мне жизнь невыносимой и создавали на-

растающую опасность. В этой обстановке было невозможно жить дальше без чьей-то помощи. Вопрос стал так: или найти мужа – или пойти по рукам.

По денежным делам к нам периодически приезжали командиры всех полков, но больше других мне приглянулся Василий Иванович Рыбальченко – рослый, чубатый, с открытым веселым лицом, лихой рубака и неутомимый плясун.

Для того, чтобы ускорить сближение, Василь привез меня на Дон, в станицу Пролетарскую, где жила его семья и, в частности, мать. Она оказалась измученной жизнью, но мудрой и мягкой старушкой. Мы подружились с полслова – она меня поняла и разгадала мои чувства. Через несколько дней Василь устроил выпивку со своим младшим братом Андреем, тоже буденовским командиром. Когда оба захмелели, Андрей резко и грубо потребовал: я должна стать его женой. Действительно, все эти дни он сильно надоедал мне назойливыми знаками внимания. Между братьями завязалось свирепое единоборство, какие случаются весной в лесу: дикие кабаны в бешенстве пыряют друг друга клыками, а покорные самки стоят поодаль и ждут. Так случилось и тут: старушка и я застыли в дверях, я спокойно молчала, а мать при особенно зверских ударах со стоном ломала руки и вскрикивала: «Сыны мои, сыны мои!»

На стене висели шашки и наганы в кобурах, и я ждала, когда бьющиеся вспомнят о них. Но все обошлось: Андрей поскользнулся, ударился головой об угол кованного железом сундука и потерял сознание. Я досталась Василию.

Венчались мы в церкви в Пирятине. Жених был при ордене, с шашкой и маузером, невеста – в фате из домашней гардины и в алых туфельках из маминой амазонки.

Так кончились мои юношеские годы. Начался третий период жизни – замужество.

Это была бродячая жизнь, скитания из станицы в станицу в обществе жен командиров и комиссаров. Скучная, пустая жизнь. От скуки Василь начал запивать. В доме стала слышаться матерщина. В это время родилась дочь Магдалина. Я беспрекословно выполняла все пожелания мужа, но этого ему казалось мало – он требовал еще и любви, а подневольной любви, как известно, на свете не существует. Настало обильное время НЭПа. Василь покупал в Ростове лучшее, что мог достать. Но на вопрос – люблю ли я его, я неизменно отвечала «нет», и это приводило в ярость бывшего буденовца, привыкшего рубить людей на куски. Тогда он стал уничтожать

дома все красивые вещи – подарит, а потом разобьет, разорвет и изрубит шашкой, надеясь вызвать этим бабью жалость к погибшим вещам или хотя бы вырвать жест испуга: «Убью и отвечать не буду, генеральская дочь, так твою мать и перетек!» – орал он мне в лицо, иступленно замахиваясь шашкой. Но я сидела не шелохнувшись и молчала, изредка тихо повторяя: «Делай, что хочешь». А в голове зрел план освобождения. Настоящего. Окончательного.

Василь был малокультурным человеком, как и его товарищи, – вольница времен гражданской войны, а не современная армия: слово «наука» в их обществе и домах не бытовало – мужья служили и выпивали, жены хозяйничали и наряжались. И я решилась. Напрягла все силы и совершила в этой среде невиданное – поступила в ВУЗ: дверь в свободную жизнь мне мог открыть только диплом.

Василь был добряком, но человеком своей среды, не понимал и не любил ученье, интеллигентных людей презирал, а мои занятия от души возненавидел: он брал меня измором, настойчивой, длительной, беспощадной игрой на нервах – рвал записи лекций, шумел, когда я садилась за книгу, увозил из Ростова во время сессий. Мы сцепились грудь с грудью, но за ним стояла только пьяная прихоть, а меня толкала вперед железная необходимость.

И я победила. Закончила учебу, получила профессию инженера.

Обстоятельства меня торопили. Однажды после особенно бурной сцены старый рубака схватил наган, выскочил во двор и застрелил своего обожаемого коня. Это было грозным предупреждением. Вскоре после нового резкого столкновения он набросился на меня и стал душить. Отбили случайно зашедшие люди. Дальше колебаться времени не оставалось.

Когда я поступила работать инженером-химиком, случай столкнул меня с молодым москвичом, белокурым веселым пареньком Сережей Ивановым. Он заканчивал Танковую академию и был способным специалистом. Мы понравились друг другу. Когда он получил диплом, я собрала в маленький чемоданчик самые нужные вещи, взяла на руки дочь и сбежала из дома, то есть вернее сказать – из второго плена.

Говорят, что Василий Иванович рвал и метал, пьянствовал, устроил дома погром, грозился силой привезти меня обратно, но в конце концов женился на милой женщине, которую тоже звали Анной Михайловной. Несколько лет спустя он устроил «случайную» встречу со мной в Москве. Увидел, что у

меня новая счастливая жизнь и молодой муж, который сумеет постоять за меня. Сник, смирился и всем своим видом без слов дал мне отпускную. Еще одна печальная страница моей жизни была перевернута.

– Доктор, сейчас заложили в печку последнюю партию барахла! – крикнул Петька. – Скоро кончаем! Я иду за Чемберленом!

– Иди! Мы скоро уходим, Анна Михайловна.

– Знаю, но мне говорить осталось недолго. Сергей был моложе меня. Он оказался спокойным и разумным человеком. Я старалась наладить быт, он благодарно пользовался плодами моих усилий. К дочери относился как отец. Отражал наскоки своей матери, ненавидевшей меня за то, что я старше мужа, зарабатываю больше его и, главное, помешала жениться Сереже на дочери генеральши или на девушке, за которой давали большую дачу. Мы работали на одних военных заводах в Харькове и в Киеве, потом перебрались в Москву, где я устроилась отдельно от него на военный авиастроительный номерной завод. Как жаль, что я не имею права подробней рассказать о своей работе: я выдвинулась как рационализатор и была отмечена командованием. Хорошее было время! Мы получили комнату, оба хорошо зарабатывали, жили дружно, интересно проводили время среди добрых друзей – ну, скажите, чего еще может желать человек? Честно сказать – ничего! В первый раз после детских полузабытых лет я была безмятежно, глубоко и по-настоящему счастлива. А внутренняя радость заставляет особо смотреть на окружающее, она, как розовые очки: нам казалось, что вокруг нас все люди тоже счастливы.

Сережа был членом партии, я считала себя беспартийным большевиком и гордилась собой, ощущая жизнь как подъем к нравственным высотам, уже достигнутым под наведенными дулами белогвардейцев, – только теперь они сочетался с глубоким пониманием идейного основания нашей работы. Она сильно усложнялась с годами, но Сережа и я были молоды и верили в свои силы, и труд казался нам радостью. Каждый день этой полнокровной творческой жизни я чувствовала себя Человеком, больше того – Советским Человеком, строителем и хозяином своей страны.

11 июня 1942 года к нам ночью пришли и разрушили дружную семью. Отняли серьезную работу, гордость собой и радость жизни. Я едва успела поцеловать дочь, в Бутырской тюрьме торопливо обнялась с Сережей и эта полоса моей жизни тоже была пройдена.

Следователь предъявил мне обвинение в измене Родине. Основание – заявление одной из девушек, работавших в лаборатории, которой я заведовала. Она донесла, что я собираюсь улететь в Персию с летчиком-испытателем Шитцем. Голубоглазый великан, швырявший налево и направо шальные деньги, Шитц сводил с ума многих девушек, но был равнодушен ко мне и не скрывал этого. Девушка пыталась навязать ему свою дружбу, была отвергнута и от обиды написала этот гнусный донос. Его несостоятельность немедленно обнаружилась на очной ставке, и клеветница с бурными рыданиями отказалась от обвинения. Но оказалось поздно: в ГПУ есть вход, но нет выхода. Отбросивши нелепое обвинение (Шитца даже не арестовали), мне тем не менее без суда в административном порядке дали пять лет заключения по литеру АСА, т.е. за антисоветскую агитацию. В чем она заключалась, мне не объяснили. Просто в этапной комнате объявили решение Тройки НКВД, посадили в теплушку и довезли до Мариинска. Я очень ослабела от нервного потрясения, горя и голода. С колонной полуживых новичков меня пригнали в Распред. Предо мной открылся новый мир. С непривычки я увидела только насилие, издевательство и попираание всего человеческого. Нарядчик сунул мне в руки скребок и грязную тряпку, заставил опуститься на колени и скрести обледенелый грязный пол на кухне. Вот тогда я однажды подползла к жирным ногам Тамары Рачковой, которая небрежно подобрала их чуть выше и продолжала пожирать горячие пирожки с мясом.

Я чувствовала, что крышка моего гроба захлопнулась. Началось призрачное существование – смерть еще при жизни. Прошло время. Наконец, здесь, в Суслово, крышка стала медленно приподниматься.

7

Рассказ Анны Михайловны требовал правильного понимания и тщательной оценки. Но времени у лагерника никогда не хватает. Все, что он видит и слышит, другими сильными впечатлениями немедленно отодвигается назад и затем как будто забывается. Как будто бы... На самом деле не забывается ничего. Только на воле люди обдумывают жизненные впечатления сознательно и быстро, а в лагере – подсознательно и медленно. Полученное впечатление здесь анализируется и оценивается незаметно, путем коротких и якобы случайных воспоминаний, но всегда в ином плане и на более высоком

уровне. Потом, много времени спустя, все пережитое прочно укладывается в памяти уже не как сырой материал, а как осознанное явление. Лагерник похож на жвачное животное, он не может сразу переваривать проглоченное, ему нужно быстро глотать и подолгу пережевывать жвачку. Так получилось и с рассказом Анны Михайловны. На воле мы тут же принялись бы его с жаром обсуждать и с радостью установили бы, что многое понимаем одинаково и оцениваем буквально одними и теми же словами, а многое не понимаем вовсе: если мы в советской стране, то почему мы уничтожены? Если в несоветской, то как же наша страна стала несоветской? И потом – массовое уничтожение специалистов вредно для родины, так кому оно на пользу?

Недоуменные вопросы теснились в наших головах. Но едва рассказчица произнесла последнее слово, как мы были отвлечены новыми впечатлениями и оставили рассказ, как один из фактов в длинной цепи происшествий дня, для позднейшей переработки в сознании. Так оно и вышло, конечно: Анна Михайловна потом стала для меня близкой и понятной.

Наше внимание отвлек Чума. На каждом лагпункте в социальных прослойках его населения обязательно имеется мало-заметный главарь преступного мира, пахан, с обязательной кличкой Метеор, и его антипод – всем известный грязный и оборванный подросток по кличке Чума. У нас тоже были тогда свой Метеор и свой Чума – черный от грязи и вонючий оборвыш, объект насмешек и издевательств, мелкий воришка и помоечник, застрявший где-то между уголовниками и контриками. Но раз в десять дней с ним происходило превращение, чудо, свершаемое теткой Васеной и Петькой с помощью воды, мыла и распаренной в кипятке половой метлы.

Ободранный от зловонной коросты Чума неизменно оказывался миловидным юношей Тараской из Полтавы, черноокий и чернобровый, смуглотелый и изящный, как молодой Аполлон. Подобно большинству украинцев, юноша хорошо пел, и его концерты всегда пользовались успехом потому, что пение он дополнял очень живой и искренней актерской игрой, и мы не знали, кто он больше по призванию – артист или певец. Так случилось и теперь. Валя, Боб-Горилла, Анна Михайловна, Луиза, откуда-то вдруг появившаяся Грязнулька, тетка Васена, увешанный орденами фронтовой инвалид, дежурный надзиратель Петухов, Буся-Козак и я сели на скамью, образовав первый ряд почетных слушателей. Вокруг малиновой стеной стояли голые больные. Кто-то взобрался на подокон-

ник, один любитель искусства занял место на параше. Без всякой команды воцарилась тишина, голый Чума-Аполлон вошел в оставленный ему свободный пятак, и концерт начался.

Чума пел украинские и русские народные песни, но мне особенно нравились в его исполнении «Карие очи, очи дивочи» и новая тогда фронтовая песня о ветре в проводах, пулях в темноте и о кружащейся над головой смерти. Песню о дивочих очах превосходно исполнял в предвоенные годы Иван Семенович Козловский. И все же Чума создавал впечатление более глубокое и яркое: если у знаменитого певца тенор имел бархатный тембр, то в этой песне у Чумы он был медовым.

В Москве, на далекой сцене слушатели видели немолодого мужчину с помятым жизнью лицом и в неважно сшитом фраке, а на пятачке в сусловской бане перед нами на расстоянии протянутой руки вилось и колебалось в такт песне, в такт ее смысловому ритму грациозное и нежное обнаженное тело юноши; Козловский пел с тщательно разученными модуляциями голоса и с движениями руки, слегка дополняемыми приличествующей столичному концерту легкой мимикой лица, Чума же жил в песне, он не исполнял песню влюбленного, а сам в этот момент был им и пел от себя, как будто собственными словами выражая свое сладостное томление любви. Жесты его были скупы, но он мог позволить себе то, что не разрешалось Козловскому, — он прикрывал глаза, улыбался, прижимал ладони к щекам, гладил волосы воображаемой возлюбленной.

С тех пор прошло много лет, но и сейчас, когда я пишу эти строки, закрываю глаза и без труда вижу перед собой порозовевшее от внутреннего чувства юное лицо, дрожащие черно-синие ресницы и похожее на виноградную лозинку молодое тело. Да, счастлива была бы девушка, которую полюбил бы этот божественный помоечник!

Военную песню Чума исполнял иначе: лирический мед исчезал из его голоса, появлялась трагическая резкость, решимость, иногда — отречение, моментами — отчаяние. Я помню его безумно расширенные глаза, когда глухим, будто бы охрипшим голосом он пел о ветре, гудящем в проводах, и о свистящих в темноте пулях. Весь ужас войны виделся слушателям в дрожании тела певца, в его тонких пальцах, как бы защищающих помертвевшее лицо. Но особенно хорош он был, когда пел о смерти, кружащейся над головой бойца: слегка изогнув гибкое тело, он поднимал лицо, вскидывал высоко вверх руки и плавно кружил ими над головой так, что мои

малиновые раки тоже нервно поднимали головы, как бы ожидая, что в клубах банного пара, среди развешанных на веревках клейменных рубахах и подштанников, сейчас появится Смерть – та самая, что на самом деле никогда и не покидала нашего лагеря, жила бок о бок с нами и в тот миг действительно присутствовала на концерте: ведь в углу, на скамье, где только что Анна Михайловна рассказывала историю своей жизни, уже лежал без пульса старый поносник.

8

Вареные раки уложены в большой рогожный куль на полочках, и Чемберлен уже потащил их в барак. Опять с парашей на палке несутся озябшие Петька и дядя Вася. Уже тетка Васёна истово крестится широким староверческим крестом и облегченно говорит: «Убрались, так и перетек их мать, прости меня господи и пресвятая богородица!»

Мой рабочий день сегодня закончен. Но у Анны Михайловны он еще далек до конца: вымыто двести человек, а запланировано триста. Трое суток баня моет людей, четверо суток стирает белье. Сейчас начнут мыть женский барак. Последние прощальные улыбки, и я ухожу. За ужином мы не встретимся. Но я заготовил ей сюрприз. И еще какой!

В бараке меня ждет Борис Григорьев. Он принес украденные за зоной обрезки александрийской бумаги: сегодня он оформлял две стенгазеты – для клуба сотрудников лагерной администрации и для служащих станции «Суслово». Полчаса мы обсуждали мои последние рисунки из серии «На амбулаторном приеме»: это типичные фигуры лагерников. Рисунки имеют документальное значение благодаря точности деталей. Их прелесть иногда даже непонятна постороннему человеку или просто не замечается его глазом, но именно верность жизни придает моей работе достоверность и убедительность. Рисунков три. Первый изображает возчика, одетого в бушлат и огромные латаные валенки. Голова у него обмотана диковинным тряпьем. Он похож на водолаза в скафандре и шарообразном шлеме. Расставив ноги, он солидно сипит: «Доктор, жалуюсь на обморожение сердца».

Григорьев возражает против веревочного пояса, на котором висят кружка и сумочка с паечкой, сахаром и кисетом. По его мнению, эта деталь характерна для работяг полевых бригад, возчики же свои личные вещи прячут под облучок. Мы спорим. Я соглашаюсь и меняю надпись вверх. Теперь это «Работяга на врачебном приеме».

ЖВторой рисунок: нервный, похожий на глисту инвалид раздраженно дребезжит: «У мне чешется сердце!» На больном ничего нет, кроме дырявого одеяла, задрапированного, как римская тога. Вид у старика нелепый и смешной. Григорьев возражает: лучше повязать одеяло на шее, как у африканского дикаря, – это даст возможность показать чудовищную худобу. Она сделает рисунок трагическим. Я соглашаюсь и добавляю: тогда на груди надб изобразить татуировку – якорь, винтовку, звезду и надпись вокруг: «Вся власть Советам!» – как у одного моего больного.

– Здорово! – одобряет Григорьев.

Третий рисунок: раздетая затасканная женщина с дымящейся самокруткой во рту и в фантастически залатанных панталонах кокетливо щебечет: «Хронически страдаю воспалением правой яичницы».

– Это не та ли старая проститутка, которая вечерами дежурит около уборной? – спрашивает задумчиво Григорьев.

– Она самая.

– Старушка берет полпайки хлеба.

На смену Борису Григорьеву является Николай Кузнецов. У него под мышкой две фанерки.

– Что, неужели уже готов «Веер смерти»?

– Нет, он еще в работе. Я принес мой ответ на газетную статью, которую вы нам читали дней десять назад. Об основных положениях социалистического реализма. Помните? Я тогда же записал отдельные положения, на которые мне хотелось возразить. Они написаны вот на этой фанерке. На другой – мои возражения в стихотворной форме, нечто вроде символа веры. Вещь называется «Напутствие сыну». Сын – это мой стих. «Она» с большой буквы – Правда. Читайте сначала первую фанерку!

На ней было написано:

«Поэзия обслуживает класс и его текущие потребности.

Она должна быть точно адресована.

Задачи поэзии – конкретные, временные, конечные.

При неясности адресовки возможны ошибки и промахи автора и читателя.

При точной нацеленности стиха обеспечено точное нахождение своего читательского коллектива.

Поэзия должна быть боевой: она разоблачает врагов народа и обстреливает их позиции.

Вследствие своей актуальности боевая политическая классовая поэзия неизбежно недолговечна.

Авторство индивидуалистично, подлинная классовая поэзия принадлежит классу в целом».

– А теперь прочтите мой ответ. Я исхожу из мысли, что поэзия, обслуживающая Правду и только Правду, не нуждается в условиях, указанных автором статьи. Прочтите-ка мои ответы вслух.

Я прочел: «Напутствие сыну».

Я писал тебя для Нее,
Как письмо за ночным столом.
К утру, выпив перо мое,
Ты ожил и повел крылом.
Мир широк. Он как божий сад.
Там узнают тебя. Лети!
Не к лицу тебе адресат,
Нет конца твоему пути...
И собьешься – печали нет!
Долог, долог он, твой полет
Сквозь вертушку ночей и лет,
Но кто может понять, – тот поймет,
Тот узнает тебя. Сотни глаз
Запрокинутся – «Может, к нам?»
Может, к ним... И однажды раз
Пролетишь у ее окна.
Не возьмет она, не гонись!
Ей, пожалуй что все равно,
Но с чужой руки не кормись
И ни в чье не влтай окно.
И когда через дым и свист
Пушки выкатят – не гляди,
Падай, сын мой, как мертвый лист,
С головою в траве пропади!
Ты увидишь других людей,
Стих мой, сын мой, и жаль одно:
Над просторами их площадей
Мне услышать тебя не дано.
Будешь жить среди них без меня,
Лишь часами далеких ночей
Смутный сон про себя храня,
Что ты все-таки – мой иль ничей!

Мы помолчали.

– Технически стихотворение хорошо написано, складно и ладно, – наконец произнес я. – Но, как это случается с вами очень часто, оно написано непродуманно. Вот вы служили в Красной Армии и в гитлеровском гестапо.

Кузнецов побагровел.

– Я не служил в гестапо, – запальчиво крикнул он мне в лицо, – я выполнял там задание наших партизан! Слышите?! Прошу не ошибаться!

– Не лезьте в бутылку, Николай Петрович. Я не следователь и не хотел вас обидеть. Я...

– Но вы допустили следовательскую формулировку! Именно по ней я получил двадцать пять лет!

– Сочувствую. Но мы говорим о другом. В этих двух организациях вы наблюдали две идеологии, построенные на двух правдах.

– Правда – одна!

– Чепуха! Правд столько, сколько материальных интересов. Советские коммунисты и немецкие фашисты борются за свои особые подлинные правды, то есть за реальные интересы бедных и богатых, трудящихся и эксплуататоров. Обе стороны полностью правы, но каждая по-своему. Мы против них не потому, что наша правда правдивее, а потому, что она – наша. Поняли? Символа веры у вас не получилось. Вы не сказали, в чем именно ваша Правда с большой буквы. Отрицание ничего не утверждает. Вы только неплохо возразили партийному дураку: он слишком откровенно сказал то, что обычно прикрывают болтовней о гуманности, свободе и прочем. Вы сочувствуете Гитлеру?

– Нет.

– Тогда вы за одну правду с автором статьи и ему можете поставить в упрек только обнаженную форму. Так нужно было это и сказать, но определеннее, острее и круче. С беззлой насмешкой. Чуть печально, как умный спорит с дураком.

Кузнецов задумался.

– Можно? – гаркнул у дверей бодрый голос, и в кабинку широко шагнул Федька-Шрам со свертком под мышкой.

– К тебе серьезный разговор, доктор. Поэт, поднимай якорь и уходи в туманную даль, как говорится в любимой песне!

Федька сел на стул, осторожно положив на стол свой сверток.

– Дядя Вася, баланду доктора поставь на печку, слышь? Петька, покедова я не дам сигнал, чтоб нас никто не беспокоил! Заметано?

– Об чем вопросик?

Федька осторожно положил сверток под стол.

– Ты знаешь, доктор, что сегодня есть сочельник? А?

– Нет, забыл. Под Первомай и Октябрьскую меня как опасного врага народа сядят в изолятор, и советские праздники я

не забываю. А Новый год – зачем он мне? Я годов не считаю. До срока все равно не доживу.

– Посмотрим. Годы нам не люди считают. Всему в жизни хозяин – судьба. Понял?

Федька искоса посмотрел на дверь, быстро нагнулся, пошарил у своих ног и налил мне полкружки водки. Пошарил еще и положил на чистую фанерку мастерски обжаренный кусок мяса.

– Будем встречать Новый год. И поговорим. Пей.

Я опорожнил кружку и начал жевать ароматное жирное мясо.

– Вкусно. Заяц?

– Любимая кошка твоей начальницы. На здоровье, доктор! За удачу в Новом году!

Он выпил и закусил.

– Ты, Федька, по тем рельсам катишься, которые ведут прямехонько в тупик: судьба, успех... От кого я это слышу?! Судьбу мы делаем сами, браток! Еще наши деды говорили: «Бог-то бог, да сам не будь плох!»

Федька крякнул и покачал головой.

– Эх, милый ты мой доктор, потому-то я и в философию ударился, что сплеховал и в себя самого потерял веру. За-сыпка полная.

– Ну?

– Слушай, что говорю. Полгода я готовил побег. В штабе мне замостырили липу, с фоткой и законными печатями, как полагается. То есть все по науке. Сколько денег мне это стоило – понимай сам. Обрыв был назначен на сегодня, на сочельник Нового года, – вольняшки, мол, перепьются и дадут спокойно сесть на поезд. Я уже в обед на прощание хорошо выпил с Метеором – мы то есть вместе кушали. Перед последним сном в зоне и выходом через вахту пошел я энтó в уборную. Иду и смеюсь себе – мол, тоже в последний раз.

– Ну и что же?

– Слухай. Все документы и с фотокарточкой у mine с кармана по пьянке вывалились, и я того не заметил. Выспался законно, претензий иметь не могу. Просыпаюсь, а документов нет. С штаба мне уже передали – документ нашел твой инвалид, что в кабинке сейчас военные тайны пишет.

– Майстрах?

– Он. Нашел, отдал и доволен – выполнил, значит, воинский долг.

Мы помолчали.

6 – Будешь опять готовиться?

Федька вздохнул.

– Денег нет. Судьба?

– Нет, пьянство не вовремя, парень. Сначала делают задуманное, потом пьют. Ты поступил наоборот. За наоборот бьет не судьба, а наш великий учитель – жизнь.

Помолчали.

– Ты куда собрался бежать?

– К Эрне. Она выходит в следующем году. Так я хотел мотануться на Урал да и устроиться где-нибудь в большом городе. Она подъехала бы потом. Работали бы порознь – она музыкантшей, я – токарем, а жили бы вместе. Хорошее планирование?

– Очень. Молодец ты, Федька. Эрнэ согласна?

– Насчет Свердловска – да. Насчет побега она ничего не знала. Считает, что после войны будет амнистия и мы законно выйдем вместе. Теперь все под откос.

Он налил мне еще водки и вынул румяную ногу, этакий окорочок.

– Валяй, доктор, пропивай мою свободу.

Я выпил водку и закусил корочкой хлеба с солью.

– А мясо?

– Оставлю для Анны Михайловны. Пусть она тоже встретит Новый год. А насчет пропивания твоей свободы – это ты зря. Я пью и радуюсь, что твоя глупая затея провалилась. И ты не поставил под угрозу ни Эрну, ни вашу совместную жизнь. Что это за существование, когда обман каждый день мог бы открыться и тебя посадили бы за побег? Эх ты, дурачок... Разве счастливую семью строят на песке? А если родятся дети?

Федька выпил, закусил и опустил изувеченное лицо в сильные, большие ладони.

– Как жить?

– Честно. Рвать с шалманом.

– Для чего?

– Для себя. Для нее. Для ребенка. Для общества. Ведь если уйдешь из шалмана, то станешь гражданином. Хватит силы?

Федька не поднимая лица сказал глухо:

– Хватит.

Помолчали

– А если твои блатняки тебя найдут? У вас же за это смерть?

Долго молчал Федька-Шрам, наконец, нехотя буркнул:

– С шалмана бежать трудней, чем с лагеря. Да, здесь за неудачу срок, а там – смерть. Но я понимаю, что с шалманом

легче рвать здесь, в лагере. Решить проблему не отходя от кассы, как говорится.

– Ну?

– И я отмерю свою судьбу сам. Понял? Сам!

9

Зимой в Сибири смеркается быстро. Я вышел на крыльцо, поглядел – уже темновато. Время повидать Анну Михайловну в рабочем женском бараке после ужина ушло, и самоохранник уже запер калитку в рабочую зону. Я посмотрел на небо – на западе оно еще светилось бледно-зеленым сиянием, на сиреневом снегу четко рисовались все характерные особенности человеческой фигуры. Меня узнают с первого взгляда. Что-нибудь предпринимать пока опасно.

Я пошел к уборной.

– Это вы, доктор? – крикнул с вышки стрелок.

– Карп Карпыч?

– Он самый. Подь сюды, мил человек.

Снег в сильный мороз рассыпчат, как мука. Я подошел ближе. Через перила вышки чуть возвышался воротник дохи, а в нем вертелась головка маленького старого колхозника из соседней деревни Карп Карпыча, военнообязанного стрелка последнего набора. Он любил заходить в амбулаторию – выпить чего-нибудь: нашатырно-анисовые капли его вполне устраивали. Карп Карпыч по складу ума родился философом и любил беседовать на самые отвлеченные темы.

Теперь он свесился через перила и спросил, притопывая ногами от холода:

– Ты скажи, мил человек, есть бог аль нету?

Стуча зубами от холода, я с трудом крикнул в ответ:

– Ты, стрелочек, заходи завтра в амбулаторию – я принимаю после обеда.

Карп Карпыч громко шмыгнул носом и возразил сверху:

– Пошто виляешь? Ты скажи таперича по всей учености, есть бог аль нету?

Делать было нечего – приходилось принять вызов. Стоя по колена в снегу, я задрал вверх голову:

– Наука этим вопросом не занимается. Это – вопрос веры. Наука – от разума, вера – от чувства. Кто может верить – пусть верит. Наука не отрицает бога и не подтверждает его существование. Ей до бога нет дела. Она заведует знаниями.

Карп Карпыч довольно хихикнул сверху.

то – Тута я тебя и изловил, любезный ты мой ученый. В Катехизисе имеется глава «Доказательства бытия божьего», а в книге по научному социализму – глава «Доказательство того, что бог не существует». Ага! Поймался? Что скажешь?

Я посмотрел на небо. Темнота сгушалась. Крикнул:

– Поп, желающий что-то доказывать, – неверующий безбожник, верующему доказательства просто не нужны. Социалисты, доказывающие отсутствие бога, – верующие наизнанку, – оба они торговцы, старающиеся охаять товар конкурента. Получаются две фирмы, спорящие из-за покупателя. Наука с религией не встречается и споров с ней не ведет: они ходят по разным дорогам!

– Кто идет? – вдруг дико заорал Карп Карпыч, проворно повернувшись куда-то вбок.

– Оперативный уполномоченный капитан Долинский! – ответил из темноты спокойный голос.

Я воспользовался случаем и юркнул за угол барака.

Ценный подарок можно испортить некультурностью и бедностью передачи. Нет, в такой вечер я не должен останавливаться ни перед чем! Твердой рукой я вырвал драгоценный лист из тетради моих записей. Сел. Задумался.

Написать «уважаемой» скучно, дорогой» – навязчиво. Лучше всего – «милый»: это тепло и корректно, ни много, ни мало. «Милой Анне Михайловне от...» от человека, который... что? Уважают? Любит? Интересуется? Не то, не то... «Которому она дорога»? Слишком сильно. «Приятна»? Слабовато. «Который о ней много думает». А? Удачно!

Милой Анне Михайловне от человека, который о ней много и хорошо думает!

Очень, очень удачно!

Я каллиграфически написал эту фразу, сложил листок в четверку, аккуратно завернул кошачью ногу в александрийскую бумагу, а записку осторожно подсунул сбоку. Получился довольно элегантный пакет, нечто вроде коробки шоколада или шкатулки с жемчужным ожерельем. Я повертел пакет, посмотрел на него со всех сторон и, улыбаясь от радости, сунул за пазуху.

И вдруг похолодел от ужаса: «А вдруг она не захочет есть кошачье мясо?» Я вспомнил так полюбившуюся мне брезгливую складку в углу красиво очерченного рта. Да, она откажется!

Я сел на табурет.

А если сказать, что это кролик? Гм... Она никогда не ела кошек и ничего не узнает. Но после все может выясниться...

Надо предупредить Федьку! Но тогда знак искреннего чувства будет осквернен ложью!

Я растерялся. Так идти или не идти?

И вдруг вспомнил окорочок, как будто отлитый из желтого золота... Эх, была не была... Вперед!

Я осторожно пробрался позади нового барака к середине забора, — к месту, равно отдаленному от обоих вышек. Потрогал забор. Дерево промерзло насквозь и звенело, как стеклянное. Черт! Что делать? Забор высокий и такой неустойчивый: хороший лес начальники украли себе и заменили гнильем, а ставили забор заключенные. Кое-как. Всякий понимает, что такое работа раба...

И вдруг я вспомнил сияющие от радости глаза Анны Михайловны, когда она сегодня угощала меня тюрей. Так вот как я плачу за добро! Я подпрыгнул, ухватился за обледеный верх, повис, коленками уперся о столб и полез наверх. Забор затрещал и пошатнулся.

— Кто там? Стрелять буду! — по-петушиному прозвучал голос Карп Карпыча.

Я закинул ногу на другую сторону и приготовился прыгнуть в рабочую зону. Чуть нагнулся в ту сторону, начал было заносить вторую ногу и... И вдруг забор с треском и грохотом ожил, закачался, размахнулся и сбросил меня далеко в сугроб на рабочей стороне, а сам со стоном и стеклянным пронзительным звоном повалился за мной вслед, от края до края, через всю зону, от вышки до вышки!

— Пущаю ракету! Стреляю! — кричал Карп Карпыч, впопыхах путаясь с ракетой и винтовкой. Я поднялся на четвереньки, огляделся и, пригнувшись пониже, побежал к баракам. Очутился за углом, когда Карп Карпыч пустил, наконец, ракету. Все кончилось удачно. Тут только я вспомнил о кошачьей ноге. Сунул обмерзшую руку за пазуху. Ноги нет!!!

Чуть не плача, я окаменевшими пальцами я расстегнул бушлат. Нога зацепилась за поясok телогрейки, драгоценный пакет повис совсем низко. Я едва не потерял его в темноте. Но все же дело было выиграно, и я поспешно зашагал к женскому барaku.

В бараке было тепло. Только у входа, сгорбившись, сидела ночная дневальная, тощая, высокая старуха по кличке Швабра.

— Кто это? Вы, доктор? К кому?

— Больные есть? Сегодня в бане Иванова жаловалась на простуду.

— Да нет, она, вроде, здорова. Собирается на ночное дежурство в бане. Вон она копошится у печки, чай греет, однако.

Мы стояли у печки над теплым чайником и делали вид, что греем руки. В темноте наши пальцы иногда встречались. Самые кончики. Коснутся — и сейчас же пугливо отскочат назад, чтобы сейчас же снова начать игру. Мы что-то говорим — нельзя же молчать. Говорим для Швабры и шепотом, чтобы не будить спящих. О чем? Ни о чем. Говорим, чтоб не молчать. О чем-то обычном, привычном, своем, лагерном. Не все ли равно?

По-настоящему сейчас говорят наши глаза. Ради нескольких минут такого немного разговора я и пришел сюда.

— Бедный Али, — шепчет Анна Михайловна.

— Не говорите о нем.

— Почему?

— Нельзя. Мы можем проснуться.

Коптилка чуть освещает наши лица. Я вижу благодарную улыбку. Домашний халатик с крупным рисунком. Кругом густой полумрак. Мы одни. Это сон.

Но Швабра глухо кашляет у двери. Она не спит. Надо говорить. Я начинаю:

— Сегодня с третьего привезли умершего. Там недавно была начальница и в отношении одного больного старика сказала, между прочим, что ему было бы полезно ввести под кожу паховой области раствор поваренной соли.

Наши пальцы прикасаются и вновь разбегаются прочь.

— Ну и что же?

— Она подразумевала, конечно, стерильный физиологический раствор. А тамошняя врачиха после отъезда начальницы пошла на кухню, взяла из бочки горсть грязной соли, размешала в котелке воды и ввела его в указанное место.

Кругом мрак, наполненный сопением и тихим стоном спящих людей. Мы одни.

Я вижу только ее глаза, и только с ними и веду сладкую беседу, но мои губы говорят:

— Образовались страшные язвы и больной в муках скончался. После проверки документов врачиха оказалась самозванкой. На воле она работала маникюршей. Где вы спите?

— Вон там, — отвечает она, но мы оба не поворачиваем голов. Зачем? Не все ли равно.

— Рядом со мной спит Анисья Раздорнова, донская казачка. Знаете ее?

— Красивая. В черной косынке. Строгое лицо католической мадонны. Она?

– Да. Анисья – бригадир швейной бригады и сумасшедшая. Рассказывает, что дома однажды утром вышла на крыльцо. Дело было летом. Муж уехал с дочкой в Ростов. С крыльца она увидела, что сосед отправился на работу, а соседка взяла кошелку и пошла в лавку. Тут она **почувствовала**, что **должна** ограбить соседей: перелезла через плетень, вошла в горницу и собрала кое-какие вещи в узел из постельного покрывала. Понесла его через двор к себе. Увидела играющих у колодца малолетних детей соседа и тут ей **показалось**, что они могут быть свидетелями. Она бросила девочку в колодец, и та в воде сейчас же захлебнулась. Мальчик сопротивлялся. Раздорнова подняла лежавший у колодезного сруба топор, отрубила мальчику пальцы, пошла к себе и легла спать, бросив узел с чужими вещами посреди комнаты. Мальчик упал не в воду, а в спущенное ведро. Вернулась мать, увидела, что детей нет и услышала из колодца стоны, а на срубе заметила отрубленные пальчики. Ребенок успел дать показания.

– Неприятно спать с сумасшедшей?

– Нет, почему же? Что она может мне сделать? Ведь я уже сброшена в колодец, и руки у меня отрублены!

Анна Михайловна тихо и светло улыбнулась и опустила голову. Швабра зашевелилась у двери.

– Иванова, собирайся на работу. Отбой уже был!

Мы молча глядели друг на друга и радостно улыбались. Нам было все равно – лагерь, отрубленные пальчики, Швабра...

– Не будем просыпаться! – сказал я.

– Не будем! – твердо подтвердила она.

10

Поваленный забор уже потонул в пушистом снегу, и я легко проскользнул мимо вахтера. Придя в барак, расстегнул бушлат – и аккуратный белый пакет, похожий на коробку конфет или шкатулку с ожерельем, упал на пол.

Я хватился за карман – там лежал второй пакет, заготовленный еще утром: чисто выстиранные ажурные кальсончики, которые я когда-то купил в Париже, отправляясь в Сахару. Кальсончики были из шелковой сетки, такие, – по уверению хозяина дорогого магазина, – носил сам высокий комиссар Франции в Марокко, маршал Луи Гонсальес де Лиотэ. Это была последняя вещь, оставшаяся у меня из дома, и именно ее я хотел преподнести вместе с жареной кошачьей ногой. И все вылетело из головы... Подарки остались внизу, в лагере,

а мы улетели далеко-далеко вверх, в умиротворяющий зачарованный сон...

Я спрятал подарки в изголовье и мгновенно заснул – без кривляющихся человечков, без протянутой ко мне темной руки и без перечисления событий. Я просто забыл обо всем этом. Я был вполне здоров и счастлив.

Позднее Плотников разбудил меня.

– Одевайтесь, доктор, ваша очередь идти в обход.

Он поставил фонарь на пол, сел на табуретку, расстегнул полушубок и стал делать закрутку. Плотников был высоким и молодцеватым службистом, членом партии, хорошим человеком. Его уважали, он это чувствовал и любил поговорить с людьми пообразованней. В том числе и со мной. В Сибирь попал из Владимирской деревни и очень сильно окал: его приятно было слушать.

– Вот сего дня я слышал от одного верного человека, – медленно начал он, затянувшись и пустив дымок, – что к северу от Байкала, в дремучей тайге, живут потерянные люди. Вы не слышали о них ничего?

– Нет, – сказал я, торопливо натягивая снятые с печки сухие и теплые штаны.

– Будто живут эти люди по старинке, как жилали наши предки – тихо, честно, мирно. Ни власти у них нет, ни лагерей, ничего. Живут по совести, понимаете ли, по человечеству!

Я покосился. Он не мог быть провокатором, этот служака опера Долинского. Я уже давно почувствовал, что Плотников ненавидит нашего законника.

– Как думаете, доктор?

– Это народная сказка, вековая мечта русского крестьянина – жить в мире и по совести и обязательно без начальства.

– Ой ли? Ненужный, стало быть, обман?

– Не обман, а мечта, гражданин старший надзиратель. А мечта всегда нужна: без нее не проживешь.

В бане мы остановились перед грудой смрадного белья, сброшенного при мойке. На ней спал сторож – Анна Михайловна, одетая в телогрейку, но без бушлата. Грязные мокрые ботинки она сняла и положила под щеку. Тусклая электрическая лампочка едва освещала бледное худое лицо.

– Улыбается чегой-то, – сказал Плотников. – А в лагере улыбаться нечему.

– Сейчас она не в лагере, гражданин начальник.

Плотников нагнулся и посветил фонарем.

– Шнурок от ботинок привязала к пальцу!

– Чтобы вовремя проснуться, когда начнут красть из-под головы.

– Инженер, говорят. Неужто?

– И хороший. Работала в военной авиации по приемке новых самолетов.

Плотников вздохнул.

– Самостоятельная женщина. Я ее сразу приметил. Таких здесь раз-два и обчелся. Ну, пошли дальше. Гм... улыбается, однако...

Плотников отпустил меня как раз перед полуночью.

– С Новым годом, Анна Михайловна! – мысленно сказал я, стягивая с себя уже обледеневшие ватные штаны и ложась на жесткую койку. Потом вдруг, не раскрывая глаз, рассмеялся. – Нет, не так! С Новым годом, дорогая Анечка! Спи, маленькая, и улыбайся во сне: мы пока вместе!

Глава 3

Весенний день сорок пятого года

1

В Сибири весна – голубая и прозрачная. Не зеленая, не солнечная и не очень веселая, как на Кавказе, а именно голубая, прозрачная и торжественно чистая: под высоким холодным куполом сибирского неба она спокойно шествует, как невеста к алтарю, невинно опустив синие глаза. И причастны к этому лазурному таинству все сибиряки, даже заключенные.

Новый барак в больничной зоне наконец выстроен – огромный, добротный, сложенный из толстых желтых пахучих бревен с янтарными слезками смолы. Он разделен на три неравные части: в одном углу – моя приемная (она же процедурная и жилая кабинка), в соседнем, через дощатую стенку, – маленькая опрятная женская секция на двадцать больных. Вместе они составляют треть площади барака. Остальные две трети – мужская секция на сто двадцать человек.

Теперь я лежу на топчане с настоящим матрасом и подушкой, и больничное белье мне меняют каждые десять дней, перед баней. Оконные рамы выкрашены в белый цвет, мой мрачный санитар, немец Вольфганг Шпенглер, натирает стекла

до фиолетового отлива и ежечасно расправляет складочки занавески из марли, окрашенной лечебной метиленовой синью. В стену от окна к печке набиты три аккуратных рядовеньких блестящих гвоздей, на которых висят продуктовые посылки в холщовых мешках – их больные доверяют хранить только мне. Полочки с лекарствами тоже белые и занавесочка на них белая, чтобы подчеркнуть медицинское значение этого угла. Моя постель прикрыта новым синим больничным покрывалом. Войдешь, взглянешь – и сердце радуется: на всем печать порядка и уюта, с боем добытых и утвержденных Вольфгангом и Анечкой – это они вдвоем превратили лагерное барачное помещение в настоящую комнату. Из нее дверь ведет в прихожую с выходами на крыльцо и в мужскую секцию: здесь, среди аккуратно сложенного хозяйственного оборудования, приютилась чистенькая коечка Вольфганга.

Мужская секция – это олицетворение лагерного благополучия: высокая, светлая, чистая. Дощатый пол выскоблен ножами, новенькие светлого дерева вагонки для четырех больных отставлены друг от друга так, чтобы не было тесно и побольше оставалось бы пространства для света и воздуха. Сладко пахнет смолистым деревом. Окна распахнуты настежь, прохладный ветерок шевелит свежую зелень, которую в медицинских стеклянных банках поставила на подоконник Грязнулька. После убийства Кота и Смерти Паука она живет с Бобом-Гориллой, а Боба, по указанию опера, назначили старостой этого показательного барака, очевидно, в качестве моего политического контролера. Анечка так и зовет его – Комиссар. В углу стоит его топчан, отгороженный от нескромных взоров простынями; бревенчатые стены тоже прикрыты ими, и сейчас, когда Грязнулька нежится в постельке, кажется, что она в девичьей белой горнице. Грязнулька лежит и играет с молодыми птенчиками – по приказу Боба больные изловили их в зеленых бурьянных джунглях где-то около огневой дорожки. Поносники постепенно все вымерли, хлебный паек увеличен, приварок улучшен, и голодное истощение мало-помалу сменилось умеренным недоеданием, при котором кишечные симптомы отсутствуют. Пережившие сорок третий и четвертый годы могут не беспокоиться – от голода они не умрут, теперь им угрожает только нож урки да прихоть начальства. Больные одеты в обмундирование третьего срока, старое, но целое – лохмотьев нет, совершенно голых людей – тоже, все больные в белье, не видно фантастических фигур без штанов, но с рукавами, оторванными от бушлатов

и напаянными на тощие ноги или с обрывком ватной штанины на голове вместо шапки. Даже мертвых приказано хоронить в белье. Если бы не хорошенькая Грязнулька с птенчиками на руках в простынном тереме, то все выглядело бы как гражданский больничный барак военного времени: чисто, бедно, во всем порядок. И еще: кругом голубое сияние весны, прохладный ветерок чуть продувает проходы между вагонками, и воздух тоже кажется голубым.

Вот холодный белый луч солнца чуть скользнул по стене, и мне уже не лежится – весна! Шесть часов утра. На развод не идти – сегодня день отдыха, первый за истекший месяц: весной не дают обычных выходных раз в десять дней. Сейчас позавтракаем с Анечкой и айда гулять, у нас впереди целый счастливый день! К тому же до обеда я выступаю с докладом в нашем кружке – а это тоже радость: я готовился с чувством, что держу в руках шелковую нить.

У полочки с лекарствами выстраивается очередь больных. Буся остался работать в старом бараке, а потом освободился, теперь мне помогает тихий, тщедушный подросток Антипка. Он грамотный и выполняет все мои указания. Тяжелых больных и смертности нет, и мы оба хорошо справляемся с работой. В очереди за лекарствами одни старички, они явились, чтобы опрокинуть обязательную рюмочку перед завтраком.

– Сколько у тебя срока, отрок? – степенно спрашивает бородатый больной: это священник, им в лагере оставляют бороды.

– Двадцать пять! – понутив голову, отвечает Антипка, ловко орудуя бутылками и бутылочками. Он твердо знает, какое лекарство «от головы», какое от «живота», какое «от груди».

– Четверть века! Плохо же ты начал жизнь, милый человек, очень плохо! И за что тебя похоронили?

Антипка мнетя. Ответа нехотя и чуть слышно:

– За убийство.

Священник всплескивает руками. Потом широко крестится. Вид у него скорбный.

– За убийство! И такой молодой! Ах, боже мой, боже мой! Какое нынче время! Понимаешь ли ты, отроче, что душеубийство – грех превеликий, и бог его не прощает? Не понимаешь, конечно! Кого ж ты убил?

– Районного оперуполномоченного, – покраснев, шепчет Антипка. – Я из семиреченских казаков.

Священник успокоенно вздыхает. Бодро крестится. Теперь его лицо излучает свет.

Гм... Уполномоченного? Ну, сей грех не велик, бог его тебе простит, отрок! – басит он и расправляет усы.

Больные смеются, пьют, крикают и благодарят.

– Вот спасибо, доктор! Спасибочки! Поддержали с утра!

Хмурый санитар с улыбкой распахивает дверь и говорит:

– Морген, фрау Анна пришьель!

– Вот и я! Привет, Вольф! Доброе утро, товарищи больные! Всем желаю здоровья, старички! Здравствуйте, Дмитрий Александрович!

Анечка в дверях с двумя котелками – своей порцией баланды и с праздничной добавкой, этот котелок от завидующих глаз прикрыт беленькой тряпочкой.

– И тебе доброго утра желаем, Михайловна! – хором отвечают больные, улыбаются, допивают лекарство и уходят. Они любят Анечку за ласковость и внимание – именно их не хватает в лагере, и за привет и улыбку усталые люди готовы отдать душу.

Мы съедаем нашу баланду и полагающиеся на завтрак кусочки хлеба. Он уже без полыни, и не только по названию, но даже по виду и вкусу вполне похож на настоящий хлеб. Когда обязательная и скучная часть завтрака кончена, Анечка снимает с плитки и ставит на стол котелок, прикрытый тряпочкой. Открывает – и сладкий пряный запах заполняет комнату: в котелке крупная желтая пшеница, сваренная в сладкой воде. Мы начинаем болтать, смакуя сладкую кашу. Спешить некуда: заключенные не украдут, начальства сегодня в зоне нет.

– Я с вечера поставила котелок на плиту в прачечной; дежурила Шурочка и обещала доглядеть до утра, – говорит Анечка. – Но этот новый зав баней, Некрасов, все выслуживается: с вечера не хотел пустить меня с котелком в прожарку...

– Выжимал свою долю, гад? Или боится Рачковой!

– Наверное. А сегодня утром я хотела сполоснуться перед завтраком, так он заметил и стал выгонять из моечной: «Сейчас придут мыться доктор Рачкова из амбулатории!» Вот подхалим! Я, разумеется, дала отпор: «Во-первых, Тамара не доктор, а бывшая жена секретаря обкома и зав амбулаторией, а во-вторых, она заключенная, как и я: пусть моется рядом, я не кусаюсь». Смолчал, поджал губы. Тамара с Галькой явились и, оскорбленные моим присутствием, молча помылись и поскорее ушли. Тамара – противная баба!

– Безусловно, Карфаген должен быть разрушен! Но я не забуду ей, что в январе она записала нас обоих в этап. Если

бы не Семичастная, мы были бы далеко. И не хлебали из одного котелка.

– Она нам завидует. В январе бежал Степа, и она нас преследует. Ты будешь вскрывать его сегодня?

– Завтра. Сегодня праздник. Тамара после исчезновения Степы начала обхаживать меня.

Помнишь, я рассказывал? «Побрейте бороду, и я ваша». И прочее. Когда я дал понять, что номер не пройдет и за премиальные пирожки не продаюсь, то она свела с нами счеты.

– Вы узнали от Плотникова Степину историю?

– Да. Он смастерил себе молоточек на длинной ручке и на зажигалки выменял у вольняшек форменную фуражку с молоточками. Сбежать из РМЗ легко. Добежал до станции, под видом железнодорожника вскочил на проходящий товарный поезд и отправился домой. Побег удался, потому что все бегут на запад, а он бежал на восток – у него мать и жена в Красноярске. Повидался и отправился на север искать работу у лесосплавщиков. Его поймали и направили сюда для показательного суда. У нас на станции, ночью, он побежал на рывок и получил пули в спину и в затылок. Жалко. Хороший был парень. Но дурак.

– Потому что бежал домой?

– Нет, потому что бежал вообще. Куда у нас денешься без паспорта? К блатным? Так ради этого не стоит бежать.

– Жаль культурного человека. Он тосковал по семье.

– Тоску надо зажать в кулак.

– Нам легко говорить: у нас семья здесь, за загородкой. Тамара купила его тело, а душа рвалась домой. Не спешите так, давайте растягивать еду. Вот в тряпочке сахарный песок – подсыпьте еще, сладкий верх мы съели.

– Когда обещают следующую выдачу? В штабе это известно?

– Ты побил Ильина, который в бухгалтерии выписывает сахар, и я с ним не разговариваю. Но ты молодец!

Мы опустили ложки и посмотрели друг на друга.

– Да, – с гордостью ответил я и расправил плечи.

– И напрасно.

Дело было так. Ранней весной объявляется общая уборка всего хозяйства – складов, машинно-тракторной базы, бойни, мастерских. На аврал выводят всех, даже штабников и медсанчасть. Какой-то счетовод по фамилии Ильин, толстый, широкоплечий мужчина средних лет (если он заведовал выпиской продуктов, то, надо полагать, сам-то в еде не нуждал-

ся), давно приметил Анечку: она работала теперь за зоной на сыроваренном заводе и в какой-то мере ему подчинялась. Человек, имеющий лишний кусок пищи, — в лагере всесильный господин и стесняться ему нечего и некого. Намекнув несколько раз, что может улучшить ее положение, Ильин воспользовался удобным моментом и во время аврала, где-то в укромном уголке, прижал Анечку и пустил в ход руки: о согласии он не спрашивал, потому что в нем не сомневался. Вечером Анечка пожаловалась мне. На следующий день, после утреннего приема, я отправился в бухгалтерию штаба. В большой комнате сидело за столами человек десять счетоводов из заключенных, а возле них толпились чекисты в форме, зашедшие для разных деловых расчетов.

— Кто здесь Ильин? — громко спросил я, остановившись у двери.

— Я.

Я подошел к его столу.

— Встаньте.

Когда Ильин встал, я влепил ему тяжелую затрещину в лицо и несколько раз всадил кулаками увесистые тумачи под жирные бока. С криком «Помогите! Бьют!» Ильин бросился к дверям, но я успел поймать его за ворот, уперся ногой в дверной косяк и стал колотить по затылку. Наконец, он вырвался и удрал. Молча наблюдавшие эту сцену офицеры опять занялись своими делами. Позднее они заявили оперу, что ничего не заметили и ничего не знают.

— Помните, как Василь подрался из-за вас с Андреем? Василь победил, и вы достались ему. Теперь победил я, и вы — моя! — с гордостью сказал я тогда Анечке и стал героем зоны: женщины смотрели на меня с восхищением. И все же это оказалось отчаянной и необдуманной выходкой.

Меня на десять суток посадили в изолятор на съедение клопам. Позднее этот случай помог Рачковой сунуть нас в этап как штрафников. Анечка пострадала больше: ее выслали на седьмой лагпункт. Начальником там был Солдатов, выгнанный раньше из милиции, где он занимал должность постового. Неограниченная власть сделала из Солдатова сатрапа — со штрафниками на своем лагпункте он делал, что вздумается. Анечку он положил на промерзший пол у самой входной двери. Постельных принадлежностей не дал. Началось воспаление легких. На все просьбы молоденькой вольной медсестры Олечки Солдатов упрямо отвечал: «Пусть дышает!»

Так и умерла бы моя Анечка, лежа на обледенелом полу без помощи, если бы не вмешалась наша сусловская началь-

ница МСЧ Анечка Семичастная. Она прислала наряд, положила больную в больницу, дала возможность не только поправиться, но и отдохнуть. Когда-то в Норильском лагере мне спас жизнь заключенный врач Утемисов, теперь Анечке спасла жизнь вольный врач Семичастная. И сам я спас от смерти не одного заключенного... Вольный врач Носова, бывшая заключенная, спасла нашу лагерную любовь – не будь Носовой, позднее вычеркнувшей нас обоих из новых этапных списков, мы разъехались бы и потеряли друг друга – ведь переписываться заключенные не имеют права и писем с лагерными адресами от них начальник КВЧ не принимает. Наконец, Тамару Рачкову выдала вольная сестра Оксана Петровна, любительница кормить медом всех желающих; этим она тоже спасла не одного заключенного. А комсомолка Валя из оперчекистской части, рисковавшая свободой и жизнью для того, чтобы передавать заключенным письма, которые опер Долинский распорядился сжигать? А медсестра Ростовцева, маленькая, рыжая, курносая, неприветливая, – она водила меня из Маротделения в Мариинскую тюрьму для оказания врачебной помощи и как-то по дороге, насупившись и глядя вбок, предупредила, что полька Ванда, моя помощница в амбулатории, – подосланный опером провокатор? Это было своевременное предупреждение, может быть, оно спасло мне жизнь... А в этапе... Но всего не вспомнишь и не перечислишь. Важно и бесспорно одно: в страшных условиях террора и насилия, пропаганды зла и лжи вольные и невольные простые советские люди с удивительной щедростью души безбоязненно протягивали друг другу руку помощи.

Так что же такое лагерная медицина? Неужели лишь благопристойная ширма, прикрывающая черные дела чекистов в проволочном загоне? Нет, тысячу раз нет! Лагерные врачи такие же люди, как и лагерные чекисты: каждый может творить добро и зло в меру своих душевных качеств, и каждый действительно творил их потому, что лагерная жизнь – это предельно сжатый сгусток жизни вообще: там тоже существуют условия для свободного выбора, и за проволокой главной определяющей силой является не буква закона или так называемые объективные условия, а живой советский человек, в котором почти всегда преобладают силы жизнелюбия и человеколюбия. Вот и Солдатов: хам, неуч, матерщинник, пьяница, сатрап... Однако же он влюбился в молоденькую вольную медсестру Олечку, круглолицую и похожую на куклу-матрешку, и сбежал с ней из лагерной системы – оба они

променяли на обычную трудную, полную лишений гражданскую советскую жизнь праздное и сытое существование сталинского угнетателя, тюремщика и рабовладельца. Нет, хороший человек всегда и везде найдет возможность делать добро, и нужно вспоминать благодарным словом лагерные МСЧ, которые в меру возможного создавали добрым людям благоприятные условия для проявления гуманных движений души.

Мы с Анечкой уже закончили праздничный завтрак, и я готовился было свернуть самокрутку, как вдруг дверь открылась, и на пороге остановилась странная фигура, живо напоминавшая недоброй памяти сорок второй год. Это был тощий голый молодой человек, надо полагать, светлый блондин с широко раскрытыми голубыми глазами, из которых кричала тоска и страх. На нем был надет рваный мешок – в дыры и были просунуты голова и руки. Держась от слабости за притолоку двери, живое видение голодного года едва слышно прошептало:

– Помогите... Умираю...

– Этот шеловек с нови этап, – сумрачно глядя в потолок, процедил Вольф. – Сейшас прибиваль.

Повалившись на табурет, человек в мешке выжал из себя:

– Я сын академика Бертельса... известного востоковеда. В этапе урки... едва не уморили меня голодом... Все вещи и костюм отобрали... Я – студент... Меня посадила невеста... за отказ регистрироваться... Помогите!

Это было ЧП. Года два назад таких привидений в мешках, в лохмотьях и просто голых по зоне шаталось множество, и сын академика погиб бы, никем не замеченный. Но теперь война кончилась, голода не стало, и ценность человека возросла от стоимости окурка, поднятого на грязной дороге, до сознания нравственного права на жизнь. Я написал направление в больницу на клочке бумаги (не на фанерке), Вольф обнял новичка за талию, и они исчезли.

– Закончим праздничный пир, – произнесла печально Анечка и подала мне кусок сыра, который принесла в кармане бушлата. Сыр! Я не верил своим глазам! Протянул руку, ожидая, что это волшебное видение исчезнет при прикосновении. Но оно не исчезло. Я откусил кусочек и принялся сосать его, как леденец. Все вспомнилось сразу: и **зрелый** бри, который я часто вечером заказывал в парижском кафе «Руайяль», и стильтон, который из ведра мне и сэру Эрнесту вырезывали у Стимсона на Стрэнде, и янтарные кусочки пармезана, которые я медленно жевал и запивал из горлышка глотками кьян-

ти, сидя на траве в Фьезоле, в тот час, когда божественная Флоренция кажется сначала золотой, а потом розовой... Ах, сыры, сыры... Фантастическое царство запахов и вкусов – от камамбера с тончайшим запахом грязных носков, через серебряную плитку ливаро с запахом старого писсуара, до повелителя и недостижимого идеала сырного мира – жеромэ в металлической коробочке: откроешь ее – и чудится, что прижимаешь нос к пузу гниющей на летнем солнце дохлой кошки...

– Что ж вы... Ешьте...

Анечка поднимает печальные глаза.

– Вы почему такая убитая? Вы нездоровы?

– Нет, не только. С тех пор, как меня послали на сырозавод, я чувствую себя хуже. Я не могу, понимаете, просто не могу десять часов ходить по кругу вместе с Чемберленом и вращать этот проклятый сепаратор. Я не могу! У меня нет сил!

Я опустил руку с кусочком сыра.

– Ешьте. Он честно заработан.

– Может, легче крутить ручку?

– Что вы... десять часов? Даже здоровые мужчины этого не выдерживают.

– Или лучше сдать и пойти инженером на РМЗ?

Анечка тряхнула головой.

– Нет. Никогда. Я инженер-химик, и если меня вначале брали не по специальности на должность заместителя заведующего тракторной базой, то только потому, что вольный заведующий всегда должен иметь рядом с собой заключенного, на которого потом может свалить ответственность за воровство запчастей и за махинации с работой тракторов. Вы поймите: колхозы сидят без запчастей, но им нужно пахать, сеять и жать. Наша база нелегально обслуживает запчастями и тягачами всю округу: председатели хорошо платят, этим живет все наше начальство! Но злоупотребления могут вскрыться... В любой день... И я не хочу получать новый срок за то, что покрыла этих казнокрадов. Я не хочу! Сознание, что я прислуживаю банде негодяев, хуже ручки и оглобли! Пусть я работаю в должности клячи вместе с Чемберленом, но мы оба – честные животные!

Я положил кусочек сыра на стол и опустил голову.

– Все дело в здоровье Чемберлена. Пока мы ходим вместе – дело идет. Но бывают дни, когда он не поднимается на ноги. Одна ходить в оглобле десять часов я не в силах! Что будет, если...

Я встал.

– Ладно, не загадывайте вперед. У заключенного нет будущего. Живите сегодняшним днем. Сегодня у нас нет никаких дел, кроме отдыха, Анечка! – сказал я, видя, что она уже вытащила из-под топчана мой тощий вещевого мешок и принялась вытряхивать из него пыль. – Только после обеда сюда забежит на полчаса наш Тополь. Идем!

– Что с ней? Аборт?

– Да! Идем же, Анечка! *

– Куда?

– Сейчас увидите! Ну, подбодритесь! Вольф, если начнут собираться товарищи, пусть подождут – я буду к десяти часам!

2

Мы проходим через вахту больничной зоны, огибаем рабочий барак и идем по направлению к главной вахте между стеной и забором – здесь тянется узкая полоса сочной немятой травы.

– Куда мы? – тревожно спрашивает Анечка.

– Вот сюда! – сияю я и указываю место. – Эту скамеечку я загодя смастерил вчера вечером под носом у стрелка. На вышке торчал Карп Карпыч.

– Зачем нам скамеечка? – тихонько смеется Анечка, видимо все уже понимая.

Мы садимся. Тихо. Перед нашими носами бурьян, позади него – серый дощатый высокий забор, увитый ржавой колючей проволокой. Но над нами – весеннее небо, ясное и холодное, которое вдруг нам начинает казаться теплым и ласковым.

– Как хорошо... – говорит Анечка. – Я никогда не думала, что в Сибири небо может быть приветливым...

Наша скамеечка – просто обломок старой доски на двух камнях. Нам тесно. Чтобы не упасть, она прижимается ко мне.

– И никого нет... Мы одни...

Я обнимаю ее за талию и привлекаю к себе. Солнце пригревает, и мы закрываем глаза.

– Это праздник: мы одни... – мечтательно, как будто в счастливой дреме говорит она.

– Эй, чего уселись здесь? Давай враз к такой-то матери, – вдруг крикнул с вышки усатый стрелок. – Еще целоваться будете?

Анечка вздрагивает, но я сильнее прижимаю ее к себе.

– Будем! – говорю я тихо и целую Анечку в губы. Раз. Два. Много раз.

– Вот гады! – удивляется стрелок. – Место под вышкой выбрали! Неужто иного кутка нету?

Анечка молчит, закрыв глаза.

– Нет! – тихо говорю я и опять целую ее. Не открывая глаз, она как будто просыпается. Потягивается.

– С добрым утром! – улыбаюсь я и крепко-накрепко ее обнимаю. Так мы сидим, обнявшись. Нам хорошо.

– Вот я вас, сучье отродье! – орет стрелок. – Разбегись от себя, а то стрелять буду!

Он стучит винтовкой.

– Он нас может убить? – дрожа в моих объятиях, спрашивает Анечка.

– Может.

Мы целуемся. Звякает затвор.

– Разойдись, а то...

Анечка не раскрывает глаз. Я делаю над собой усилие.

– Сейчас он может нажать курок... Пуля уже в стволе...

Мы открываем глаза и весело хохочем. Встаем.

– Что ж ты, стрелочек, в такое утро злишься? А? Посмотри-ка на небо!

Стрелок долго кашляет, смотрит на небо, потом кричит:

– Не положено, штоб целоваться! Поняли? А при чем, обратно, небо? Порядок полагается и при небе!

До угла я веду ее, обняв за талию. Спинами мы чувствуем провожающее нас дуло.

– Куда теперь?

– Я заготовил другое место. В запас!

Мы идем среди клумб прямо на противоположную сторону зоны. За баней ложимся в высокую траву на ковер сорванных и привядших цветов: я их сорвал и уложил вчера, чтоб не было так сыро. Солнце уже высоко поднялось над проволокой, но на ржавых крючках проволоки еще радужно сверкают и искрятся капельки росы. Теплеет. Ветерок шевельнет светлые весенние листочки вольных берез за забором, и опять стихнет. Мы сидим рядом, держа друг друга за руки. И опять сладко закрываются глаза. Анечка опускает голову на мое плечо.

– Я – Гитлер! Я – Гитлер! Убейте меня!!!

Женский голос звучит сначала издали, потом приближается. Передвигается вправо. Огибает баню. И вдруг истошно, надрывно, нечеловечески звучит над нами:

– Я – Гитлер! Я – Гитлер!! Убейте меня!!!

Мы вздыхаем и открываем глаза: нет, в лагере некуда спрятаться...

– Это Соня Изрелевич? – сонно спрашивает Анечка.

- А кто же еще? Черт бы ее взял...
- Когда ее вывезут в Мариинск?
- Неизвестно. Весна. Нет свободного стрелка и подводы.

Соня – душевнобольная. Ее привезли с шестого лагпункта. Она лежит в больнице № 1, но санитар не может усмотреть, на дворе тепло, и Соня часто прорывается во двор и босая бегают по зоне в одном белье.

- Она симулянтка?

– Нет.

- Почему кричит, что она Гитлер?

– Если будет кричать, что она заключенная, никто не обратит внимания – самоохранники дадут палкой по спине и все. Заявлять, что ты – Гитлер, в Советском Союзе может только сумасшедший. Это ее визитная карточка.

- Так она все-таки симулянтка?

– Нет. Но сумасшедшие тоже не дураки и соображают, что к чему. Позавчера мне удалось ее поймать. Говорю: «Соня, вот ты все требуешь, чтоб тебя убили, но бегаешь от забора или мимо забора, и тебя никто не убивает. А ты побегии прямо на забор – перебеги огневую дорожку и ухватись за проволоку руками. Тогда стрелок наверняка убьет тебя на месте, и все будет в порядке».

- Ну а она?

– Ах, если бы вы видели ее глаза! С каким бешенством, с какой ненавистью она на меня смотрела! Поняла, что я смеюсь над ней, потому что в таких, как она, душевнобольных обычно сидят два человека – здоровый и больной. Такие больные – раздвоенные!

Соня, прокричав свой обычный репертуар, уже готова была бежать дальше, и мы, поглядев ей вслед, хотели было закрыть глаза и отдаться наплыву чувств, как вдруг с воли, из-за забора, в зону влетела желтая бабочка и, вихляя туда и сюда, стала порхать вдоль огневой дорожки. Соня остановилась, потом, широко расставив руки, бросилась за ней, повторяя по росистой траве тот самый извилистый путь, который бабочка чертила в голубом утреннем воздухе.

– На дорожку не заходить! Стрелять буду! – закричал то-неньким надтреснутым голоском мальчишка-стрелок Панька, контуженный фронтовик: это был тоже душевнобольной, но более опасный, чем Соня, потому что ему дали в руки оружие. Анечка и я обнялись, потеснее прижались друг к другу и хотели опять продолжать игру с поцелуями. В сонном теплом воздухе слышалось, как Панька мурлычет себе под нос песенку,

вернее, припев к ней: кончит, замолкнет и начинает снова, как злая оса над весенними цветами – перелетит, выпьем мед и летит дальше, з-з-з-з – и тишина, з-з-з-з – и тишина...

«Смелого пуля боится...» – гудел Панька. Вдруг бабочка косо скользнула вбок и влетела на огневую дорожку, а за ней туда же вбежала Соня. Стрелок засмеялся и поднял дуло, все еще тихонько напевая сквозь зубы: «Смелого любит страна...»

Бабочка и Соня быстро прыгали то в одну сторону, то в другую, и целиться было непросто, тем более что Соня ступала то по дорожке, то по траве: убить человека на дорожке стрелок был обязан, в этом состоит его долг, а за убийство женщины в зоне могут посадить самого – это преступление. Вдруг песенка смолкла. Анечка испуганно открыла глаза.

– Смотрите! Ах...

Панька перегнулся через барьер вышки с винтовкой у плеча и водил дулом. В это мгновение Соня сделала резкое движение, чтобы вытянутой рукой схватить бабочку и шагнула вбок на траву. Панька засмеялся и опустил винтовку. И сейчас же бабочка, колыхаясь и прыгая в воздухе, метнулась к забору, вслед за ней Соня, вслед за Соней Панька вскинул винтовку и стал ловить сумасшедшую на мушку.

– Ой! Он ее убьет! – взвизгнула Анечка и вцепилась в меня. Но бабочка и сумасшедшая опять очутились в зоне.

Новый зигзаг полета. Тихое: «Смелого любит страна...»

Мгновение молчания.

Анечка закрыла лицо руками. Потом спросила сквозь пальцы:

– Он убил Соню?

– Пока нет. Откройте лицо.

Анечка вздохнула. Улыбнулась. Открыла глаза. С вышки опять загудел Панька: «Смелым и Сталин гордится...»

– Я не могу больше... Идемте!

Молчание.

– Ай!

Анечка уткнула лицо в рукав. И вдруг на всю отдыхающую зону пронеслось:

– Я – Гитлер! Я – Гитлер!! Убейте меня!!!

И Соня, прыгая через клумбы, понеслась к штабу. В пальцах у нее трепетала крылышками желтая бабочка. Анечка рукавом телогрейки вытерла пот с лица.

«Смелому смерть не страшна...» – раздалось с вышки.

Анечка вскочила.

– Уйдемте отсюда, я не могу сидеть спокойно перед табличкой с надписью «Огневая зона». Не могу! Уйдем подальше. Сядем вон там, под деревом.

Я закурил.

– Туда нельзя. Там уже улегся Боб-Горилла. Вы были заняты бабочкой и Соней и не слышали, как в прачечной разыгрался очередной скандал. Боб с Шурочкой колдовали около стопок стиранного белья, а им мешал Васек-Карзубый, паренек, желавший сварить на плите картофель.

– Опять Некрасов виноват?

– Не знаю, но Васек – известный **законник**, а Боб вспылил и дал ему оплеуху. Потом понял свою ошибку, испугался и лег под дерево. Сейчас успокоился и спит, слышите – похрапывает? Однако дело этим не кончится. Законник не простит **суке** своего унижения: оплеуху он получил при людях.

– Так куда же нам пойти? За большую больницу?

– Там сейчас сектанты проводят богослужение. Может, за мой старый барак? Там вырыты ямы, и в них мы спрячемся. Идемте!

Мы тронулись, незаметно сплетя пальцы. Их у человека пять, а ведь даже одного достаточно, чтобы почувствовать взаимную близость.

Проходя мимо бани мы увидели, как Васек вышел из прачечной с горячим закопченным котелком, поставил его на траву, подул себе на пальцы, сказал татарину-пильщику: «Беру на минутку», – взял топор и заковылял прочь. Мы уже прошли дальше, но я оглянулся, ведь я сидел в лагере уже не первый год. Васек не спеша подошел к растянувшемуся под деревом Бобу, перевел дух, быстро размахнулся и ударил спящего по голове. Тот не крикнул, только сильно дернул ногами.

– Ну, что же вы остановились? Что опять случилось? – ласково прошептала Анечка у моего плеча – она ничего не заметила.

– На, держи топор, чучмек! – спокойно сказал Васек татарину, взял свой котелок и зашагал в барак. Проходя мимо нас, обернулся и добавил: На вахту я зайду сам, слышь, вот поем картошку и зайду, понял? Хай сука полежит тут!

Мы осторожно подошли поближе. Лужи крови казались голубыми, потому что день был погожий: они отражали весеннее небо.

– Погиб из-за белья, – проговорил я шепотом.

– Из-за Грязнульки. Год с ней пожил. Кто будет следующим? – ответила Анечка тоже шепотом.

- Оба мы постояли в нерешительности. Какая жизнь...
- Пора идти на доклад, – сказал я.
 - Зайдем к Шуре. Вымоем руки и умоемся.
 - Так ведь не мы рубили Боба...
 - А все-таки... Противно! Руки вдруг стали какими-то липкими и скользкими... Бр-р-р...

3

– Доброе утро, Анна Михайловна! Доброе утро, доктор! – стройный мужчина неопределенного возраста вежливо раскланивается и церемонно жмет руки. У него правильное, английского типа лицо, подстриженные темно-рыжие усы и холодный, пренебрежительный и насмешливый взгляд. Если бы не форменная одежда первого срока, то о нем можно было сказать: «Это настоящий барин!»

В далеком прошлом товарищ Греков носил черные очки, и выдавал себя за слепого и даже был видным деятелем в Московском обществе слепых. Потом, как некогда Чичикова, его осенила великая идея, которой он и посвятил остальную жизнь: он учел разницу между николаевским и сталинским временем, соответственное увеличение количества мертвых душ в стране и решил не покупать их, а торговать с ними. Поэтому срочно прозрел и принялся за дело. В Москве организовал модельную мастерскую для слепых. Их число для верности сдобрил зрячими умельцами и пустил в производство модель дома Кашириных в Нижнем Новгороде. И стал развозить большие стеклянные ящики с миловидным домиком по матушке Руси, точнее, по заведующим школами и домами культуры. Одни покупали, другие отказывались.

– Как? Вы не желаете?! – говорил в подобных случаях Греков. – Да знаете ли вы, как высоко ценит гениального Горького товарищ Сталин? Значит, вы не согласны с Иосифом Виссарионовичем?

Такой оборот разговора заставлял строптивых вольнодумцев поджимать хвост и опускать уши... После пылких уверений в противном следовало бодрое согласие и кругленький заказ.

Домик Каширина пошел в ход. Потом мастерская изготовила домик Пушкина в Михайловском. Дело стало прихрамывать. И тут Греков, наконец, понял: ведь не с живыми он ведет торговлю, а с мертвыми! Так при чем здесь Пушкин?! На поточную линию был поставлен шалаш Ленина в Разливе. Дело двинулось вперед! Хата, в которой родился товарищ Клим! Кони грековского бизнеса понеслись вскачь: все армейские

красные уголки должны были купить по макету, а красных уголков в Рабоче-Крестьянской Красной Армии тысячи. Греков удвоил штат слепо-зрячих рабочих, получше законспирировал мастерскую под крылышком общественности и Красного Креста, обзавелся **своим собственным евреем** на должности личного секретаря и поставил на массовое производство... Что? Как вы думаете? Домик в Гори!

Вот это был ход так ход!

Собственный еврей сломя голову скакал впереди, прыгал с поезда на поезд и только предупреждал в каждом городе:

– Завтра приедет Греков!

– Кто?

– Сам Греков!

Никто из страха опростоволоситься не спрашивал, кто это такой. Греков приезжал и сонно произносил только одно слово: «Сколько?»

То есть сколько десятков макетов. Ибо кто же на святой Руси посмеет не купить макет дома, где явился миру Он, великий вождь, отец народов, гениальный стратег революции, красное солнышко, корифей науки и пр. и пр. Заказы текли равномерным, неиссякаемым потоком, потому что домик в Гори – это зубчик в могучей машине одурачивания людей и умерщвления их душ, он, этот домик, был **нужен**. Греков стал сталинским миллионером. Но однажды его жена – врач, плюнула и развелась. И это явилось сигналом: он уже и сам давно заскучал. Дело – такое блестящее, такое перспективное, такое политически и социально нужное – неожиданно лопнуло: Греков запил горькую!

– Вы понимаете, Дмитрий Александрович, – объяснял он мне, – я запил оттого, что у меня, как у одного студента, где-то у Леонида Андреева, помните? – душа нежная и не выносит такого свинства. Я – производное всероссийского рабства. Истинный герой нашего времени, не Онегин и Печорин, а Греков! Будь это старый режим, постригся бы в монахи и крышка. А тут куда пристроишься? Только и выход, что сесть за нарушение правил уличного движения. Ведь именно в лагере таким разочарованным героям и жить: поверите ли – отдыхаю здесь душой! Конечно, в заключении свинства хватает, но ведь не столько же, как на воле?! Мой еврей временами наезжает к начальству с визитом, и меня не беспокоят. Числюсь по аптеке, вожу лекарства из Мариинска. Когда хандрю, посылаю всех к черту: мне этот советский монастырь обходится не дешево!

Греков сожительствовал со всеми начальницами МСЧ по очереди, в порядке их служебной смены, читал умные книги, досыта спал и гулял по лугам и перелескам. Питался за зоной, в семье одного начальника. «Тихо догорал», по его собственному выражению. В это утро он мягко взял меня под руку:

– Хочу предупредить. Вас ожидает неприятная перемена в образе жизни.

Анечка побледнела. Греков сочувственно пожал ей локоть.

– Я кое-что случайно слышал. У Рачковой месяца два тому назад сорвалась отправка вас обоих в этап. Вы оскорбили ее как женщину. Берегитесь: будет предпринята новая попытка сделать вам гадость. Выбран день, когда начальства не будет в зоне и заступиться окажется некому.

– Сегодня? – спросил я, вздрогнув.

Греков опустил глаза.

– Не знаю. Но будьте готовы. Хотя бы морально. Разрешите откланяться?

Уже издали он обернулся:

– Что можно и когда можно, я сделаю! Помощь будет, если только успеет...

Прижавшись друг к другу, мы медленно побрели в барак.

4

В моей кабине все в сборе.

– Только что был обход. Удача: сегодня дежурит Плотников. Можно начинать! – хором встретили меня все собравшиеся.

Царица Тамара... Какая стерва...

– Ладно. Но на случай каждый должен иметь наготове жалобу на какое-нибудь заболевание, а я одену халат и стану у полочки с лекарствами. Вольф, сядьте на порожках и в случае чего запойте или стукните в дверь! Георгий, займите место у окна и смотрите вбок направо – следите за вахтой! Ну, все? Я начинаю. Кстати: сейчас зарубили Боба-Гориллу. Да, да, – лежит под деревом около бани. Убил Васек-Карзубый. Мне назначат нового комиссара. Да, найдется. Ну, как – все?

Я вынул из столика маленькую книжицу в красной обложке с портретом одутловатого бородатого человека. Прикрыл ее коробкой с порошками. Расправил шпаргалку с цитатами. Подумал. Перед глазами все еще стояли лужи горячей крови, отражающие весеннее голубое небо, и брезгливая улыбка Грекова, но я сделал над собой усилие: ведь доклад – это радость, это дверь в другой мир, это Шелковая Нить, которая вопреки всему нас ведет в бессмертие... Будь что будет!

Лишь бы не потерять Анечку! Я успокоился и почувствовал прилив душевных сил и уверенность. Покуда мы в состоянии думать, жизнь имеет смысл, она – радость.

Слушатели закурили, устроились удобнее и стихли.

– Товарищи, – начал я, – я заготовил не совсем обычный доклад. Может быть, это вообще не очередное сообщение, а что-то другое, но что именно – мы сообща определим позднее. Представьте себе, что выступает медицинский эксперт и разъясняет неспециалистам некоторые медицинские понятия.

– Штилле нахт, хайлиге нахт, – вдруг хрипло запел на порожах Вольф новогоднюю песню.

Я сунул шпиргалку в карман.

– Приготовились. Откройте рот! – сказал я Майстраху. – Когда у вас заболело горло?

Дверь распахнулась рывком. На пороге Верка-Гроб.

– Доктор, скажи Антипке, чтоб убрал простыни с койки Боба. Украдут враз.

– В чем дело?

– Грязнулька переходит в барак. Ко мне в бригаду. Мы будем кушать вместе. Понял?

– Вполне.

– Я ее забираю сейчас же.

– Давай, давай, Верка! Поздравить с законным браком?

Верка оскалила ровный ряд крупных белых зубов. Это была красивая девка – статная, смуглая. С удалой улыбкой. С бесшабашным заломом кубанки. Она чем-то напоминала Федьку-Шрама.

– Опасная гадина! Убийца! – заговорили мои слушатели, едва Верка захлопнула дверь. – А насчет свадьбы вы правы, доктор: она **кобел**. Только ведь у нее есть девочка и хорошенькая – та, что обокрала хлебобрезку, помните? По кличке Борька!

– Ты Верка сплавит в этап: Грязнулька красивее!

– Верка, как Тамара Рачкова: она – опасный любовник! Грязнульке еще нужно подумать...

– Тише, товарищи, кончайте разговоры. Время идет!

– Штилле штеен ди боймен, мехт их иммер зо троймен...

Дверь опять рванулась настежь. Верка остановилась на пороге, широко расставила ноги в ярко начищенных сапожках и подперла бока маленькими кулачками. Чиркнула исподлобья живым взглядом по всем сидящим и вдруг неожиданно тихонько спросила:

– Принимаете в компанию?

– Куда? В какую компанию? Борис Владимирович, так раскройте же рот! На что жалуетесь?

Верка расхохоталась.

– Страсть люблю ученые разговоры. Я сяду в углу и не буду мешать. А нагрянут гады, так вам же лучше – меж самой контры вдруг блатная! Я первая открою рот и попрошу таблетку от живота.

Все растерялись. Верка нахмурилась и повела плечом.

– Ты что, доктор, сомневаешься? Вроде, не завалит ли она нас, контриков? Так вы не бойтесь, товарищи: я не шпана какая-нибудь, я есть Верка-Гроб!

Верка с порога шагнула вперед прямо ко мне и гордо закинула голову.

– Слышал, как я рубала цыганку?

– Слышал.

– То-то. – Верка уверенно и с достоинством села в угол. – Толкай речугу без опаски. Гроб есть гроб. Это понимать надо.

Я провел ладонью по лицу. Да, это понимать надо. Помолчал. Потом начал:

– Итак, сегодня я выступаю как медицинский эксперт по делу об уголовных преступлениях одного психически неполноценного человека. Фамилию его вы потом назовете сами. Слушайте же.

Я начну беседу показом известных вам характеров, чтобы выявить тенденцию развития патологической личности. Этой зимой захожу как-то к профессору Жолондзю в больницу № 2. Вижу: Жолондзь – толстый и багровый – сидит за столом, в дверях мнется побелевший от волнения немец-повар, а между ними на полу валяется сковородка с кусочками жареной свинины. Немец, заикаясь, говорит: «Я не могу тафать фам на зафтрак десять порция мяса: кашдый порция – один голедный польной. Я даль три порция и три польной сидит без мяса на обед!» На это Жолондзь рычит: «А я не могу оперировать людей голодным! Больному полезнее самому поголодать, но знать, что я сыт и хорошо сделаю ему операцию!» Я слушал их и смотрел в окно: там, около помойки, копошились люди, а здесь на полу валялась жареная свинина. Позднее Жолондзь выгнал фрица и взял на работу Иляну Родовяну, толстую цыганку-штрафницу, – она будет давать ему десять порций и двадцать с его ведома сожрет сама, а остальные тридцать разделит пополам, и все будет в порядке. Этой же зимой,

когда наш барак был достроен, меня перевели сюда, а на мое место назначили профессора Береславцева. Первым делом он выгнал с работы Анечку, отправил ее на сырозавод: она раздавала больным все до последней капли и кусочка, а профессору хотелось самому получать молоко и котлетки. Он заменил честного интеллигентного человека воровкой и шпаной Машкой Фуриной – женой Мишки Удалого: тот был тогда в армии и отсутствовал, а Машка, как и профессор, любила котлетки. Так произошла смычка двух культурных людей с двумя уголовниками. Кто же эти люди, Жолондзь и Береславцев? Преступники? Урки? Нет. Просто мещане. Они в трудных условиях защищают себя и совесть их чиста. Это себялюбцы. Их жены и дети наверняка подтвердили бы мои слова. Оба они отрицательные характеры. Асоциальные.

Но от них мостик через Машку и Илянку уже ведет к Удалому. А это другой тип: садист и насильник, грабитель и убийца. Его вам описывать нечего. Скажу только, что Удалой после своего вторичного появления в лагере рассказал, что он, попав после амнистии в маршевый батальон, обменял на водку все обмундирование на какой-то станции, напился до полусмерти и свалился в укромном месте: эшелон ушел, а ему дали десятку за дезертирство и отправили сюда, где он опять действует как насильник и грабитель. Он мне объяснил: «Я фашистов не трогаю: ведь они мне тоже не обижают! И за советскую власть складывать голову нет расчета: без коммунизма я обойдусь, а без головы – нет. Коммунистам и фашистам желаю воевать до победы. А я – парень мирный, свободный, культурный. Всякими измами не увлекаюсь: я – настоящий человек, достойный жить! Мне были б только, как говорится, гроши та харчи хороши! Понял, доктор?!» Этот гад – прямая родня профессорам: он только не пассивный асоциальный тип, как они, а резко антисоциальный, в котором та же черта себялюбия усилена до патологии. Это – враг общества. Пока что Удалой маленький враг – малограмотный парень, куда он годен? В лагерные нарядчики и только. Свое себялюбие он не может показать по-настоящему. Ну а если бы мог? Если бы был культурнее? Попробуйте мысленно провести эту же линию дальше: антисоциального выроodka Удалого постарайтесь мысленно окультурить, пропустить через вуз, прилично одеть. Попробуйте – и вы получите наших следователей и судей, людей, взявшихся за черное дело массового истребления советского народа. Ну а теперь напяржьте воображение и представьте культурного выроodka

Удалого еще выше, на месте, где у него в руках сосредоточена настоящая власть! Членом коллегии ОГПУ?

– Какая ужасная мысль! – пробормотал Майстрах.

– Да. Повышение должностного положения неизбежно влечет расширение возможности делать зло. Но я не об этом положении думаю! Не то место, Борис Владимирович! Выше! Еще выше! Ну?!

Вдруг Майстрах понял. Странно застонал, сжался и пугливо огляделся по сторонам, точно испугался, что окружающие прочтут его мысль. Но все сидели, опустив головы.

– Ну вот, теперь мы можем начать наше исследование характера так называемых эпилептоидов и параноидов, то есть людей психически нездоровых, но и не больных настолько, чтобы нужно было помещать их в психоизолятор.

5

Я снова сделал паузу, какую докладчику полагается делать перед началом трудного раздела лекции.

– Высшая нервная деятельность в основном построена на двух процессах – возбуждения и торможения. Поэтому, грубо говоря, все люди в отношении своих реакций на внешнюю среду разделяются на три группы – людей с преобладанием процесса возбуждения, процесса торможения и равновесия между ними. Эти данные разработаны русским ученым Павловым. К ним Ухтомский добавил учение о доминанте, то есть о стойком очаге раздражения, который остается в мозгу и в известной мере определяет в каждый момент характер общей ответной реакции организма, направленность психики и линию поведения данного человека. По Павлову, тип нервной системы – это прирожденный конституциональный вид или генотип. К ним добавляется сумма свойств, выработанных влияниями внешней среды в течение жизни – фенотип. Сплав генотипа и фенотипа является характером, то есть совокупностью основных, наиболее устойчивых психических свойств, которые чаще всего проявляются в его поступках.

Большая Советская Энциклопедия так определяет значение характера (пользуюсь выпиской, любезно сделанной для меня Грековым): «В характере выражается та внутренняя духовная определенность личности, которая составляет отличительную особенность данного человека. Являясь результатом пройденного жизненного пути человека, характер в свою очередь определяет дальнейший жизненный путь личности в той мере, в какой он зависит от самой личности. Зная харак-

тер человека, можно с значительной долей вероятности предвидеть, как этот человек поступит в тех или иных жизненных обстоятельствах».

От генотипа, от физиологических данных, то есть от типа нервной деятельности, зависят лишь особенности формы проявления тех или иных черт характера, то есть их интенсивность (страстность – вялость, порывистость – спокойствие и т.д.), содержание же их всегда определяется жизненным опытом личности, ее фенотипом: это – отношение человека к другим людям (общительность – замкнутость, вежливость – грубость, мягкость – жестокость и пр.) и отношение человека к себе (скромность – самомнение, доброта – себялюбие и пр.), что в конечном итоге создает общественную окраску личности. Положительные или отрицательные фенотипические черты личности усиливаются или ослабляются ее генотипическими чертами: например, доброта у темпераментного холерика («сильного безудержного» по Павлову) превращается в активное самопожертвование, у вялого меланхолика – в пассивную доброжелательность, а злобность у холерика дает деятельную жестокость, у меланхолика – вялое злопыхательство.

Я опять сделал паузу. Слушатели зашевелились, кто-то кашлянул. Потом снова воцарилась тишина.

– Генотипические черты исследуемой нами личности вам, товарищи, известны так же, как и мне: это – выраженный холерик, то есть сильная, активная личность с постоянным преобладанием процессов раздражения. Динамическая личность, это бесспорно. Такова форма. Каково же содержание? Я ссылаюсь на слова свидетеля, которому мы все верим; я его потом назову по фамилии: «властолюбие, грубость, нетерпимость, нелояльность, невежливость, невнимательность к товарищам, капризность». От себя добавлю: фанатическая преданность одной мысли, невероятное упорство в ее реализации, трудолюбие, беспощадность, бескомпромиссность. Я полагаю, что и мне, в качестве свидетеля, вы верите. Тогда наше собрание вызывает второго эксперта. Это крупный ученый, известный советский психиатр профессор Ганнушкин, уже давно умерший. Всю свою жизнь ученый посвятил изучению пограничных состояний, то есть болезненно развившихся характеров людей, которых нет никаких оснований считать клинически больными, но и нельзя относить к категории вполне здоровых. В одном из своих трудов Ганнушкин так описывает подобный характер (я излагаю авторский текст несколь-

ко сокращенно по книжечке, переданной мне Носовой): «Самыми характерными свойствами этого типа людей мы считаем, во-первых, крайнюю раздражительность, доходящую до приступов неудержимой ярости, во-вторых, приступы расстройства настроения (с характером страха, гнева и тоски) и, в-третьих, определенно выраженные так называемые моральные дефекты (антисоциальные установки). Обычно эти люди активные, односторонние, напряженно деятельные, страстные, очень настойчивые, даже упрямые. Та или другая мысль надолго застревает в их сознании, и можно определенно говорить об их склонности к сверхценным идеям».

Тут я оторвался от бумаги, пообещав скороговоркой: «О сверхценных идеях полнее расскажу дальше», – и снова стал читать ровным голосом настоящего лектора:

– «Их чувственная установка всегда имеет неприятный, окрашенный плохо скрываемой злобностью, оттенок, на фоне которого время от времени развиваются бурные вспышки, ведущие к опасным насильственным действиям. Эти люди крайне нетерпимы к мнению окружающих и совершенно не выносят противоречий. Если к этому прибавить большое себялюбие, чрезвычайную требовательность и нежелание считаться с чьими бы то ни было интересами, кроме своих собственных, то станет понятно, что поводов для столкновения с окружающими у них всегда много: малейшую провинность они возводят в крупную вину и ни одного проступка не оставляют без наказания. Такой человек подозрителен, обидчив, придирчив: он всегда требует покорности и подчинения себе, и, наоборот, сам совершенно не выносит критических замечаний. Всю жизнь эти люди проводят в борьбе. Очень важно подчеркнуть чрезвычайно характерную склонность к расстройствам настроения с постоянным наличием трех компонентов – злобности, страха и тоски. Именно на эти дни и падают наиболее бурные и безрассудные вспышки».

Я перевел дух.

– Ну как, не скучно?

– К черту! Не отвлекайтесь, доктор!

– «Несмотря на свою необузданность, такие люди всегда остаются очень узкими, односторонними. Их чувства лишены богатства оттенков и определяются постоянно имеющейся в наличии агрессивностью по отношению к окружающим. Чувство симпатии и сострадания, способность вчувствоваться в чужие переживания им недоступны. Отсутствие этих чувств в соединении с крайним себялюбием и злобностью делает их

морально неполноценными, способными на действия, далеко выходящие не только за рамки приемлемого в нормальных условиях общежития, но и за границы определяемые уголовным законом. Особенно они сталкиваются с последним из-за склонности к насильственным актам: страстные и неуправляемые, они ни в чем не знают меры – в том числе и в актах жестокости».

Я опустил бумагу на колени и дал слушателям минуту отдыха. Все задвигалось. Из окна я посмотрел в небо, пожал плечами и начал говорить снова:

– Так как мы подвергаем научному анализу характер не простого человека, а выдающегося политического деятеля и партийного вождя, то тут будет не лишним ознакомить вас с мнением Ганнушкина относительно фанатиков, то есть самоотверженных и неутомимых проводников каких-либо идей. «Фанатики – люди сверхценных идей, крайне односторонние и субъективные. Центр тяжести их интересов лежит не в самих идеях, а в претворении их в жизнь, – результат того, что деятельность ума чаще всего у них отодвигается на второй план по сравнению с волей, подвижной глубоким, неистощимым возбуждением. Это люди ограниченные, их мировоззрение не отличается сложностью и состоит из небольшого количества идей, чаще всего заимствованных, но благодаря своей сильной чувственной окраске глубоко сросшихся со всей их личностью, и, раз они усвоены, не подвергаются изменению до самой смерти их носителей. В личных отношениях они безразлично холодны или требовательно строги. Человеческое горе их не трогает и бездушная жестокость составляет их свойство. Главная сила фанатиков заключается в их несокрушимой воле, которая помогает им без колебания проводить в жизнь то, что они считают нужным. Железная воля фанатиков делает их опасными для общества: нередко под их руководством совершались чудовищные преступления. Русская действительность знала пытки, убийства и другие страшные дела».

Я положил бумагу на полку за бутылки с лекарствами.

– Вольф, все в порядке?

– Да, яволь, доктор, аллес ист орднунг! – ответил Вольфганг и я заговорил опять:

– На какой же почве и при каких условиях может развиваться такой ужасный фенотип из слабых порочных ростков, даваемых генотипом? В данном случае ответ даст биография интересующего нас человека, она напечатана в упомянутой выше энциклопедии: в юношеские годы мы находим добро-

вольный уход из семьи и отрыв от обычных условий жизни, затем следуют долгие годы существования в глубоком подполье и работа под страхом провала, семь арестов, пять побегов, шесть ссылок. Довольно, чтобы ожесточить страстного человека? Я думаю, товарищи, вполне. Вот начало развития, исходная позиция. Затем исследуемый нами характер претерпевает потрясение: он добивается власти, его начинания ведут страну от победы к победе, он – фигура мирового значения. Он отчетливо сознает, что на все времена вписал в историю свое имя.

Уже несколько раз Абашидзе порывался спросить что-то, но, едва он начинал шевелиться, как все поворачивали к нему возмущенные лица и скромный человек умолкал. Один раз он даже начал: «Я хочу спросить», – но Анечка шептала: «Тише!» – махнула рукой, и я начал речь снова:

– Если внешние раздражения повторяют из месяца в месяц и из года в год, то в мозгу складывается особая система связей, вызывающих один и тот же тип реакции – то есть ответного поведения. В быту это называется привычкой, в науке – стереотипом. Исследуемая нами личность вначале годами вырабатывала описанный выше стереотип агрессии, грубости, нетерпимости и пр., затем на этот первый стереотип стали наслаиваться черты второго, давая очень сложное сочетание. Я вновь обращаюсь к профессору Ганнушкину, в скобках поясняя только, что сверхценная идея – это длительный очаг раздражения, порождающий в сознании доминанту, а что такое доминанта – вы уже знаете.

– А я догадалась, кто это! – вдруг звонко крикнула Верка Гроб. – Знаю, но молчу, доктор!

Все засмеялись. «Тише!» – загудел Майстрах.

– Итак, я вас спрашиваю, товарищи: разве превращение профессионального революционера и сибирского ссыльного в движущий рычаг мировой истории – это нормальная среда? Нет, конечно же нет! И у рассматриваемого нами характера совершенно естественно начались наслаиваться другие, новые черты, которые, однако, также следует считать не менее болезненными. Эпилептоид стал превращаться еще и в параноида. В этом сказывается объективная логика развития явлений. Итак, цитирую тот же труд нашего авторитета: «Самым характерным свойством такого рода личностей является их склонность к образованию сверхценных идей, во власти которых они потом оказываются. Эти идеи заполняют всю их психику и оказывают доминирующее влияние на их поведе-

ние. Самой важной сверхценной идеей такого человека является мысль об особом значении собственной личности. Отсюда – его чрезмерное самомнение. Кто с ним не согласен и думает не так, тот в лучшем случае просто глупый человек, а в худшем – его личный враг. Такие люди крайне упорно отстаивают свои мысли и часто оказываются борцами. Их самомнение не оставляет места для хорошего отношения к людям, их активность побуждает к бесцеремонному отношению к тем, кем они пользуются как средством для достижения своих целей. Они недоверчивы, подозрительны, агрессивны. Они злопамятны, не прощают и не забывают ни одной мелочи. Пока человек с таким характером не пришел в состояние открытой вражды с окружающими, он может быть очень полезным работником: на избранном им поприще деятельности он будет работать со свойственным ему упорством, систематичностью и аккуратностью, не отвлекаясь никакими посторонними соображениями и интересами. Но нельзя позавидовать людям, которых обстоятельства поставили поперек его пути: он упрям, настойчив и сосредоточен в своей деятельности, если приходит к какому-нибудь решению, то уж ни перед чем не остановится для того, чтобы привести задуманное в исполнение. Жестокость принятого решения не смущает его, на него не действуют ни просьбы, ни угрозы – будучи убежден в своей правоте, он никогда не спрашивает советов, не поддается убеждению и не слушает возражений. В борьбе за свои воображаемые права он проявляет большую находчивость, очень умело отыскивает себе сторонников и, вопреки здравому смыслу, выходит победителем из явно безнадежного столкновения. Долг его совести – месть, а ведь те, кто позволяет себе поступать не так, как этого хочет и требует он, становятся его врагами. У него оказывается большое количество «врагов», иногда действительных, а большей частью только мнимых».

Я перевел дыхание.

– Вот, товарищи, все, что я хотел сегодня рассказать. Это медицинская история превращения эпилептоида в параноида. Ну а социально-политические выводы? Извольте, вот они. Ганнушкин утверждает, что человек с таким характером глубоко несчастен, бесконечно одинок и в себе самом носит причины своей трагедии. Возможно. А интересы общества, спросите вы? Что же, для общества стоящая у власти личность с подобным характером неминуемо создает трагическое положение, вопреки всему своему уму и благим намерениям. По-

этому, если в личном плане мы должны такого человека пожать и простить, то в плане общественном и государственном мы...

– Простите, но я не могу больше молчать, – не выдержал Абашидзе. – Объясните, доктор, о ком вы говорите? Что здесь происходит у нас? – Он оперся на палочку и обвел глазами всех присутствующих.

– Вы присутствуете на общественном суде, Георгий! – ответил я. – Присяжные заседатели – вот они, все присутствующие и вы в том числе. Свидетелем выступал Владимир Ильич Ленин, я цитировал его слова из «Завещания», о котором все слышали. Заключение о характере дал профессор Ганнушкин. А фамилия обвиняемого...

– Сталин! – бойко крикнула Верка.

– Сталин! – рявкнул Майстрах и стукнул клюшкой об пол.

Сталин! – разноголосым хором подтвердили остальные.

6

– Хорошо, что все это сами поняли, – подтвердил я. – Раннего Сталина, когда в его характере преобладали эпилептоидные черты, прекрасно охарактеризовал Владимир Ильич в своем известном письме в ЦК: «властолюбие, грубость, нетерпимость, нелояльность, невежливость, невнимательность к товарищам, капризность». Позднего Сталина мы чувствуем на своей спине – фанатически преданного одной заимствованной идее, невероятно упорного, трудолюбивого, беспощадного, мучимого страхом и подозрительностью. Мы – очевидцы, Ленину мы верим больше, чем себе, это ценнейший для нас свидетель. Вы видите, как все совпадает: в одной точке сходятся свидетельские показания и научная экспертиза.

– Так что же у нас получилось, доктор?

– Репетиция великого всенародного суда. У нас есть все основания для вынесения решения.

Некоторое время Майстрах сидел молча, совершенно не двигаясь. «Очевидно, засыпает!» – внутренне улыбнулся я. Поэтому медленно, вялыми движениями закрыл книжечку, сложил вместе с тетрадью и завернул в старую тряпку – так я хранил мое сокровище в потайном месте. Вдруг Майстрах вскочил, громко ударил себя по бедрам ладонями и смешно, на месте пустился в пляс, припевая на мотив камаринского: «Эх, ура-ура, ура-ура, ура!» Потом вдруг остановился, отдышался, бросился мне на шею и поцеловал в лоб.

– Что с вами?

Борис Владимирович отступил на шаг, шутливо перекрестился и расхохотался:

– Боже, благодарю за милость! В условиях лагеря ты воскресил меня глотком живой воды – судом над Сталиным, да еще с возможностью участвовать в нем в качестве присяжно-го! Теперь я не умру! Нет!

Он тряс мои руки.

– А если и умру, это не беда: я уже понял все и сам смело выношу приговор. Вот он: Сталин...

– Молчите! – Я сделал вид, что закрываю ему рот рукой. – Будущий всенародный суд, вероятно, решит: «Несмотря на ряд болезненных черт в характере, обвиняемый все же вменяем и отвечает за свои поступки. Он виновен». Но для нас с вами этого мало: мы участники и соучастники трагедии. Поэтому не шумите и не спешите окончить разговор так опрометчиво: слово – не воробей, упустишь – будешь каяться. Сядьте! Успокойтесь! Книжечку случайно затащила сюда вольный врач. Я нашел в ней психиатрический анализ, удивительно, просто потрясающе подходящий к характеру интересующего нас больного. Это – моя счастливая находка, моя гордость, моя радость: я подобрал ключ к могильному склепу. То, что я прочел, – материал, вернее – беглая наметка, для будущего исследования. Оно будет когда-нибудь написано, но для нас не это главное. Характер Иосифа Джугашвили умрет с ним, это явление временное, а нам надо думать о нас самих. Как мы попали за проволоку? Как удалось одному человеку натворить столько бед?

Я помолчал, ища слова для выражения своих мыслей.

– Но... – яростно прохрипел Борис Владимирович.

– Дослушайте же до конца! Не торопитесь! Как свидетели мы не интересны. Мы слишком мало знаем: можем пока что свидетельствовать только горьким плачем и показом синяков, а этого недостаточно. Да, этого мало, Борис Владимирович! А в судьи нам тем более соваться нечего. Этим мы с вами только забежали бы рысцей вперед и попытались бы предвосхитить суд истории, когда разумный и справедливый приговор громовым голосом произнесет единственный правомочный судья на земле – великий и славный советский народ: он укажет виновника и назовет его подручных, ибо именно эти последние всемерно раздували поклонение вождю для своих собственных темных целей, и что еще важнее – великий судья объяснит всем людям труда историю прошлых ошибок

и меры их предупреждения на вечные времена. Это будет суд не только карающий, но и исцеляющий, это будет раскрепощение грандиозных творческих сил! А что получилось бы у нас с вами? Политический смысл большой исторической драмы мы хотя и поняли, но поправить положение не в силах. С позиции лично ущемленных Сталиным людей мы видим не среду и общественного деятеля, а лишь его сапоги. Человек, у которого еще болит синяк на заднем месте, – пристрастный судья, и участвовать в суде над сапогами мы не должны – у нас есть честь и гордость!

Борис Владимирович потускнел, провел по лицу рукой и опустил на стул: первый порыв восторга у него прошел.

А я собрался с мыслями и стал говорить дальше:

– Все основное в нашей всенародной трагедии вытекает из прочтенного мною – по книге и из нашего личного опыта. Профессор Жолондзь – человек с определенными отклонениями в психике. Они проявляются тогда, когда обстоятельства требуют обостренной борьбы за существование. Так как профессор занят только собой, то и творимое им зло невелико и не выходит за пределы непосредственного окружения. Удалой – ярко выраженный психопат. Он малограмотен и жалок, но и он борется за себя, за коллективную свободу всех «настоящих людей». Нарушения в его психике выражены гораздо более резко. Удалой находится ближе к границе вменяемости, он опасен: его зло распространяется уже на ряд городов. Однако, среди нас живут и действуют люди с такими же кривыми душами, и они занимают самое высокое положение. Это – творцы зла во всенародном масштабе.

Как же это получилось и почему?

Некий человек с прогрессирующим душевным заболеванием верит, что он – Единственный, что он в своей особе воплощает чудесную и благую идею спасения мира от всех зол. Он – Демиург, творец нового мира. Не для себя, а для пользы человечества ему нужно обеспечить себе самовластие. Это вполне логично, правда? А так как этого нельзя достичь моральным и законным путем, то ради возвышенной идеи Единственный переступает сначала через мораль, а потом и через закон: победа все спишет, жертвы – это накладные расходы, усушка-утруска. Ослепленный идеей Единственный не замечает живых людей, он выше них. Начинается построение добра через зло. Тщательно выискиваются жолондзи и становятся в положение, когда заложенные в них низменные инстинкты дают пышные всходы и обуславливают формирование ан-

тисоциальных характеров: жолондзи сознательно перевоспитываются в удалых. То же стало и с удалыми: они повзрослели, окультурились, взошли на самый верх социальной лестницы и превратились в лаврентиев павловичей. Теперь это столпы, на которые опирается Единственный, его безотказные руки. Конечно, он сам видит творимые ими беззакония, но они нужны для прекрасной идеи – они отрывают удалых всех родов и видов от общества, привязывают их к Нему, к Хозяину, а это значит – укрепляют строительство земного рая. А сами удалые, естественно, охотно идут туда, куда их толкает хозяин: это соответствует их характеру, снимает ответственность и ставит Единственного в зависимое от них положение. Создается круговая порука, государство в государстве. Обе стороны крепко держат друг друга в руках и взаимно эксплуатируют самые низменные человеческие свойства – хозяин пользуется преступными наклонностями слуг, а те подсыпают ему побольше заговоров, чтобы играть на его болезненной подозрительности, и тем самым превращают самодержца и Единственного в своего собственного слепого исполнителя. Недаром мой следователь любил повторять: «Сначала я ежо-вец, а потом коммунист!»

А сам Единственный?

Душевнобольной Демиург, возводящий чистое и белое здание земного рая грязными и черными руками им же самим созданных бесов!

Зрелище потрясающее, грандиозное, поистине космическое!

С минуту я стоял посреди комнаты с широко разведенными руками, как некий проповедник. Все молчали.

– Однако вернемся к нашему психиатрическому анализу.

Теперь вы видите, почему и зачем человеку с болезненным характером понадобилось самовластие и как он сумел с помощью мишек удалых, поднятых до уровня лаврентиев павловичей, обеспечить достижение этой цели. Но разве только этим можно объяснить такое всенародное несчастье? Нет! Я повторяю и кричу: Нет!!! На каждого злодея Удалого нашелся бы свой благородный Борис Владимирович или Георгий Давыдович, чтобы его вовремя обезвредить, – в этом фильтрующее значение всякого общественного устройства, и советского – прежде всего.

А тут фильтра не оказалось... Почему?

Ни Сталин один, ни Сталин вкупе с удалыми и бериями не несет полной ответственности за возникновение всех несчастий: поклонение вождю понемногу строили все советские

люди. Каждый человек. Я и вы. Мы, именно мы **сами** построили своими руками эти лагеря и сами же посадили себя за проволоку, потому что лагеря – это неизбежное последствие нашей прекраснодушной и доверчивой слепоты. Страшно сознаться? Да. Но нужно – надо быть честными! Не мы ли заживо ставили Единственному памятники, как земному богу? И я лично был таким простаком вместе с миллионами других борцов: мы все одинаковы. В нас пока говорят только разочарование и обида, а пора бы сменить их на другое чувство, гораздо более достойное, – на стыд!

Борис Владимирович и Георгий Давыдович опустили головы.

– Поклонение личности Сталина складывалось постепенно, в условиях огромных побед. Ну, вспомните-ка! Каждый год, месяц и день советские люди видели свои гигантские шаги вперед, свои поразительные достижения и каждое утро, прочтя газету, и каждый вечер, прожив удивительный день, советский человек должен был бы кричать: «Да здравствую я!», потому что у нас все трудятся и все имеют законное право радоваться общим успехам и считать себя лично их участником и причиной. Мы все были такими! На площадях в дни праздников миллионные ряды строителей социализма должны были бы радостно кричать: «Да здравствуем мы!» Но каждый понимает, что толпа энтузиастов превращается в армию строителей тогда, когда она будет организована. Победа народа – это победа Коммунистической партии. Она своими усилиями глыбы строительного материала превращает в великолепное здание социализма. Значит, выходит, что нужно в порыве законного восторга крикнуть: «Да здравствует наша партия»? Конечно, так все и делали. Вы и я. Но самой партия руководится Центральным Комитетом, а во главе него стоит Сталин. Поэтому-то и получилось, что каждый честный советский человек, каждый активный строитель социалистической родины, видя ее успехи, стал провозглашать славу Сталину, прославляя этим народ, партию и самого себя. Советский заключенный, который не понял этого, никогда не поймет, как он очутился за проволокой! Пока что для нас эта мысль – самая главная!

Борис Владимирович поднял на меня пустые глаза.

– Да, да, – не смотрите на меня так! Мы – прекраснодушные слепцы, но сильные, честные и смелые люди. В этом – спасение. У всех народов и во все эпохи случалось, что к власти приходили люди, которых не следовало допускать к ней по состоянию здоровья. И что же? Больные властелины, на-

делав много бед, уходили, а народ, оставя их достижения, исправлял ошибки, и история не знает случая непоправимой государственной катастрофы, вызванной одним человеком! Вы ведь историк, товарищ Арсентьев, – так что же вы молчите? Ведь я прав? А? Были трагические случаи и в нашей России. Пример – Иван Грозный. Его судьба во многом похожа на судьбу Сталина: оба были умны и преданны одной благой идее, оба начали хорошо и, вследствие окончательной порчи характера, оба кончили плохо, заслужили бесчестное бессмертие – стали вечным предостережением народу, чтобы он зорче смотрел, в чьи руки вверяет власть. Для психиатра как больные они равны, а вот по объему содеянного зла древне-московский Сталин всея Руси кажется маленькой овечкой по сравнению с Иваном Грозным нашего времени... Плохо не то, что в великой борьбе у народа есть вождь, – вождь в борьбе необходим, – а беда, что вождем оказался неподходящий и недостойный человек. Нет, всегда и везде побеждает единственный творец истории – народ! Поднимите выше голову! Разве у нашего народа может быть какое-нибудь иное будущее, кроме прекрасного?

Я взял Бориса Владимировича за плечи и слегка потряс их.

– Давайте будем бесстрашными, упорными, разумными! Останемся и за проволокой людьми! Нам это по плечу! Иначе мы выключим себя из всенародного движения и лишим себя участия в сотворении чуда. А чудо это – будущее нашей Родины.

И вдруг я вспомнил Андрея Рыбакова – ленинградского студента, который когда-то вместе со мной мучился этими же вопросами и искал правильный путь к их решению. В лагере Андрей начал писать стихи, и они казались мне лучшими на свете, потому что в заостренной и яркой форме выражали мысли, для которых мы, остальные заключенные, подбирали только простые и привычные слова.

– Слушайте! – закричал я. – Я прочту стихотворение, написанное за колючей проволокой голодным советским человеком у края ждущей его могилы! Пусть эти чудесные слова Андрея будут словами вашими и моими, слова всех честных советских людей в заключении – это наша клятва и вызов прошлому, наша присяга будущему и боевой клич в борьбе за него! Слушайте:

Размышления у портрета

Кто он? Гений? Больной или ушлая тварь?
Для рентгена души не открыт еще луч...

Может, он – нашей славной судьбы инвентарь
И в грядущую радость заржавленный ключ...
День придет неизвестных сегодня мерил,
Дезинфекция душ, беспощадный отбор,
На тропе и к нему не коснется перил
Лжепророк и палач, развратитель и вор!
За горами страдания, за красным ручьем,
За озерами пота, за степью тоски,
Ждет не рай в голубином сиянье своем,
Но лишь новый исток вековой реки!
Обмелеет ли дальше русло ее?
Обернется ли снова в болотный туман?
Или вынесет пенные волны свои
На вселенский простор, в голубой океан?
Я не знаю... Но верю и верить зову:
Безграничные силы нам в душу даны,
Чудо делают люди, и сам человек
Воплотит наяву свои лучшие сны!

7

Все разошлись отдохнуть перед обедом. Остались только Анечка и Абашидзе – отеки у него стали меньше, но передвигался он с трудом и медленно.

– Вы устали и сейчас же ложитесь на полчаса, – сказала мне Анечка. – А я только наблюдала. Свое мнение скажу когда-нибудь позже. Надо подумать. Пока замечу только: вы продолжаете оставаться прекраснодушным фантазером. Самое главное разочарование у вас еще впереди: вы больно ушибетесь о землю, когда слетите на нее со своих розовых облаков. Если сегодня здесь действительно витал дух Демиурга, то это был ваш дух, потому что вы создали себе иллюзорный мир с усатым Мишкой Удачным в виде Творца и Вседержателя. Вы – неисправимый простака.

Минуту все трое мы молча рассматривали друг друга...

– Эх, вы... – поддержал Анечку Абашидзе. – Какой-то маленький мучитель из провинциального испанского городка, никому неизвестный инквизиторишко, по вашей логике – изувер, негодяй и преступник, потому что он никому не известен и мал. А Великий Инквизитор Торквемада, перед которым дрожат король и гранды, – он, видите ли, историческое лицо, он ложно думающий идеалист, жертва трагедии, заблуждающийся Демиург, творец белого здания всеобщего счастья... Почему же вы обрываете логическую нить у подножия трона?

Разве вам не видно, что борьба за власть – страшное дело и объем преступлений нашего Великого Инквизитора больше объема преступлений лагерного нарядчика Мишки Удалого просто потому, что у последнего мельче цели и более ограничены возможности? Ведь это же ваши мысли и слова! В основе оба они трусы и себялюбцы, и наша жизнь, к сожалению, еще не раз покажет вам, на что способен наш маленький сусловский Единственный в борьбе за свое благополучие. При каждом его преступлении ударьте себя ладонью по лбу. Вот так!

В поддержку Георгия, Анечка тоже слегка шлепнула себя по лбу. Оба они улыбнулись. Я молчал.

– Ну ладно, – сказала Анечка и взяла свой котелок. – Вольф уже шевелился в сенах, готовится к обеду. Я пойду тоже прилечь на полчаса и затем вернусь опять. Праздничный весенний день продолжается! Да, не забудьте, что после обеда придет Тополь!

Абашидзе, шумно сопя и тяжело переваливаясь, добрел до порога. Уже взявшись за дверь, обернулся:

– Слушайте, доктор, как жаль, что у нас недооценивают психологическое значение национальности! Сосо Джугашвили вырос с народом, где бытуют предания о злодействах не только персидских и турецких завоевателей, но и наших грузинских царей, князей и деревенских старост. Все они боролись за свое положение, то есть за власть. Власть как источник жратвы и житья для сластолюбцев, и власть как источник наслаждения, возможностью повелевать людьми для властолюбцев. И вот Сосо, по своему характеру...

Я сделал движение рукой.

– Постойте-ка, Георгий! Я прерву вас на минуту, а то опять забуду – я должен был это рассказать всем слушателям во время своего выступления. Слушайте, это любопытно. Тэра Исмаиловна Таирова, как вам известно, – жена наркома внутренних дел Азербайджана, чекиста № 1 своей республики. О нем самом и его преступлениях она скромно молчит. Но вот однажды проговорила об обстоятельствах его падения с пьедестала высокой власти. Секретарем ЦК партии у них был Багиров, человек невысокий, худой, снедаемый внутренним жаром страсти к истреблению. В Баку ни один человек не мог смотреть ему в глаза, одно его присутствие приводило людей в состояние оцепенения: по словам Таировой, это был удав среди обезьян, как в книжке Кипплинга. Массовые расстрелы его перестали успокаивать, и он ввел в практику обстрел аулов из пушек. Сообщения об этом попали в турецкие

газеты. Сталин снял Багирова и перевел в Среднюю Азию. На вокзале Багиров вошел в купе, задвинул занавеску и через щель переписал всех провожавших. Когда Сталин снова вернулся удава в азербайджанские джунгли, то тот вынул записную книжечку и расстрелял всех обезьян, которые поверили в опалу сатрапа и не явились на проводы. Таиров был среди провожающих, целовался и уцелел. Но, будучи обезьянкой, он полез в друзья к удаву: много месяцев спустя, в жаркий вечер, пригласил Багирова к себе на дачу. После ужина сказал страшному гостю: «Вам постель приготовлена на балконе, потому что в комнатах душно. Спокойной ночи!» Багиров поднялся, довольный, улыбающийся. Подошел к двери – и откачнулся. Таиров еле успел подхватить его. «Что с вами?!» «Свеча... Свеча...» – мог только пробормотать гость, цокая зубами от возбуждения и страха. Несколько минут спустя поднялся с дивана и взял хозяина за ворот. Лицо его было бледно, как мел, оно перекошилось от злости. Подтянув лицо хозяина к своему, он зашипел: «Ты на балконе поставил свечу для того, чтобы из сада было легче застрелить меня! Так-то ты встречаешь гостей, предатель! Ну, погоди, я с тобой быстро рассчитаюсь». Напрасно Таиров, грузный немолодой мужчина, валялся у него в ногах, напрасно, рыдая, клялся в преданной любви, напрасно уверял, что свечу поставила домработница без его ведома. Багиров вызвал машину с охраной и уехал. А вскоре Таиров был арестован, обвинен в покушении на Багирова и расстрелян, а его жена получила десять лет как соучастница. Ну, что скажешь, Георгий? Я прав? Ведь Багиров – это облеченный неограниченной властью душевнобольной сатрап!

Георгий усмехнулся. Его обезображенное отеками лицо стало злым.

– Ты прав: Багиров – душевнобольной сатрап. Но ты, как беспартийный врач, делаешь ударение на слове «душевнобольной», а я, как коммунист, на слове «сатрап». Тебе приятно, что ты додумался до разгадки, мне больно, что я был членом партии, которой руководит преступник Багиров, – это тот окультуренный Удалой, о котором ты говорил, Удалой, получивший возможность убивать не одного человека ударом ножа, а тысячи людей росчерком пера. Багиров – это предпоследняя ступень перед троном: за Багировым – Берия, за Берией – Джугашвили.

Абашидзе повернулся ко мне, смерил горящим взглядом с ног до головы и ударил кулаком по раздаточному столику

так, что на все голоса загремели и зазвенели большие и малые бутылки и флакончики.

– Так как же вы, черт побери, не видите, что все это одна банда?! Сумасшедшие уголовники, патологические садисты и душегубцы, людоеды, оседлавшие нашу партию?! Удалые, управляющие страной?! Какие еще доказательства нужны, что не вы прав, а я?

8

Я молча налил рюмочку валерьяны и подал Георгию. Он дышал сначала тяжело и часто, потом успокоился. Прижатая к сердцу рука опять легла на палочку.

– Наши восточные владыки, – продолжал он, – всегда думали, что сами они – все, а их поданные – ничто, материал, стадо. Сосо Джугашвили вырос в обстановке восточных влияний и впитал их в свою больную кровь. При шахе из него получился бы грузинский феодал или кровавый сатрап, при царе – отвратительный грузинский околоточный надзиратель или урядник, при советской власти – генсек и уголовный преступник мирового значения. Власть ему дала партия, куда он пролез за спиной Ильича. Волею случая из Сосо, деятельного и горячего человека, получился борец, – энергичный, подзрительный, жестокий. В мои юные годы таким был на Кавказе благородный бандит Зелимхан. Только он не сумел пристроиться к политической партии. Сосо выбрал большевиков не из-за тонкостей их идеологии – а потому, что они давали возможность воевать с кем-то, а меньшевики были идеологами наших мирных лавочников. Сосо бежал из дома, оторвался от среды, потом пошли тюрьмы и ссылки, и вот он в революционном Петрограде. Для начала он ловко использовал свою национальность и стал наркомом, а потом трения между Лениным и Троцким помогли ему захватить должность генерального секретаря. Сосо поставил себя в положение нужного Ильичу человека, он ловко разыграл роль цепного пса, оберегающего Ильичу его партийный дом.

Опершись спиной о стену, Абашидзе закрыл глаза и принялся равномерно и глубоко дышать.

– Так кто же из них был кому нужен?

– Да вы садитесь, Георгий! Вольф, дайте табуретку!

– Спасибо, я пойду. А, впрочем, сяду на минутку. Нужны они были друг другу оба, и оба берегли один другого. По восточному обычаю шах набирает своих градоуправителей из личных друзей, его власть – всегда персональная власть креп-

ко спаянной шайки. Ни религия, ни государственные интересы тут ни при чем. Такую власть за спиной у Ильича построил себе и Сосо, просто копируя в детстве слышанные рассказы; он подобрал во всех обкомах своих приспешников, и когда после смерти Ленина пустозвон Троцкий законно бросился к власти – его без труда оттеснили ставленники генсека, исторический преемник был выброшен в мусорный ящик, и у кормила твердо стал наш кавказский проходимец и психопат. Заметьте – у кормила, но не у кормушки. Потому что по своему характеру Джугашвили был властолюбцем, а не сластолюбцем, психопатом, а не хамом. А, ставши у кормила, он мог вести государственный корабль только туда, куда корабль влекло мощное течение народной реки – к социализму и коммунизму. В меру своей большой воли и малых знаний Сосо и принялся за дело. Но прежде всего он зорко оберегал собственное положение. Грубое насилие – самый быстрый путь к цели. Сосо опробовал его на процессе Промпартии и удачно убрал с дороги старую российскую интеллигенцию. Раз первое кровавое преступление сошло – он двинулся дальше и убрал всех, кто мог ему сопротивляться в деревне: коллективизация без материальных основ – это грубейшее нарушение учения Ленина о добровольном кооперировании – величайшее полицейское мероприятие для облегчения управления огромной страной. Опять сошло – и неутомимый Сосо принялся за истребление нарастающей оппозиции внутри партии. Он ведь не пошел сразу с топором, а принял все меры для разложения партии изнутри и незаметной замены всенародной ленинской партии своей собственной сталинской партией: чистки были отменены, дискуссии тоже, личную ответственность партийцев перед законом потихоньку заменили негласным келейным разбором и замазыванием, материальное равенство членов партии с беспартийными было заменено положением, когда партбилет ограждал от ответственности и вел к наиболее сытым местам в служебном аппарате. Партия стала самокормящейся, самоуправляющейся и самосудящейся организацией вне общегосударственной системы, она была привязана только к вождю. А в самой партии стараниями генсека и вождя появились материальные различия в соответствии с занимаемой партийной должностью, быстро выросли тоненькие заводские секретаришки, величественные брюхатые обкомовцы и полубоги из ЦК. Честных коммунистов попытались поймать в петлю государственных дач, закрытых распределителей и безотчетных сумм. Один за другим унич-

тожались все ленинские моральные принципы поведения в жизни, пока не была построена грандиозная бюрократическая машина, где каждый секретарь вниз смотрит как местный вождь, а вверх – как послушный холоп. Но, когда все было готово – Демиург-Саваоф с ужасом увидел, что тщательно им подобранные люди все же вольнодумничают, хотят старого, тоскуют по вольному воздуху: ленинскую партию изнутри разложить оказалось невозможно. И только тогда, заметьте, только тогда, Дмитрий Александрович, захватчик взялся за топор! Ленин ясно видел малочисленную оппозицию потому, что во время дискуссий все могли говорить свободно. Сталин мечется по стране с топором и бьет наотмашь во все стороны из-за того, что все кругом молчат и действительную оппозицию он чувствует, но точно выявить не может. Рубит головы, какие попадут под удар. Величайший исторический преступник поймал в собственные сети самого себя! Больше того: он...

– Дмитрий Александрович, – прервала Анечка, – смотрите!

– Абашидзе, побледнев, держался обеими руками за грудь.

– Воздуха нет! Задыхаюсь!

Я быстро сделал ему укол.

– Ложитесь!

– Нет, ложиться рано. Уж раз начал, так договорю до конца. Я ненавижу Джугашвили как грузин грузина, я имею на это право. Ненавижу за кровь и несмываемый позор нашему грузинскому самоуважению. Но это все пустяки по сравнению с вредом, который проходимец-психопат нанес мировому делу коммунизма: наша партия в силу исторических причин – опора рабочего движения, и вот Джугашвили, заменив подкупом и топором ленинскую партию сталинской, подрубил ее живые корни, изолировал от народа, превратил в аппарат при особе вождя. С ростом материальной мощи государства будет расти и внешняя мощь партии, – война это доказала, – но внутренняя ее сила будет неуклонно падать: готовый на смерть идейный борец и жаждущий власти и денег директор и партсекретарь – это движущие силы разного калибра. Как коммунист, я ненавижу Сталина больше, чем Гитлера. Сталин нанес нашему делу совершенно непоправимый вред!

Он поднялся.

– А теперь пусть Вольф и Антипка отведут меня в барак – мне надо лечь на весь день! Извините за длинную речь, но, надеюсь, она пойдет вам впрок не менее, чем нам всем – ваш доклад. Нет, нет, это еще не был суд! Не был! Прощайте,

Анна Михайловна! Идем, Вольф! А Сталин – подлец! Держи меня под руки, Антипка!

После ухода Анечки и Георгия я некоторое время невидящими глазами смотрел во двор, потом разом пришел в себя и увидел, как через больничную вахту Мишка Удалой ведет двух человек в телогрейках и шапках, с узлами под мышками и котелками, висящими на одном пальце, – Николая Булыгина и Нахаленка. Вид у них был взволнованный и суровый.

– Привет, доктор! – закричал Мишка с порога. – Собирайся с вещами!

«Греков был прав», – мелькнуло у меня в голове. Задрожали руки.

– На этап?

– В БУР! Ты назначен туда лепилой. Забирай, если хочешь, санитару и, конечно, барахло и аптеку с разными там пинцетами, но без ножей. Ножи отнеси Береславцеву, слышь? Враз! Двигаем сейчас же. Приказ начальника – вывести утром. Я тут одно дельце провернул за зоной, скажу прямо – **эмпирическое** дело, ты понял? Теперь Михаил Никифорович обратно заживет, в свое, то есть, полнейшее удовольствие! Машке заказываю в городе настоящее платье по личной мерке, чувствуешь? Дошло до тебя, а?

Мишка дымил самокруткой, смотрелся в зеркальце (у него под носом вскочил прыщик) и отбивал ногами чечетку. Вольф и я собрали свои вещи и корзину с аптечкой. Под Мишкину болтовню я успел сунуть свои тетради за бутылки с лекарствами. Корзину взял в руки плачущий Антипка.

– Поехали? Вместо тебя здесь будет работать доктор Беднарж, поляк, знаешь его. Ты готов?

– Нет. Сейчас забегу в женский барак.

– Никаких барак! Марш!

– Я отказываюсь от санитару. Вольф, оставайтесь!

– Я буду ходить с фам.

– Не делайте глупости: на воле у вас жена и ребенок!

– Ми шиль вместе и умирай вместе!

– Вот фриц так фриц! Вперед!

У ворот БУРа нас ожидал Плотников.

– Гражданин старший надзиратель! Что же это...

– Ничего не знаю! Становитесь в ряд! Ближе! Перед самым входом! Вахта, приготовиться к пропуску! Кто первый? Булыгин? Шаг вперед! Говорите данные!

– Побегу к Анне Михайловне и Георгию Давыдовичу, – шепотом сказал я плачущему Антипке, принимая из его рук

корзину с медикаментами и инструментами. – Ей скажи, чтобы не волновалась и вечером подошла к колючей проволоке – мы поговорим через огневые дорожки. Ему скажи, пусть поможет ей советом и добрым словом. Тетради передай ему же! Ты сам будь между нами связным. Завтра утром подожди у вахты прихода вольного врача или начальницы и доложи, что меня забрали в БУР. Понял все? Не перепутаешь? Ну, иди! Будь здоров! Не реви, дурень!

Быстролетов Дмитрий Александрович, год рождения...

– Четыре человека! – крикнул Плотников надзирателю БУРа. Тот отметил в списке. Засов медленно отодвинулся. Мы шагнули через порог. Засов задвинулся.

Все было кончено: нас похоронили заживо.

9

Николай Климентьевич Булыгин во многих отношениях является примечательным человеком.

Его мать, Прасковья Ивановна, заведовала школой, помещавшейся в самом большом доме украинского села, – тут и останавливались штабы всех воинских частей, которые во время гражданской войны волнами перекатывались по Украине. Среди незваных гостей были и одетые в английские френчи белогвардейские полковники, и чубатые атаманы, и даже длинноволосый и очкастый батька Махно. Но больше всех понравились худенькой черненькой учительнице большевики, особенно когда у нее остановился розовощекий и сероглазый товарищ Ворошилов. Климент только одну ночь переночевал в школе, но в должное время на свет появился Николай Климентьевич.

Ворошилов не отрицал отцовства, но и не заботился о случайном сыне, а мать довольствовалась воспоминаниями. Она дала сыну отчество отца, собственную фамилию и считала, что этим все устраивается. Остальное зависело от воспитания. Обстоятельства позволили вырастить сына в духе поклонения Первой Конной, Ворошилову и Сталину: тысячу раз, сидя у колен матери, мальчик клялся стать таким, как отец.

Будучи московским студентом, он случайно приобрел пишущую машинку. Они тогда были редкостью, и молодой человек неплохо подрабатывал ночами. Потом, после женитьбы, машинка стала подкармливать и беременную жену. Но она могла давать деньги каждому, и сосед как-то попросил ее на неделю – он тоже умел печатать. Попробовал – да, деньги идут. Это понравилось. И, когда хозяин потребовал

свою кормилицу обратно, сосед обратился к помощи автомата безотказного действия. Этот автомат был первоначально построен для обслуживания только самих изобретателей, но позднее население присмотрелось и стало тоже охотно и часто пользоваться им для удовлетворения своих срочных потребностей. Техника получения исполнения желания была проста: написать страничку бумаги, сложить и сунуть в голубой ящик с надписью «Для заявлений», медленно нажать кнопку. И все. Правда, иногда это казалось противным, но годы шли, и советские люди привыкли к обращению с автоматом.

Сосед написал на листе:

«Желая помочь работе доблестных чекистов, сообщаю, что проживающий со мной в одной квартире гр. Булыгин Н.К. на своей машинке печатает антисоветские листовки».

Подумал. Гм... А если машинку отберут? Переписал:

«Желая... и проч. и проч., сообщаю, что Булыгин Н.К. рассказывает антисоветские анекдоты».

Подумал. А свидетели? Я! Моя жена! Иван Иванович, он поругался с Булыгиным и должен мне 5 рублей. Подтвердит!

Письмо бросил в голубой ящик, мысленно нажал кнопку, и Булыгин исчез. Автомат сработал на славу, пишущая машинку осталась соседу, а Николаю достался срок и лесопоруб в Коми АССР.

Но в том-то и дело, что не только наружностью был примечателен Булыгин. Через год каторжного труда он выбился в бригады, еще через год – в учетчики. Срок у него был небольшой – пятачок. Подождать бы еще год, получить бы бесконвойку, досидеть срок, а там было бы видно. Но Николай был молод, миф о Ворошилове он принял за правду. Его жгло сознание несправедливости и волновало молчание отца: он видел в этом козни бюрократов, охраняющих покой любимого Наркома. И Николай бежал. Бежал самым худшим и опасным образом – на рывок. Пули свистели мимо, но он успел скрыться в лесной чаще. Окольными путями добрался до Москвы. Цель казалась почти достигнутой.

В Москве он побрился, оделся получше, взял на руки малютку сына и пошел с женой к отцу. В приемной Наркома ждали просители. Ознакомившись с существом дела, секретарь попросил сесть и исчез. Через полчаса вошел и с улыбкой пригласил: «Сюда, в эту боковую дверь – ведь вы по личному, можно сказать, семейному делу». Все с почтением проводили глазами молодую семью, родственную самому великому Климу. Булыгиных вывели задними коридорами во двор.

Николая посадили в одну машину, а жену с ребенком – в другую. Её вежливо довезли домой, а Николая – в тюрьму. Ему дали 15 лет за побег и направили на Колыму, добывать золото в тундре.

Николай Булыгин мучился загадкой: знал отец или нет? Чьих рук это дело? Нужно было ее разрешить. И Николай принялся за дело. На руднике он нашел два самородка. Один дал нарядчику за перевод в штаб, другой – вольному врачу за направление в этап на Большую Землю в качестве инвалида. По прибытии в Маротделение Сиблага он подружился с вольными девчонками, служившими в штабе делопроизводительницами. Сделал себе свидетельство о досрочном освобождении по пустяковой статье на имя Николая Климентьевича Ворошилова, литер и письмо к отцу, сел на скорый и отправился в Москву. Шел сорок второй год, по поездкам ходили патрули. Николай сдал документы проводнице, лег на верхнюю полку и заснул.

Проснулся от ласкового, но настойчивого прикосновения.

– Извините, товарищ Ворошилов! Проснитесь! Прошу прощения!

Николай открыл глаза. Вокзал. Новосибирск. В купе начальник поезда, начальник охраны поезда, начальник ГПУ станции, секретарь райкома и ожидавший отъезда на Запад пожилой генерал.

– Вы извините, Николай Климентьевич... Недосмотр... Прозевали... Простите...

Опешившего Николая спустили вниз. Полагая, что он арестован и его еще не бьют потому, что кругом зеваки, и шепот: «Сын Ворошилова. С нами едет молодой Ворошилов», – Николай покорно опустил голову и сказал:

– Что ж... Ведите!

И его повели. Накормили чудесным завтраком в обкомовской закрытой столовой. Одели в новенькое командирское обмундирование, но без знаков отличия. Вручили пузатенький конверт с деньгами. Прокатали по городу в машине. Заставили расписаться в Золотой Книге почетных посетителей города. И, наконец, доставили на вокзал, к подножкам спального вагона сибирского экспресса «Владивосток – Москва».

– Будете говорить с Климентом Ефремовичем, так не жалуйтесь на недосмотр... Исправили, как могли!

И все по очереди назвали свои фамилии – и все добчинские и бобчинские.

Приход поезда в Омск Николай проспал. Вдруг чувствует, кто-то почтительно трогает за рукав. Открывает глаза со страшной мыслью: «Нашли по телеграмме из Маротделения... Пропал!» Но смотрит – а кругом все они, опять те же улыбающиеся добчинские и бобчинские. Тут уж Николай вспомнил «Ревизора» получше и сразу же словами Хлестакова (самого разбирал смех!) намекнул, что в дороге поиздержался и кормили его всюду плоховато – какие-то перья в супе... Омичи не подвели: все подали – и икру, и деньги, и Золотую Книгу. В Челябинске театральная постановка оказалась тоже на уровне, и в Москву Николай прибыл вполне довольным российскими порядками.

Выяснилось, однако, что отец командует Ленинградским фронтом, и что ему не до сына. Новые друзья из военной комендатуры предложили временно работать у них. Николай согласился. И тут-то его и поймала телеграмма из Мариинска.

Точно неизвестно, что стали бы делать николаевские родственники с гоголевским Хлестаковым, но сталинские поступили только так, как могли поступить: они признали в Николае гитлеровского шпиона, подосланного убить любимого наркома, друга Иосифа Виссарионовича, незабвенного героя Первой Конной.

Николая били железными прутьями. Один удар пришелся по щеке и разорвал ее надвое. Через час ему объявили, что ночью, если он до этого не умрет, ему покажут еще кое-что. Не любопытствуя и не обременяя друзей по пустякам, Николай сознался во всем, получил 25 и был направлен обратно в Мариинск. Оттуда его срочно сунули в Суслово – там, мол, народу меньше, а контроля – больше. Николай начал работать в бригаде, потом стал бригадиром, потом учетчиком, потом... потом проезжий контролер прочел его дело и направил в БУР.

Имени и фамилии Нахаленка я не запомнил. Беда, когда в лагере к человеку приклеится какая-нибудь кличка, – он делается безымянным. Конечно, – Гоголь тому свидетель, – меткое русское словечко запоминается лучше казенной фамилии, но для автора воспоминаний все же печально, что многих людей он запомнил, так сказать, неофициально.

Нахаленок был миниатюрным двадцатилетним белобрысым пареньком, не карликом, но просто хорошо сложенным человечком как будто бы детского роста. Смазливое розовощекое личико его всегда имело лисье выражение. На первый взгляд он был весельчаком, хитрецом и балагуром. Но только

на первый взгляд. Нахаленок обладал редкостным каллиграфическим почерком – он лепил ровные строки как будто бы печатных букв со скоростью обычного письма. Хорошо считал. Любил во всем порядок (и сам был очень опрятным). Держал язык за зубами. Словом, это был божьей милостью секретарь для лагерного начальника или нарядчика, и многолетнее пребывание безграмотного Мишки Удалого на должности нарядчика было возможно только потому, что учетчиком при нем все это время состоял Нахаленок: какие бы грешки ни водились за Мишкой, но отчетность у него всегда была великолепной.

Нахаленок сел в возрасте двенадцати лет. Дело его было несложным. Отец, донской казак, вернулся с фронта с пулевым ранением легких. Начался туберкулез. НЭП поддержал здоровье, но коллективизация сгубила: птицу отец прирезал, скот забрали, а из-за сада начались распри с председателем, бывшим матросом. Деревья в саду пересчитали, то отбирали, то возвращали, то проводили по саду извилистый заборчик, деливший дедовское добро на свое и чужое. Георгиевский кавалер волновался, чахнул и умер в саду от горлового кровотечения после очередной перепалки с председателем. Потрясенный мальчик упал в обморок прямо на окровавленную траву, убитые горем мать и тетки о нем забыли. Но к вечеру он пришел в себя, зарядил старую фронтовую винтовку и подкрался к дому председателя. Тот как раз сидел у окна, читал газету и пил чай. Мальчик положил тяжелую винтовку между стволом и веткой вишни, получше прицелился и убил человека, которого считал обидчиком отца. Ему дали «террор» и двадцать лет, а всю семью выслали, и она потерялась в сибирских лесах. Из белокурого голубоглазого мальчика в лагерных условиях вырос Нахаленок, правая рука Удалого и смертельный ненавистник Советской власти.

10

Так же, как Вольф нес в корзине аптеку, так и Нахаленок тащил в ящике фанерки, бумагу, карандаш, ручку, чернила – словом, все необходимое для ведения учета: Николая назначили старостой БУРа, а Нахаланка – учетчиком.

Наше появление вызвало у штрафников удивление: БУР – это самоуправляющаяся блатная империя, и от рода там не бывало ни учетчиков, ни медиков, там всем и всеми единолично повелевал пахан. Один из штрафников осмотрел нас и побежал в барак.

– К пахану с докладом! – усмехнулся Николай. – Ну, чего здесь стоять? Идем дальше, доктор, давайте устраиваться.

– Мы направлены к вам, товарищи, на работу, – обратился я к группе оборванцев, молча глядевших на нас у входа. – Я – врач, зовут меня Дмитрий Александрович, это мой санитар Вольф. А эти товарищи – хозяйственники: вот ваш новый староста барака дядя Коля, а это его учетчик по кличке Нахаленок. Все понятно?

Никто не ответил ни слова.

– Нам сказали, что у вас здесь есть две комнатки. Где вход? – спросил Николай.

Ответа не последовало.

– Что же вы молчите, ребята?

Подросток лет четырнадцати, голый до пояса и босой, сморкнулся, утерся и сказал хрипло:

– А мы что... Рябой разрешит – будете здесь жить.

– Мы сюда пришли не сами. Как и вы все. Вон над нами на вышке стрелок, – я показал пальцем на стрелка с автоматом. – Видишь, что у него в руках?

– А ты видел, что у Рябого в руках? – грубо спросил парень в грязном белье и в валенках. – У того далеко, у этого близко. Понял?

Оборванцы насупились. Кое-кто отвернулся.

– Пошли, Николай. Потолкуем с ребятами позднее.

Мы вошли в барак. Он осел в землю так, что казался землянкой. Вдобавок еще и покосился набок.

– Сегодня же начнем ремонт! – громко и бодро, обращаясь ко всем, произнес Булыгин. – Я сейчас вызову ремонтную бригаду с инструментами. Через месяц мы заживем как надо!

В бараке на нарах валялось человек двадцать. Остальных вывели утром на работу. В помещении было полутемно – вместо выбитых стекол пустые места в рамах были прикрыты тряпьем и кусками досок. При звуке чужого голоса лежавшие приподнялись, но никто не произнес ни слова.

И вдруг в сумрачной напряженной тишине, примерно там, где в прошлом году Барашек зарезал Кота, кто-то зашевелился и насмешливо бросил нам гнусавым тенорком:

– В самом деле? А ну ты, ремонтник, подойди до mine поближе – я хочу тебя рассмотреть, на всю твою картину полюбоваться! Бацилла, пусти свет!

Тощий голый мальчишка рванулся с нар, вытащил тряпичную затычку, и мы увидели на нижних нарах несколько положенных стопкой грязных стеганных одеял и подушек и на них

возлежащего рыжего рябого старичка в больничном белье. Это был пахан, бандит-рецидивист и **честный законник** по кличке Рябой.

– Вот я устроюсь в кабинке и вызову тебя к себе! – спокойно ответил Николай и добавил: Сейчас будет обед, доктор, время не ждет! Вон наши кабины! Идем!

Налево от входа виднелась в стене дыра от сорванной двери, а позади нее темнело пространство, в котором угадывались маленькие комнатки. Под пристальным взглядом молчавших штрафников мы заглянули с порога. В первой, проходной, валялись на боку две бочки для параш и обломки вагонок. В проломе второй двери виднелись сложенные у стены старые доски.

Булыгин преобразился: выставил челюсть вперед и вдруг стал капитаном на мостике корабля.

– Вольф и Нахаленок, параша выкатите во вторую комнату, поставьте на попа и покройте досками – это будет стол для доктора. Он сейчас начнет прием. Окно в задней кабинке есть? Вольф, снаружи и изнутри очистите его от мусора! Я с доктором соберу из обломков четыре спальных места. Живо! Нахаленок, на вахте перепиши людей к обеду – я начну раздачу сам! Пошевеливайся! На носках!

Параша в БУРе не приняты – они считаются роскошью, ночью все бегает в уборную. Поэтому разошедшиеся бочки не очень пахли, и когда мусор и пыль были вытряхнуты, оказались пригодными для медицинского стола. Но, когда Николай и я стали ворошить груду ломаных досок, то обнаружили под ней голого человека.

Минуту мы молча копались в темноте руками.

– Мертвый, что ли? Убит? А, доктор?

– Да нет, живой... Крови не чувствую... Теплый... В обмороке, как видно... Не пойму!

Вдруг тело зашевелилось, две дрожащие горячие руки схватил мою руку и кто-то прижал ее ко рту. Это был страстный поцелуй. Послышались приглушенные рыдания. Моя рука вдруг стала мокрой. Я выдернул ее и отер о штаны.

– Кто это?!

– Тише, доктор! Ради бога! Это я, Коля-Чечетка! Цыган! Позавчера начальник за одно дело посадил меня сюда... Рябой заставил играть в двадцать одно... Я не умею, доктор! Яхонтовый, изумрудный мой доктор, я не умею! Рябой в два счета раздел меня наголо. Потом заставил играть на отмазку... Я опять проиграл... Он говорит: «Теперь ты, Чечетка, бу-

дешь нашим директором по снабжению!» «Как так?» – спрашиваю. «Очень даже просто: каждую ночь будешь лазать в зону и обратно за махрой и хлебом». А я, доктор, мой бестелесный ангелочек, я боюсь – ведь через две огневые дорожки лезть! А? У меня воспаление тонкой кишки! Я ночью не полезу, не смогу и вот жду казни: зарежет меня после отбоя Рябой! Собственноручно! Спасите! Дядя Коля, я у вас в бригаде работал! Спасите! Спасите!!

– Ладно, лежи здесь, гад, – сурово решил Николай. – Это у тебя нашли деньги цыгана Ивана?

– Да, но я клянусь, вот вам Христос...

– Лежи, падло. Человеческим потом и кровью питаетесь... Лежи у стенки тихо до ночи. Потом посмотрим.

Минут через пять все было готово. В задней комнате под дырой в стене, изображавшей оконце, на стол из параш и досок Вольф постелил чистую больничную простыню и поставил ряд бутылок и флакончиков с лекарствами, а перед ними – два бочкообразных тазика с инструментами. Набрал в бочке воды, расставил у одного конца стола кувшин, тазик и мензурки.

– Амбулатория готоф! – доложил Вольф.

Между тем Николай соорудил в своей темной проходной комнате из ящика подобие полок, на них Нахаленок разложил фанерки, бумагу, поставил чернила, коптилку.

– Канцелярия готова!

Далеко на главной вахте ударили в рельсу.

– Обед! – ветром пронеслось по барaku.

На нарах послышалось движение, топот босых ног, разговоры вполголоса. Николай вышел в общее помещение.

– Внимание! Тише! Четыре носильщика! Вперед! Где у вас бочки? Эти? После обеда вымойте их как следует и отскребите стеклами. Едите, как из свиных корыт! Быстро! Выходите к вахте. Кто у вас учетчик?

– Я, – отозвался смуглый низколобый плечистый парень с соседнего с Рябым места. Очевидно, его правая рука.

– Где список?

Парень посмотрел на Рябого.

– А зачем он тебе? – лениво спросил тот, не поднимая головы с пуховых подушек.

– Я хотел посоветовать бросить его в уборную, – отрезал Николай. – Имею свой, и пищу буду раздавать сам.

– Не будешь.

– Буду.

Суета стихла.

Рябой. – Ты завтра тоже хочешь жить? – негромко прогнусавил Рябой. – Ну, так тебе виднее. Смотри, парень, я у себя в БУРе не шуткую. Тебе жить.

Носильщики стояли молча у бочек, держа палки в руках.

– Идите, – скомандовал Николай.

Никто не тронулся с места.

– Идите! – разрешил Рябой, и носильщики вскачь понеслись к вахте.

– Смотри, Николай, не очень натягивай вожжи, – шепотом сказал я. – Нам надо выиграть время!

– У нас его нет, доктор, – тоже шепотом ответил он. – Или мы сломим его, или он сломит нас.

Булыгин и Нахаленок вышли.

– Товарищи, кто чувствует себя больным, пусть подойдет к больничке – я всем раздам лекарство. Становитесь в очередь!

Все до одного штрафника рванулись ко мне. Молча или ругаясь шепотом, выстроились в хвост.

Я и Вольф надели халаты.

– На что жалуетесь? – спросил я первого.

Рябой поднялся и сел на постели.

– Юрок, отрегулируй.

Плечистый вынул из-под нар дубинку, до блеска отшлифованную на спинах. Махнул направо, налево – и в помещении никого не осталось.

– Юрок, выйди! Доктор, уважь больного, подойди ко мне. Ложись со мной рядом, побеседуем – я люблю интеллигентный разговор. Ложись, ложись, будь гостем.

С содроганием я посмотрел на красную в желтых крапинках подушку, но, вспомнив все, чему меня научила лагерная жизнь, опустил затылок на просаленное темное пятно. «Что будет с аптечкой? Что станет с моими записками? – вертелось в голове. – Неужели Шелковая Нить порвана?»

– Куришь, доктор? Нет? Ну полежи так. Я, знаешь ли, болен сифилисом. Да, лечился, конечно, но хватал его снова раза три. Точно не помню. Так что, если считать с первого заражения, он у меня вроде незаразный, внутренний, понял? Но, если считать с последнего – то заразный. К тому же у меня и многоэтажный триппер.

– Как это многоэтажный?

– Ну я его и вылечивал, и хватал снова, и загнал в хронический. Понял? Ты хлеба хочешь? Глиста, приготовь для врача целую пайку, ту, что под нарами, – она свежее. Почему не надо? Для культурного обхождения ничего не жалко, я чело-

век экспериментальный, обхождение знаю. Бывал у меня и шанкер. Короче, я по половому вопросу, как говорится, полный генерал. Ну и мой возраст подходящий, можно все энти несерьезности забыть. Не об этом толковище. Тут другое: у моего шестерки язва в заднем проходе образовалась. С чего? Сам понимай! Так ты не можешь ли его направить в больницу? Глиста, скидай одеяло, стань сюда. Глянь, доктор, – все без подделки. Так заметь себе его и при первой возможности толкани к Таировой: парнишка тихий, у меня вроде сына. Глиста, пайку нашел? Поддай доктору! Ну, спасибо, доктор, иди! А мы будем готовиться к обеду.

Рябой кряхтя стал подниматься, я, сунув пайку хлеба Четке, хотел было выйти наружу, чтобы присутствовать при первой раздаче, как вдруг голосов десять изо всех дыр в окнах разом, задыхаясь от волнения, крикнуло:

– Удалого сунули к нам! Мишка здесь!

Рябой как сидел, так и остался минуты три сидеть неподвижно. Только сгорбился ниже. Прошептал: «Допрыгался, сука...» Потом пожевал губами и сказал:

– Доктор, выйди отселева. Глиста, давай сюда Юрка в момент. Враз! Бегом!

11

Это было живописное зрелище.

Давно перевалило за полдень, и сусловское небо стало, как неаполитанское: ни одной тучки, только льющаяся на землю синяя теплынь. На четырех черных столбах высоко вздымалась исхлестанная злыми зимними ветрами черная вышка, а в ней, пригревшись на солнышке, дремал стрелочек. Внизу находилась вахта, сквозь которую только что пропустили носильщиков и Николая. Ворота опять закрыли на засов. Вокруг грязной площадки, на которой по утрам происходил развод, полукольцом собралось все население БУРа – старые воры и грабители, похожие на лесные замшелые коряги, и молодая блатная поросль, измученные голодом и побоями мальчишки, все в грязном рванье и полуголые, черные от грязи, с ржавыми мисками и щербатыми ложками в руках. На горбатой, поросшей травой земляной крыше сидели – Вольф в медицинском халате, Нахаленок с раздаточной фанеркой и голый Глиста. И это замершее в напряжении людское полукольцо, все эти оцепеневшие в ожидании штрафники видели только одно – выкрашенные в темно бурый цвет ворота и при-

жавшегося к ним спиной красивого розовомордого парня с русым задиристым чубом.

– А-а, Мишка! Иди сюда! Пожаловал самолично!

– Не стесняйся! Как раз к обеду!

– А где же твоя ложка, Удалой? Больничный супчик с котлетами тута не ждешь?

И вдруг все стихло. В пространство перед Мишкой протиснулся Юрок.

Он долго молчал, наслаждаясь видом поверженного сатрапа. Сделал закрутку. Закурил. И вдруг залаял:

– Рябой говорит, мол, прижиматься к воротам нечего! Слышь, сука? Оторвешься от ворот – я тебя лично сейчас же делаю начисто, а будешь липнуть к вахте – мы подождем до ночи! В стоячку жить всю дорогу не сможешь, Мишка. Понял? Готовься в морг, продажный ты гад!

Мишку втолкнули даже без обыска. Он сунул руку в карман и вытащил нож. Солнечный блик заиграл на прямом, широком, коротком лезвии. Зрители вытянули шеи. Я взглянул на стрелка: при окрике Юрка он взглянул вниз, поймал солнечный зайчик на ноже Удалого и снова с удовольствием подставил щеку солнышку: зона его не касалась. Он оберегал только ограждение. У Юрка в кармане тоже был нож, и он, не вынимая руки, шагнул к Удалому ближе. Мишка молча замахнулся и остался стоять в этом положении – спиной к воротам, рука с ножом поднята над головой. Прошло время. Мишка рукавом другой руки смахнул пот с лица и перевел дыхание. И снова все замерло.

– Начинаю раздачу обеда, – крикнул Николай: он подготовил бочки и черпаки. Все вздрогнули: сусловская коррида захватывает посильнее мадридской, но не на голодный желудок. И сразу все заговорили, зашевелились. На время Удалой был забыт. Зрители выстроились в очередь. Коррида сменилась раздачей баланды.

– Подходи. Называй фамилию! – скомандовал Булыгин, сильно крутанул в бочке черпаком и отмерил порцию.

Но первый в очереди не двинулся.

– Сейчас, дядя Коля... Глиста...

И действительно, появился Глиста с большим эмалированным тазом, стал перед бочкой.

– Ты что, на корову берешь?

В очереди хихикнули.

– На Рябого.

Николай с усмешкой кивнул на таз выстроившимся голодранцам, дрожащим от голодного нетерпения.

– Эх, вы, дурачье! Паразита кормите!

– Ты, слышь, давай нам гуцу – Рябому положено, а я с ним кушаю, – угрюмо прервал Юрок. – Понял? Глиста, подставляй! Агитации нам здесь не надо, сами не дурней тебя!

Николай болтнул суп в бочке и налил две обычных порции:

– Нахаленок, отметь: Крышкин и Нуралиев. Следующий!

Юрок скрипнул зубами и шагнул ближе.

– А гуца? Где картошка?

– Я даю всем одинаково. На виду у народа. Вот отлиты порции мне, доктору, санитару и учетчику. Можешь проверить.

Юрок побледнел.

– Идешь насупротив закона? Ладно, тебе жить... Глиста, неси баланду в барак!

И он угрюмо зашагал за мальчишкой вдоль всей очереди. Два черпака супа в большом тазу всем показались смешными, в очереди напряженные лица разгладились.

– Здорово! Мне три картошки досталось! – звонко крикнул хромой мальчишка с конопатым носом.

– Убьет тебя Рябой, дядя Коля! – тихонько буркнул седой оборванец с трясущейся головой. – Прирежет ночью. Утром и концов не найдешь.

Булыгин этого ждал.

– Рябой убивать не станет, – громко ответил он. – Пахан подойдет тебя. А ты меня не убивай! Зачем? Со мной ты завтра опять получишь законную порцию, как человек, а без меня – сцеженную грязную воду, как собака!

В очереди люди перестали улыбаться. Все глядели на Николая так, как будто бы видели его в первый раз. Уже получившие еду еще раз заглянули в свои миски.

У ворот гроыхнула калитка. Плотников поманил меня пальцем.

– Доктор, подойдите сюда!

Он толкнул в БУР долговязого паренька в ватных штанах и сапогах, со свертком под мышкой. Паренек стоял, низко опустив голову в большой шапке со спущенными ушами.

– Это я! – сказала тихо Тополь, блеснув синими глазами. – Еле нашла вас здесь. Выполните обещание! Я принесла стерильные инструменты и спирт.

Мы молча прошли в мою кабинку.

«Словно тополь стройна, синеморевый взгляд, и покрыта платочком шелковым», – такую песню Клавдия Морозова про-

пела на концерте в клубе только один раз, но этого оказалось достаточно: ее прозвали Тополем, потому что все у нее было – и стройная фигура, и синеморевый взгляд, и черный шелковый платок; было и еще другое – нежное лицо, застенчивая речь, немаленький срок. Ее заприметил начальник режима лейтенант Фуркулица, стал вызывать ночью на допросы, запугал, довел до отчаяния и изнасиловал: это была его обычная манера поддерживать лагерный режим. Обыкновенно он продолжал связь с очередной жертвой только до прихода следующего этапа, но Тополь была слишком мила и хороша собой, и вот этапы приходили, а связь продолжалась. Чтобы облегчить встречи, Фуркулица устроил Клаву на работу за зону в пошивочную мастерскую.

– Когда я почувствовала, что забеременела, я хотела покончить с собой, – сказала она мне неделю назад, – но бабы отговорили. Пусть Фуркулица подохнет раньше – если бог есть, он его накажет: ведь упал же следователь Гамов под колеса поезда? Но мне надо поскорей освободиться от этой нечисти – я не могу жить с сознанием, что во мне растет чекистский гаденыш! Не могу доктор! Дайте обещание незаметно от всех помочь!

– Вольф, сидите на крыше с перевязочными материалами наготове! Как начнут резать Удалого, дайте знать!

– Очень хорошо!

Когда мы были одни, Вольф говорил со мной по-немецки, но в присутствии других – только по-русски. Он прошел с нами в кабинку, быстро убрал пузырьки и прочее. Стол на двух парашах превратился из терапевтического в хирургический.

Работать было неудобно и темно. Кроме того, меня смущала мысль об инфекционном осложнении – для Клавы это было плохо, для меня, буровца и штрафника, – еще хуже. Это могло стать катастрофой! Не дай бог, Тамара Рачкова узнает... Вот будет радость: уж тогда она меня добьет!

Вдруг в окно кто-то начал громко скрестись. Я узнал руку Вольфа в белом халате.

– Уже?

– Уше нет.

Я выпрямился. Перевел дух. Черт побери!

– Режут?

– Нет. Я хотел говорить, што ешо не решут.

– Вольф, вы несносный человек! Черт бы вас взял!

Я опять приник к гинекологическому зеркалу.

У окна снова та же рука.

- Ну?!
- Сешас!
- Что? Говорите же, Вольф! Уже режут?
- Скоро будут!
- Пррроклятье!! Вольф, вы идиот!!!

Наконец, все было готово. Я позволил Клаве лежать и, когда мы вышли, уже начался золотой вечер. Скоро бригады вернутся из-за зоны и с ними вместе Анечка. Она прибежит к проволоке, я влзу на крышу, и мы сможем говорить минут пять. Надо только стать так, чтобы быть ближе не к этой, а к той вышке, с другого конца огневой дорожки, – тот стрелок меня издали примет за урку, а Анечку – за его маруху, и даст нам сказать все нужное. Удалой, побледневший и осунувшийся, вяло топтался у ворот, спиной к доскам. Вид у него был убитый. Чуб свесился на щеки, как пейсы. Человек пять блатных сторожили каждое его движение. Как видно, по указанию Рябого.

Тополь стукнула в окошечко вахты. Поджидавший ее Плотников отпер калитку, и она скользнула вон. Я несколько раз зевнул. Вольф тоже.

– Ладно, Вольф, идем отдохнуть. Скоро будет ужин. Черт с ним, с Мишкой.

– Чего это вы улыбаетесь все время? – спросил я Вольфа, когда мы вчетвером растянулись на досках самодельного логва. – Положение у нас скверное, я бы сказал, отчаянное, а вас потянуло на улыбку?

Вольф глубокомысленно молчал. Наконец, начал говорить тоном человека, который намерен говорить долго и только умные вещи.

– Ви, доктор, русски шеловек, а я – немецки. Русски видит всю шизнь прямо перед собой, немецки – сверху. Ви понимал меня?

– Пока нет.

– Немецки шеловек любит философия. Он смотрит на все сверху – оттуда лютше видеть.

– И что же радостного вы увидели в нашей жизни, либер Вольфгант – дер философ?

– Я много поняль существо русски шизнь, существо русски история!

Вольф сел. Чечетка, лежавший у стенки, как труп, зашевелился и в ожидании поднял голову.

– Русски история, доктор, всегда ходиль по большой круг длиной триста лет. Когда ходиль перви круг, тогда жизнь уют-

шался так, што второй круг биль више первый. Триста лет жизнь опять уютшались, и третий круг сейшась идет и все уютшается. Нови шетвертый круг будет совсем хорошо. Я улибалься потому, что увидель, как все будет хорошо: Россия будет сшастливой!

– Гм, – с сомнением промычал Николай.

– Объясните, Вольф, конкретнее, – сказал я. – На примерах покажите, что это за круги и почему нам станет лучше.

Вольф довольно рассмеялся.

– Перви круг – татарски. Триста лет слаби русски князи уютшались и соединялься. Татары увидель русски сила и убешаль. Татаризм даль шизнь царизм, а сам умираль – хан Мамай родиль хан Николай. Россия пошоль по второй круг, и шизнь ошень-ошень уютшались – обстоятельства при Дмитрие Донской биль много хуше, шем при царь Николай. Шерез триста лет царизм тоже умираль и даль шизнь большевизм. Хан Николай родиль хан Сталин. И опять русски жизнь много уютшались, правда? Но время идет, и вот уже тридцать лет, слафа Богу, нет. Хан Сталин, сын хана Николай и внук хана Мамай, – старый. Он скоро умрет – и опять уютшение! Мошно улыбаться, доктор? Ведь это так просто: нам оставалься только двести семьдесят лет! Это – пфук! И потом Россия будет свободной!

– Долго ждать, – пробурчал Булыгин. – Через месяц-два война кончится, и объявят амнистию. Мне нужна свобода в этом году, я сыт татаризмом и нашим ханом.

– Я говорю с тошки зрения философия, Николай. Для русски история двести семьдесят лет – пфук.

Чечетка вдруг заплакал.

– А мне и два месяца пфук! Меня этой ночью вытащат за руки и за ноги и заколют! Я не хочу умирать! Я жить хочу! Жить!

– Тише ты! – остановил его Николай. – Криком делу не поможешь.

Чечетка тихонько завыл в рукав.

– История выше шеловеки! – упрямо и торжественно провозгласил Вольф. – Ты, Шешотка, – пфук, и вы, Николай, – пфук! Татаризм, царизм, большевизм – все уютшается, штобы умирать. Они – тоже пфук!

– А что же остается, наш милый Вольфганг Шпенглер, немножко поэт и немножко философ?

– Россия и свобода!

Чечетка вдруг перестал выть и решительно поднял голову.

– Я хочу покончить с собой! Доктор, дайте мне яду!

– Яды в БУР не носят, – сонно ответил я. От всех событий сегодняшнего дня я устал и вдруг захотелось спать. – Но у меня большая банка закрепляющего. Выпей все таблетки, и мы обещаем не оказывать тебе помощи. Тогда ты умрешь.

– Когда?

– Дней через десять.

– Не пойдет. Мне надо сейчас. Я спешу.

Нахаленок сказал сочувственно:

– Не мучайся, Чететка! Выскочи из барака и схватись за ограду! Хлоп – и все! С вышки не промахнутся. Чего же в самом деле так переживать и расстраиваться!

– Ага, хлоп и все! А ты знаешь, как это больно? Добряга какой нашелся! Я боюсь крови. Мне надо, чтобы без крови!

– Тогда попроси Юрок, чтоб он тебя шлепнул доской по затылок! В БУР всегда так урки убивать мальшишки, если хотеть идти на следствие из БУРа, – вмешался Вольф.

Чететка вдруг уронил лицо в тряпье и зарыдал.

– Не могу... Не могу... Я жить хочу! Жить!

Я задремал не более чем минут на пять. Проснулся от того, что кто-то резко дернул меня за плечо. Николая и Нахаленка уже не было. Снаружи слышались громкие деловые голоса.

– Вставайте! Фрау Анне пришло! – тихо повторял Вольф мне на ухо.

Я не особенно взволновался, ведь я ждал ее возвращения с работы и разговора через проволоку. Но едва вышел в секцию как обомлел – на пяти просаленных одеялах Рябого сидела Анечка и тараторила:

– Вот, товарищ пахан, получите ксиву от Верки-Гроба! И с пачкой махры в придачу! А это коробок спичек лично от меня в честь приятного знакомства! Тут бумага для закруток, Верка обещает прислать еще через неделю. И, вообще говоря, товарищ пахан, вы можете считать свое снабжение организованным: я еще понаведаюсь к вам не раз! Если захотите черкнуть кому-нибудь ксиву – пишите, вот я прихватила кусочки бумаги и карандаш. Пишите, а я пойду к врачу, у меня к нему тоже дело! Я уйду с ремонтной бригадой.

Я качнулся назад и рукой взялся за нары, потому что мне в лицо ударило страшное видение.

В Норильске урки вызвали в БУР врача для оказания срочной помощи. Пошла П-ва, маленькая женщина лет тридцати пяти, поверх рыжей меховой шубки она накинула через плечо

ремень сумки и, беззаботно напевая, отправилась из амбулатории. Стоял тихий день, было очень холодно и темно.

Урки заперли за вошедшей дверь и насколько раз **пропустили ее под трамвай**, то есть по очереди изнасиловали, опрокинув на спину у самой двери. Их было человек сорок. Несколько сильных грязных рук зажимало ей рот и надзиратель у ворот ничего не слышал. Он спохватился только через час. Дверь урки не открыли; а когда самоохранники выломали ее, то каждый входящий встречался градом кирпичей из разобранной печи. Пашка Гурин, комендант из посученных бандитов, отбил тело задушенной женщины, только проткнув ломом первого подвернувшегося урку: вид товарища, обвисшего на железном стержне, образумил остальных.

На грязном снегу тело лежало вытянув руки и ноги; рыжий мех был взлохмачен и кое-где измазан глиной и кровью. Доктором П-ва была тогда похожа на кошку, раздавленную колесами грузовика.

А на следующий день урок отправляли на штрафной лагпункт в Колларгон – там их ожидала смерть. Стоя на грузовиках, они срывали с себя платье и стояли на жестоком морозе голыми – тощие, зеленые, покрытые снегом. Но конвой безжалостно подобрал брошенные вещи и бросил их обратно в кузова, и грузовики исчезли в темноте и тучах морозной белой пыли.

«Что это? – думал я. – Возмездие? Наказание? Мера внушения? Чепуха... Чтобы это ни было, хороший культурный человек погиб, и его смерть не может быть ни искуплена, ни отомщена смертью других: изнасилование с убийством – это преступление без наказания...»

Я провел по лицу рукой. Анечка в БУРе...

Стараясь подавить дрожь, взял ее под руку и повел наверх.

За выходной дверью мы натолкнулись на прижавшегося к стене Вольфа. Он был бледен, как мел. На лице искрились капельки пота. В руках он сжимал топор.

– Я украл у ремонтники топор... Если бы урки нашаль насилловать фрау Анне... Я бы успел пять шеловек убивать раньше, шем они меня убивать...

Анечка рукавом телогрейки стерла пот с его лица и поцеловала в лоб.

– Спасибо, Вольф! Будем жить и умирать вместе!

Мы обнялись и замерли от волнения: у всех троих сразу пересохло в горле. Анечка опомнилась первая.

— Куда вы меня ведете? Булыгин вызвал через вахту ремонтную бригаду на час. Идемте к вам! Не бойтесь, пока что я взяла этих разбойников на крючок. Узнала про вызов и подстроилась к рабочим... У меня новости. Вольф, оставьте нас вдвоем, пожалуйста. Но мне нельзя опоздать — дайте нам сигнал!

Солнце садилось, и в темную комнатушку через узкое оконце пробивался один ярко-золотой сноп света. Я поставил Анечку так, чтобы он падал на ее лицо: мне хотелось упиться этими мгновениями счастья. Но она уже принялась тащить из-под юбки навешанные на поясе сумочки. Мгновениями ее взволнованное лицо попадало в сноп света и казалось мне прекрасным, затем она чем-то шуршала около моего ложа, и я слышал только ее торопливые слова:

— Получила письмо от Сергея... Он тяжело заболел... Желудком... Это кусок мыла и тряпочка вместо полотенца... Работает главным механиком РМЗ... Тряпочку не выбрасывайте: в следующий раз передайте с носильщиками ужина, я выстираю и пришлю. Сергей дал мне отпускную. Какую? Ну, развод! Да нет же, это сухари. Я выменяю еще. На блузку. Она порвана, но пойдет — у нее оборочки красивые... Из кружев... Сергей пишет, что медленно умирает. Заключенная больничная сестра ухаживает за ним. Это зубная щетка. Они живут как муж и жена... Сергей просил и меня устраивать свою жизнь...

В темноте я нашел ее плечи и прижал к себе в отчаянии и надежде.

— А блузочку советую предложить Илянке с больничной кухни — она даст деньгами и продуктами! — сказал из-под досок Чечетка.

— Кто это там? — откачнулась от меня Анечка.

— Да один заигравшийся. Спрятался тут до ночи. После отбоя его зарежут. Так чего же вы плачете, глупенькая? Видите, как все устроилось — вы свободны, и никакого обмана больше нет. А Сергей... Очень жаль его, но... неизвестно, кто из нас умрет первый: мы все — лагерники.

Вдруг ее лицо попало в сноп света. Я увидел прядь белых волос, полные слез глаза и мокрые худые щеки. Из всех сил я прижал это лицо к груди.

— И потом... потом... он... умер.

Я опять поднял ее лицо к свету. У меня задрожали руки.

— Как?! Сергей умер?! Так от кого же было письмо?

— Умер... не Сергей... а...

Я до боли сжал зубы. Какая страшная у нас судьба!

– Лина?! Боже...

– Че... Че... Чем... бер... лен!

Я несколько раз провел рукой по ее волосам и сам перевел дыхание.

– Успокойтесь, Анечка... Успокойтесь...

– Теперь... я буду ходить... в упряжке... одна...

Снаружи стук молотков прекратился.

– Ремонтники! К вахте! Быстро! – раздался властный голос Булыгина. – Буровцы! Готовьтесь на ужин! Носильщики, с бочками к вахте! Бегом!

Топот... Крики. Последние поцелуи. Голос Вольфа:

– Фрау Анне! Шнелль! Бистро!

Я сажусь на край земляной крыши. Ремонтники выходят из ворот в лагерную зону, оттуда в БУР идут понурые ряды штрафников. Затем бегом в зону из БУРа несутся носильщики ужина. Бегут так, что тяжелые бочки качаются у них на шестах, как колокола.

Сергей болен... Анечка свободна... Чемберлен умер... Какой букет добрых и злых новостей... Я сижу, последние лучи ласкают мне лицо, но мне сейчас не до солнца.

Через ворота вбегают носильщики. Теперь все буровцы в сборе. Площадка заполнена людьми: одни стоят в очереди, другие, получив еду, садятся на траву и тут же едят. Вечер тих, тепел и ясен, никому не хочется идти в темный и сырой барак. Я смотрю на сидящего передо мной на траве молодого паренька. Это Барашек. Его белокурые кудряшки сейчас кажутся розовыми. Он обеими руками держит украденную в штабе плевательницу и, запрокинув голову, пьет из нее горячую баланду. Золотые завитки мерно покачиваются в такт глоткам.

И тут в несколько мгновений свершается положенное.

Удалой, с тоской взглянув на темнеющее вечернее небо, вдруг срывается с места, делает несколько отчаянных прыжков в толпу буровцев и втыкает свой нож в спину первого попавшегося на пути. В спину Барашка. Затем, оставив нож в спине раненого, бежит к вахте и срывающимся от радостного возбуждения голосом кричит:

– Вахтер! Вахтер! Открывай калитку! Я сделал человека! Стрелок! Дай сигнал! Я сделал человека! Забирайте mine отселева! Ведите в ДОПР! Скорей! Скорей!

Все сидят и стоят тихо. Булыгин с черпаком в руке замер, как статуя. Калитка открывается, руки вахтеров хватают

Удалого и втаскивают его в зону. Калитка захлопывается, и в ту же секунду раздается выстрел вверх – это стрелок лениво вскинул винтовку и дал сигнал тревоги. Так завертелось колесо правосудия, ловко запущенное кровавой рукой Удалого: за убийство человека ему обеспечена собственная жизнь и год срока в придачу – до вечной десятки.

Между тем Барашек у моих ног продолжал сидеть на траве в той же позе – ноги раскинуты, руки подняты вверх и держат плевательницу с баландой. Только из спины у него теперь торчит длинная деревянная ручка с наклоном вниз и по ней бегут капельки крови – бегут и стекают на траву, в алую лужицу, около грязных черных штанов с лагерным клеймом.

– А-а-а-а... – сдавленным, чужим голосом испуганно тянет он. И вдруг боком валится на траву, лицом в плевательницу с баландой.

Потом я и Вольф на носилках выносим тело из ворот. На траве сидит, скрестив ноги калачиком, Мишка. Его трясет от нервного возбуждения, он непрерывно затягивается папиросой, которую ему сунул вахтер. Лицо сияет восторгом и успокоением: он будет жить! На порожах больничной кухни стоят повар Александр Сергеевич, Таирова и повара.

– Кого? – кричат они хором.

– Барашка!

– Это который сделал Боба-Гориллу?

– Нет, Кота.

– Которого Кота? Который жил с толстой Фроськой? Нет? Другого? Ну, черт их разберет! Пусть режут друг друга, туда и дорога! Если сможете – из морга забегайте к нам!

12

Вечер в Бараке Усиленного Режима...

Там, в лагерной зоне, которая буровцу кажется таким же счастливым миром, как вольный городок представляется жителям лагеря, еще светлый весенний вечер: люди лениво курят, сидят рядами на барачных завалинках, то здесь, то там знакомые фигуры идут по известным делам в обычные места – кто в амбулаторию на прием, кто в баню, чтобы в прожарке сварить кашу, кто в каптерку – сдать в починку ботинки. Роскошных клумб, которые в голодный год украшали зону, теперь нет: война прокатилась по Приазовью, откуда зубной техник Андреев получал семена: их нет, да нет и такого количества инвалидов бригад для ухода за цветами – поноски и отечники давно вымерли. Теперь клумбы похожи на могиль-

ные холмики, поросшие травой, а вся зона – как заброшенное кладбище, по которому уверенно шагают вернувшиеся с работы люди: цветы и лохматые серые призраки – все это позади, это пройденные этапы... Но привидения в лагере не перевелись – только они теперь загнаны в БУР и там без цветов и экзотики влачат страшное существование.

Не верится, что снаружи мягкое тихое сияние и птицы допевают весенние вечерние песни. Помещение БУРа погружено в темноту, лишь на полуразвалившейся печи мигает коптилка да у входа тускло светит слабенькая и грязная электрическая лампочка. Окна забиты тряпьем и воздух тяжелый – пахнет мочой и плесенью. В сумраке видны места, где трехъярусные нары разобраны на дрова или рассыпались сами. От пыли и грязи все кругом кажется бархатисто-серым – бревенчатые стены, доски нар, никогда не подметаемый пол. Никакого тряпья не болтается на гвоздях: его нет у штрафников, как нет сумочек и узелочков, без которых немислим советский заключенный и которые в рабочем бараке создают уют. Здесь все голо – грязные доски, грязные люди.

Под коптилкой сидит молодой парень, Яшка-Жид, мастер рассказывать романы. Вокруг него на полу и нарах разместились слушатели – кто сидит, кто лег набок. По рядам ходят слюнявые закрутки – каждый курильщик глубоко затянется один раз и передает окурочек дальше, пока он не будет докурен до крошки в желтых от никотина грязных когтях последнего счастливца.

Яшка – маленький, прыщавый человечек с длинным носом и бегающими глазками. Он великолепно знает своих слушателей и управляет ими, как послушной упряжкой, а они обожают рассказчика, охотно выделяют ему тройную порцию баланды и неизменно замирают от ужаса в тех местах романа, где Яшке вздумается поиграть на нервах, или от удивления, когда дело коснется описания великолепия буржуйской жизни.

Мы четверо лежим на самодельных ложах из ломаных досок в своих двух комнатках; у стены Чечетка – время идет и час расплаты с ним неотвратимо приближается. Этот день, как всякий другой лагерный день, тянулся бесконечно долго и был наполнен всякими большими и маленькими событиями и происшествиями. Каждое из них могло бы потрясти свежего человека, на месяцы выбить его из привычной жизненной колеи. Здесь такие события сыплются на бедные лагерные нервы непрерывным дождем – минутами, часами, днями, годами и десятками лет. Создается иллюзия привычки, но она

только форма защитной реакции: нормальный человек давно уже сошел бы с ума от такой жизни, а лагерник живет и живет. Для невнимательного наблюдателя с лагерника все скатывается как с гуся вода. Но это только видимость: нервы не могут не реагировать – таково уж их назначение. Только свежие нервы реагируют бурно, а перенапряженные – еле заметно. Однако именно это внешне неприметное волнение, проявившееся, скажем, в одном слове или жесте, выдает нечеловеческое внутреннее напряжение: Барашек пару часов назад опрокинулся головой в плевательницу с баландой, и нож торчал к небу из его выгнувшейся спины.

– Ишь, уткнулся... Вроде не может от баланды оторваться! – проговорил один из штрафников, стоя у лужи крови и хлебая из миски суп, куда нащипал хлеба. И все. Сказал и отошел. Но было бы огромной ошибкой принять говорившего за бесчувственного скота, который так привыкла к крови, что она ему уже не портит аппетита. Специальное исследование, проведенное психологом, психиатром и невропатологом при помощи современной аппаратуры быстро и безошибочно установило бы крайнюю степень перевозбуждения хронически возбужденной нервно-психической системы.

Каждый лагерник – клинически больной человек, невропат и психопат, а каждый буровец – тем более. Давая сухую хронике четырех «случайных» дней моей лагерной жизни, я в первой главе описываю убийство, а в этой – два. Значит ли это, что в календарный год на одном лагпункте Сусловского отделения Сиблага убивали около 400 человек? Конечно, нет! Убийства, драки с тяжелыми увечьями и гибель на полях от пули стрелков случались один-два раза в месяц. Но и этого количества было достаточно, чтобы создавать в провололочном загоне обстановку невероятного, скрытого возбуждения. Человек увидит такую сцену рядом с собой, все показатели напряжения дадут резкий скачок вверх, а потом под влиянием времени начинают снижаться до обычного лагерного, но не до нормального уровня. Через несколько недель мозг отдохнул настолько, что человека, казалось бы, можно было с первого взгляда посчитать нормальным; но тут дикая сцена повторяется, и из патологического состояния психика заключенного никогда не выходит. Только так и нужно понимать приведенные мной подлинные факты – это не желание намеренно сгустить краски, а попытка конкретными примерами объяснить явление массового психоневроза, характерного для заключенных.

Вот на печке высоко над головами тоненькой струйкой вьется пламя коптилки и освещает черные от грязи лица и тела штрафников, их смрадное отрепье: разве это **здоровые** люди – такие, например, как наряженные в лохмотья актеры на наших сценах? Разве этот полулежащий в позе пирующего римлянина оборванец, – тот, что давеча подходил к теплому труп Барашка, – разве он нормальный человек, хотя сейчас довольный, полузакрыв глаза, спокойно тянет махорочный дым из слюнявого окурка, похожего на комок грязи? Четка сожрал данную мне Рябым большую пайку, выпил баланду с картошкой и лежал в углу, пока что цел и невредим, но разве он нормален, разве может быть нормальным человек, знающий, что в эту ночь ему перережут горло? Разве я, утром обнимавший Анечку, а перед обедом сделавший доклад культурным людям и инсценировавший суд над Сталиным, а теперь лежащий на ломаных досках в ожидании бурной ночи – разве я сам был нормальным?

– В то самое утро, – певучим голосом опытного сказителя говорил Яшка-Жид, – американский герцог Карл проснулся в своей роскошной спальне в Нью-Йорке, главном американском городе. «Сейчас надо вскочить в барахло получше и идти к принцессе», – подумал он и стал одеваться. За шкафом у него было тридцать пар ботинок.

– Тридцать... – с восторгом прошло по рядам.

– Тридцать пар, и все импортные или торгсиновские!

– Вот гад! Ну и жил! Это – да!

Слушатели волнуются, а Жид молчит и только улыбается: повторять и убеждать здесь не надо, ему верят, каждое его слово – закон. Как там у Гомера обстояло дело, мы точно не знаем, но Яшка-Жид в эти часы рассказа являлся для слушателей повелителем и богом.

– «Эй, вы, лакеи! – закричал герцог. – Давайте, падлы, хряпать, чтоб мне зарезали!» И энти лакеи, суки, не то что у нас на кухне – жди в очереди, а прозеваешь – так получишь одну воду, – а там они волокут мраморный стол и на его ставить все, как полагается в Америке для герцога – колбасу, хлеб, пиво, конечно, ну и рыбу.

– Мы интересуемся насчет рыбы: есть в Америке такой рыба, какой у нас в Баку? – спрашивает лохматый черный человек, голый, но в валенках. Это – Эльбрус Казбекович, которого засадил в БУР за приставание к женщинам хранитель лагерной морали лейтенант Фуркулица.

– Садись, гадина! – тянут его за валенки сидящие на полу слушатели.

Но Яшка делает презрительный жест.

– Это разные там наши осетрины? Такую рыбу в Америке не едят – ее там бросают кошкам, как у нас в Одессе бычков. Люди там хавают одни миноги!

Слушатели сидят с открытыми ртами. Яшка доволен эффектом.

– Чьи ноги? Почему твои? – робко спрашивает Глиста.

– Миноги, слон, а не мои ноги, чтоб тебя убили! Ми-но-ги! Понял? Они плавают в копченном виде наподобие длинных змей, а куснешь – и не оторвешься: сахар!

Нервы не выдерживают: накрывшись бушлатами, мы хохочем, трясемся от судорожного истерического смеха – это необходимо, это разрядка. Иначе нельзя спать... Нельзя жить... Жаль только, что шпана и блатные пересыпают похабными словами свою речь так, что иногда она становится малопринятой. Это значительно ослабляет для культурного слушателя эффект и совершенно исключает запись рассказа и передачу его хотя бы в этих записках: ведь фабулу передать мало, требуется донести до читателя стиль, а выбросив матерщину – этого сделать нельзя – мясо с соусом и приправой – это блюдо, а мясо без ничего – полуфабрикат. К тому же лагерное сквернословие носит выражено специфический характер. Всякое сквернословие отражает социальную среду, которая его породила: сквернословие, скажем, моряков, пахнет соленой водой, просмоленными канатами, силой и удалством. Сквернословие урок – это короткие гадостные описания наиболее зловонных подробностей быта убийц и проституток, это яркое отображение их гнилого быта.

Вдруг издали, извиваясь и дрожа, донесся звон рельсы. И сейчас же надзиратель стукнул сапогом в окно:

– Ну, вы, там... Собаки... Отбой...

Яшка дунул на коптилку, и настала ночь.

13

Ночь в Бараке Усиленного Режимы.

Люди расползлись по нарам, и стало тихо. Какими бы слабыми ни казались огонек коптилки и свет грязной лампочки, но они все же давали достаточно света для того, чтобы осветить середину барака и погрузить в непроглядный мрак ближние и дальние углы и закоулки. Но Жид погасил коптилку, а дежурный надзиратель с вахты выключил лампочку, и большая длинная секция, казавшаяся черной, вдруг наполнилась призрачным светом: справа через дыры в забитых тряпьем

окнах косо упали голубые полосы лунного сияния, слева – желтоватые снопы света от ламп на наружной ограде – она проходила шагов на десять вдоль стены барака. Эти два ряда слабо окрашенных наклонных лучей сделали вид помещения фантастическим: грязная полуразрушенная печь посередине стала казаться дамой в белом или привидением в саване, исковерканные нары – баррикадами, сырой и грязный пол заискрился серебром. Едва стихли люди, как из всех бесчисленных щелей и дыр полезли крысы и крысята – целыми семьями и ордами. Это были пришельцы, потому что в БУРе лишней пищи никогда не бывало, просто в лунную теплую ночь крысиный народ отправился за добычей в обход всей зоны и по пути зашел на всякий случай обыскать и БУР. В тишине раздался резкий скрипучий писк, царапанье когтистых лапок и гулкое шлепанье на пол. Спертый воздух наполнился тихими разноголосыми звуками. Казалось, что по-крысиному заскрипел даже волшебный лунный свет.

«Так как же Шелковая Нить? Неужели порвана?..»

Я закрыл глаза, но сейчас же услышал шепот Николая:

– Тише! Доктор и Вольф, уберите бутылочки, простыню и доски с бочек! Тише! Ни одного звука: надо приготовить баррикаду в двери. Встаньте босые!

Сердце заколотилось. В несколько минут мы бесшумно разобрали медицинский стол, а параша подкатили к двери. Одну просунули в дверь, другой подперли ее сзади. Кабинки были наскоро сколочены из короткого горбыля, поддерживаемого неструганными жидкими столбами. Концы нескольких длинных досок мы просунули позади второй бочки и ближайших столбов и как бы подперли с тыла всю систему укрепления. Булыгин протянул Вольфу короткий, но тяжелый обломок шеста, на котором когда-то носили бочки с едой.

– Не надо! У меня есть лютше!

– Что это? Дай пощупать! Топор?!

– Да. Я сегодня меняль у один рабоший за носки.

Полное глубоких чувств рукопожатие во тьме.

– Молодец! Доктор, тогда берите дубинку вы.

– Нет, Николай, я лежу на длинной планке с гвоздем – она будет моей пикой. Вы станете по бокам бочки, а я – сзади.

– Попробуем занять места! Потом будем спать по очереди. Нахаленок и Чечетка, вы в резерве! Ну, по местам!

Николай с дубинкой и Вольф с топором стали по бокам бочки, их оружие было смертельным, но действовало на близком расстоянии. Я стал прямо за бочкой и выставил вперед

палку с гвоздем. Впереди, на фоне черной стены первой кабинки призрачно светился провал двери, а за ней – внутренность барака, – вся в полосах света, вся наполненная шумом крысиной возни.

– Спят! Видно, забыли про Четку! Сейчас ляжем и мы! – прошептал Николай, вглядываясь в неясный квадрат голубого и желтоватого света.

За стеной послышался топот шагов караула. «Кто идет?» И снова тревожная ночная тишина.

И вдруг совсем близко раздался нарочито громкий гнусавый голос:

– Глиста! А, Глиста! Подымайся! Поди скажи раздавальщику, чтоб явился ко мне сюды! Мне охота с ним по душам покалякать! Хай идет без стеснения!

И Рябой закашлялся.

Мы увидели, как темный силуэт мальчишки стал пересекать наклонные снопы лучей, ближе и ближе. Вот его тревожное дыхание совсем рядом.

– Стой! – рявкнул неожиданно Николай. Черная фигурка замерла, потом попятилась назад.

– Поворачивай обратно и ложись спать. Скажи пахану, разговаривать будем днем – времени хватит.

Темная фигура тронулась обратно.

– Юрок, а, Юрок! – загнусавил Рябой и опять закашлялся. – Говорю, дай мне сюды раздатчика и Кольку-Четку! Скажи, дело сурьезное на пять минут. Доктору с санитаром скажи, чтоб одевались: им сейчас надо будет идти на вахту.

Юрок наткнулся на бочку и, совершенно еще не понимая положения дел, схватил ее за верхние края, видимо, чтобы откатить в сторону или внутрь. В то же мгновение топор Вольфа гулко тяпнул в темноте по краю бочки рядом с пальцами. Юрок отскочил назад.

– Что это?

– Иди спать! Я уже сказал: разговоры откладываются до утра.

Юрок повернулся, чтобы уйти.

– Нет, не откладываются! Эй, воры, подымайся! Живо! – завизжал в бешенстве Рябой. – Тащить сюды энту суку и заигранного: мы сей минут будем суд держать! Все подымайся!

Босые люди посыпались с нар как крысы. В сумраке и в разноцветных полосах света казалось, что на нас двинулась армия.

– Рябой, у них топор! – крикнул Юрок, сдерживая столпившихся буровцев.

– Делайте всех на чистую! – скомандовал Рябой.

Толпа послушно тронулась вперед.

– Кто прикоснется к параше в дверях, будет убит! – крикнул Николай.

– Гад, ты доживаешь обратно последний твой час!

И Юрок, слегка откатнувшись телом назад, вдруг изловчился и неожиданно ударил ногой в бочку. В руке у него блеснул нож. В то же мгновение я вытянул руку и ткнул его в лицо палкой с гвоздем. Палка попала во что-то мягкое, вероятно, в щеку, но рваной раны не нанесла, потому что гвоздь торчал вбок: я это не досмотрел.

– Ты, помощник смерти, чтоб тебя зарезали! – крикнул мне Юрок, ухватясь левой рукой за щеку. – Слышь, гад, и ты живешь до утра! Дневуешь в морге, паразит!

Крысы стихли, люди молча толпились перед нашей баррикадой, не проявляя ни малейшего желания лезть под удары.

– Это што же за безобразия такая! – закричал с постели Рябой. – Семьдесят человек не схватят четырех?! А?!

– Мишка у ворот не выдержал и мы не выдержим, – тихо проговорил Нахаленок. – К утру будем готовы. Так обороняться бесполезно. Надо чтой-то придумать.

– Ложись и толкани бочку с земли! Не бойся! До пола они топором не достанут! – между тем скомандовал Юрок одному из оборванцев и для внушения дал ему по уху. Тот лег, подкатился по полу к бочке и сильным толчком сдвинул ее внутрь. Вся система нашей обороны затрещала и заходила ходуном. Ударить лежащего топором по спине или затылку поверх бочки было невозможно, дотянуться дубиной – тоже.

– Осторожно, Вольф, чтобы не выхватили топор!

– Чего смотрите! Давай вперед! Хватай их!

Так началась генеральная атака. Когда семьдесят человек лезут в узкую дверь, то порядка не может быть, и напор осаждающих был невелик: в конце концов сражаются только первые два-три человека. Мы выставили вперед свое оружие, и люди отступили на полшага, чтобы не попадаться под удар. Но лежавший на полу делал свое дело – бочка стала медленно сдвигаться вбок.

– Цыган, садись на пол и держи бочку на месте!

– Дядя Коля, а живот? У mine катар тонкой кишки!

И вдруг Юрок опять, на этот раз поверх лежащего у бочки человека, с разбега толкнул бочку ногой. Раздался треск: гнилая параша стала рассыпаться.

– Бей сук! Бей! – кричал Юрок. Все сдвинулись еще ближе. Я слышал хриплое дыхание осаждающих. В темноте мы

размахивали в воздухе своим оружием, но никого не зацепили и поняли, что долго такое напряжение длиться не может: лежавший на полу блатняга обхватил бочку у основания обеими руками и стал отжимать ее в сторону. Один из нападавших успел просунуть в щель ногу, получил по ней палкой, завыл и упал назад, но щель осталась.

Настали последние минуты нашего сопротивления.

– Нахаленок! Лезь в окно! Тихо! Незаметно! Закричи, что в бараке готов побег! Массовый, понял? Ну, вали!

Я и Николай яростно замахали оружием. Вольф коленом задвинул бочку опять в дверь, сел на пол и стал второй бочкой припирать первую. Все трое, как по команде, заорали для устрашения: «Назад! Убьем!» – и в то же время всем телом почувствовали, как позади нас что-то тихо зашуршало, посыпалась штукатурка, заскрипели доски: это Нахаленок сложил у стены обломки стопкой, чтобы упереться в нее ногами и протиснуться в окно.

– Бей сучье племя! – гремел Юрок. И с вытянутой ногой ринулся на бочку.

– Назад! Убьем! – орали мы.

И вдруг снаружи послышался быстро удаляющийся мальчишеский крик:

– В бараке побег! Подкоп! Восстание!

Сразу с обеих вышек гулко грянула дробь автоматных очередей: это стрелки дали сигнал караульному взводу. В окна ворвалось ослепительное сияние осветительной ракеты.

14

Каждый из нас видел фотографии, снятые гитлеровцами в своих лагерях смерти – выложенных эсэсовцев с пистолетами у пояса в окружении заключенных. Ничего подобного в советских лагерях не было и быть не могло, потому что урки, а позднее бандеровцы и власовцы, мигом такого щеголя разоружили бы и кокнули на месте из его же пистолета. Вход в зону с оружием в наших лагерях был строгойше воспрещен, и на проходной все офицеры сдавали оружие дежурному надзирателю. Но по тревоге вход с оружием разрешался, и мы услышали лошадиный топот кирзовых сапог еще тогда, когда взвод пробежал ворота. Потом сапоги мелькнули в окнах. Яркий свет нескольких электрических фонарей скользнул по комнате, кучка запыхавшихся солдат с автоматами наперевес ворвалась в помещение и картинно застыла у двери, оцетинясь смертоносными дулами.

– Собачье! Бежать вздумали, так вашу мать и перетек?! – загремел начальник караула. – Встать! Ну, кто здесь зачинщик?! Выходи!

Буровцы молчали. Четверо стрелков с фонарями стали водить снопы фиолетово-белого света по лицам стоявших штрафников. Из темноты появлялись и исчезали худые, черные, измученные хари и раскрытие от страха рты. Все оцепенели и не шевелились.

– Повторяю, – начальник угрожающе поднял пистолет, – кто зачинщик? Кто здесь хочет пулю в сердце?

И тут в гробовой тишине замершего барака откуда-то снизу по-заячьи пропищал дрожащий голосок:

– Я!

Это за нашими спинами из-под досок отозвался Чечетка. От неожиданности все вздрогнули.

– Давай сюды!

Доски зашевелились и Чечетка быстро засеменял к дверям. Повалился перед начальником на колени и, ломая руки, зарыдал:

– Я, гражданин начальник! Хотел бежать сам и всех подговаривал! Я! Подкоп начал вести под вахту! Хотел спалить! Я! Берите меня! Оружие приготовил – топор украл у ремонтников! Хотел вас лично рубать начисто! Я! Я! Берите меня!

И, не ожидая ответа, как ловкая крыса, вдруг вскочил и скользнул в плотную толпу стрелков, бесцеремонно отодвинув руками несколько дул.

Начальник почесал нос. Сморгнулся на пол. Вынул платок и, отставив мизинец, не без элегантности вытер платком нос и пальцы. Сказал:

– Ну и мозгокрут!

И сунул пистолет в кобуру.

– Што у вас здесья деется, мы разберем на досуге. Время у нас имеется. А покедова ты, Козыренко, отведи подлюку на вахту, пусть его срочно доставят в Оперчекчасть на допрос. А сейчас начинайте шмон!

Четыре стрелка с фонарями с порога осветили углы, остальные, гремя оружием и сапогами, полезли по нарам.

– А это кто такие? – вдруг заметил нас начальник.

Мы назвали себя.

Рябой отодвинул рукой стоявших перед ним людей и высунулся с нар:

– Энто самозванцы, начальничек! Правильные суки! Гады, каких мало! Пришли нас объедать! Староста и учетчик, –

слышите, а? А зачем нам староста?! Я сам здесь староста и учетчик! Забирайте их отселева! И дайте закурить, обратно!

Начальник вынул портсигар.

– А ты все лежишь, Рябой! На, закури! А объедать тут не надо, это верно.

– С топором на нас кидаются. Этот немец-санитар! Чтоб медицинский персонал – и с топором! Где видано?!

– Да, негоже. Ты, фриц, собирайся с вещами, и ты, Булыгин, тоже. Убираю вас как не оправдавших доверие командования! Марш к вахте!

Вольф шагнул вперед. Вытянулся.

– Я отшень просиль...

– Ишь, немецкая рожа! Пошел к вахте! Здесь тебе лагерь не гитлеровский, а наш, советский! Понял? Я здесь командир! А врач пусть остается, медицинская помощь и в БУРе нужна – это, как говорится, гуманность. Так, заключенные?

– Так... Так... – зашелестело по бараку.

Два стрелка прикладами вытолкали Николая и Вольфа за дверь. Начальник прошел в кабинку.

– А где ж у тебя, доктор, аптека? На полу? Плохой же ты врач!

Начальник пошарил снопом света по кабинке.

– Из двух бочек и досок можно сложить стол. Вон у тебя и простыня валяется. Накрой – и получится приемная. Ты на фронте был? Нет? Вот и видно! А на фронте нам приходилось лечиться в худших условиях! Ну, собирай, собирай свои бутылки! Шевелись!

Он снова вышел в секцию.

– А ты, Рябой, все полеживаешь? Верно, про баб мечтаешь, а? Ха-ха-ха! Признайся, мечтаешь? Бывает? А?! На, еще закури одну! Ложитесь отдыхать, заключенные!

Между тем солдаты закончили осмотр буровского двора.

– Подкопу нигде не обнаружено, товарищ начальник!

– Оружие нашли?

– Нет! Только топор. Его забираем.

– Я так и знал с поначалу! Эй, отбой тревоге! Всем нашим к вахте!

15

И снова тихо и пусто. Голубые и желтые снопы света опять перекрещиваются и призрачно освещают искрящийся от грязи мокрый пол. Вот заскрипела зубами первая крыса. За ней вторая. Где-то в углу тяжело шлепнулась третья – будто упала с верхних нар тяжелая мокрая швабра.

М Б Все... Все кончено...

А ведь сегодня Анечка получила развод... С сегодняшнего дня я – женатый человек... И все же приходится умирать... Не будет воспоминаний...

Я посмотрел на то место, где лежали Рябой и Юрок. Два папиросных огонька светились в темноте, потом погасли.

Все кончено.

Я поправил доски на своем ложе. Снял гимнастерку и нагательную рубаху. Зажег коптилку и поставил ее на раздаточный стол, рядом с миской с мензурками. Потом вздохнул. Сжал зубы. Обмотал голову и лицо рубахами. И лег на живот, спиной к коптилке.

Пусть Юрок кончает меня одним ударом. Зачем мучиться... И для чего?

Прошло время. Сквозь две рубахи я услышал мягкий шелест босых ног. Сжал веки. Сжал губы. Сейчас заколют.

«Анечка... Прощай? Шелковая нить...»

Но звук шагов свернул к выходной двери. Потом я услышал, как кто-то вернулся из уборной. Мокрая крыса переползла через мои босые ноги.

«Кто идет?» – прокричал часовой.

Настала ночная тишина. Сначала я слышал биение своего сердца и мягкий шум крови в голове. Наконец и это прошло – успокоился. Конец всему...

Тогда надо мной повисла другая тишина, беззвучная и глухая. Настоящая. Окончательная. Вечная.

Безмолвие смерти.

Глава 4

Летний день сорок шестого года

1

Я стал теперь просыпаться на рассвете, часов в пять, а то и раньше: работа легкая, как в лагере говорят: «не бей лежащего», питание сносное, условия жизни – спокойные. В прошлые годы, бывало, только лягу и приткнусь к чему попало головой – к своему кулаку, подушке или собственному грязному сапогу с еще не растаявшим снегом, – и уже засыпаю,

пока не разбудит дневальный. Угнетавшая меня борьба с человечками и темной рукой в сорок втором году являлась началом сна и, в конечном счете, не мешала отдыху. А теперь вот не спится, а раз не спится – значит, думается.

Поток свежих впечатлений замедлился, он теперь невелик, впечатления прожитого дня не толкают друг друга назад, но перевариваются сознанием сейчас же и укладываются в памяти как уже усвоенный материал. К ночи голова свободна и готова к отдыху. Теперь мой мозг не похож на корову и пережевывать жвачку ему не нужно. Писание записок утратило трагический характер: я дожил до времени, когда могу спокойно обдумывать каждую фразу и не дрожать над каждым листком бумаги. Свои записки переписал в три тетради и смог даже пометить на обложке: «Издано в Суслово. Тираж 3 экз.». Поэтому теперь, естественно, память стала восстанавливать картины давно забытого детства, и я не противился этому: мои будущие читатели захотят узнать кое-что об авторе записок, и они имеют на это полное право – ведь литературное произведение это двойное зеркало, отражающее не только внешний мир, но и лицо самого автора. Как бы последний ни старался спрятаться за вереницей описываемых событий, все равно он во весь свой рост виден читателю, хотя бы по выбору описанного и по отношению к нему. Так уж лучше во избежание недоразумений выйти на сцену, вежливо раскланяться и самому немного рассказать о себе.

В это теплое дождливое утро летом сорок шестого года я вынес на крылечко табурет, сел, прислонился спиной к влажным и теплым бревнам стены, закрыл глаза и углубился в воспоминания. Спокойно, без боли и стыда, без осуждения. Тихий дождичек мирно шуршал вокруг, лагерь спал, все было еще серо и почти незримо. Казалось, что я один, наедине с прошлым. Это было приятно: ощущать ласковое падение случайно залетевших на крыльцо капелек и вести с собой разговор как с чужим, будто рассматривая события своей жизни со стороны.

По-настоящему моя личная история начинается задолго до моего рождения, лет сто назад, когда на Северном Кавказе из русских армейских частей, по мере оттеснения кавказцев с плодородных земель к югу, в горы, стало образовываться Линейное казачье войско, слившееся затем в одно Кубанское войско с ранее переселенными с Украины запорожцами. Оседавшие на землю полки образовывали округа, а казацки сотни давали начало станицам. Солдат из армейских драгун-

ских полков назначали принудительно, господ офицеров принимали по желанию. И те, и другие шли в казаки охотно: солдаты получали землю и освобождались от крепостной зависимости, а офицерам обеспечивалось привольное житье и свобода действий большая, чем тогда была у мелких помещиков в Средней России. Цепочки станиц тянулись от одного моря до другого, и поэтому получилось, что чем севернее линия, тем она старше, почетнее и «аристократичнее». Конечно, служить в Кубанском полку было не столь почетно, как, скажем, в Черноморском или Уманском, но все же лучше, чем в Хоперском, да и станица Ново-Троицкая так вольготно раскинулась на Урупе, что лучшего места для спокойного житья и не придумаешь.

После окончания первой отечественной войны юнкер Иван Быстров из мелкопоместных дворян Орловской губернии вместе со своим драгунским полком из Парижа попал на Кавказ, где в тридцатых годах, осев на кубанской земле, получил за лихую езду кличку Быстролета и стал сотником Быстролетовым, а затем женился на Нине, сестре приятеля своего, богатого осетинского князька и поручика российской службы Темирбека Султановича (или Терентия Степановича) Шанаева. Сотник был белобрысым добродушным детиной, звезд с неба не хватал, но службу нес исправно и дослужился до полковничьего чина. Маленькая черненькая Нина оказалась душевнобольной, родила сына и умерла внезапно, связанная веревками по рукам и ногам за буйство. За ней в роду остались кличка Оса и дурные воспоминания и, что хуже всего, потянулась линия дурной наследственности.

Погоревав дня три, вдовец женился на русской тихой и милой девушке. Детей у полковника осталось трое две белобрысые девочки от русской жены и один черненький беспокойный мальчик Дмитрий от Осы. Весь в мать, как говорили родственники. В шестьдесят пятом году в Петербурге Николаевское училище гвардейских юнкеров было преобразовано в Кавалерийское училище, и Дмитрий Иванович решил во что бы то ни стало поступить туда, хотя казачья сотня там была сформирована позднее, а под боком, в Новочеркасске и Ставрополе, имелись казачьи офицерские училища. У Дмитрия был нрав как у взбалмошной матери: сказал – значит, так и будет. Но не вышло! Практикуясь в верховой езде, он затеял сумасшедшую гонку через изгороди из навоза и сухих веток (они в кубанских станицах называются канавами), конь зацепил передними ногами за ветку, всадник перелетел через

голову лошади, попал под нее и сломал себе обе ноги. Местный молодой лекарь любил выпивать вместе со своими больными, в результате чего Дмитрий на всю жизнь остался хромым: кости срослись неправильно. Это был тяжелый удар по самолюбию. Образовалась пустота. Тем временем приятели надумали идти в священники. Это, мол, человеколюбивое дело, ехать никуда не надо, и вывернутые ноги не помешают. Сказано – сделано. Кавказский архиерей рукоположил неудавшегося гвардейского юнкера в священники. Молодой отец Дмитрий получил богатый приход в новой станичной церкви, а тут пошли дети от рыжеватой девицы, его тишайшей жены Елены Стефановны. Жить бы ему да добра наживать, если бы не врожденное беспокойство и непоседливость, да не проезжий немец с ящиками книг – умных, в красивых переплетах. На свою беду, скучающий отец Дмитрий заинтересовался, купил два ящика, принялся дни и ночи их читать и стал спенсерянцем, то есть последователем английского философа Герберта Спенсера. При первом же посещении отца благочинного отец Дмитрий объявил, что Бога нет, то есть, по крайней мере, никто не может доказать Его существование. Отец благочинный донес викарию. Тот еще выше. Отца Дмитрия вызвали на суд в консисторию, где сам архиерей заседал в присутствии викария и пожилых духовных отцов.

– Знаешь ли ты, отец Дмитрий, что по избранию Святейшим Синодом я утвержден высочайшей властью и в пределах вверенной мне Кавказской епархии являюсь самостоятельным начальником, подотчетным только Святейшему Синоду и Господу Богу? Отвечай!

– Знаю! – сказал отец Дмитрий и про себя радостно подумал: «Вот сейчас он даст мне слово!»

– Повтори все то, что ты поведал отцу благочинному.

Тут Дмитрий Иванович пустился в пространное изложение содержания всех прочитанных им книг о Спенсере. Но архиепископ медленно поднял руку и указал перстом на дверь: «Изыди!»

Отец Дмитрий был отправлен на покаяние в Соловецкий монастырь сроком на восемнадцать месяцев. Отбыв епитимью, он снова предстал перед своим архипастырем.

– Ну, – строго спросил архиерей, – о чем ты думал, находясь на покаянии? Ответствуй: о чем думал?

У отца Дмитрия лицо приняло восторженное выражение. Он весь рванулся вперед:

– О жеребцах и кобылах, ваше преосвященство!

И скороговоркой, дрожа от боязни, что архиерей не даст ему времени высказаться, он изложил свою теорию построения нового казачьего седла, где все преимущества мягкого и удобного английского седла сочетались бы с простотой и прочностью седла армейского.

Наконец его преосвященство пришел в себя.

– Вон, – коротко рявкнул он, а в своем кругу развил свою мысль так: Я покажу этому сукиному сыну жеребцов и кобыл!

Отец Дмитрий был переведен в заштатные священники, то есть лишен прихода. С этого времени он стал носить подряски, скроенные как бешметы, и рясы как черкески, а незадолго перед смертью отправился фотографироваться в полной казачьей форме при газырях, кинжале и шашке, с лихо сдвинутой набор кубанкой. Этот снимок одобрил полковник госбезопасности Соловьев, роясь на допросе в нашем семейном архиве, сказав: «Удалой казачина! Дед у тебя, Митюха, – сила!»

У Дмитрия Ивановича было трое детей белобрысые мальчик и девочка, и черненькая девочка. Мальчик Гаврик окончил Московский университет и отлично играл на скрипке, девочка Маша рано вышла замуж и прожила тихую и счастливую жизнь. Но черненькая девочка Клава удалась вся в бабушку Осу – маленькая и беспокойная, своенравная и взбалмошная. Она доставила всем не мало хлопот, а в первую очередь мне: это была моя мать. Я родился у нее как единственный сын и всю жизнь нес бремя такой наследственности.

Беспокойная Оса после окончания гимназии со скандалом вылетела из родительского гнезда и в девятнадцать лет очутилась сначала в Петербурге, а потом в Москве. Зачем? Она объясняла это страстным желанием получить высшее образование, но я понимал, что на самом деле ее гнала вперед врожденная непоседливость. Она стала учиться на Высших женских курсах по разряду гуманитарных наук. Восьмидесятые годы – время подъема борьбы за высшее женское образование и роста общественного самосознания женщин и их желания как-то бороться за свои права, в какой-то мере играть роль и проявлять свою волю. Молодая Оса, не закончив одни курсы, перешла на другие, переменила города, а потом вообще бросила ученье, потому что с головой включилась в общественную помощь политическим ссыльным. Она стала связной, и, разбирая ее шкатулки после приезда в Москву перед второй Отечественной войной, я нашел в них несколько

следов дальних поездок на Север – изделия из моржовых клыков, сумку из крашеной узорной кожи и прочее.

Эта деятельность сделала ей имя в кругах революционной и либеральной интеллигенции и сблизила с семьей прогрессивного издателя и краснобая Крандиевского. С его дочерью Настасьей Оса сдружилась на всю жизнь. Именно Настя Крандиевская и подбила Осу поехать с ней вместе в Крым организовывать быт крестьян в имении Ак-Чора, где владелец, богатый помещик Скирмонт, под влиянием толстовских идей построил для мужиков показательное село-коттеджи, больницу и школу. Работа была бесплатная и почетная, и поэтому туда съехалась «передовая» молодежь.

Много и горячо спорили и волновались, наиболее горячие хотели внести какие-то новые черты и в свою личную жизнь. В 1899 году организовалось «Общество охранения здоровья женщин», имевшее цель развития любви женщин к физическим упражнениям и реформу женской одежды. Естественно, что и Настя и Оса надели мужские брюки и шапочки, занимались шведской гимнастикой и объявили себя на английский манер феминистками или суфражистками. Однако этого показалось мало – хотелось бросить вызов посильнее, поярче, погромче. И подружки решили: Оса родит назло всему добропорядочному миру внебрачного ребенка, без пошлого обряда венчания, как доказательство своей свободы, как вызов. О самом ребенке и его последующей судьбе они не думали. Но для выполнения дерзкой затеи нужен мужчина, и Настя предложила своего старого знакомого, бывшего чиновника Департамента герольдии Правительствующего Сената графа Александра Николаевича Толстого, которому надоело протирать брюки в Герольдмейстерской конторе, и он решил «заняться делом». Памятуя гениальное изречение Салтыкова-Щедрина: «Дайте мне казенного воробья, я и при нем прокормлюсь», граф поступил в Министерство государственных имуществ и удивительно преуспел на этой ниве, тем более что ему дали в руки отнюдь не воробья.

Это был красивый и милый человек, способный лентяй, любивший в свободное время пописывать стишки. Он даже сотворил роман, и жаль, что черновики стихов охотно разбирали у него друзья, а рукопись романа он забыл в поезде и так не сумел напечатать ни строчки.

– Все дело не в нем, – Александр Николаевич воспитанный и любезный человек, он не откажет молодой даме, а вот если узнает его сестра Варвара Николаевна, ну, тогда быть беде! – захлебывалась Настя, предвкушая авантюру и скандал.

Александра Николаевича долго уговаривать не пришлось, – это был галантный мужчина, но когда стали предвидеться роды, то об этом, конечно, узнала и Варвара Николаевна Какорина, дама, что называется, с характером. Однако эффект получился совершенно непредвиденный.

– Повернитесь, милочка, повернитесь еще раз! Так! Теперь сядьте и слушайте. Я о вас достаточно слыхала и теперь вижу сама – у вас действительно есть этот... как это по-русски сказать... *elan vital*... жизненная сила, которой в нашей линии рода Толстых уже нет. Мы угасаем, милочка, крупные характеры рождаются у Толстых других линий. Наша же угасает. Вы поняли меня?

– Пока нет! – скромно опустив глазки, прошептала Оса.

– Ну так вот, я буду говорить кратко: если родится здоровый мальчик, то вы будете получать от меня деньги на его содержание, как ребенка Александра Николаевича. С трех лет он будет обучаться иностранным языкам и воспитываться в Петербурге в семье, которую я вам укажу. Его дальнейшую судьбу определяют последующие успехи. Посредственность вы, милочка, оставите себе, и мы навсегда простимся. Способного и дельного юношу, которому вы сумеете передать вашу жизненную энергию, вы возвратите графу Александру Николаевичу, его отцу.

– Каким образом?

– Граф оформит усыновление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сын моего брата займет в обществе полагающееся ему место. Вы поняли меня?

Первая мысль ускорить усыновление у Осы родилась очень быстро – в 1904 году: она услышала о новом законе, облегчающем усыновление. В семейном архиве я нашел по этому поводу первое письмо. Но потом Оса отправилась в Маньчжурию на войну и как будто бы забыла о начатом деле, тем более что я жил вдали от нее и ей не мешал. Потом началась революция, и Оса проводила время в Москве и в Петербурге самым захватывающим образом. Не знаю, по чьей инициативе, но с 1906 года переписка с юристами началась снова: думаю, что сама Варвара Николаевна решила не медлить, а дело оказалось непростым. Год с лишним хорошо оплачиваемые законники вели письменную болтовню на тему – узаконивать или усыновлять? Выяснилось, что узаконить нельзя, надо усыновлять. В 1903 году вышел закон, позволяющий усыновление собственных внебрачных детей даже при наличии детей, рожденных в законном браке у одной или обеих сторон

при их, однако, согласии. Тут-то и оказалась зарыта собака: усыновление означает приобретение прав не только на титул и фамилию, но и на долю в имуществе, и все родственники графа Александра Николаевича разделились на две неравные группы: те, кто по закону не имел права на долю, из соображений высокой гуманности ратовали за усыновление, но те, кто ожидал возможности что-нибудь получить по наследству, отстаивали твердые принципы высочайшей нравственности и категорически возражали. На препирательства юристов ушло четыре года и уйма денег. Наконец на семейном совете Толстых было решено усыновлять. Но тут возникло новое препятствие: все Толстые – дворяне, графы и князья – происходят от одного корня, и мой отец принадлежал к одной из четырех титулованных ветвей, а титулованные дворяне могут усыновлять детей исключительно по императорскому высочайшему указу, в отличие от всех прочих дворян и обывателей Российской империи. Но достаточно было вовремя кое-где шепнуть, и такой указ получить становилось невозможным.

Мир высочайших указов и монарших милостей – это хрупкий мир. Оса не очень-то заботилась о деле. В Пятигорске она познакомилась через петербургских друзей с князем Баратовым, красивым офицером и большим весельчаком. Орлиный нос и роскошная кавказская борода на время заслонили для Осы петербургские дела. Ей даже было некогда выйти замуж.

Моя мать не была красавицей, но в ней поражали ум и живость, а они очень нравятся многим мужчинам. За словом в карман она не лезла, в деньгах не нуждалась и пользовалась неограниченной свободой. Мое будущее было обеспечено. Думаю, Оса могла бы выйти замуж и, наверное, сама этого искренно хотела, но мешало непостоянство интересов, непоседливость и вечные увлечения чем-то новым. В четырнадцатом году опять началась война, и Оса, конечно, не упустила такую редкую возможность – она отправилась на фронт сестрой милосердия. В пятнадцатом году, я знаю, у нее была романтическая встреча с раненым или заболевшим Баратовым.

Потом курс денег стал падать, а количество рублей, получаемых от Толстых, оставалось тем же. Мы осели в приморском городке Анапе из-за имевшей там виллу семьи де Корваль, в которой я воспитывался. Отчасти же и потому, что этот городок хлебный, рыбный и фруктовый. Оса зимой преподавала в гимназии, летом заведовала санаторием для ра-

ненных офицеров. Весной шестнадцатого года мы увидели, что нам нечего есть, и я поплелся на физическую работу. Нужда ударила по всем городам и слоям населения, и неудивительно, что именно в конце шестнадцатого года вдруг опять начали поступать письма от петербургских юристов, хлопотавших об усыновлении. В конце строго делового письма делалась обычно частная приписка с просьбой сообщить о продовольственном положении на Кубани вообще и в Анапе в частности.

В феврале следующего года самодержавие рухнуло. Необходимость испрашивать высочайший указ отпала. Но зато во весь рост встали голод и смятение. Адвокат, пришпоренный разрухой, заторопился: в счет помощи переезду его семьи в Анапу и устройству ее там на временное жительство **до окончания революции** он сообщал, что его стараниями дело об усыновлении доведено наконец до счастливого конца и при сем препровождаются документы, коими мне не только законно присваивается фамилия отца, но и – «хе-хе!» – право на графское Российской империи достоинство и получение в порядке наследования имущества, в настоящее время, однако, уже не существующего. Письмо было получено дней за пять до Октябрьской революции. Как практическое жизненное явление революция докатилась до Анапы значительно позже, но Оса, проницательная и быстрая, получив документы, сразу же сказала: «Не время! Подождет!» – и сунула все в черную кожаную папку-шкатулку.

В двадцать первом году Оса занимала домик по соседству с большим особняком миллионера-скотопромышленника Николаенко, где обосновалась ЧК, добивавшая наследие самодержавия и белогвардейщины. Оса сочла за благо переселиться в станицу Николаевскую, где и работала делопроизводителем в сельсовете, чувствовала неусыпное наблюдение за собой и за мной и тысячу раз похвалила себя за то, что не поддавалась соблазну переменить мне фамилию.

Двадцать пятого октября мое графское Российской империи достоинство обратилось в пепел от одного холостого выстрела с «Авроры», но переписка с юристами и документация сохранились и попали на Лубянку в руки следователя Соловьева в той же черной папке.

Сидя на табуретке и поглядывая на мутный розовый восход, я не удержался от улыбки.

Соловьев ничего не понял и не обратил на скучные письма никакого внимания. Черная папка и по сей день лежит в архиве ОГПУ, а на вопрос об отце я в первые же минуты допроса, –

конечно, уже после обработки молотком, железным тросом и каблуками, – рассказал все честно. «Запишем!» – обрадовался Соловьев и торопливо заскрипел пером. Но на следующую ночь разочарованно объявил: «Гад ты, Митюха! Хотел опозорить настоящего советского графа! Ведь его любит сам Сталин! Нет, браток, тут номер не пройдет, ищи себе другого батьку». Мне было все равно, и я назвал сначала Баратова, потом Скирмонта.

За границей я мог легко взять себе по естественному и формальному праву принадлежащую мне фамилию отца. Но опять удержался. Титул и громкая фамилия требуют позолоты, и сиятельные замухрышки из белоэмигрантов уважения не вызывают. Я в несколько минут получил от российского консула профессора Гогеля паспорт на имя Хуальта Антонио Герреро для облегчения поступления на «Фарнаибу», но из-за тщеславия затруднить себе путь к Советской миссии, о приезде которой шел слух между матросами, было глупо. А главное, я лелеял мысль, что когда-нибудь сам стану хорошим писателем. Но для начинающего фамилия Толстой будет казаться дешевым билетом на Олимп. Эту фамилию успею взять, когда получу признание, не до, а после прихода славы.

Я никогда не рассказывал в том, что не использовал такой возможности. От княгини Долгорукой и из белоэмигрантской литературы я узнал, что в 1918 году в Кисловодске вместе с большой группой петербургских сановников и аристократов был расстрелян граф А.Н. Толстой: белая армия наступала, председатель ЧК колебался, и его жена подделала подпись мужа и **пустила в расход** этих людей. Но кто этот А.Н. Толстой? Мой отец или только его тезка и однофамилец? Может быть, это Алексей или Андрей и вовсе не Николаевич? Проверить негде. Да и зачем? Отца я не видел и не знаю и в анкетах всегда так и пишу. Это честно, надо только понимать «не знаю» в смысле «лично не встречался». А черная папка надежно погребена в архиве ОГПУ...

Аминь...

Дождь прекратился. Сразу стало светло и тепло. Ударил в рельсу. Я вздохнул. Пора отрываться от другого мира и возвращаться домой, в лагерь. Но хочу добавить еще несколько слов.

Отец для меня – ничто, миф. К нему у меня нет никакого чувства. Другое дело – мать. Ее я знаю больше, и поэтому любил и люблю. Это был деятельный человек, любопытный к

жизни, общественный. После революции, где бы она ни жила, участвовала в работе множества общественных организаций и очень гордилась кипой похвальных грамот. После моего ареста от душевных мук она ослепла, но помнила расположение скамейки перед выходной дверью дома и часто выходила посидеть. Примечательно, что соседки предлагали ей организовать платную детскую группу, которую она могла бы вести: добрые женщины даже не подозревали, что говорят это слепой, настолько уверенно и бодро держала себя мать. Потом обстоятельства вынудили ее принять решение: она отравилась таблетками снотворного. Ни одним словом она не пожаловалась мне в письмах, отправляемых в лагерь, — они были преисполнены твердости и любви. Даже последнее, прощальное. Но вспоминать о нем не надо. Это больно. Ну, все. Мне пора идти на развод.

2

Я вернулся быстро. Еще бы — идет сорок шестой год и этим все сказано! Теперь вывод на работу совершался без криков, ругательств и угроз. Начальник лагеря Бульский и нарядчик Мельник работали дружно, как два колеса хорошо смазанной машины. Годы лагерной экзотики миновали: чубатого Сидоренку убрали с дороги другие начальники потому, что он не воровал и работал так, что на фоне постоянного перевыполнения им всех планов плохая работа остальных начальников становилась виднее и ссылки на объективные причины выглядели все более и более несостоятельными. Короче, — он всем мешал. Сидоренко получил орден за образцовое выполнение заданий партии и правительства в самые страшные годы войны, а затем был ложно обвинен в краже мешка овса и получил десять лет срока.

Об этом замечательном человеке я подробно пишу в десятой книге («Человечность»). Сменивший его Солдатов удрал с медсестрой, в тесном кружке воров и лентяев он также не пришелся ко двору. Зато когда по зоне в первый раз рысцой просеменил упитанный человечек в спортивном костюме, похозяйски осмотрел свои новые владения и не забыл несколько раз сказать встречным лагерникам: «здравствуйте, заключенные!», то все поняли, что начинается новая полоса в жизни лагпункта.

Ударная бригада отремонтировала избу начальника и продезинфицировала прихожую, где бедняк Сидоренко держал кур и поросенка. На стены были повешены ковры и портреты

вождей производства мариинской лагерной мастерской, а в углу поставлен фанерный, крашенный под мрамор, пьедестал, на котором водружена статуя товарища Сталина, любимого вождя и корифея науки. Греков рассказал, что до войны Бульский работал оптовым заготовителем фруктов и овощей в Одесской области и Молдавии. Хозяин он отличный и товар принимал в колхозах и отправлял в центр быстро и по высшему или первому сорту. Но в положении о заготовителях есть оговорка о процентах на бой, усушку-утруску и естественные отходы, а потому в счет положенного процента в каждую партию добавлялось бесплатно получаемое гнилье, а эконо́мленный товар высшего качества сбывался на рынок. Доход делился между всеми власть имущими. Оборот исчислялся в сотни тысяч рублей и миллионы и кругленькая сумма каждый сезон прилипала к пальцам предприимчивого заготовителя: таким образом, он сумел заготовить себе уютный домик в Кишиневе и барскую квартиру в Одессе, скромную квартиру в Москве для сына-студента и многое другое. После войны сын, все эти годы числившийся безнадежным инвалидом и стоявший на лагерных вышках в должности стрелка, срочно выздоровел и уехал в Москву доучиваться, а папа пока остался в Сибири – времена были трудные, в Одессе еще наводили порядок после румынской оккупации и ехать туда было преждевременно.

Бульский подобрал себе дельных помощников и быстро раскрутил заготовительную машину на предельную скорость: он удачно сплотил вольнонаемных сотрудников в одну шайку тем, что разрешил негласно сдавать на свинарник своих живых поросят и в обмен брать стандартные большие туши, заготовленные для сдачи государству – на этот острый крючок поймались все, кто мог бы где-нибудь сболтнуть лишнее.

Прокурор из Мариинска увозил домой с лагпункта десяток мешков и кошелок – так что юридический тыл был обеспечен. И дело развернулось: во всех трех наших лагерных больницах были негласно открыты палаты для вольнонаемных, где наши профессора лечили председателей колхозов и сельсоветов и их домочадцев; зубо­врачебный кабинет стал готовить протезы на всю округу, и даже я оказался втянутым в машину заготовления нелегальных доходов начальству – стал художником-инструктором в мастерской, делавшей детские игрушки из расчета: десять для мариинских детдомов и стодесять – в окрестные села и деревни. За счет всех этих злоупотреблений всем стало жить легче, тем более что Буль-

ский никого не унижал и не оскорблял, он только требовал точного выполнения его распоряжений.

Если в грозные годы голода заключенные с доброй улыбкой называли Сидоренко батей, то о Бульском отзывались менее определенно: «Мм-да, человек сам умеет жить и другим дает!» – и качали при этом головой.

Мадам Бульская, сидя на рынке в платке и салопе, вилкой продавала из бочки соленые огурцы с хреном и перчиком (по-одесски) и продала их за два года на двенадцать тысяч рублей, тем более, что под стойкой у нее всегда водилась свинина в кусках...

В таком же деловом духе была выполнена смена нарядчиков. Удалого вместе с Машкой Фуриной Бульский сунул в дальний этап, а вывод на работу доверил бывшему дальневосточному морскому офицеру Мельнику, отбывавшему пятилетний срок по бытовой статье. Тихий и культурный человек, Мельник вел дело так четко и честно, что оказалось возможным в лагере утром вывести на работу тысячу заключенных и при этом ни разу не повысить голоса и не выругаться (Бульский тоже работал без матерщины).

Вот и получилось в это жаркое летнее утро, что я едва вышел на развод, как уже вернулся обратно – люди были одеты и обуты по положению. Больные точно учтены, и врачу оставаться у ворот казалось излишним. К тому же дождь, ливший всю ночь, все еще не мог успокоиться – конечно, летний дождь не холодный, но мокнуть зря никому не хочется.

– Думаю, что оставшись один в БУРе, вы прежде всего подумали о самоубийстве! – проговорил Севочка, приступая к изготовлению картофельной массы для оладьей. – Представляю ваше отчаяние!

– К самоубийству я не способен, а отчаяние накапливается в человеке медленно, капля за каплей, – философски сказал я, с аппетитом уплетая первый горячий оладышек.

В зубо врачебном кабинете мы сидели вчетвером – Андреев, Севочка, Анечка и я. Севочка крошил картофель и посыпал полученную массу мукой, Андреев жарил оладьи на подсолнечном масле, Анечка и я ничего не делали – сегодня была наша очередь отдыхать.

– Когда в первую ночь, Севочка, я остался цел, то, естественно, утром почувствовал бурную радость, ощущение горячего физического подъема от вида солнца, всходящего из-за крыши больницы Тэры Исмаиловны. Но потом начался

день – день в Бараке Усиленного Режима. Опять ночь. Опять день. И так далее, без всякого ожидания освобождения, то есть выхода из БУРа в лагерную зону. Я увидел, что жизнь в БУРе организована, как всюду и везде – там имеются власть имущие, их охрана, обслуживающая власть интеллигенция, работяги и деклассированный элемент. Я попал в прослойку, которая полагается интеллигенции, – в службу: я должен был пресмыкаться у трона как лейб-медик и придворный художник слова и карандаша. Это было ужасно...

– Отрабатываем еще одну сковородку? – спросил Севочка.

– Конечно. Масла у нас достаточно. Чего же стесняться себя? – ответил за всех Андреев. – Это при вас доской убили малолетку?

– Да, но кирпичом в затылок. Впрочем, это все равно. Юрку захотелось выйти из БУРа, он ему надоел. Поэтому этот бандит **сделал** чумазого мальчишку, спавшего в грязном углу. Никто даже не знал его имени или клички, пришлось строиться и выкликнуть по очереди всех живых, чтобы дать имя труп.

Мне тоже это грозило ежеминутно. Но особенно мучила необходимость улыбаться Рябому, развлекать его рассказами о загранице и получать за это лишний черпак супа. Да, товарищи, вот тогда во мне начала расти мысль: а что если я убью Юрка или Рябого? Я стал обдумывать технику убийства и его последствия. Новый срок сам по себе меня не беспокоил, но оставалась единственная загвоздка – Анечка: как выбраться в лагерь и не потерять ее, то есть не попасть в этап? И вдруг все разрешилось так просто и ясно.

– Для вас, – сказал Севочка, снимая с печки сковородку.

– Да. Жизнь, как палка с двумя концами: если один поднимается, то другой, естественно, опускается. Меня от верной гибели спасли каторжники; я не думаю, что поселение в Суслово явилось для них злом. Есть места и похуже.

– Да. Во всяком случае, – в один голос подхватили остальные, – появление каторжников в Сиблаге – это знамение послевоенного времени! Это начало новой эпохи!

Такое мнение не было преувеличением. Все началось незаметно: год назад в больничную зону явилась очередная комиссия – человек десять полковников. Стояли, смотрели, потом сверялись по плану. Наконец, вошли в БУР. Прошли по двору из конца в конец, заглянули в барак. На заключенных не обратили ни малейшего внимания. Кто-то попробовал подойти к ним с жалобой, но усатый полковник оборвал слова-

ми: «Это дело вашего начальства. Нас ваши дела не касаются. Мы – инженеры».

Все растерялись.

– Что ж они собираются тут строить? Неужели новый барак? И когда? При наших темпах нам до него не дожить.

Но дня через три случилось неожиданное: нас всех утром выпустили в лагерную зону, Рябого перетащили в больницу, кое-кого с ходу отвели к вахте и шуганули дальше в этап, а остальных расселили по рабочим баракам. Я вернулся к себе в кабинку и сменил Беднаржа, который опять стал врачом старого инвалидного барака.

К обеду в зону завезли новенькие сосновые бревна длиной метров в пять-шесть и большие мотки колючей проволоки. Десять рабочих и все инвалидные бригады были с утра поставлены на рытье ямы вдоль огневой дорожки и установку столбов. Дня через три внутри огражденной зоны вырос второй высокий забор, густо оплетенный колючей проволокой – образовалась зона в зоне, загон в загоне: в него вошла бывшая медицинская зона и БУР вместе с его прежней наружной оградой и огневыми дорожками. В этой новой двойной зоне перед крыльцом бывшей больницы Таировой (больных переселили в больницу № 3, против штаба) построили входную вахту. В углу выкопали яму и над ней домик – морг.

– Для кого? – разводили мы руками, издали осматривая высоченные столбы и густую сеть проволоки.

Через неделю из Мариинска пешком пришел странный этап. Мы из-за забора слышали лай такого количества собак, какого в Суслово не бывало. Напрягая слух, кое-кто различил звон цепей.

– Неужели каторжники?

Да, это прибыл с Украины этап каторжников. Женщин поселили за проволокой, в бывшем БУРе, мужчин в обоих жилых бараках. Таировская больница стала каторжной, а в бывшем БУРе открылась своя амбулатория для женщин, поскольку с этапом прибыло много врачей, в том числе и женщин. Из газет нам было известно, что на территории бывшей гитлеровской оккупации виновных в сотрудничестве с захватчиками присуждают к большим срокам каторжных работ. Каторга в СССР? Все недоумевали... Теперь советские каторжники были поселены по соседству, и мы могли наблюдать их жизнь.

Каторжники должны были трудиться рядом с нашими заключенными, и каторжные работы оказались обычным трудом сельскохозяйственных рабочих. Но по положению их полага-

лось выводить с таким количеством конвоиров и собак, что наш дивизион отказался брать на себя ответственность, а подбросить подкрепления начальство не смогло. Серые, угнетенные бездельем люди целый день сонно грелись на солнышке, а ночью их запирали в бараки с парашами. Женщины и мужчины между собой не встречались и в этом, как видно, и состояло различие между нашим и их режимом: мы сидели в трудовом лагере, они – в тюрьме.

Прошло несколько месяцев, безделье и строгая изоляция сделали свое дело – каторжники приобрели серый, сгорбленный и угнетенный вид. Обслуживание каторжников было доверено нашим бесконвойникам и штабникам, которым приказали держаться в каторжной зоне как начальниками, а каторжникам приказали при разговоре с нашими лагерниками вставать и снимать шапки.

На нашей стороне высокой изгороди слышались крики, ругань, песни, свист, команды, на той стороне царило безмолвие. Переговариваться через проволоку не разрешалось и можно было только издали наблюдать вялые движения понурых людей. Мы вспоминали Достоевского и в один голос решили: да, это Мертвый Дом!

Думал ли я тогда, что пройдет пять лет и меня, изнуренного трехлетней пыткой молчанием в каменном гробу спецобъекта, больного и полупомешанного, втолкнут в такую зону, предварительно пришив к телогрейке, штанам и шапке буквы и номера, и я с удивлением узнаю, что жизнь всюду остается жизнью и на Советской земле Мертвых домов не было и нет!

3

Днем приход больных в амбулаторию после утреннего приема запрещается. Но теперь в зоне было немало привилегированных, которым отказать в особом внимании было нельзя.

Едва мы съели по третьему оладышку и запили его фруктовым чаем, как в передней послышался топот и приглушенные голоса. Я вышел. Два молодых бандеровца вели под руки пожилого рослого мужчину с породистым лицом и властными манерами. Они поддерживали его так, как будто тот был хрустальной вазой, которая сейчас упадет и разлетится вдребезги. От наплыва почтительности парубки сопели и потели, молча, не решаясь произнести ни слова. Это был львовский униатский архиепископ Слепий, назначенец реакционнейшего папы, ярый ненавистник всего советского и русского, искреннейший поклонник германского фюрера.

– Вы бачите, доктор, хто это?! Тоди окажите архиепископу помогу, – зашипели вполголоса провожатые, утирая рукавами потные лбы. Архиепископ молчал, не здороваясь и не выражая какой-нибудь жалобы. Он стоял выпрямившись, спокойно щупая меня пристальным взглядом больших серых глаз.

Я молча сделал запись в журнале.

– Идите. На завтра освобожден от работы.

Архиепископ не поблагодарил, не улыбнулся. Бандеровцы подхватили его под руки и повлекли назад в барак.

– Сукин сын, – сказал Севочка, – хоть бы спасибо сказал! А? Благословлял наших убийц! Его бы на лесопоруб!

– Вы для приличия хотя бы спросили, чем он болен, – вставил Андреев.

– Это как раз и было бы неприличным. Я его слушал и смотрел – это человек железного здоровья. Жрет, спит и переживает нас с вами. Начальство дало твердую установку – держать на больничном питании и освобождать по желанию. Из приличия я бы дал ему коленом в зад!

Чтобы не возвращаться к этому человеку, скажу, что в 1956 году Аджубей по поручению Хрущева имел свидание с папой и договорился о том, что архиепископ Слепий и кардинал Миндсенти отпускаются с миром в Рим – первый из сибирского лагеря, второй – из американского посольства в Будапеште, куда он спрятался после подавления восстания. Папа назначил их своими библиотекарями. Иностранным корреспондентам, которые из всех сил старались спровоцировать освобожденных на антисоветские выпады, оба твердо заявили, что с ними обращались хорошо. Со Слепием – да, я это видел сам.

Едва стихли шаги украинцев, как в передней новый шум. Выхожу. Отец Николай Тихонов держит под руку молодого рослого бандеровца с прыщавой тупой харей и, обращаясь ко мне, почти поет высоким сладким тенорком;

– Это Степочка Басюк, о котором я говорил, доктор! У него сегодня головная боль. Пусть полежит, мой мальчик! Доктор, устройте, пожалуйста! Я не останусь в долгу. Степочка меня так вдохновляет, так вдохновляет!

И отец Николай прижал лапу урки к своей груди и закатил глаза. Я сделал запись: в списке было мало фамилий.

– Чем его этот гад вдохновляет? – наивно спросила Анечка, вытирая мытую посуду и раскладывая ее на полочке.

– Тем, чем всякий мужчина вдохновляет женщину, – сказал я. – Ты же видела, как любовно он держал лапу этого хама.

– Мерзость! Хоть бы нашел себе смазливую мальчишку из малолеток!

Андреев покачал головой.

– Нельзя. Отец Николай – женщина в штанах, ему нужен грубый и сильный мужчина! Заметили плечи и руки у этого животного? Как раз то, что надо! – дополнил Андреев.

– И это не все. Слышали фамилию? Басюк! Это бандеровец. Отец Николай совмещает приятное с полезным.

– Он сексот?

– Конечно. Разрабатывает бандеровцев.

– Откуда вы знаете?

– Сужу по выбору его знакомств. Он притерся к бандеровцам, уже удачно вкрался в их замкнутую среду. Москаля туда не пустят из ненависти, наших украинцев западные украинцы считают предателями и презируют. У паринте Никулаэ все преимущества – он румын, бывший собрат по оружию. От этой безмозглой скотины Николай Николаевич выведает все, что нужно оперу!

– Так зачем же вы дали освобождение? – блеснула глазами Анечка.

– Я не защищаю бандеровцев. Пусть они заботятся о себе сами. Надеюсь, когда-нибудь они отрубят отцу Николаю голову! И будут правы!

Мои надежды не сбылись: отец Николай был слишком осмотрителен и хитер. О нем следует рассказать подробнее.

Николай Николаевич Тихонов родился предприимчивым человеком. Сделавшись православным священником в небогатом приходе на Бессарабине, он обдумал все возможности выдвинуться и пришел к заключению, что у него для продажи нет ничего, кроме русской национальности и православия, а посему предпринял удачный стратегический маневр: обратился к главе румынской церкви в Бухаресте с тщательно разработанным и документированным проектом решительной румынизации русской православной церкви в Бессарабии.

Это было давнишней мечтой руководителей румынской православной церкви, для которых русские попы являлись бельмом на глазу. Вопрос этот имел и немалое политическое значение: русскому населению Бессарабии своя особая церковь напоминала об их матери-России, и церковная румынизация тут сыграла бы роль последнего звена в политической румынизации этой богатейшей области, где после первой мировой войны и присоединения к Румынии еще продолжали удерживаться русский язык и русское самосознание. Вывор-

чевать их и предлагал молодой русский священник, пламенный румынский патриот и восторженный поклонник правящего королевского дома.

Удочка была закинута удачно. Отца Николая вызвали в Бухарест, совершили обряд переподчинения новым духовным пастырем, и он ретиво принялся за дело: на деньги своих румынских хозяев повел в русских церковных приходах горячую, умную и настойчивую агитацию за румынизацию. Молодость, бледное лицо с горящими черными глазами, вдохновенное красноречие, наконец, истинно русское происхождение, – все это вкупе с румынскими деньгами двинуло дело вперед. Отца Николая приблизили ко двору и назначили одним из воспитателей королевича Михая. Именно тогда хитрую голову молодого паринтеле посетила еще одна соблазнительная мысль – найти хозяев побогаче и выйти с Балканского полуострова на мировые пути, которые, как говорят, все ведут в Рим. Для этого нужно было совершить еще одно предательство.

Отец Николай загрустил, зачах и объявил, что он не может дольше жить, не поклонившись гробу господню в Иерусалиме, ибо в последние месяцы ему, по господнему велению, святые места являются во сне, и даже дважды он видел сияние, якобы напоминающее архангела Михаила, поражающего огненным копьём всех нечестивых.

Получив кругленькую сумму, отец Николай отправился в Иерусалим. Там денно и нощно лежал ниц на Голгофе, тщательно обдумывая речь, которую произнесет в скором времени. Во главе группы исступленных фанатиков он на коленях прополз весь Скорбный Путь и был замечен: за рвение отец настоятель православного монастырского подворья благословил молодого румынского подвижника большим черным крестом из кипарисового дерева, росшего когда-то на горе Гефсиманской.

В Суслово отец Николай показал мне свою фотографию того времени – неземной, строгий, бледный, в черной рясе, он снят на фоне висящего на белой стене черного креста, снят так, что фокус аппарата направлен на большие горящие глаза и узкую женственно белую руку, а все остальное как бы расплывается в тумане и виден только склоняющийся над ним Спаситель. Фотография была чудесная.

На обратном пути из святых мест преподобный отец незаметно юркнул в Рим, где перед кардиналом Курии и заведующим отделом православной церкви произнес испепеляющую речь: он потребовал помощи в святом деле католизации

всей румынской православной церкви, то есть навязывания ей унии с Римом! Это был великолепный ход, но даже для Рима такой лакомый кусок был не по глотке. Предателя обласкали, одарили, заметили, но отпустили пока что с миром. Зацепиться в Риме паринте Никулаэ не смог. В Бухаресте, однако, обо всем своевременно пронюхали и устроили неудачнику крепенькую головоломку. Сутками он простаивал на коленах, неделями и месяцами в каком-то дальнем монастыре замаливал свой грех, который, как выяснилось, был ничем иным, как дьявольским искушением, ибо тогда во сне паринтеле все спутал и не сумел распознать сатану в образе архангела господня.

Делишки пошатнулись, но ловкость отца Николая и в Бухаресте была отмечена. Поэтому, когда началась война, румынская армия заняла Одессчину до Днепра и объявила ее присоединенной к Румынии областью, то о проекте отца Николая вспомнили и в Одессу снарядили большую группу духовных лиц во главе со стареньким епископом для румынизации русского и украинского населения, а секретарем группы назначили отца Николая.

Я не могу повторить веселый рассказ святого подвижника о его приключениях в Одессе – это материал для отдельной книги. Я покатывался со смеху, слушая Николая Николаевича и в то же самое время дивился красочности времени, в котором нам довелось жить. Особая глава – это осуществление замысла найти дореволюционных собственников земли на Днепре, на которой был выстроен Днепрогэс с тем, чтобы предъявить немцам документы на право владения этим сооружением или, по крайней мере, содрать с союзников крупную сумму в качестве отступного. Это материал для серии потрясающих трагикомических фильмов, где сквозь добродушный смех и кровавые гримасы зритель увидел бы лик нашего воистину великого и грозного времени. Потом Советская Армия смела гитлеровцев и их румынских приспешников. Святые отцы так долго ссорились, считая награбленное, что фронт незаметно подкатился к городу Одессе. В панике румынские захватчики бросились наутек и с ними в нескольких машинах и группа по румынизации русской православной церкви. Мешок с золотыми вещами взял себе на колени сам епископ. Он страдал недержанием мочи и требовал остановок в самых неподходящих местах и моментах. Однажды во время остановки пули партизан засвистели над их головами, поднялась невероятная паника и старичок забыл мешок с добычей за кустом, где он присел на минутку.

– Я могу вытерпеть все, Дмитрий Александрович, – патетически воскликнул Николай Николаевич, – все, понимаете, решительно все, но вынести мысль о потере денег я не мог. Когда она обнаружилась, я вышвырнул старого осла из машины и приказал шоферу гнать обратно, пообещав ему полкило золота. Мы тронулись и минут через десять были схвачены мужичьем, прежде чем я успел положить руки на роковой мешок!

В Сибири Николай Николаевич удивительно быстро приспособился к обстановке. Он понял, какие пружины тут двигают жизнью и где находятся рычаги управления. Многим позднее, отсидев три года одиночки за отказ от амнистии, я был направлен не в трудовой лагерь, а в спецлагерь, а именно – в Озерлаг. Там, как всегда, попал в штрафники и несколько раз меня перебрасывали с одного лагпункта на другой. И тут-то я и натолкнулся на следы Николая Николаевича: из священника он уже стал врачом, не задумываясь лечил тысячи людей и крепко держал их в руках с помощью основного рычага управления – Оперчекистской части. Опираясь на оперов, он не только «лечил», но и грабил заключенных, среди которых в Озерлаге были сотни доставленных с Запада богатых немцев, австрийцев, венгров, чехов и поляков – людей, прихвативших с собой ценные вещи.

Николай Николаевич рассматривал зоны, в которых работал, как свои вотчины, и доносами оперу устранял всех назначаемых туда настоящих врачей. На 043-м лагпункте мне рассказывали очевидцы его освобождения: он не вышел на свободу, а выехал на грузовике, где были сложены горой 23 чемодана награбленных вещей!

Недаром Иисус сказал: «Кесарево – кесарю», и на фронто-не Исаакиевского собора неспроста золотыми буквами начертано: «Силою твоею да возвеселится царь».

4

Мы уже закончили завтрак, когда Галка неожиданно отворила дверь и с порога сказала:

– Рабочие бригады вернулись в зону! Приказ работягам ждать в бараках, а медсанчасти и штабу – на рабочих местах. Анна Михайловна, смывайся отселева!

Анечка работала теперь в штабе. Ее дочь Лина прислала ей платье из цветного шелкового полотна и белые босоножки. Из раздатчицы воды в бане и наследницы Чемберлена на молочном заводе она превратилась в штабистку, вошла в

привилегированную касту и вдобавок стала самой хорошенькой и модной молодой дамой зоны, то есть, иными словами, стала объектом лютой зависти и ненависти всех дам. Но теперь добраться до нее было нелегко: у нее кончался срок, приближалась бесконвойка, а интеллигентные бесконвойные лагерницы начальству нужны позарез. Этап ей не угрожал. Когда Анечка, гордо отбросив со лба белоснежную прядь, встала и вышла, то Севочка проводил ее глазами и сказал:

– Вот мой идеал, дядя Дима. Вы счастливец. В лагере или на воле лучшей жены для себя я бы не хотел...

Андреев, живший с толстухой Мухиной, надулся.

– А почему вернули работяг? Что случилось? – буркнул он. Но Севочка не ответил, только опустил голову на руки и задумался. Я сделал закрутку и закурил в ожидании.

Не могу без сердечной симпатии вспомнить Севочку. Высокий, стройный, подтянутый, он и Майстрах даже в лагере выглядели, как кадровые офицеры. Севочка попал в плен вместе со всей дивизией в первые недели войны, но бежал на рывок, когда огромная колонна военнопленных проходила через небольшой город. Потом окольными путями вернулся в родной Минск и устроился зубным техником в поликлинике – лить коронки и протезы он научился у своего дяди. Вскоре установился контакт с подпольщиками-партизанами. Командир партизанской группы сказал ему: «Оставайся на месте и будь нашей точкой связи. К тому же я тебе доверяю самое ценное, что имею – невесту. Береги ее». Севочка дал слово. Он был бесстрашным связистом и нежно заботился о девушке, так нежно, что в конце концов женился на ней. К этому времени пришли наши. Разъяренный подпольщик сдал «изменника» в СМЕРШ, и Севочка получил четвертак. Жена пережилась и стала супругой орденоносного героя, а Севочка отправился кончать жизнь в Сибири, потому что на допросе выяснилось, что ревнивец оклеветал его, и на нервной почве у него началась быстро растущая язва желудка. Он существовал только потому, что Бульский в целях наживы сделал рекламу своему протезисту по всей округе и в продуктах пока что особой нужны не было, хотя голод для больного язвой желудка не вреднее, чем картофельные оладьи. Профессор Жолондзь уже поставил ему неблагоприятный жизненный диагноз, потому что после первой операции язва возникла в другом месте. Дни Севочки были сочтены. Забегая вперед, скажу, что вскоре после моего отъезда из Суслово он скончался.

Андреев являлся человеком другой среды и другого характера. Его отец был богатым дельцом и членом правления крупного ростовского банка, связанного с франко-бельгийским капиталом. Сын был папе нужен как приемник и наследник. Папа силой отдал его в коммерческое училище и потом заставил поступить в Коммерческий институт: карьера денежного туза была ему обеспечена. А сам Андреев считал себя прирожденным техником-изобретателем и рвался в Технологический институт. Война позволила ему удрать от папы на фронт, и в чине артиллерийского капитана он был представлен к Станиславу с мечами и бантом. Теперь вопрос его жизни сводился к тому, какое зло кончится раньше – папа или война? Оба кончились одновременно, но после революции бывшему офицеру осталась только одна дорога – в счетоводы. Потом началась лагерная жизнь. В заключении Андреев показал себя человеком изумительно разносторонних технических способностей, знаний и навыков – он великолепно отливал коронки и протезы, высадил на лагерной территории 300 000 цветов и в голодный год превратил зону в благоухающий сад с затейливо спланированными клумбами, для Бульского соорудил большой инкубатор и сам руководил массовым производством цыплят для колхозов и граждан, наладил ювелирную мастерскую и починку часов для населения окружающих деревень и так далее. Такие золотые руки для Бульского являлись кладом и он сквозь пальцы смотрел на связь Андреева с врачом Мухиной, – толстой тупой бабой, которая заведовала родильным и детским домами для детей заключенных женщин: молоко, масло и сахар ручейком текли с детской кухни в кабиночку Андреева (в ней когда-то жил Майстрах), и Бульский считал, вероятно, что этим он расплачивается за все многочисленные и ценные услуги.

5

Никто не понимал, отчего рабочих вернули в зону. Надзиратели пошумели, покомандовали и скрылись. Заключенные посидели в бараках с полчаса, потом выглянул один, пошли в уборную два, вышли покурить десять, и скоро зона приняла вид выходного дня с группами людей, отдыхающих под деревьями, на завалинках и в траве.

Появилась и Анечка.

– Мне надоело сидеть одной! Хоть и дождь, но я пришла опять.

– Идем к Мельнику, вероятно, какой-нибудь малолетка убежал с работы на рывок и теперь ожидается генеральная проверка, – предложил я.

– Гм... – недовольно промычал обычно такой вежливый Мельник... – Нет, все в порядке... побегов с работы не было. Ничего, ничего не знаю, товарищи.

– А глядит вбок... Что-то скрывает! – решила Анечка.

От вахты бодро шагал розовощекий и щеголеватый молодой человек в военной гимнастерке и защитной фуражке. У него была выправка дореволюционного юнкера.

– Дима! Эй, Бартельс!

Дима галантно козырнул Анечке и церемонно потряс руку мне.

– Как дела?

– Отлично! Опять получил из дома несколько пакетов книг. Все нужные, все интересные. Я не сплю ночами. Конспектирую каждую практически полезную мысль или сведения.

– Скоро пройдете курс?

Дима самодовольно усмехнулся.

– Какой? Я по необходимости смял первый, второй и часть третьего. Затем пошел вперед медленно, но всерьез. Я, доктор, уже далеко не лагерный лепила, а знающий фельдшер. Приемы веду с увлечением, наблюдаю больных, знаю результаты своего лечения. Дело идет, милая Анна Михайловна, к концу срока я проработаю все институтские учебники и после освобождения поступлю в медицинский институт. Уверен, что из меня выйдет эрудированный врач. Так-то, товарищи!

И Дима снова самоуверенно усмехнулся.

– А сейчас к Шуре?

– Вначале в медсанчасть, а потом и к Шуре, конечно. Зайду в культбригаду. Я у нас главный культурник. Честь имею!

Дима молодцевато козырнул и зашагал дальше.

– Кто бы мог подумать, что из полумертвого голого человека в грязном дырявом мешке получится такой франт, умница, Дон-Жуан и ловкий царедворец? – задумчиво произнесла Анечка, глядя Диме вслед. – Шура ему была нужна для прикрытия. Он по-прежнему жил с Аней Семичастной, и это она в компенсацию за его перевод на седьмой лагпункт после здешнего скандала устроила ему бесконвойку и создала хорошие условия для работы. Да, Дима далеко пойдет... Лагерь ему пошел впрок!

– Он головастый парень, вот и все, – сказал я.

– Не в голове одной дело, а во всем остальном.

– В голове и только в ней. Вспомни твоего ухажера времен инвалидного барака.

– Кого? Ухажера? Какое мерзкое слово!

– Фельдшера Заднепрянского.

Анечка захохотала.

– Старая крыса! Сравнил!

– Да. Сравнение полезное, Анечка.

Заднепрянский всю жизнь работал фельдшером в одной из станиц под Ростовом. Плотный, с повисшими книзу усами и ощупывающим взглядом выцветших нагловатых глаз, он мне казался типичным фельдшером старого времени. Страстный рыболов, Заднепрянский раз в неделю уходил на Дон с удочками. Все шло хорошо в зажиточном белом домике над рекой, пока жена случайно не обнаружила, что рыболов по ночам не клюет носом над удочками, а, выпивши полчетверти вина, спокойно нежится на пуховой перине у вдовы Камышной, известной на всю станицу развратницы. Уговоры и слезы не помогли, обращения к разуму и предостережения – тоже. Тогда старая Заднепряничиха решила испытать последнее средство, могущее прекратить наглое торжество развратницы – она сообщила в ГПУ, что у Камышной собираются антисоветчики. Чудотворное средство помогло, и разврат прекратился: Камышнова и Заднепрянский получили по десятке. Слезы и обмороки на допросах и суде не помогли, теперь жена ежемесячно посылала ему, мужу, богатые посылки. Тот матерился и ел, и даже сделал попытку соблазнить Анечку предложением своей любви и полпосылки в месяц. Так и работали они, эти три фельдшера, посаженные своими избранницами сердца, – Заднепрянский, Дима и Буся.

Кстати, о Бусе. Его родня вовремя бежала из Ленинграда в солнечный Ташкент и недурно там устроилась. К концу войны Буся стал получать посылки. Это было замечено, и около лихого Казака стали увиваться неплохие бабенки. Победила одна – стройная страстная азербайджанка Фатима. После окончания войны она освободилась раньше, и Буся передал ей присланные из дома вещи и деньги – они должны были послужить фундаментом их семейного счастья в Баку, где у Фатимы брат Гассан заведовал кафедрой в Мединституте.

Получив уведомление о своем освобождении и не дождавшись денег на проезд, Буся-Казак рванул в Баку, куда и прибыл в плачевном состоянии. Тут обнаружил, что ни Фатимы, ни Гассана в Баку не бывало и нет, и бедный малый на толкучке продал с себя все, что мог, и отправился зайцем в

Ленинград, куда уже вернулась из Ташкента его семья. По дороге от голода украл у какой-то бабы булку, был пойман, избит, обнаружен как безбилетный, еще раз избит и наконец по этапу доставлен домой. Вся зона хохотала, читая полное юмора письмо неунывающего Буси, и обсуждала его поступок. Большинство пришло к заключению, что, как это уже подтвердилось тысячами подобных примеров, лагерные связи годны только для лагеря, а на свободе они обращаются в ничто и забываются, как всякие случайные связи.

– Смотри-ка, Раджабов! Вот сюрприз! День встреч! – сказала Анечка, и, улыбаясь и на ходу раскрывая объятия, мы повернули к вахте. Там впускали небольшую партию этапников и с ними еще одного фельдшера, Гамида Раджабова. Обнялись. Раджабов прошел с этапом перекличку, и мы отправились в баню. Не дойдя, сели под деревом и углубились в большой и напряженный разговор.

– Я выполнил ваше задание, доктор, и в Долинке собрал сведения о Лидии Малли и ее сестре Ольге Исуриной, – начал Раджабов. – Рассказывать мне немного. Они отбывали весь срок в Карлаге. Срок маленький – три года, статья бытовая – СВЭ. Малли была хорошо одета, крашена, намазана и работала у начальника легпункта секретаршей, то есть жила с ним. Она – проститутка и падло и, конечно, работала сексом на опера. Начальство устроило Исурину в детдом сестрой, как, якобы, больную. Жрали, пили обе досыта. За послушание досрочно освобождены. Все.

– Позвольте, Гамид, Теодор Малли – муж Лидии, мой начальник в Париже и Лондоне, он имел звание чекистского генерала и был расстрелян. Исурин имел звание подполковника. Его тоже расстреляли. Как же жены получили только СВЭ и по три года? Ведь врачи Носова, Волкова, Мухина и другие все имеют ЧСВН и десятку? А их беспартийные мужья генералами никогда не были и сидят в лагерях как миленькие?

Раджабов насмешливо прищурился.

– Эти две прохвостки, о которых вы так беспокоились, наверное, дали показания на своих мужей и других товарищей по работе. Может быть, и на вас. Отсюда – награда. Заслуженная, как видно. Да, вы волновались напрасно.

Я опустил голову. Этого я не ожидал...

– Теперь я хочу узнать, доктор, здешние новости. Семичастная еще здесь?

– Нет, убрали после скандала с Димой Бартельсом и с вами. Теперь начальником мужчина, лейтенант Шевченко.

Пень. Семичастную поддержал начальник САНУ, капитан Устинченко. Оба они сейчас в Москве.

– А Таирова?

– Ее тоже нет. Убрали на 4-й. Взамен перевели оттуда Носову. Психопатка, но честный человек и знающий врач.

– А Феликс?

Я посмотрел на Анечку, и оба мы почувствовали жгучий стыд и боль. Язык не поворачивался, чтобы ответить.

– Где же Феликс?

– Феликса... посадили... в каторжную зону...

– Феликса?! Да за что? Как можно перевести лагерника в каторжники без вины и даже без суда? Хотя бы несправедливого! И вы молчите?!

Я закурил.

– Гамид, Гамид, вы все еще такой же! Верите, что овца должна выносить протесты волку, когда он рвет ее тело на куски. Эх вы, мечтатель...

И мы трое, перебивая друг друга, еще раз вспомнили все обстоятельства этого дела.

Основа лагерной жизни – крючок. Желающий совершить преступление сначала вовлекает в соучастники всех тех, кто по своему положению может и должен возвысить голос протеста. Жизнь строится здесь по римскому принципу *do ut des*, то есть давай, чтобы тебе дали. По-русски это называется круговой порукой. Те, кто поймался или захотел быть пойманным на крючок, молчит и пользуется благами; тех, кто не захотел принять участия в преступлении – устраняют, если только они вовремя не самоустраняются сами. Таирова в сорок втором году при содействии вороватого начальства засадила всю зону овощами и прослыла среди голодающих **мамой** – ведь густой овощной суп с больничной кухни раздавался без нормы. Больные, страдающие белковой недостаточностью, объедались растительной пищей и умирали, потому что Таирова и начальники крали полагающиеся им белки и жиры – мясо, молоко и сливочное масло. Между Тэрой и завхозом Багирбековым контакт был полный, но оставался один опасный язык – начальница Медсанчасти, милейшая Анечка Семичастная. Годы были голодные, и Таирова приучила молодую женщину принимать подарки: она ловко поддела ее на крючок. А когда начальница стала руками Таировой тоже воровать драгоценное белковое питание у умирающих, тогда опасаться ее уже не имело смысла, этот рот был заткнут.

Меня мама Тэра также пробовала взять на крючок, но я уклонился. И все. Молчал, не участвуя в преступлении. В этом

сказался и мой характер, и жизненный опыт, и, главное, глубокое неверие, что в лагерной системе можно добиться правды. Но Феликс был человеком горячим, искренним и задорным. Настоящим поляком. Он знал утвержденную правительством раскладку и видел, что ни мяса, ни сливочного масла в больничном супе нет. Сделал замечание Таировой один раз. Два. Не помогло. Он обратился ко мне. Я пожал плечами. А в это время случился неприятный инцидент: Семичастная, проходя по больничному коридору к выходу, уронила из-под полы спрятанный там большой шар больничного сливочного масла. Больные подняли его и подали начальнице, не сказав при этом ни слова, но по больнице поползли разговоры, дошедшие, конечно, до начальства. Как раз в это время взбешенный Феликс написал оперу Долинскому рапорт о краже белковых продуктов Таировой и прибежал ко мне:

– Подпишите! Мой фельдшер Раджабов уже подписал. Ставьте свою подпись, вы же знаете, что больных обворовывают.

Я только покачал головой и вернул бумагу.

– Жаловаться на воровство организаторам воровства – глупо. Я не подпишу.

– Это – трусость!

– Это – благоразумие. Я лагерник.

– А я – польский офицер! Я не отступлю! Я буду стоять за правду до конца!

Феликс петушился и всячески срамил меня, но я упорно стоял на своем: жаловаться оперу не имеет смысла.

За коллективный протест Раджабова отправили с этапом в Карлаг, а Феликса сняли с работы. А когда организовалась каторжная зона, то его сунули туда. Там у него вспыхнул туберкулез, и теперь в бессильной ярости и в отчаянии он напрасно метался из угла в угол: жизнь кончалась с пониманием невозможности ее переиграть еще раз.

– Но честный человек всегда прав и заслуживает уважения! – запальчиво закончил Раджабов, сверля меня глазами. Он был когда-то офицером в турецкой армии, когда она занимала Баку, но уверовал в правду на земле, стал коммунистом и дезертировал. Жил в Баку, преподавал, а теперь отбывал большой срок как турецкий шпион.

– Мы любим и уважаем Феликса, – сказал я, – но нужно быть еще и разумным. Помните Сидоренко? Тот бы в порошок стер каждого, уличенного в воровстве, а за антисоветское словцо снес бы голову. Сидоренко был горячим человеком, революционером и ленинцем, понимаете, Гамид? А другие

начальники – сталинцы, холодные, расчетливые люди. Превыше всего они берегут свое положение в партии, которая их кормит, а вы подняли руки на то, что их в партии удерживает – на возможность использовать свое положение в личных интересах. Это было безумием, Гамид!

– Но честным безумием, доктор.

– Да, конечно. А результаты? Сидоренко мешал больше, чем вы оба, и старику дали срок. Он теперь доходит до социализма вместе с нами; вы – люди помельче, вас и ударили не так больно. Но воровства не стало меньше, даже если бы и я сидел сейчас в каторжной зоне!

– Вы меня не переубедите. Идемте к проволоке, может, увидим Феликса.

Мы стали за амбулаторией так, чтобы ближайшие стрелки на вышках нас не видели. Утро было душное, дождь перестал и в толпе вышедших на воздух каторжников мы заметили Беднажа.

– Фелику! Пуйте сем! – закричал я в трубочку из собственных ладоней.

Потом мы минут десять смотрели друг на друга из-за густых рядов колючей проволоки. Феликс кричать уже не мог, он только улыбался и прикладывал руки к сердцу. Потом вдруг повернулся и побрел прочь.

– Как ему живется? – спросил Раджабов.

– Плохо. Анечка там бывает часто.

– Как так?!

– Она работает в экономическом отделе штаба. Ходит туда за цифрами для сводок.

– Феликс там очень одинок, – сказала Анечка. – Его мучает безделье. И несправедливость. И то, что неизвестно будущее: настоящим каторжанам спокойнее.

Анечка помолчала.

– Феликса очень угнетает ежедневный приход к проволоке пана Мацюшки. Вы его не знаете, Гамид? Это бывший польский консул, как и Беднаж, но Феликс не националист, он просто хороший человек и друг больных всех национальностей. Пан Мацюшка носит на груди большое распятие и нас всех ненавидит по-звериному. В штабе ведет себя как постыдный подхалим. Это скрытый вредитель и наш заклятый враг, готовый на все.

– А чего ему надо от Феликса?

– Феликса за дружеские чувства к русским он считает предателем Польши. Пан Мацюшка ходит, чтобы сказать, что

в случае их освобождения он собственноручно повесит Феликса на первой польской березе.

– Мерзавец! Неужели действительно он говорит это умирающему?

– Да. А когда видит только издали, то показывает знаками.

– Хам! Нет, какой же все-таки мерзавец! Я не могу этого слышать! Уйдемте отсюда.

Мы пошли прочь.

– Черт, я расстроился вконец, – сказал Раджабов. – Иду купаться и спать. Вдруг почувствовал усталость. Всего наилучшего!

– Вот еще один лагерный фельдшер. Но как он не похож на тех трех! – сказал я, глядя Раджабову вслед.

6

В этом году у меня начали повторяться воспаления легких. За лето я перенес уже два. Потом стало болеть горло. Встреченная Анечка поговорила в каторжной зоне с профессором Чеканом, он был фтизиатром. Чекан прислал какую-то масляную смесь вместе с указанием, как ее вливать мне в горло. Мы зашли в амбулаторию, Севочка подогрел масло, и Анечка ловко влила мне его так, чтобы стенки горла и гортани получили теплое орошение.

– Что слышно в зоне? – спросил Андреев.

– Начальство – ни гу-гу! – ответила Анечка.

– Что-то готовят! – кивнул Севочка.

Мы стояли на пороге амбулатории. Выглянуло солнце. Всюду толпились праздные люди.

– Куда же нам пойти?

– За больницу № 3.

– А там что?

– Богослужение! Посмотрим на еще одно лагерное представление...

Водоразборная будка помещалась против бани, как раз за зданием ветеринарной станции. Проходя мимо, мы не удержались и остановились около белого, как лунь, старичка со смуглым лицом и большими черными глазами, уже подернутыми старческой мутноватой голубизной. Штаны у него были завернуты до колен, босые ноги измазаны грязью. Если Анечка была наследницей Чемберлена по оглобле сепаратора на молочном заводе, то отец Иона, священник из Бессарабии, – унаследовал от покойной лошадки ее основную профессию:

накинув лямку на шею, он с утра до вечера таскал по зоне бочку с питьевой водой.

– Здравствуйте, паринтеле! Вы хотя бы заглянули ко мне на прием. В такую грязь бочку могут таскать и люди помоложе! Заходите сегодня же, я запишу вас на завтра.

Старик вытер потное лицо.

– Благодарствую. Да, в грязь бочка кажется вдвое тяжелее. Но я не зайду за освобождением.

– Почему?

– Эх, молодой человек, молодой человек! Да ведь вся наша жизнь в руке божьей. Как вы этого не понимаете? И увильнуть здесь нечего – увильнешь от бочки с водой, бог пошлет воз с камнями. Раз мне ниспослано испытание, значит я его заслужил и должен терпеть! Во всей нашей жизни есть большой внутренний нравственный смысл, и сам принижать себя я не могу!

Иона говорил медленно, отсутствие зубов мешало выговаривать слова. Он был очень стар. Однако бодро улыбнулся.

– Поить водичкой алчущих – это прекрасно, доктор!

Я не нашел что ответить. Анечка сказала:

– Раньше бочку возил Чемберлен.

Старик посмотрел куда-то вдаль черными глазами с мутноватой синевой. И вдруг тряхнул головой, словно вспомнил что-то радостное.

– Когда я учился в Петербургской духовной академии, слава Чемберлена гремела. Гордый был человек, могущественный, государственный. Но бог захотел – и он был впряжен в лагерьную бочку! Конечно, большевики помогли – сила бесовская весьма велика. Но вы поняли смысл сего? Чемберлен очистился от земной гордыни и предстал перед Судом божьим в образе скромного труженика! Впрочем, большевики, если возьмутся как следует, то доконают кого хотите!

Иона вдруг нахмурился. Сказал с сердцем, перекидывая через тощую шею и грудь мокрую лямку:

– А вы говорите – освобождение! Отойдите от меня, искушитель! Не лишайте меня пути господня!

Паринте Иона натужился, бочка, расплескивая воду, покадилась по лужам.

– Он меня не понял, – задумчиво проговорила Анечка. – Бедный отец Иона!

Я вздохнул и стал делать закрутку.

– А может быть, он самый счастливый из всех нас: денно и нощно наши сердца жжет огонь протеста против несправед-

ливого осуждения и жажда свободы. А у него никаких таких мук нет: все в руке божьей, и крышка! Даже бочку и лямку в восемьдесят пять лет он приемлет с радостью, не говоря уже о сроке в двадцать пять лет. Я ему завидую, Анечка!

Мы медленно брели по мокрой траве. Кругом сновали люди, взяться за руки было нельзя, я просто незаметно держал ее маленький, мягкий пальчик.

– Отец Иона – самый старый из наших лагерников?

– Нет, здесь есть дед с Украины, Федот Осипенко. Ему сто пять лет. Срок – четвертак.

– За что ему столько дали?

– Дед неграмотный, я ему написал заявление о пересмотре дела и узнал его историю. Немцы летом оставили его в селе стеречь хаты, а все население выгнали на работы. Дед сидел на табуретке у шоссе. Воров тогда шныряло кругом много. Какой-то человек вдруг пробежал через дорогу и скрылся в чьей-то хате. Потом подскакали немецкие кавалеристы: «Где есть рус?» Дед указал пальцем: «Там». Бежавшего нашли и куда-то увели. А в первой же советской части, освободившей это село, командиром оказался этот беглец – он был не вором, а военнопленным красным командиром, бежавшим из этапной колонны.

Потом он бежал второй раз и удачно перешел фронт. Старика узнал с первого взгляда и сдал в СМЕРШ как гитлеровского пособника. И, отдохнув, через час двинулся со своей частью дальше.

...Впереди еще ковыляла на ухабах бочка, из-под которой мелькали две грязные худые ноги.

– Бедные старички! – покачала головой Анечка.

– Бедный Чемберлен! – сказал я. – Помнишь, Анечка, малиновых раков в рогожном куле? А? Как все это было давно! Почти целых три года назад!

– Целых... Да, в лагере три года – много. Как тридцать на воле. Помнишь Островского, Майстраха – хорошие были люди. Отчего тогда умер Островский?

– От карбункула на шее. Он был очень слаб. У него начался сепсис. Я его переслал в хирургическую больницу. Он прошел мимо как тень.

– Славная тень!

– Да. Затем взяли в этап Майстраха. Потом умер от сердечной недостаточности геройский Георгий Абашидзе. Мимо нас прошло много-много людей. Нас в зоне тысяча человек, и всю тысячу мы видим каждый день с утра до вечера. Триста

пятьдесят шесть тысяч встреч в год. Мы дружим, Анечка, четыре года. За это время мы видели вокруг себя почти сто пятьдесят тысяч человек. Мы всем им смотрели в лицо.

– Если считать с этапниками, то их было больше вдвое или втрое.

Да. Мимо нас прошло население целого города – мы стояли, взявшись за руки, как сейчас, а люди шли и шли мимо, задевая нас своими горестями и радостями. Иногда умирали у наших ног. Фантастическое зрелище!

Мы остановились под березками и долго молчали. Оба думали об одном – какой удивительной формой существования является лагерная жизнь...

– Смотри, даже доктор Минцер вышел сегодня погулять! Подойди к нему, скажи по-немецки несколько ласковых слов!

Это была странная фигура – по одежде лагерник голодного сорок второго года, то есть скелет в мелкодраном грязном тряпье, но с головой еврейского пророка – снежно-белыми лохмами над смертельно-бледным лицом, на котором голубым пламенем светились глаза – большие, добрые и безумные.

Я жил с доктором Минцером в Берлине в одном доме в начале тридцатых годов. Нас столкнул случай, какими наполнена жизни разведчика. Минцер был процветающим берлинским специалистом, врачом с именем. Он происходил из еврейской семьи, бежавшей из России в пятом году от погромов, и не забыл ни русского языка, ни своей беспокойной родины. После прихода к власти Гитлера Минцер продал все, что имел, купил вагон медикаментов и преподнес его в дар Советскому правительству, а сам приехал сюда, чтобы работать по специальности. Был арестован как гитлеровский шпион, осужден на большой срок и послан в Красноярский лагерь, где мы и встретились при пересылке. Там он исполнял обязанности главного врача зоны и ходил в берлинском модном костюме и лаптях. Мое появление потрясло старика, он ухватился за меня, как за живой обломок его прежней счастливой жизни. Когда меня уводили в этап, Минцер сунул мне в руки кусочек туалетного мыла и прорыдал: «Это берлинское мыло. Последнее воспоминание. Единственная моя драгоценность. Ее вам и отдаю. Больше у меня ничего нет».

Кусочек я вывез из Норильска в Сиблаг – он счастливо прошел сотни обысков. Здесь, в Суслово, я снова встретил Минцера. Он работал врачом в Маротделении и на общественно-показательном суде встал и в защиту обвиняемого сказал: «Я думаю, граждане судьи, что обвиняемый нарушил

дисциплину под влиянием болезни: у него тюремный психоз». — «В Советском Союзе нет таких болезней, здесь не ваша гитлеровская Германия!» — ответил судья и попутно дал Минцеру за антисоветскую агитацию один год работы на известковых карьерах в Искитиме. Это — штрафной лагпункт, и условия существования там особые, специальные. Минцер к концу года там сошел с ума и теперь был переброшен в Суслово для формального отбывания срока.

— Гутен таг, герр доктор! — сказал я согнутому дугой оборванцу и учтиво приподнял шапку.

Минцер взялся рукой за березу и долго рассматривал меня. Потом с трудом разогнулся и вдруг закричал:

— Встать! Здравствуйте, гражданин начальник! — Из глаз его ручьем потекли слезы.

— Абер найн, герр доктор, их бин дох кайнер начальник, их бин...

— Пойдем, оставь его, — шепнула Анечка. — Он еще здесь, но уже не с нами.

И мы завернули за угол больницы.

Не знаю почему, но за двухэтажным бревенчатым корпусом строители оставили довольно большую площадку. Верующие выдернули бурьян и выложили им землю на манер мостовой: толстые прямые стебли высохли и потом после дождей были втоптаны ногами в землю так, что грязи в этом месте не было, несмотря на дождь.

С того края, откуда мы вошли, на мокрой земле сидело кружком человек двадцать мужчин и женщин. Ноги они скрестили по-турецки, руки положили на колени ладонями вверх. Один что-то негромко и нараспев выкрикивал, другие хором в унисон пели эти же слова.

— Кто этот запевала? — спросила Анечка.

— Это сектанты. А поет не запевала, а пресвитер, их священник, выборный из мирян. Посвящения в сан у них нет.

Мы подошли ближе.

— И вошел бог в мир и к людям, — пел пресвитер.

— И вошел бог в мир и к людям, — хором подпевали молящиеся.

— И отделился бог от людей и преставился.

— И отделился бог от людей и преставился.

— И настоял бог на разуме своем.

— И настоял бог на разуме своем.

– Чепуха какая-то, – прошептала Анечка и вопросительно посмотрела на меня. – Объясни, пожалуйста, – кто здесь глупее, они или мы?

– Ни они, ни мы. Все религии основаны на бессмыслице, но они всегда умно маскируют ее тем, что для молитв используют непонятный верующим язык – у нас старославянский, у католиков – латинский, у мусульман – арабский. В самом важном месте нашего богослужения, когда хлеб и вино якобы преобразуются в плоть и кровь христову, поется очень красивая по мелодии молитва «Иже херувимы». Но ее содержание – чушь. Набор вот таких же слов.

– Этого не может быть!

– Это должно быть. Умная молитва – это бытовая просьба, а не разговор с богом. Религия построена на бессмыслице, в вера – на чувстве.

– А ну, давайте отсюда! – вдруг зарычал пресвитер. – Гады, покоя и здесь не дают!

Мы пошли дальше. В следующей большой группе рядами стояли старички и старушки и истово, со слезами на глазах, крестились. Одни, тихо плача, смотрели в небо, где кружились вороны и воробьи, другие вдруг падали на колени и отбивали земные поклоны в бурьян. Перед смиренной паствой стояли мисочки с кусками хлеба, домашними сухарями, украденной за зоной картофелею и морковью и даже ломтиками сала. Это был скромное приношение верующих своему духовному пастырю. Он стоял тут же, прямо перед молящимися, в красивой позе фанатика, с полузакрытыми глазами, с лицом, отражавшим глубокое внутреннее волнение, отречение от всего земного и высокое нравственное преображение.

Поскольку в одном лице Николай Николаевич изображал священника, дьякона, псаломщика и хор, его речитатив и пение лились бесконечной рекой и не производили впечатления литургии, то есть службы, в которой участвует несколько лиц. К тому же отсутствовали декорации, ризы, горящие свечи и запах ладана. Но, очевидно, все это требуется лишь неверующим. Мы молча стояли и смотрели на выстроившихся в четыре ряда изможденных лагерников, по лицам которых струились слезы умиления: здесь было то религиозное исступление, какое редко наблюдается на воле. По крайней мере, я не помню, что когда-нибудь видел верующих, так дружно рыдающих во время богослужения. Но не этим только славился Николай Николаевич. После службы он на католический манер произносил проповедь и выбирал темы, которые слуша-

телей брали за сердце. Говорил он гладко, понятно, с воодушевлением и не длинно. Вот он кончил, и по глазам слушателей я видел, что им хотелось бы слушать еще. Николай Николаевич давал им утешение и отдых.

– Это не начальник КВЧ с бурчанием из «Правды», – прошептал я Анечке. – У него не заснешь. Чистая работа!

Но Анечка отвернулась без улыбки.

– На сегодня с меня довольно божественного. Уйдем отсюда! Бедный отец Иона...

Едва мы повернули за угол, как увидели нескольких наших стрелков без погон и поясов. Их под конвоем вели в амбулаторию. Впереди шагал опер и начальник МСЧ. Когда они через полчаса вышли, мы бросились к Гальке.

– В чем дело?

Галька сделала большие глаза.

– Помните, третьего дня с этапом пришел усатый дядя, толстый такой? Все жаловался на головные боли?

– Черноглазый, смуглый?

– Он. Ночью он побрился, а под лагерным барахлом у него был штатский костюм. В самый дождь он перенес от бани лестницу, приставил к забору, перелез и скрылся. Дождь смыл следы. Собаки его не нашли. Лестницу забрали оперативники. Оказывается, это бывший наш полковник, служил у Гитлера. Власовец. Имеет четвертак. На кухне успел украсть нож. Всех стрелков, которые ночью стояли на вышках, сейчас посадили.

– Зачем же их притащили в зону?

– Чтoб в вольном городке поменьше трепали языками. На станции уже всех ждет черный ворон.

– Здорово! То-то наших работяг вернули с работы!

В этот момент ударили в рельсу.

– Разойдись по баракам! Живо! Генеральная проверка! Шмон!

Самоохранники побежали по зоне, как гончие псы. Тем временем надзиратели вынесли из штаба столы и ящики с личными делами. Мы посмотрели на небо – дождя как будто бы не будет, небо синело по-летнему.

– Беги в штаб, Анечка!

– А ты жди меня в амбулатории.

7

Минут через двадцать нас, медперсонал, проверили и заодно обыскали амбулаторию. Еще через десять минут к нам прокралась Анечка.

«Ах – Комедия, – улыбалась она. – Обыск в женском бараке производили жены начальников. Мое московское платье вызвало общий восторг. Все дамы примеряли его на себя, а самая толстая попросила взять домой для снятия выкройки. «Вы не бойтесь, заключенная, я передам платье завтра же». – «А как? – спрашиваю. – Вас, гражданка, не пустят в зону!» – «Ничего, – отвечает, – мой дурак занесет!» – «Это кто же такой?» – «Да начальник дивизиона! Знаете его? Рыжий из себя. Так я его жена».

Я рассказал о его картинном выступлении в БУРе весной прошлого года. Все много и долго смеялись. Потом стало скучно. Тамара Рачкова торчала в протезной мастерской, и свободно говорить было нельзя. Мы гурьбой вышли на крыльцо и стали смотреть на проверку. После окончания обыска людей вывели из барakov на плац и поставили группами по буквам алфавита. Около каждой группы стоял стол, и на нем – грудa больших толстых конвертов. Работники первой части подзывали людей по очереди, но проверка длилась медленно – проверяли все **данные**, путались, исправляли, опять путались и много курили. Перекуры брали столько же времени, сколько работа. Все обильно сдабривалось бранью.

– Не спешат! – процедил сквозь зубы Андреев.

– Канитель тянут! – подтвердил Севочка.

А мы с Анечкой тихо-тихо, бочком-бочком выскользнули с крыльца, прокрались за амбулаторию, оттуда за баню и выползли в бурьян вдоль огневой дорожки. Там уже с весны семейные пары сплели себе укрытия в виде зеленой травяной норы, похожей на кокон, пещерку или внутренность яйца: вползешь, подберешь ноги, и никто не увидит, даже если человек стоит или проходит рядом. Был и у нас свой зеленый будуар, но он находился ближе к хирургической больнице и пробираться туда было опасно. Мы, как две ящерицы, скользнули в ближайшую нору и улеглись до конца проверки.

Как невыразимо прелестно чувствовать себя одним в загоне, напичканном людьми! Лежишь себе на пахучей полыни, вверху в щелочки видно синее небо, за головой – спина лейтенанта Фуркулицы и даже кончик его трубки, у ног сияет входная дыра, через которую видна табличка с надписью: «Огневая зона! Часовой стреляет без предупреждения».

Над привядшими головками цветов чертополоха монотонно гудят шмели и осы, сотни голосов заключенных бубнят статьи и сроки, а ты лежишь себе рядом с бесконечно милым и близким существом, и тихая радость волнами ниспадает в

душу, что тут бы воспользоваться минутой уединения и поскорей начать любовную возню – так нет, начинается сладко дрематься, глаза закрываются и грезится только что-то розовое и золотое.

Но такая близость – редкая радость в лагере. Сквозь дрему я шепчу:

– Я тебя люблю!

– Тише! Фуркулица рядом!

– Чтоб он провалился! Обними меня! Еще!

Голос Фуркулицы:

– Ты оглох? Отчество?

– А?

– Дурак! Отчество!

– Как нам хорошо, Анечка! Спасибо тебе за все.

– И тебе. За все.

– Спасибо нам обоим, что мы живем!

– Скотина, не помнишь день суда? А карцер где у нас находится, ты помнишь? А?!

А потом золотые волны делаются теплыми и горячими, и огненными, они поднимают нас выше и выше в небо, мы плывем среди искрящихся звезд, по розовым облакам и уже не можем думать о земном.

Пролетают волшебные минуты.

Вдруг опять знакомые голоса.

– Давайте не будем напирать, заключенные! Давайте не надо, – кричит Фуркулица.

– Куды претесь, морды? – поддерживают начальника самоохранники.

Приехали! Мы снова в лагере! Звездный полет закончился...

Мы отдыхаем, обнявшись и глядя в синее небо сквозь решетку зеленых прутьев.

– Какое удивительное блаженство – любовь за ржавой колючей проволокой, – шепчу я сквозь сладкую дрему.

Минута молчания.

– Здесь часто ее заменяет только физическая страсть, – опять шепчу я.

– Это не то же самое?

– Нет. Любовь – это крылья. Без них человек только червяк.

– Да, но такой, из которого рождается бабочка! Помнишь, ты сам цитировал слова Данте о верми и фарфалле.

– Фуркулица делает все, чтобы мы оставались только верми. Один только страх быть пойманным чего стоит! Унижения и страх унижений способны превратить лагерника и его под-

ругу в червей. Тогда остается только животный акт. Даже не человеческий разврат, а просто бессмысленное совокупление. Мы, Анечка, падение человека до уровня животного видим вокруг себя каждый день. И выразила это Катя Владимировна в стихотворении, за которое ее напрасно ругали.

- Прочти его еще раз.
- Изволь. Вот оно:

Животное тепло совокупления
И сумрак, остроглазый, как сова...
Ведь это все не жизнь, а так – едва-едва...
Моей любви предсмертное томленье!
Какой развеселившийся кузнец,
Игрушечник с кривого переулка
Изобрели насос и эту втулку,
Как поршневое действие сердец?
Вот этот унижительный контакт
Двух животов, работающих разное,
И скрип досок, и шепот несуразный,
Весь этот маленький и липкий акт?
Любовь моя! Ведь ты была иной,
И ангелы твои совсем не так летали,
Чтоб умереть над этой теснотой,
Под чавканье голодных гениталий...
Ведь мы могли с тобой туда летать,
Куда и звезды даже не всходили,
Но подползла услужливо кровать,
И задохнулись мы в одной могиле...
Где свежесть? Где покойный холодок
Любовных рук совсем еще несмелых,
И тишина, вся в паузах, пробелах,
Где главное читается меж строк?
И матовость полужакранных век
В минуты разрешенного молчанья...
Где страсть и где любовное отчаянье?
Где ты, где ты, о прошлогодний снег.
Окончено тупое торжество.
Свинья на солнце смотрит исподлобья.
Что ж, с богом, потерявшее подобье
Бескрылое, слепое существо!
Иди теперь в похабный анекдот
И тайного изделия открытки!
Мой бог был чист, и бесконечны пытки
Привычного падения с высот...
Зато теперь не бойся ничего:

Живи, жирей и процветай от счастья!
Таков конец; все люди на причастие
Всегда съедают бога своего!

– Рамонов Кантемир Майрамович! Рамонов! Ты что, не слышишь? Самоохранник, гони его сюда!

– Рамонов, косая сука, давай к начальнику на носках!

– Так стихотворение нацелено не против физической любви. Все любящие мужья в зоне вспомнили свою прежнюю жизнь и оскорбились за навсегда потерянных жен!

– Напрасно, Анечка. Здесь говорится о лагерной любви, а не о вольной. О любви под остроглазым совиным взглядом страха. О любви наскоро, сведенной до минимума, до физического акта без духовной близости: первая требует минут, вторая – времени и счастья в выборе. Мы с тобой счастливы, Анечка! Тем, что нашли друг друга!

– Черви, из которых могут родиться прекрасные бабочки?

– Мы уже бабочки! Разве сейчас мы не вернулись на землю из свободного полета? Это было прекрасно!

8

– Послушай, моя бородатая бабочка! Держи кусок хлеба, самую вкусную корочку, я ее посолила. Замечаешь? Ешь и начинай сейчас же рассказывать о себе. Это нехорошо: я уже давно все о себе рассказала, а ты отмалчиваешься. Это неприлично. И обидно для меня. В чем дело?

– Я стесняюсь многого из своего прошлого.

– Работы в ОГПУ? Так ведь ты работал за рубежом, нашей крови на тебе нет!

– Эх, не все ли равно, какая кровь? Кровь есть кровь, Анечка. Но я не этого стыжусь, ведь о моей работе в разведке ты все знаешь в общих чертах, без подробностей, без оперативных данных, и они тебе не нужны. Даже в лагере я связан верностью данному слову. Но я не этого стыжусь. Ну ладно, слушай и пойми – мне нелегко рассказывать. Кое-что я обойду в своем рассказе, и ты не требуй ничего больше, иначе причинишь мне боль. Я уже утром сидел на крыльце, слушал дождь и вспоминал кое-что. Теперь продолжу для тебя.

– До обеда часа два, а то и больше. Не комкай рассказ – дай Фуркулице выкурить десять трубок!

– Ладно. Тебе удобно лежать? Ну, я начинаю.

Я тебе рассказывал, Анечка, о моей матери, ее отце и бабушке. С этой стороны у меня дурная наследственность, и,

не зная этого, трудно понять и мою жизнь – сумбурную, полную ошибок, но яркую.

– Почему же ты начал так издавека? – спросила Анечка. – Каждый из нас имеет мать и бабушку.

– Потому что вместе с цветом волос и глаз произошла передача характера: моя мать – внучка взбалмошной Осы, я – ее правнук. Не зная все это, ты не поймешь поведения матери и наши жизненные истории. Тут произошла передача патологии, которую в обиходе принято называть странностями, но с точки зрения медицинской она является только преобладанием психомоторного возбуждения коры мозга над действием тормозящих подкорковых центров.

– Только не начинай медицинского анализа: в прошлом году ты опростоволосился со Сталиным.

– Я?!

– Ты. Абашидзе тебе это ясно доказал.

Я резко повернулся к ней.

– Абашидзе говорил об общественно-политических последствиях патологии в характере Сталина, а я научно их обосновал! Это сложнее и важнее, пора это понять!

– Не повышай голоса: рядом с нами Фуркулица! Медицински ты обосновал хорошо, но сделал из своего анализа ложные выводы о высоких философских заблуждениях Сталина. Этим ты смазал первую часть доклада!

– А я утверждаю, что нельзя только ругать человека такого исторического масштаба, каким является Сталин! Было бы только...

Глаза Анечки заблестели.

– Он вынужден делать добро, слышишь, – **вынужден**, а зло делает добровольно и с удовольствием! Он...

Я почувствовал, что кровь ударила мне в голову.

– Не кричи! Сталин...

– Не размахивай руками! Сталин...

Хр-р-р-р...

Так и есть: наше хрупкое прикрытие дрогнуло, покосилось, потом с тихим хрустом рухнуло нам на головы.

Мы сжались в комочки и притихли. Прошли минуты.

– Ну вот.

– Это ты виноват! Как ты не поймешь, что Сталин...

Но я тихонько расхохотался в ее рукав.

– Тише! Не шевелись! Пусть Сталин убирается к черту! Помни: теперь Фуркулица увидит любое наше движение – ведь навеса над нами нет!

– Так что же делать?

– Тебе остается одно: лежать тихо и слушать. Мне – говорить. Но потише. Давай повернемся на живот и будем в дырочки наблюдать за Фуркулицей. Ну? Пальцем раздвинь траву! Видишь его? Я начинаю рассказывать дальше.

– Трудно, Анечка, справедливо и честно говорить о себе. Но я попробую. Начну с одной на первый взгляд незначительной подробности.

На тринадцатом году жизни я практически без лечения перенес тяжелейшее заболевание скарлатиной. Результат: поражение вегетативной нервной системы, которое на всю жизнь сделало меня физически неполноценным. Встав с постели, я не мог выйти на улицу, потому что зрительное ощущение пространства вызывало приступ сердцебиения и рвоту, а позднее, ставши рабочим, моряком, бродягой, разведчиком и заключенным, я всю жизнь страдал от расстройства сердечной деятельности, мышечных подергиваний и сосудистых спазмов, хотя всегда и везде физически и умственно работал не хуже, а зачастую и лучше здоровых, но только за счет невероятного напряжения воли. То, что другим давалось легко, просто и естественно, то мне приходилось выжимать из своего сердца, мышц и мозга только насильем над собой. Люди считали меня здоровяком потому, что я привык скрывать свои недостатки. Окружающие не подозревали, каких усилий мне это стоит. Все, чего я достиг в жизни, было прежде всего добыто волей, воспитанной в муках. Это первое, что я прошу заметить, Анечка.

– Чтобы ты поняла, маленькая и дорогая, как рос во мне цепкий и способный к обороне человек, я расскажу один маленький, но характерный случай. Короткое время мне пришлось плавать на гигантском бразильском сухогрузе «Фарна-иба». Команда состояла из разноязычного и многонационального сброда: у них общее было только одно – физическая грубая сила. Я, загнанный судьбой интеллигентный юноша, был среди них, как овечка среди волков. Они сразу угадали во мне слабосилие и интеллигентность, то есть то, что особо презирали или ненавидели, а потому все дружно избрали меня мишенью травли. Инстинктом я понял, что сотня жестоких грубиянов может затравить насмерть, если только я не приму меры. Одной из форм травли было бросание в меня кусочков хлеба за завтраком, обедом и ужином.

Обдумав ситуацию, я оставил аккуратный пайковый хлебец сохнуть до состояния камня и в Александрии купил длинный, зловещего вида нож. Когда все было готово, за общим столом сел против человека, который мне показался наиболее слабым и наименее агрессивным. Сел, и в то же мгновение получил в лоб корку хлеба; ее бросил огромный, как гора, кочегар, сидевший наискосок от меня. «Предупреждаю, – громко сказал я спокойно сидевшему против меня человечку, – еще один выпад, и я выпущу из тебя кишки». «Я тут не при чем», – пожал плечами он и принялся уплетать суп. Все засмеялись и подняли головы в ожидании. Краем глаза я видел, как огромный кочегар подмигнул зрителям и снова бросил в меня корку. Тогда я вскочил с дико искаженным лицом, выхватил из кармана длинный нож и с криком: «Смерть тебе!» – понесся вокруг стола к удивленному человечку. Понесся так расчетливо, чтобы запутаться в стульях и дать себя схватить прежде, чем я добегу до предполагаемого обидчика. Я ревел и бился в сильных руках кочегаров, порезал себе бок и чьи-то руки, но потом успокоился под хор общих увещаний и объяснений, и «простил» невинного. Однако за мной утвердилась кличка «бешеный», и больше меня не трогали!

Мне шел двадцатый год, я был один за границей, без родины, без помощи. Стал овечкой, из страха натянувшей на себя волчью шкуру, и ее носил на себе до тех пор, пока под ней не выросла настоящая. Среди волков я рос сначала притворным, а потом истинным волком.

– Понимаю, – кивнула Анечка. – Жизнь лепит из нас людей по своему образу и подобию.

– А неудавшиеся слепки выходят в брак и выбрасываются в мусорный ящик.

– К сожалению. Продолжай.

– До трех лет я жил с матерью в имении Скимонта, где родился. Затем моя тетка Варвара Николаевна Какорина приехала и увезла меня в Петербург, где отдала на воспитание вдове гвардейского офицера Елизавете Робертовне де Корваль, – ее муж застрелился из-за карточного долга. Я рос вместе с двумя девочками, Аришей и Аленой, которые многим позже, в эмиграции, превратились в графиню Ирен Тулуз де Лотрек и баронессу Эллен Гойникген Гюне. Это была тихая семья, жизнь которой дала трещину, и мое пребывание в ней имело двоякую функцию – я развлекал мать и девочек, а моя тетушка хорошо платила за воспитание. Мне было скучно, и

с самых ранних лет я инстинктивно понимал свое положение лишнего ребенка. Позднее мне рассказали, что однажды дамы, пришедшие к Елизавете Робертовне с визитом, при моем появлении в гостиной в один голос воскликнули: «Какой хорошенький мальчик!» Но я очень серьезно поправил: «Не хорошенький, а несчастенький!» «Кто тебя этому научил, Ди?» – вспыхнула мадам де Корваль. – «Я слышал, как вы это не раз говорили обо мне другим дамам». Скуку «тюремной жизни» нарушали приезды моей матери и короткие недели пребывания с нею на Кавказе.

Годы пребывания в Петербурге мне теперь рисуются как розовая, сладкая тянучка, которая досадно вязнет к зубам, а свидания с Осой вспоминаются как свист бича. Чтобы ты поняла, Анечка, я приведу два примера. Однажды на пикнике нас окружили крестьянские дети и стали издали наблюдать, что делают господа. Я начал смеяться над их босыми грязными ногами и неловкой ходьбой по скошенной пшенице. Мать вдруг вспыхнула: «Не смей смеяться – ты живешь на их деньги! Снимай туфли! Сейчас же! Ну! Носочки тоже!» Я разулся. Мать схватила меня за руку и потащила по колючей стерне. Я заплакал. «Вот тебе, маленький господин. Теперь будешь знать, как ходят по земле бедные люди!» Я этот урок действительно запомнил, хотя мне было тогда лет пять, не больше. Однажды, когда мне исполнилось лет двенадцать, поздней весной мы ходили вдоль бушевавшей горной речки, ставшей вследствие таяния снегов бурной и злобной. Вдруг мы увидели, как две казачки стали вброд переходить с одного берега на другой: сняли постолы, подвернули юбки, взялись за руки и пошли. Молодая несколько раз едва не упала, выпустила руку пожилой, но все же счастливо выбралась на берег. Старушку же течение повернуло и заставило побежать за собой вместе с клочьями пены и корягами, проносившимися в коричневой ледяной воде. «Быстро! – скомандовала мать, – лезь в воду! Если ее собьет с ног, она не поднимется! Иди наперерез!» Я замылся: речка была мелкая, по колено, но течение очень быстрое. Удар камня или коряги по ногам означал падение и смерть. «Ну! Ты что смотришь?!» Я нехотя подошел к воде. «Трус! Где же твоя казацкая кровь?! Вот тебе!» – и она высоко занесла руку, чтобы дать мне пощечину. Я еле успел подать руку пробежавшей мимо меня старухе. Вода доходила ей до пояса. В страхе она вцепилась в руку так сильно, что течение стало разворачивать и меня. Еще секунда – и мы погибли бы оба. «Хватай зонтик!» – услышал я голос матери и

увидел над собой ее белое от волнения лицо и огромные глаза. Ухватился за зонт. Стоявшая в воде мать подтащила к берегу меня, а я старуху. На берегу спасенная упала мне в ноги. «Встань, матушка, не унижайся. Это была его обязанность», – небрежно бросила через плечо Оса и с очень барским видом пошла дальше – переодеваться и хохотать вместе со мной и надо мной. И последнее воспоминание, уже юношеское, пятнадцатого года.*

Мать заведовала санаторием для раненых офицеров. Кадровых уже было мало, но они еще попадались. И вот, помню, подали фазтон, чтобы отвезти выздоровевшего ротмистра на станцию. Кучер замешкался и уронил с облучка его чемоданчик. Офицер легко стал на ось колеса и стал бить старика по лицу. «Не смей! Не смей!» – закричала мать, раздававшая тогда мороженое, и как была в белом фартуке и с ложкой, так и сбегала вниз и ложкой замахнулась на ротмистра. Сначала офицеры, сидевшие за столом, замерли. Потом грянул хохот: «Браво! Браво!» Оса смутилась, но гордо закинув голову, прошла к мороженицам, стоявшим в бочке со льдом. «Я никому не позволю, господа офицеры, забывать здесь правила культурного поведения и благовоспитанности!» «Но вы сами забыли, что ротмистр – офицер!» «А разве воспитанность и звание офицера не совместимы?» Мороженое было съедено в молчании.

Я все это замечал, многое запоминал. Становлению характера мешало то, что я рос на стыке нескольких социальных классов и всех тех, кто налево, и тех, кто направо, видел не изнутри, а со стороны. Я рос ничьим.

– Хорошо сказано. Дальше! – кивнула Анечка.

– Потом началась война. Мать не была ни монархисткой, ни буржуазной или мещанской ура-патриоткой, и эти годы быстрого внутреннего роста прошли у меня в обстановке критического отношения к действительности, усиленного поглощения книг и одиноких раздумий на берегу моря. Отец регулярно жаловал меня толстыми книгами в дорогах переплетах – это были переводы тяжеловесных немецких исследований об эллинской культуре, Риме, средних веках на Западе, Возрождении, а также русские и французские книги по истории искусств. Читал ли их отец? Не знаю, но я перечитывал по нескольку раз. В тринадцать лет зачитывался книгой проф. Челпанова «Введение в философию». Особенно заинтересовал меня раздел о воле. Я был сыном Осы и, усомнившись в своей твердости, собрал в спичечную коробочку живых козявок всех

цветов и видов, закрыл глаза, сжевал и проглотил эту гадость. Примерно месяц меня тошнило от одного воспоминания, но я доказал себе свою решимость и был этим весьма горд. Потом наступила новая полоса – увлечение Достоевским. Особенно меня привлекал Иван Карамазов и его черт. Раскольников мне показался пораженцем, обреченным на провал с самого начала, ибо вопрос «вошь я или Наполеон?» уже доказывал, что он вошь.

Будучи сыном Осы, я решил сделать научный эксперимент и ограбить свою тетю со стороны матери. На общественных началах она работала кассиршей в устроенной дамами офицерской «Чашке чая», где не было ни чашек, ни чая, но рекой лилось вино и тратились немалые деньги. Каждый вечер тетушка, сложив выручку в сумку, шла домой в одну из лучших вилл на Высоком берегу. Мне было шестнадцать лет. Я вырезал из обложки черной клеенчатой тетради маску, на полоске бумаги нарисовал Георгиевскую ленту, а поверх нее сделал бронзовую надпись «Ростислав», надел вместо нижней рубахи матросский тельник, сунул в карман острый финский нож и отправился на «кровавое дело», бормоча себе под нос: «Я покажу этим дуракам, Раскольникову и Достоевскому, что такое настоящий человек».

Светила яркая летняя луна, южная ночь, как сказал поэт, дышала восторгом сладострастия. Было часа два-три. Я твердо шагал за прыгавшей передо мной на высоких каблучках долговязой сутулой фигуркой. На последнем повороте быстро повернул гимназическую фуражку козырьком назад, так, чтобы виднелась матросская надпись и кокарда; ворот расстегнул и вправил внутрь и показал в треугольном вырезе полосатую тельняшку; верхнюю рубаху всунул в брюки. При лунном свете, по моему мнению, я выглядел совершенно как матрос, особенно удачно блестела на лбу золотая надпись. Затем вынул нож, ускорил шаг и схватил тетушку за шиворот, прошипев зловеще: «Деньги или смерть!» Но получилось непредвиденное. Тетушка упала на спину и, прижимая сумку к груди, стала так брыкаться длинными ногами, что подобраться к сумке было невозможно. Вдали появились люди, и я бросился наутек. За кустами, приводя свой костюм в порядок, обнаружил, что маски нет, и вспомнил, что она сползла с лица в то время, когда я бегал вокруг брыкающейся тети. Она меня видела и узнала.

– Это ужасно! – сказала Анечка. – Черт знает, что ты выделывал! Ну, и дальше?

— Я притворился больным и несколько дней не выходил из дома, ожидая прихода полиции и ареста. Но слуги закона не являлись, мне надоело ждать, и я выполз на улицу. И столкнулся нос к носу со своей милой Нюсенькой! «Ах, где ты пропадал?! Что здесь было! Какой-то пьяный казак с бородой до пупа напал на меня и хотел вырвать деньги! Я дала в полиции точное описание его наружности, и сейчас этого казака ищут!»

Я был озадачен, сбит с толку, но не разоружен. Наоборот. Подстерег, когда дождливой ночью из «Чашки чая» вышел богатый толстый московский купец Никита Кузьмич Фокин с хорошенькой молодой женой и летчиком-лейтенантом, который за ней ухаживал. Я знал, где живет офицер, и ожидал, что он откланяется и уйдет. Но он шел и шел, разогревая мое нетерпение до точки кипения. Мы завернули за угол. Идти оставалось недалеко. Все казалось потерянным. Вдруг Никита Кузьмич оставил жену с офицером, а сам стал отставать и наконец припал к стволу дерева. Потеряв самообладание, я схватил его за шиворот и довольно ловко запустил руку в карман его пиджака. Но дородный Никита по-заячьи пискнул, нагнулся, вывернулся из-под моей руки и с криком «Режут!» как ветер понесся к оставленной парочке, которая уже стояла на крыльце перед открытой дверью. Пролетел в дверь, офицер толкнул за ним его жену, а с порога обернулся и увидел меня, бежавшего за ускользнувшим зайцем на манер глупой и азартной гончей собаки. Все это произошло в несколько мгновений. Подбежав, я остановился как раз тогда, когда офицер выхватил из кармана пистолет. Стоя в дверях, он несколько раз выстрелил в меня, можно сказать, в упор: вспышки огня, казалось, касались моего лица, пули дергали одежду на плечах и фуражку на голове. Потом офицер захлопнул дверь, и я слышал, как он повернул в двери ключ.

Как пьяный, шатаюсь и что-то бормочу, я повернул за угол, перешел улицу и сел на бульваре на скамейку. И вдруг почувствовал тошноту. Встал, обнял мокрый ствол дерева, меня стали сводить судороги рвотных движений. Рвоты не произошло, но меня от волнения выворачивало наизнанку. Пройдет, станет лучше, прекратится слюнотечение, а потом вспомню блеск огня — и все начинается снова.

Жажда легкой наживы отсутствует в моем характере. Я не игрок, не любитель лотерей, не вор и не грабитель: в жизни все, что имел добывал тяжелым трудом. Поэтому, обдумав происшедшее, решил бросить игру с огнем, и бандита из меня не получилось. Осталось только насмешливое чувство ущемленного самолюбия.

Потом настал день, когда у нас с мамой не оказалось денег для оплаты обеда. Я отправился работать на виноградники. Мужчин было мало, люди были нужны. Я очутился в компании здоровенных молодых девок и, к своему ужасу, обнаружил, что они сильнее и, главное, ловчее меня. Это было ужасно. Я сгорал от стыда. Надо мной открыто не смеялись. Но в их подчеркнутой вежливости я чувствовал сознание превосходства, насмешку и презрение. Да, Анечка, это было ужасно, впервые я внутренне ощутил свою неполноценность, и моя гордость не могла и не хотела примириться с этим. Я нанялся матросом на портовый катер. Конечно, и там было тяжело. Помню, я принес ящик с инструментами. «Дай рашпиль!» — приказал капитан. Я стою и не знаю, что такое рашпиль, а он не понимает, что могут быть бездельники, которые этого не знают. Произошла мучительная ломка мироощущений, болезненная переоценка ценностей. Самонадеянный слабый интеллигентик медленно, но неизбежно стал превращаться в грубого, сильного, ловкого, недоверчивого и внутренне агрессивного рабочего парня.

Весну, лето и осень шестнадцатого года я провел среди рабочих людей, получал от них довольно сильные колотушки и совершенно нестерпимые уколы по самолюбию, но терпел, сжимая зубы, а с началом зимы поступил в мореходное училище и стал учиться сразу в двух средних учебных заведениях. И учился на отлично.

Лето семнадцатого года уже плывал на транспорте «Фортуна» вдоль Кавказского побережья в качестве рулевого. Видел немецкую подводную лодку и турецкий эсминец, слышал свист снарядов, направленных «в меня». Привык к бессонным ночам, к тасканию мешков на спине, к матерщине и пьянству, к реву волн, к проституткам... Был удивлен, какой нелепицей представляется интеллигентское существование и все эти Толстые и Достоевские, если взглянуть на них с позиций рабочей жизни. Эти короткие месяцы перевернули все мои привычные представления и понятия. Я вернулся в гимназию и мореходное училище загорелым, плечистым, широкогрудым и молчаливым: во мне рождался другой человек, и когда в начале следующего года мать подала мне полученный из Петрограда пакет и я прочел лживые поздравления, что отныне мне предоставляются права на графское Российской империи достоинство, то в голове неожиданно мелькнула испуганная мысль, а как же в следующем году я явлюсь в Новороссийский порт и начну искать себе работу с таким вот иди-

отским грузом в удостоверении личности? Кто меня примет? Как меня допустят в свою среду матросы? Или идти в рабочие на цементные заводы? Но и там будет не проще и не краше.

Любопытно, что ни разу мне не пришла в голову естественная и закономерная мысль – сделать то, что сделали все другие мои одноклассники – пойти в юнкера, надеть офицерские погоны и стать защитником Единой и Неделимой России. Мой товарищ по гимназии, окончивший ее на год раньше, Санька Голиков, сын почтальона, в красивой черной форме корниловского подпоручика однажды валялся пьяным на бульваре. Я постоял над ним в раздумье. Сын почтальона? Гм... Нет, Толстому приличнее быть рулевым... Я гордо поднял подбородок и прошел дальше: с Белой армией у меня все было покончено, даже не начавшись! Однако я в своем рассказе забежал вперед.

С опозданием против Петрограда в Анапе утвердилось, наконец, новая власть: во главе стал фронтовой солдат Протапов, а секретарем у него сделался мой товарищ по гимназии Разумихин, объявивший себя большевиком. Организовался совет народных комиссаров – маленькое интеллигентское правительство, в котором один из учителей стал комиссаром просвещения, один из врачей – комиссаром здравоохранения и так далее. Это было мягкое, я бы сказал, робкое правительство переходного периода, потому что низы, трудовой народ, еще своей власти не почувствовали и никаких серьезных счетов бывшим господам пока не предъявляли: революция прошла политический этап, но не вошла в практику социальной перестройки.

Летом я служил на вооруженном сторожевом катере «Фредерика» и состоял в городской сторожевой роте. Лето выдалось беспокойное: старая крепкая власть распалась, новая крепкая власть не сложилась и не спаялась, и из всех щелей выползли уголовники, ряды которых наполнились бежавшими из армии и флота дезертирами. Два происшествия потрясли меня и во многом предопределили мои поступки в будущем. Однажды ночью Протапов и Разумихин возвращались с заседания. На улице на них напала банда. Разумихин был убит, а тяжело раненый Протапов прислонился спиной к дереву и стал отстреливаться из маузера. Убил одного из нападавших и умер. По трупам бандитов нашли его сообщников – пять братьев-сапожников, бывших фронтовиков.

Суд был всенародный, прямо на базаре, – всех пятерых приговорили к расстрелу. За городом, около бойни, над высо-

ким обрывом поставили осужденных; наш взвод выстроился поодаль, а вокруг подковой стоял народ: дети впереди, взрослые за ними, и все грызли семечки. Стреляющих было много, но мы стали слишком далеко и стреляли неумело: пули выбивали фонтанчики пыли вокруг наших жертв, но они оставались целы. Потом двое упали – пули им перебили ноги. Остальные трое поставили раненых братьев на колени и стали кричать: «Цельтесь в грудь, товарищи! Цельтесь в грудь!» Именно тогда, увидев за мушкой своей винтовки выцветшую солдатскую гимнастерку, я сделал открытие, что и тут жизнь очень не похожа на книги и целиться в другого легче и спокойнее, чем видеть, что другие целятся в тебя самого.

Потом из Новороссийска к нам ворвался катер, захваченный матросами-анархистами: на мачте развевался огромный черный флаг с белой надписью: «Анархия – мать порядка». Эта банда наведальась в винные погреба и городскую кассу, а затем арестовала случайно подвернувшегося им на улице комиссара юстиции Домонтовича, бывшего московского адвоката, и его жену Щепетеву, дочь директора гимназии, преподавательницу немецкого языка. Их привели на катер. Собралась толпа. Все щелкали семечки. Бандиты притащили с пристани две небольших бетонных плиты и стали подвешивать их на ноги и горло своим жертвам. «Постойте! Не надо, товарищи! Мы сами!» – сказали муж и жена. Обнялись, перекрестили друг друга, поцеловались и, волоча груз, спрыгнули за борт. Помню, как я полез купаться в Малой бухте и увидел, что с моря волны прибивают к берегу труп. Мы вытащили его. Это было тело пожилого мужчины в нижнем белье с веревкой на шее. Опять толпа и семечки. Матросик Федька с нашего катера случайно обнаружил, что если надавить на грудь, то гнилостные газы выходят через гортань и труп как бы хрюкает на разные голоса. Это вызвало много смеха.

Потом пришли белые. Генерал Покровский построил за городом две виселицы. На одной повесил комиссара финансов, коммуниста, к другой подвели Федьку, который выступал на всех митингах с бессвязными и смешными речами. «Проси милости!» – закричал ему с коня генерал. Федька плюнул в его сторону и был казнен. Конечно, при той же толпе и тех же семечках. Это был стиль времени. Он формировал и мою психику.

– Конечно, мою тоже, – подтвердила Анечка.

– Весной девятнадцатого года я окончил гимназию и мореходное училище. Идти наниматься на торговое судно я не

мог, потому что был военнообязанным. Поступил в Новороссийске на большой транспорт «Рион», стоявший на ремонте. Позднее он своим ходом дошел до Севастополя и стал в док. Говорили, что вслед за Деникиным будет разбит и Врангель и что «Рион» готовят под эвакуацию белых из Крыма.

На судне к вольнообязанной команде добавили охрану из офицеров и солдат, среди которых были сыновья высокопоставленных лиц. Образовалось два кубрика, две команды, два политических мира. Помню, как матросы отвели меня в сторону и сказали: «Уходи из этого кубрика в тот. Мы одно, а ты, Митька, другое. Ты из благородных. Интеллигент. Ты нам не пара. Иди к своим!» «А вы для меня – свои», – ответил я и остался. Кто кому был своим и почему, я понимал плохо, но ребята были моими товарищами. Я слышал их разговоры шепотом, но не интересовался, о чем они секретничают, пока на разводе лейтенант Казаков и мичман Шкалинский однажды вдруг не схватили за руки пожилого матроса Ивана Козыренко, ударили пистолетом по голове, сшибли с ног и начали топтать ногами. Изувеченного увезли в контрразведку, а нам объявили, что это был большевик и член тайной организации.

На судне удвоили охрану. Однажды летом мы получили повестки к воинскому начальнику. «Мы бежим в Турцию. А ты?» – спросили меня. «Как это – а ты? Я с вами!» «Сегодня отвинти баковый компас и вынеси на берег в мотке грязного белья. Компас продай на шхуну “Ялта”, она стоит около обсерватории. Тебя будет ждать капитан. Получишь три турецких лиры. Это тебе на первую неделю в Константинополе. Потом найдешь работу. Жди дальнейших указаний. Понял? Не попадись: расстреляют».

В то утро на вахте охранником стоял пехотный капитан Аптекин. «Что несешь?» «Грязное белье бабе, господин капитан». Аптекин брезгливо пощупал белье пальцем. «А под бельем что?» «Бутылки», – ответил я не своим голосом. «Все пьете, а? Ладно, иди. Попадешься пьяный – спишу на фронт».

Не чуя ног, я спустился по трапу. Остальное сошло удачно, и я зашил в рубаху три лиры. Вечером после работы стоял на верхней палубе и думал: «Кончается мирное бытие дома. Дальше – чужбина. Что-то будет со мной?»

Смеркалось. Рабочие ушли. Корабль, подпертый с бортов множеством бревен, беспомощно и мрачно торчал в огромном доке. Внизу у трапа с винтовкой на плече прохаживался вольноопределяющийся Ягелло, потомок польских королей, молодой человек с лицом старого верблюда. Для полноты

сходства он даже брызгал слюной, когда начинал говорить. Вдруг я увидел внизу справа, как из-за товарных вагонов вышел человек с тяжелой корзиной в руках, подошел к доку и сбросил корзину вниз. Мгновение спустя из пространства между судном и стенкой дока вверх рванулось желтое пламя и грохнул взрыв. Судно дрогнуло. Я отчаянно уцепился за поручни, чтобы не полететь за борт. Несколько бревен с гулом и треском обрушилось на дно дока, но корабль остался стоять на киле: покушение не удалось, свалить «Рион» в доке подпольщик не сумел, и позднее судно ушло в Турцию с белогвардейцами на борту. Тем временем мужчина исчез за вагонами. Аптекин, который опять стоял на вахте, с пистолетом в руке побежал вниз по трапу, а потомок короля, обезумев от ужаса, бросился не к вагонам, а к трапу и, наткнувшись на Аптекина, не целясь, выстрелил ему в живот. Аптекин упал мертвый, а Ягелло закричал, забрызгал слюной, бросил винтовку, потом хотел ее поднять, но оступился и упал вниз, в док, и разбился насмерть. Мы, вольнонаемные, работали всю ночь, заводили новые подпоры взамен упавших, укрепляли корабль. Наутро узнали, что солдат, пропустивший в док мужчину с корзиной, бежал с поста: он тоже был членом организации. Нас, военнообязанных, выстроили на берегу с вещами, выдали деньги и отпустили восвояси, пригрозив, что если мы немедленно не явимся к воинскому начальнику, то попадем в маршевую роту. «Ну, как? – тихонько спросили меня ребята. – Бежим?» «Да». «На «Цесаревиче Константине». Поодиночке. Не зевай!»

Я пробрался на палубу «Цесаревича» задолго до посадки пассажиров. Первую общую проверку прошел удачно, спрятавшись в уборной. «Вы заглянули в уборную, поручик?» – неожиданно услышал голос на палубе. «Нет, господин полковник! Сейчас проверю!» Дверь полуоткрылась, я увидел руку поручика. «А это что за узлы? Проверить и убрать с дороги сейчас же! Распорядитесь немедленно!» «Слушаю!» Рука исчезла. Я остался жив. Подождал, пока стихли звон шпор и голоса офицеров, выскочил на палубу и увидел в проходе крышку горловины угольного трюма. Открыл ее и ногами вперед прыгнул в раскаленную угольную пыль.

9

Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом, сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни ты-

сяч обезумевших и голодных людей бежали одни туда, другие – сюда. И я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал, и падал сам, думая, что уже не поднимусь, что на этот раз меня затопчут другие. Но поднимался и, крутясь на ветру, бежал дальше, потому что остановиться не было сил.

Мне было девятнадцать лет. Я очутился один в чужой стране в такое грозное время... Я не понимал, что такая жизнь закаляет и что каждый раз, поднимаясь после падения, я становлюсь сильнее, что учусь противиться буре и выбирать направление своего бега. Почему я не стал юнкером? Почему не пригрелся у **своих**? Почему нашел свое место среди трудового народа? А разве трудовая жизнь не изменяла мировоззрение так же незаметно, но неустанно и последовательно, как борьба за жизнь меняет характер?

Из нервного подростка рос смелый и твердый мужчина, на белом листе детской души жизнь вписывала первые черты определенного мировоззрения.

Это была школа любви и ненависти.

Новенькая парусно-моторная шхуна, на которую я нанялся в Константинополе поваром, называлась «Преподобный Сергей» и плавала под французским флагом. Шхуна была построена в конце войны Российским военно-морским ведомством как замаскированный под гражданское суденышко быстроходный корабль особого назначения. После эвакуации щегольское суденышко было в Турции отнято у белых французами «за царские долги» и перехвачено компанией темных дельцов для использования конъюнктуры военного времени – хаоса, бесправия, безнаказанности и беззакония. Нашими хозяевами стали толстенькие люди в котелках, проходимцы совершенно неопределенной национальности. Капитаном на судне плавал эстонец Казе, боцманом – мой старый дружок по Мореходному училищу Женька Кавецкий, машинистами – сумрачные белобрысы эстонцы Август и Мартин, матросами – константинопольская голота всех национальностей, коком работал я.

Мы все плохо понимали друг друга. На работу меня устроил Женька, бежавший от белых в Турцию месяца на три раньше меня. Так как готовить я не умел, то Женька составил мне памятку, что и в каком порядке бросать в кастрюлю, чтобы получались борщ, суп, каша или мясное рагу. От сырости чернила расплылись, наставления стали неразборчивыми, и когда я что-нибудь путал, – меня не раз хотели выбросить за борт, но кулаки боцмана неизменно спасали.

Потом я привык и стал готовить хорошо, но обленился: завел собачку с кошкой, которым в порядке рационализации давал облизывать кастрюли, чтобы не мыть их к следующей варке. Это удавалось делать незаметно, потому что у нас завелся белый козлик, привлекавший общее внимание: ему позолотили рожки и копытца. Но козлика пришлось пустить на шашлык из-за привычки оправляться только в бочку с питьевой водой: он ловко открывал золотым копытцем крышку и метко сыпал свой зеленый горошек в узкую горловину бочки даже при самой сильной качке.

В общем, это была трудная жизнь в гуще одичалой вольницы, но ко всему человек привыкает, и я тоже привык к своей сырой койке около трюмной перегородки (кок по традиции занимает в кубрике самое плохое место), к своему морскому уюту. Я спал голым, и крысы бегали через меня из-под пола в трюм и обратно, и блаженно засыпал только тогда, когда чувствовал, как по моему животу волочатся скользкие холодные хвосты.

«Преподобный Сергей» перевозил греков и армян, спасавшихся от наступавшей армии турецких националистов: их ожидала резня. Обычно мы шли вдоль берега, в бинокли высматривая горящие деревни – признак фронта, двигавшегося с востока на запад. Обезумевшие от страха беженцы были для хозяев судна выгодным товаром – они не торговались, а норм посадки не существовало: капитан набивал людей в трюм и на палубу, как скот, или, вернее, как бочки или мешки, друг на друга, и затем они сами отдавали за спасение все, что имели. Это было разбойничье судно.

Мне вспоминаются анатолийские черные скалы и зеленая холодная вода между ними. Помню ползущих вниз, к воде, женщин с детьми и мужчин с узлами. Вот шлюпка забита до отказа... С невероятными усилиями мы отваливаем под звериный вой оставшихся, обреченных на смерть... Мелькают искаженные лица... Поднятые к небу кулаки... Те, кто посильнее, прыгают в воду и вплавь догоняют шлюпку, одной рукой цепляясь за борт, а другой подгребая для того, чтобы не оторваться и не утонуть: они болтаются за бортом между нашими веслами, захлебываясь и протягивая кошельки. Но их слишком много – сейчас лодка перевернется... «Отцепляй всех!» – командует капитан. Гребцы поднимают весла и начинают бить плывущих по головам. Одна черная голова скрывается в воде, за ней вторая, третья. Люди в шлюпке крестятся от радости: спасены! Лодка не перевернется! Вот за бортом осталась

только одна молодая женщина. Я вижу ее лицо, оно на расстоянии протянутой руки. Ах, какое лицо... какие глаза... Женщина втискивает нам через борт своего грудного младенца и смотрит на него, держась за качающийся борт тонкими пальцами. Час назад они были загорелыми. Теперь кажутся от холода синими... Молодой матрос Коча, крымский татарин, бьет ее ребром весла по пальцам. Она держится и, не отрываясь, смотрит на ребенка... Коча бьет сильнее... Кости пальцев трещат... Женщина улыбается ребенку и медленно уходит под воду... Я гребу и вижу в прозрачной воде синие волосы... Они выются над голубым лицом, как змеи... Она еще улыбается и смотрит на меня из-под воды... Потом ничего не видно... Только светлое пятно... Рядом темное... И ничего уже нет...

Только дым, застилающий небо... Чайки... Ветер...

Все, что я видел, откладывалось в памяти, не доходя до сознания, – было некогда думать, не хватало передышки. Когда позднее я ее получил, то впечатления нахлынули такой могучей волной, что захлестнули меня, и первый раз в жизни я сошел с ума. Разве я виноват, что видел все это?

– Не знаю! – помолчав ответила Анечка. – продолжай. Время идет. Но ты, все-таки, страшный человек.

– Осенью двадцатого года наши проходимцы в котелках решили к сверхприбыльным операциям по вывозу беженцев добавить еще одну статью дохода – спекуляцию краденым: ведь людей мы возили от прифронтовой полосы в Константинополь, а оттуда шли порожняком. И хозяева нашли новый источник обогащения: через французских интендантов греческой армии, сражавшейся в Анатолии против турецких националистов за чужие интересы, им удалось наладить кражу баночек с чаем и сахаром – ценного груза для осени и военной обстановки, потому что люди, ночующие на земле под дождем, утром хотят согреться и за ценой не постоят.

В первый раз с таким грузом наше разбойничье суденышко вышло в море в сентябре и стало прокрадываться на восток. Нашли подходящий порт, отгрузили коробки с банками и приняли на борт людей – на этот раз они оказались бездомными турками, бегущими в столицу ради заработка из разоренных войной районов.

В тот вечер барометр резко упал, но капитан спешил – ведь эту ораву надо было чем-то кормить. Перед закатом море стало как масляное, и все кругом – вода и небо – сли-

лось в одну желтую шелковую пелену. Казалось, что мир умер, и в страшной тишине слышалось только хлопание нашего мотора, последнего мотора на свете. Вдруг по горизонту протянулась черная нить. Минут через пять она превратилась в узкую полосу, еще через пять в широкую грядку черных туч и их отражение в воде: с севера на нас надвигался неожиданной силы шторм. Когда туча закрыла полнеба, уже можно было различить завихрения медно-коричневых и синих туч и кипящую под ними черную воду. Потом свет померк и началось светопреставление.

С криком «Алла! Алла!» турки навалом посыпались в трюм, который мы прикрыли досками и брезентом; на палубе случайно остались двое, которых смыло в ту же ночь. Волны пошли через борт, все выше и выше. Рев воды заглушал наши крики. Часов через десять вал поднял мою кухню и ударил ею о переднюю мачту, а другой вал поднял уборную и навалил ее на заднюю. Мачты переломились и скрылись за бортом в светящейся голубой пене. В непроглядной тьме мы бегали на четвереньках по палубе и рубили ванты и парусные снасти, чтобы поскорей освободить корабль от крена: в течение нескольких минут казалось, что судно перевернется. Потом Женька полез за борт рубить бушприт, а я держал веревку, которой он был обмотан, предварительно накрутив ее на барабан и якорные цепи. Часов через двадцать удалось отклепать якорные цепи и освободиться от якорей. Судно, превратившееся в деревянную коробку, набитую людьми, понеслось по воле волн. Мы стали ждать скорой гибели на прибрежных скалах, но ветер переменялся, и нас понесло на запад. Приоткрыв доски, мы заглянули в трюм: из темноты неслись звериный вой и крики «Су! Су!».

Су – по-турецки вода, людей заливало, и мы начали качать воду ручной помпой (мотор давно залило водой, машина не работала). Без пищи и питьевой воды мы боролись за жизнь уже часов пятьдесят, а кругом было все то же – высокие, как горы, валы. Они надвигались, мы видели высоко над собой пенящийся, светящийся во мраке гребень. «Все! Конеч!» – думал каждый. Но вал поднимал нашу коробку на себя, и только через палубу с хлопотанием и грохотом перекатывалась пена гребня; потом суденышко скользило в пропасть и оказывалось перед новой надвигающейся водяной горой.

К концу третьих суток мощное течение втянуло нас в Босфор. Мы открыли трюм, ошвартовались у первой же босфорской пристани, кажется, в Румели Гиссаре. Пассажиры раз-

бежались, а мы, выпив по две кружки воды, повалились спать и не просыпались сутки – до следующего вечера.

В константинопольской каботажной пристани Сели-базар нас посетили проходимцы в котелках. Они не спустились по трапу на то, что осталось от хищной быстроходной шхуны.

– Немедленно поставить мачты и паруса и марш в море! – по-французски крикнул нам с набережной один из них.

– А обшивка корпуса? А палуба? Судно стало дырявым решетом! При следующей непогоде оно распадется на куски!

– Повторяем, делайте, что приказано, и марш в море – нам надо использовать выгодное торговое положение – войну.

– Да, но...

– Кто не согласен – выходи на берег с вещами! В городе сто пятьдесят тысяч русских и триста-четыреста тысяч аنا-толийских беженцев! Рабочих рук хватает!

Отчетливо помню, как мы стояли, сверля друг друга глазами: команда на палубе искалеченного морем судна и те, толстенки в котелках, на берегу.

– С-с-собаки! – рычим мы на разных языках.

– Ну? – посмеивались они. – Думайте скорее: здесь холодно торчать на ветру!

И мы понуро разошлись по рабочим местам: выгонят с этой работы – другую ни за что не найдешь.

Это был предметный урок политграмоты. Так жизнь вкочлачивала в меня первые, и страстные, политические убеждения.

Черное небо и белые гребни волн насколько хватает глаз: ноябрь – штормовой месяц. Наскоро отремонтированный силами команды «Преподобный Сергей» опять по-разбойничьи крался на восток. Он похож на тот, что разбойничал здесь уже не раз, но это не он: это только его внешний двойник, дырявая калоша вместо узкого и быстрого пиратского корабля, похожего не то на яхту, не то на истребитель.

И люди на нем не те. Вот сквозь тучи холодных брызг и пены они смотрят в хмурую даль, суровые красномордые люди, в грубых непромокаемых куртках и теплых вязаных колпаках. Они молчат. Губы, белые от морской соли и ветра, у всех плотно сжаты. Брови насуплены. В их сердцах бушует злоба. На палубе тихо. Лишь неумолкаемо стучит помпа – вахтенный откачивает из трюма воду.

Над судном нависла невидимая туча непредвиденных поворотов судьбы.

Никто не знает, что это последний рейс под французским флагом, и скоро, очень скоро на мачте победно взвьется другой флаг.

...Завыла рельса.

– Фуркулица выколачивает пепел из трубки, – сигнализировала Анечка, глядя в щель. – Обед!

Мы поднялись и отряхнули с себя влажные ветви и листья.

– Анечка, в штаб тебе не идти, займись обедом, а я пробегу по баракам: начальство в зоне, нужно предупредить возможные жалобы.

Я взял амбулаторную сумку «скорой помощи» и отправился. Тяжелобольных не было, но особенно опасна для амбулаторного врача антисанитария или, точнее, отсутствие показной чистоты и предписанного порядка: питьевая вода в чисто выскобленных деревянных бочках должна быть прикрыта фанеркой, а на фанерке должна стоять чистая кружка и т.д. Обнаружив беспорядок, начальник обязательно скажет с укором: «Это вам не сорок третий год!» Я тяжело переносил выговоры и старался их не допускать. Заставив дневальных подтереть насухо пол около бачков с водой и плиток, на которых уже грелась разная снедь, я в женском бараке натолкнулся на семейную идиллию: голая Грязнулька лежала на животе и грызла морковку, а Верка-Гроб, мрачно насупив брови, растирала ей топленным жиром розовую попку.

– Ну, как супружеское счастье, Верка?

– Да вот видишь, доктор, вчера пришла с работы, а ее, падлы, на койке нет. Нашла аж в мужском бараке! Дала ей как следует палкой от веника, а теперь вот лечу: собачье сало от синяков хорошо помогает. Ее, сучку, придушу когда-нибудь. Верка-Гроб – не лопоухий мужик, с ней шутить нельзя. Я все бабьи ходы-выходы знаю, и ее, гадину, насквозь вижу.

Грязнулька молча улыбалась и щурила глаза.

– Хорошенькая у тебя жена, Верка, но, видно, придется тебе идти в ЗАГС разводиться: наставит Грязнулька тебе рога с каким-нибудь молодым парнем!

– Наставит и умрет. У нас с ней узелок затянут туго – одной в морг, другой – на суд. Так-то, доктор! Через мою любовь переступить опасно... Я ее, заразу, полюбила до полной невозможности!

Я вспомнил свое путешествие к звездам... Покачал головой и пошел дальше.

– Иди с котелками в барак, Анечка. Ты вчера попрощалась с Федькой? Да? Ну, ты иди, а я пойду проводить парня на свободу. Вон он уже стоит у ворот!

Федька, одетый в обмундирование первого срока и хорошие сапожки, сиял, волновался и был, конечно, озабочен: радостная улыбка и тревога пробегали одновременно по его растерянному лицу.

– Подходи, доктор. Познакомься. Это – Эрна. Она дождалась меня в Мариинске, теперь мы вдвоем едем в Свердловск: за хорошее поведение меня не только досрочно выпускают, но и ограничения сняли. Все хорошо устроилось. Эрна, это мой друг, советчик и учитель – доктор Дмитрий Александрович. Пожми ему руку!

– Спасибо за помощь, – сказала тоненькая черноглазая женщина в телогрейке, под которой виднелось гражданское ситцевое платье, синее в белый горошек. – Я представляю себе значение этой дружбы. Федя молодец, я его люблю за ум, сметку, силу и доброту. Он хорош сам по себе. Но и вы сыграли в его очеловеченье важную роль. Иногда хочется опереться на кого-нибудь. Правда? Особенно, когда меняешь направление пути. Спасибо – за него и за меня!

Мы потрясли друг другу руки.

– Вы тоже скоро выходите, доктор?

– Нет.

– А сколько осталось?

– Много, Эрна. До смерти.

Один долгий взгляд больших глаз.

Потом молодой вор, шестеривший у Федьки, втолкнул его чемодан в проход. Федька снял солдатскую фуражку и вытер пот со лба. Эрна побледнела и прижала руки к груди.

Вышел дежурный надзиратель.

– Становись! Хвамилия? Данные?

Обычно такой веселый и звонкий Федькин голос на этот раз прозвучал глухо.

– Документы в порядке. Прррроходи! – Надзиратель стукнул в оконце. Стрелок потянул рукоять засова.

Взявшись за руки, Эрна и Федька вышли через калитку. Вор поставил чемодан на порог. Федька, не выпуская руку жены, потянулся и схватил чемодан за ручку.

– Прощайте! Живите счастливо!

Но когда Федька на звук моего голоса повернул голову и взглянул, я увидел, что глаза его уже чужие, – он не видел

меня, лагеря, своего проклятого прошлого – это молодой и сильный советский человек входил в свое счастливое будущее. Он был уже не с нами...

Потом калитка захлопнулась, и засов со скрежетом пополз обратно.

– Ты видел его глаза, доктор? Ослеп парень от свободы! – сказал позади меня голос, в котором дрожало волнение и зависть. Это был Метеор, главный пахан нашего лагпункта. – А я, знаешь, пришел посмотреть. Скоро и мне выходить.

– Как? Тебе ведь еще восемь или десять лет.

– Новый опер исхлопотал. Выхожу через год, тоже летом. Метеор от волнения закрыл глаза и задохнулся.

– Дыхания не хватает, когда все себе представляю в жизненной перспективе. Я – и на свободе... А?!

Он усмехнулся.

– Вот присматриваюсь теперь ко всем и решил скопировать вас – тебя и Федьку. Я женился, доктор. Всерьез.

– На ком?

– На Луизе-парикмахерше. Работает она правильно, золотые у нее руки, понимаешь. Выйдем вместе – она будет свое загребать, да и я не отстану: пойду по своей портняжной части. Здорово? Голова у меня есть, и что подзабыл, то вспомню. Выйдет из нас такая же пара, как у Федьки с Эрной, только ловчее скроенная, понял? Слесарь и скрипачка – вроде не пара, а уж портной и парикмахерша – это в точку, подгонится наше семейное платье без морщинки. Что думаешь?

Я искоса посмотрел на него.

– А ты хорошо узнал Луизу?

– Лучше не надо. Она обратно освобождается раньше меня и подождет в Мариинске, как Эрнэ ждала Федьку. Даже жить будет у той же хозяйки. Все, брат, заварено на бетон, понял?

В калитку с воли вошел начальник дивизиона.

– Разойдись отселева, заключенные! Живо!

Мы вышли из сторожки. За забором тявкнули собаки, послышались грубые окрики стрелков. Потом дверь калитки распахнулась и мимо нас прошло человек тридцать стрелков без поясов и погон. За ними следовало наше начальство – опер, начальник МСЧ Шевченко и вольные врачи.

– Сейчас все узнаю! – шепнул я Метеору. – В конвое знакомый стрелок.

Арестованных загнали в амбулаторию, а на крыльце, угрожающе выставив штык, стал на часах Карп Карпыч и широко расставил маленькие ножки в огромных сапожищах.

— И чиво ты удивляйся, доктор? — тихонько шепнул он мне. — Стрелки все до единого семейные — и фронтовики, и наши, деревенские. Довольно все они воевали и смотрели обратно смерти в глаза. Будя! Война кончилась, и человеку жить надо, а не умирать!

— А что случилось, Карп Карпыч?

— На третьем вывели на работу каторжную бригаду — тридцать бывших наших советских командиров, которые потом служили у Гитлера во власовцах, слышал? А бригадиром был бывший наш генерал. Они на работе стрелков обезоружили, кто сопротивлялся, того убили вместе с собаками, и всей бригадой подались в лес.

— Так это стрелки с третьего?

— Не, с Мариинска. Побег случился два дня назад. Мариинские стрелки присланы были для поимки. Они напоролись на каторжан, да те открыли огонь и двоих скосили на месте. Остальные стрелки поховались по кустам. Каторжники из кольца вырвались, только что оружия у них стало больше на два автомата с патронами. Сейчас всех, которые ховались, будут судить. А им что? Отсидают и домой. А тех двух, которые совались в бой, — увезли в морг. Это, браток, похуже!

Тем временем с вахты показалась Анечка с тяжелым кувшином, стоящим в повязанном платке, как в сумке-авоське.

— Идем под дерево, — кивнула она мне. — Нет, ты не знаешь, что я принесла! Глазам не поверишь!

Мы сели под дерево. В кувшине оказалась окрошка. Холодная, кисленькая, со свежим зеленым лучком и огурчиками.

— Ну как? Я договорилась с заключенной поварихой вольной столовой еще вчера, а сегодня вышла за цифрами и прихватила. Здорово?

Мне стало грустно.

— Окрошка великолепная, ты, Анечка, не жена и не верный дружок, ты — подарок и утешение, ниспосланное мне небом.

— Нет, не делай из меня героиню. Я — советский человек. Я несла два кувшина: один сунула стрелку на вахте, другой — пронесла тебе. Помнишь слова Грекова? Все мы производные наших порядков! Ешь, детка! Или тебе не нравится?

Я медленно хлебал квасок и медленно говорил, полузакрыв глаза:

— Я не пробовал кваса почти десять лет. Окрошка кажется мне божественной. Анечка, она — из другого мира.

— Ба! Пустяки! Через год я выйду на свободу и пришлю тебе кое-что получше. Хочешь плитку шоколада?

– Нет, Анечка. Ни через год, ни через десять лет я не буду на свободе. Мне положено умереть здесь. Я хочу жить как во сне. А эта крошка будит меня, заставляет вспоминать старое. Не надо меня будить, Анечка! У нас разные судьбы – ты уйдешь, и жизнь заставит тебя забыть лагерь так, как мы, лагерники, постепенно забываем вольную жизнь. Вчера я не мог нарисовать слона в художественной мастерской. Я, художник, который в Африке видел слонов стадами! Воля медленно умирает во мне, и эта крошка мешает спокойному умиранию!

Анечка бросила ложку.

– Молчи! Я не могу этого слушать! Отец народов умрет раньше тебя и меня, и мы вместе будем бродить с тобой по Москве! У нас будет недурная комнатка! Слушай, настанет день, когда мы с тобой сядем в поезд и поедем за границу!

– Куда?!

– За границу! Странно звучит? Напрасно улыбаешься! Мы поедем в твою любимую Прагу. Вместе поедем туда отдыхать! Это прозвучало как удар по голове.

– Ты с ума сошла! – сказал я, инстинктивно прикрываясь рукой.

– Ты не веришь?

– Нет. Сталин здоров, он кавказец, у него в руках вся медицина мира. Он нас всех переживет.

Я опять стал хлебать крошку.

– Когда-то ты этого не говорил, – сказала Анечка. – Ты верил, и вера держала тебя на ногах. Ты закачался потому, что перестал верить.

– Во что? Мне надоело верить. Мою фамилию в центре два раза вычеркивали из списка людей, выдвинутых здесь на досрочное освобождение.

– Ну и пусть! Я верю в тебя, ты должен верить в меня. Я освобожусь и добьюсь твоего освобождения! Ты верь в наше будущее! Веришь?

Я покачал головой.

– Верю, но сомневаюсь!

– А я верю без оговорок. Я вытащу тебя отсюда.

Некоторое время мы ели молча.

– Вчера мне пришлось быть в детских яслях, – начала Анечка, – дети лагерных яслей – интересный материал для психиатра. Дураки думают, что человек рождается человеком. А ясли для несчастных вольных детей наших заключенных матерей доказывают, что человек рождается только двуногим

животным, а человеком его делают другие люди. Врач Мухина и заключенные няньки ходят на работу только для того, чтобы объедать детей. От жира они едва проходят в двери. Они счастливы. А детям нужна еще и человеческая речь, уход, понимаешь ли, игрушки, рассказы, книжки. Без них растут бледные уродцы. Почти немые. Ведь с ними там никто не занимается. Они в яслях лишние. Только мешают воровать.

– А разве игрушек у них нет?

– У дверей я долго наблюдала за одним мальчиком. Он сидел у плиты на полу и играл с куском торфа и топором. Других игрушек не было. Ребенок производил впечатление немного идиота. Наверное, он еще ни разу в своей жизни не засмеялся!

– Однако же самые нужные слова они уже знают, – сказал я, закуривая. – Недавно одна мамка стояла у штаба с ребенком на руках. Тот играл ее косынкой и уронил на землю. Начальник проходил и поднял. Подал ребенку с улыбкой и потрепал по щеке.

Ребенок посмотрел на него по-волчьи и насупился. «Ну, что же ты молчишь? Вот гражданин начальник тебе поднял платок, что ему надо за это сказать? А?» Ребенок насупился еще больше и вдруг четко и ясно скомандовал: «Внимание!» Как барачный дневальный! Ужасно, а? Растет вольный ребенок с психологией и навыками заключенного.

Анечка тряхнула головой.

– Я вырву тебя из этого ада!

Едва мы успели восстановить наше зеленое прикрытие и забраться в него, как завывала рельса и самоохранники врассыпную побежали по зоне.

– На проверку! Выходи!

Мы пригляделись в щелочку.

– Ну, Фуркулица с трубкой на месте, – прошептала Анечка. – Все в порядке! Продолжай рассказ.

Я вздохнул. Не легко из лагерного бурьянного шалаша перенестись в далекую вольную жизнь!

11

Свежий ветер долго мотал «Преподобного Сергия» вдоль берега, а когда наконец нам удалось юркнуть в какой-то маленький порт, то выяснилось, что судно попало к туркам-кемалистам: мы очутились на другой стороне огненной черты,

разделяющей два мира, и толстенькие проходимцы в котелках потеряли над нами власть.

Нам это никогда раньше не приходило в голову. Капитан дотянул дипломатические переговоры до позднего вечера, а под утро мы бесшумно подняли паруса и неожиданно ускользнули в туманное море. Взяли курс на запад, чтобы найти линию фронта, перебраться с восточной на западную сторону и продать наши баночки в другом мире и там же погрузить беженцев.

Но я отвел боцмана Женьку в сторону и, многозначительно понизив голос, прохрипел:

– Ты знаешь, что надо делать?

– Что?

– Дурак. Бунт!

Женька был младше меня. Он посмотрел на меня сбоку.

– Правда? А я не догадался! А ведь за это могут повесить.

– Надо все обтяпать получше, понял? Мы поднимаем восстание!

Вдвоем поднимать бунт даже на маленьком судне было бы опрометчиво: Август и Мартин – преданные друзья капитана. Эти трое во всех случаях будут выступать вместе против нас. Мы с Женькой, боцман и кок, – руководители. Но нужно выиграть массу, привлечь ее и противопоставить тем троим. В течение часа или двух мы по одному поговорили со всеми. Коча-татарин, Христа-грек, Селим-араб и Юсуф-турок, как это ни странно, не сговариваясь между собой и не моргнув глазом, выдвинули другое деловое предложение – троих эстонцев выбросить за борт, корабль продать кемалистам, предварительно уничтожив документы и соскоблив с кормы номер и название порта приписки, а самим податься в Константинополь и по прибытии купить на толчке другие паспорта. За судно можно было сразу же получить тысяч шесть лир, а нас шестеро: значит, придется по тысяче на нос.

– Выходит, что нужно все самим брать в свои руки! – прошептали мы друг другу, когда обед сварился и Женька забежал ко мне снять пробу. В три минуты мы составили план действия.

Капитан, как всегда, вышел перед обедом подышать свежим воздухом «для аппетита», как он говорил. Пока он стоял в туче холодных брызг, обозревая безрадостный горизонт, сосал ядовитую трубку и усердно мочился через борт, я понес ему в каюту хлеб и холодную закуску к рюмке крепкой дузики – анисовой водки, которую на Востоке полагается

доливать водой, от чего она становится белой, как молоко. Попутно ловко стянул из стола браунинг. Подал капитану мыло и полотенце, усадил его за стол и принес объемистую миску горячего супа.

Потом схватил лом, а Женька браунинг, мы распахнули дверь в рубку и разом заорали:

– Руки вверх!

Капитан не спеша поднял на нас белесые глаза:

– Что? Вы закрывайт дверь с той сторона. Когда обедовайт, я не разговаривайт. Дело мозет подоздать.

И начал хлебать суп. Мы опешили.

– Вы арестованы! На судне переворот! Поняли?!

– Ну и цто?

Капитан невозмутимо хлебал суп дальше.

– Да вы слышите?! Вы арестованы!!!!

– Ну и цто? Вас будут весить. Кок, бросайт лом и давайт рагу и компот. Дверь закрывайт. Дует.

Мы растерялись. Закрыли дверь. Я принес рагу и компот.

Снова закрыл дверь. Потом, посоветовавшись, мы постучали и вошли. Сняли колпаки и, вежливо направив капитану в грудь дуло и лом, объяснили, что судно ложится на норд-норд-вест и идет к большевикам в Севастополь, потому что вчера турки сообщили, что Врангель бежал из Крыма и Севастополь к нашему приходу будет занят красными.

– Ну и цто? – хладнокровно ответил эстонец и не спеша налил себе еще рюмку дузики. – Боцман, вы отвецайт за судно. И за курс. Карты здесь. Я отдыхайт после обеда.

Он улегся на койку, накрылся, повернулся лицом к переборке и засопел, как невинный младенец.

Узнав об успехе социальной революции и переходе власти в руки трудящихся, хмурые эстонцы, Август и Мартин, переглянулись, но остались такими же хмурыми, как и раньше, и не проронили ни слова, а матросы палубной команды сначала хотели поднять шум и затеять общую драку, но, сообразив, что раз их судно свободно, то работать не надо, быстро успокоились, раскупорили один из бидонов с чистым спиртом, который мы всегда возили для спекуляции, наварили ведро крепчайшего и сладчайшего чаю, благо, его хватало, – целый трюм! – наполовину сдобрили спиртом и затеяли пир. Стояты на вахте все четверо наотрез отказались. Для теплоты закрыли люк кубрика, и скоро оттуда, как из-под воды, понеслись невероятные звуки объединенной греческо-татарско-арабско-турецкой песни. Эстонцы, узнав о происшедшем, тоже

заперлись в своем машинном отделении и потом вдруг остановили мотор и знаками через иллюминатор дали нам понять, что он испортился. Капитан спал не просыпаясь. Палуба опустела, трудовая жизнь на ней замерла. В уборную мы пропустили всех по одному, под дулом пистолета.

Мы остались с Женькой вдвоем, лицом к лицу со **свободой**.

Когда Христа-грек, выхлестав четверть ведра пунша, выполз наверх к борту, я стоял у руля, Женька закрыл люк в кубрик, запер его и выразительно, так сказать в лицах, показал греку, как вчера он, Христа, когда кемалисты принялись его вешать и уже надели на шею петлю, побледнел и шлепнулся на колени и рыдал, вымаливая жизнь, и как он, боцман, отбил своего матроса, доказывая, что русские греки прибыли в Россию еще до рождества Христова и за греков из Греции и Турции ни в какой мере не отвечают, турок-кемалистов любят, а греческих греков и французов ненавидят. Стоя на коленях с текущими по щекам слезами, Христа даже начал сипло тянуть какие-то стихи из Корана, а Женька, как фокусник в цирке, тыкал в него пальцем и повторял: «Видите? Слышите?» Турки смутились и развязали петлю. А теперь Христа уже забыл добро?!

Христа молча надел бушлат, непромокайку и колпак, и втроем мы подняли паруса и легли на курс, благо, ветер был южный, ровный, как раз такой, какой надо. Лица Августа и Мартина вытянулись и сейчас же скрылись в иллюминаторе машинной рубки – их шахматный ход не удался. А мы втроем, почти не отдыхая, повели судно к советским берегам наискосок через все Черное море.

Воздух сильно похолодал, а вода оставалась еще теплой, и над злыми черными волнами за клубились клочья молочного тумана. Пришлось готовить еду и одновременно каждые пятьдесят минут бить в колокол – мы не хотели попасть под какой-нибудь врангелевский или английский корабль. Еще бы! Во время недавно перенесенного шторма, уже вблизи самого входа в Босфор, нас едва не подтащило ветром под английский линкор «Черный принц». Ярко освещенный тысячью лампочек огромный стальной утюг, даже не покачиваясь, прорывал свой путь в бесновавшейся воде, а наша потерявшая управление, набитая людьми деревянная коробочка слепо тащилась ему наперерез. Я тогда стоял в кубрике в плеске качающейся воды и, отбиваясь от плавающих сапог и одеял, черпал воду своей самой большой кастрюлей, а Христа дер-

жался на трапе, принимал кастрюлю и выливал воду в непроглядную темноту туда, где, бешено рыча и все ломая на своем пути, через палубу катились гребни волн. Мышцы спины через десять часов такой работы у меня устали, а еще через десять часов – мучительно заболели и еще через десять, казалось, стали рваться на части. Я работал и работал без отдыха, подгоняемый сначала отчаянием, потом нечеловеческим автоматизмом такого труда, – ведь я трое суток не спал, не ел, не пил и не отдыхал ни минуты. А вода все прибывала – сначала она была мне по колено, потом по пояс, потом по грудь и выше, – судно погружалось в воду, и в темноте сквозь рев ветра и воды я слышал звериный вой людей, запертых в темном трюме. Вот тогда к нам нагнулся Женька и протянул фонарь и коробку с тремя спичками. Я зажег лампу, но она мгновенно задувалась ветром, едва только Женька поднимал фонарь над палубой. Раз... Два... Три... А больше спичек не было. Мы уцелели тогда случайно, как матросы всех стран и морей говорят – чудом...

Теперь я упорно бил в колокол, и унылые звуки тонули в холодной мокрой мгле. На третьи сутки поздно ночью туман рассеялся, и мы увидели редкие огни, какую-то бухту с низкими берегами, очертания рыбацких баркасов. Вошли в рейд. Бросили якорь. Мгновенно заснули. Все до одного.

Под утро услышали тихий плеск весел... Осторожный стук лодочных бортов об обшивку судна...

И вдруг резкий топот сотен ног на палубе... Резкий рывок... Люк открыт! На нас направлены десятки винтовочных дул, и чьи-то голоса дружно орут по-русски:

– Сдавайтесь, белые гады!

Мы дома! Переход закончен: все удалось как нельзя лучше!

Бидоны разрублены топором и поставлены рядом около бочки с ледяной питьевой водой, которую бойцы вмиг доставили с берега. Каждый из очереди черпает пол-кружки спирта, полкружки воды, пьет, крикает, утирает рукавом боевой шинели рот и малиновый от холода нос и степенно отходит в сторону. А тем временем писарь штаба Железной латышской дивизии отстукивает благодарность командования Женьке и мне за привод в Евпаторию из-за границы хорошего и очень нужного судна и за передачу трудовому народу столь ценного груза чая и сахара. Довольны все, даже капитан Казе: его чуть было не расстреляли, когда разбудили под утро и вывели из рубки. Но боцман и я решительно заявили, что мы все

старые опытные большевики и действовали сообща. Как в Турции был отбит у турок грек Христа, так тут, в красной Евпатории, мы отбили у латышей капитана Казе. Ход этот оказался удачным: капитан добром отплатил нам за добро позднее, когда мы опять встретились на том же Сели-базаре в Константинополе: он нас не выдал и англичане нас не повесили.

Зима началась в тех местах лютая. Город замер. По пустым улицам ветер мел сухой снег да бродили высокие люди с чубами в барских шубах. Из карманов у них торчали рукоятки маузеров. Это махновцы срочно помирились с красными, чтобы принять участие в дележе добычи. Но их приняли холодно, грабеж не удался, и скоро махновцы исчезли.

Начался голод. Ели кое-как, но появилось много кумачовых и других плакатов, а в театре начались прекраснейшие концерты и оперные постановки: ведь голодными скрюченными артистами руководил Собинов! Я был на таких концертах, где слушатели сидели в шинелях и шапках, над головами висел морозный пар, а у дверей вместо стареньких билетерш стояли матросы с винтовками. Это было так ново и необыкновенно, что виденное опять складывалось в памяти без осмысливания: думать было некогда.

Покидая Крым, белые взорвали и потопили все суда, которые не смогли прихватить с собой. Наше судно было единственным на плаву и потому было взято самым сильным тогда учреждением – Чекой. Нам объявили, что судно получает поручение чрезвычайной важности, снабдили нас трофейным горючим и провиантом и отправили в Одессу с группой высших начальников. Карты одесских минных полей не было, но осадка судна была якобы фута на два выше мин, и мы, понадеявшись на авось и небось, вышли в море. Накануне судно переименовали: из «Преподобного Сергия» оно стало «Товарищем Троцким», но я не захотел долго коченеть на морозе, а потому поверх слова «Сергий» просто намазал «Троцкий», так что «Преподобный Троцкий» под алым флагом явился первым суденышком, открывшим морской путь между освобожденным Севастополем и Одессой.

Одесса тоже голодала и замерзала. Когда Женька в качестве командира и я в качестве председателя судового комитета отправились представиться командующему несуществующего флота, то нашли его в великолепном особняке, где в блестящем от изморози зале стояла на паркете палатка с буржуйкой, а сам командующий со своим флаг-секретарем топорами рубили мебель, паркет и на буржуйке кипятили чай.

Нам сообщили задание: построить в трюме две каюты на двух пассажиров каждая, принять на борт двух комиссаров с женами, затем зайти в Севастополь, получить там чемодан с изъятиями у белых ценностями и доставить пассажиров и чемодан ночью в Варну, где по сигналу ракеты высадить всех четырех на берег: в Болгарии готовилась революция.

– Любопытно! – сказала Анечка.

Есть было нечего, но у нас остался на борту запас горючего из Константинополя, потому что подлецы Август и Мартин выключили мотор, и мы шли под парусами, да в Севастополе нам, не торгуясь, щедро отвалили несколько бочек с английскими клеймами. Но если еды в городе не хватало, то золота имелось вдоволь. По синим бушлатам и колпакам одесские спекулянты и жители безошибочно узнавали в нас иностранцев, и во время оперных постановок на запах керосина кругленькие дяди на четвереньках ползли к нам между рядов кресел. Мы сосали керосин через трубочку в бутылки и скоро обзавелись тяжелейшим гастритом, потому что не редко приходилось глотать керосин, и вдобавок к нему – золотом и бумажными деньгами. Каждый из нас плотно набил деньгами свою грязную наволочку и спал на такой необычной подушке; купил двадцать золотых колец, по одному на каждый палец рук и ног, и несколько портсигаров и по-хозяйски обзавелся парабеллумом или маузером с патронами. Из горкома стал регулярно приходить тощий длинноносый товарищ Ицик и читать нам брошюры, напечатанные на оберточной бумаге, и другие книги.

Мне все это казалось сном. Полагая, что скоро нам придется опять попасть за границу, мы не чувствовали себя здесь как дома, да и могла ли заснеженная голодная Одесса быть домом для египетского араба или ревельского эстонца?

Когда я мог думать, то вспоминалась мать, и мечтал попасть к ней. Но письма тогда на Кубань не принимались. Из озорства я прекратил мыться и сначала даже не понял, когда супруга комиссара Северского сказала супруге комиссара Гейтле: «Мне нравится этот высокий молодой негр: у него совершенно европейские черты лица!»

Когда каюты были готовы, то дамы – они были явно из **бывших** – притащили из города кипу старых номеров парижского скабрезного журнала «La vie parisienne», и я иногда тоже читал его и болтал с дамами по-французски, и это казалось очень странным, потому что нам выдали шинели с расстρε-

льных офицеров. Тогда все перемешалось у меня в голове, это было призрачное существование.

Снялись мы вечером под новый, двадцать первый год.

В кубрике было холодно, и я долго не мог заснуть. Мешали невеселые думы, беспокойство, что мы опять уйдем за границу и я не увижу мать. Если здесь, в Одессе, нечего есть, то как же старушка совершенно одна живет там, в маленьком городишке? Я начал было дремать, как вдруг внимание привлёк странный шум под полом – не крысиное легкое царапанье и беготня, а настойчивый мягкий стук, точно кто-то большой и сильный пытался снизу приподнять люк.

Я сел на койке и прислушался. Как будто бы ничего подозрительного. Нет, опять... Затем внезапно люк с шумом приподнялся, и на пол фонтаном хлынула вода, а в ней старые сапоги и какая-то рухлядь.

Судно тонет!

Я спрыгнул босой в ледяную воду и стал натягивать сапоги.

И в ту же минуту услышал за трюмной перегородкой быстрый топот, возбужденный отрывистый разговор и, наконец, отчаянный женский крик прорезал морозное безмолвие новогодней ночи:

Помогите! Помогите!! Мы тонем!!!

Я выскочил на палубу, где уже толпилась вся команда во главе с капитаном и оба комиссара с женами. Быстро осмотрели судно, одиноко черневшее среди искрившегося от лунного сияния замерзшего ледяного поля. Ночь, как и все последние ночи в Одессе, стояла холодная, лиман замерз, и судно пробиралось в открытое море, раскалывая тонкий лед деревянной тонкой обшивкой. Из-за борта, цепляясь за якоря и снасти бушприта, вылез Женька. От него валил пар.

– Плохо дело... Лед напирал на одни и те же доски обшивки... и вдавил их внутрь. Судно заполняется водой через две пробоины!

Опять вскрикнули женщины, но Женька замахнулся на них и они стихли. Мы завели под киль с обоих бортов куски брезента в виде заплат, и вода несколько прижала их к дырам – скорость наполнения судна водой уменьшилась. В два ряда люди выстроились между трюмным люком и бортом и стали ведрами вычерпывать воду.

Ведра быстро обледенели и стали неимоверно тяжелыми. Наша одежда, до кожи промокшая на груди, животе и ногах, тоже промерзла и вздулась ледяными буграми. Скорость ра-

боты стала снижаться. Потом захлебнулся и остановился мотор. Я начал дремать, но когда равномерное хлопание машины смолкло, открыл глаза и посмотрел за борт – вода подошла уже к самой палубе. «Преподобный Троцкий» погружался в море, сомнения не оставалось.

Женька швырнул ведро и кулаками раздробил на себе ледяную броню.

– Приготовить шлюпку!

Но шлюпка была рассчитана только на команду. Оба комиссара выхватили из карманов пистолеты.

– Я сам буду сажать людей! – крикнул Северский. – Женщины, вперед!

Четыре человека команды оставлялись на смерть. Но шлюпка покачивалась за осевшей в море кормой так зыбко, что прыгнуть в нее было непросто, а вокруг злое чернела вода. Началось замешательство. Каждый миг могла начаться стрельба – ведь оставленные умирать имели оружие.

– Я не могу двигаться! – застонала одна и, хрустя обледенелой одеждой, повалилась на палубу. – Боже, прими мою душу и отпусти грехи!

Северский нацелился на нас в грудь:

– Поднять ее на руки!

Пока мы возились с упавшей и я смотрел себе под ноги, ожидая момента, когда вода хлынет через борт, над нашими головами вдруг неожиданно грянули веселая песня и пьяные крики:

– С Новым годом! С новым счастьем! Ура!

Это одесский портовый буксир отвез подарки команде маяка на Тендерской косе и теперь возвращался домой. Мы были и на этот раз спасены.

С буксира завели в трюм толстый шланг, машина дала полный ход. И наше судно на глазах всплыло из искрящегося льда и черной воды. Двумя швартовыми, заведенными под киль, коренастый буксир как бы обнял наше утлое суденышко и прижал его к своей богатырской груди.

В Одессе на ремонт ушел еще месяц. В феврале мы пришли в Севастополь. У меня началось воспаление легких, тяжелое, с глубокой потерей сознания. Лечения не было, в сильном жару я в кубрике как будто бы заснул, а когда открыл глаза, то увидел, что лежу на кровати в великолепной гостиной перед английским камином, где догорают обломки золоченых кресел. На камине стояли две фотографии – красавца

бородатого капитана первого ранга и Женьки в матросской робе. Потом все выяснилось. Капитан Домбровский командовал броненосцем «Ростислав», поставленным на якорь как плавающая крепость. Он решил не эвакуироваться с белыми, а сдать-ся красным. Когда красноармейцы ворвались на палубу, он вышел им навстречу, но был заколот штыками раньше, чем успел произнести несколько предупредительных слов. Его вдова голодала и просила милостыню на замерзших улицах. Бегая по городу в поисках врача, Женька натолкнулся на нее, узнал, она бросилась к нему как к спасителю. Дело в том, что Домбровские одно время жили на «Рионе», и по приказу вахтенного начальника Женька и я доставили их обоих на Графскую пристань с вещами.

– Могу ли я дать им на чай? – спросила у мужа Домбровская по-французски.

Но я взял под козырек и тоже по-французски ответил:

– Не беспокойтесь, мадам, мы оба дворяне.

Женька накормил еле живую женщину, достал себе ордер на реквизицию ее квартиры и тем обеспечил ей крышу над головой, перевез меня, наладил снабжение и мое пребывание у горящего камина и, между прочим, стал мужем молодой дамы.

Когда-то Домбровский на Балтийском флоте командовал миноносцем «Финнъ», и эту ленточку, висевшую на камине, я взял себе на память и позднее в Новороссийске носил ее на бескозырке, фотография осталась у меня до сих пор.

Я выздоровел как раз к моменту, когда «Преподобный Троцкий» был готов к уходу в Болгарию. Под охраной десятка матросов Северский принес маленький саквояж с драгоценностями.

На пристани выстроилось оцепление ЧК. В этот момент наши сердца не выдержали, и мы попросили списать нас на берег и отправить в Новороссийск. Нас не задержали: выдали документы, винтовки, новенькое флотское обмундирование, а Северский и Гейтле переоделись в нашу заграничную робу, перестали мыться и бриться и скоро слились с остальной командой.

Наши иностранные документы лежали у них в карманах.

Мы отправились в Керчь на перекладных по замерзшим пустыням, где из-под снега еще торчали обледенелые лошадиные и человеческие ноги. Это было невеселое путешествие. Лошадей мы получали от немцев-колонистов с помощью пистолетов. Перед Керчью было очень ветрено и морозно. Женька боялся, что я опять заболею, снял с себя бушлат и прикрыл им меня на повозке, а сам бежал рядом.

В Анапе я не застал мать – она работала писарем в станице Николаевской. Я взял ордер на реквизицию дома моей двоюродной бабушки; он был лучшим на Высоком берегу. Вышла на стук Ксения, ее дочь, московская пианистка. Она побледнела как мел, увидя матроса, и не сводила глаз с торчащего из кармана дула парабеллума. Только прочтя фамилию в ордере, пришла в себя.

Утром того же дня умерла бабушка. Женька разломал сарай и из досок скотил ящик, в котором мы и потащили умершую на кладбище. Ящик был слишком велик, бабушка ерзала в нем и мешала нам идти. Обливаясь слезами, Ксения плелась сзади. Потом я сбегал за киркой, и мы выкопали могилу. Набожно спели морскую пиратскую песню «Четыре человека на гробе мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома!» Нагребли комья замерзшей земли, и все было готово.

– А крест? – робко спросила Ксения, рукавом утирая слезы: платочки у всех тогда перевелись.

Женька оглянулся, нашел подходящий крест, выкорчевал его и водрузил на бабушкину могилу. На кресте, помню, была надпись:

«Ваня Курочкин, 12 октября 1916 года – 2 января 1917 года. Спи, невинный младенец!»

Я сходил в станицу Николаевскую, но матери не нашел – она была в командировке: сельсоветчики собирали по станицам вещи и хлеб. Мы решили двинуться в Новороссийск и там устроиться. Но за час до отъезда Женька побагровел и стал заговариваться – у него началась пневмония. Я еле нашел извозчика.

День был тихий и сравнительно теплый. Мы тряслись в пролетке. Я держал Женьку за талию, а он из парабеллума стрелял в прохожих. В больнице он лежал рядом с известным русским моряком, Григорием Бутаковым, раненным в бою с французским эсминцем.

Пока Женька лечился, меня из Новороссийска назначили начальником Анапского маяка. Время было переходное, старые кадровые матросы были или перебиты в боях, или превратились в командиров, флот был засорен уголовниками и хулиганьем, которых тогда называли клешниками, потому что они в брюки книзу от колен вставляли клинья, чтобы получить раздувающиеся на ходу колокола.

Клешники не носили красных звездочек на фуражке и подчинялись приказу только по собственному желанию. Чтобы

противопоставить себя анархистующему сброду, настоящие матросы носили узкие брюки и фланельку навыпуск, то есть подражали старой царской форме, и старались носить на фуражках старорежимные ленточки, особенно с буквами *i* или *ъ*. Эти **старые** моряки узнавали друг друга по манере одеваться и помогали поддерживать дисциплину: в это трудное время они являлись опорой советской власти на флоте.

Моя команда едва меня не выбросила с верхней площадки маяка, я от этих пьяных хулиганов защищался только пистолетом и старался днем отсыпаться у тети, а ночью у зажженного фонаря стоял на вахте сам, заперев входную дверь и разложив на железном столике ручную гранату, пистолет и винтовку.

Под свист ветра долгими ночными часами при свете фонаря я читал книги, взятые из библиотеки удравшего с белыми старорежимного зрителя, или любовался красочными проспектами, привезенными им из Швейцарии. Любовался и думал: «Неужели это правда? Неужели такая жизнь и впрямь где-то есть на земле?» Я не знал, что в должное время я появлюсь именно в этих местах и буду ломать себе голову, почему они кажутся мне уже знакомыми.

Потом Женька выздоровел. Его назначили командиром быстроходного сторожевого катера-истребителя, меня зачислили в матросский сторожевой отряд, охранявший цементные заводы от набегов бело-зеленых, то есть прятавшихся в лесах банд из офицеров и казаков, не успевших уехать за границу и боявшихся ареста.

Я помню ослепительно голубые весенние ночи. С немецкой каской на голове я лежу в секрете на самой вершине горного гребня, с которой виден и голый кустарник на одной стороне, и спящий город на другой. Канатная дорога была взорвана, железные тросы обвисли, вагонетки валяются меж камней. Дальше внизу белеют стены и крыши заводов – пустых, темных, как будто бы мертвых. Еще дальше – город, голодный и пустой: ни одного огонька, ни одной движущейся точки. Мир как будто бы вымер, и остался только я один, спрятавшийся меж камней на гребне горы. Вдруг выстрел, гулкий, с отзвуками эха в горах, какие-то тени слева, меж кустов. Начинается перестрелка до утра.

Потом явилась морская комиссия из центра: кадры военного времени были слишком велики для несуществующего флота. Как бывшие водники Женька и я получили литер В и были демобилизованы. Но работы в порту не было.

Однажды мы услышали английскую речь около катера, готовившегося сняться. Это американская профсоюзная делегация и известный деятель американского рабочего движения Мельничанский отправлялись в Батуми и оттуда за границу. Мы пристроились к ним и добрались до Батуми. Город был недавно занят красными, в порту еще торчал меньшевистский бронепоезд; в городе ходили и старые, и новые деньги. Но у нас не было ни тех, ни других, а в порту не предвиделось работы.

Когда через несколько дней голодовки мы ослабели и растерялись, в порт вошел итальянский лайнер «Рома» для эвакуации беженцев.

Разрешение на отъезд давали охотно, молодой режим хотел избавиться от лишнего человеческого груза. Мы взобрались на палубу и через пять суток были на Сели-базаре.

– Эй, мальциски! Мальциски! – услышали мы с одной палубы.

Пригляделись – кормой к причалу покачивается бывший «Преподобный Троцкий», опять превратившийся в «Преподобного Сергия», а на нем, облокотясь на рубку, стоит капитан Казе в новеньком мундире и щегольской фуражке набекрень и делает нам знаки пальцем.

Мы сдернули с головы дырявые кепки, переглянулись и повернулись, чтобы бежать.

– Ви идийт сюда, негодни мальциски! – погромче крикнул нам Казе. Отчитал нас хорошенько и принял на работу рулевыми.

Дней через пять мы вышли с грузом краденых армейских одеял и направились в Средиземное море, в Измир.

Лето выдалось штормовое, ветренное и прохладное. Однажды ночью, когда я лежал на койке, одетый, с открытыми глазами, заложив руки за голову, и печально смотрел, как от сильной качки под унылый скрип снастей болтаются подвешенные к потолку непромокаемые куртки, сапоги и колпаки, судно вдруг сильно тряхнуло, я боком полетел с койки, а когда пришел в себя, то понял, что плыву под водой. Выплыл, увидел дождь и черные пенистые валы, потом головы товарищей. От ушиба и неожиданности мне сделалось очень холодно. Я нащупал обломки «Сергия» – мачту и спутавшиеся вокруг нее снасти. Сделав петлю, просунул в нее обе кисти, положил голову на мачту и потерял сознание.

Свежая зыбь вынесла нас на скалистый берег. Утонуло двое незнакомых новеньких матросов. Остальных доставили в константинопольский морской госпиталь.

Оказалось, что судно на полном ходу надвое перерезал американский эсминец. И, полагая, что мы турки, бросил нас в море без помощи.

12

– У меня уже голова идет кругом от этого калейдоскопа, – сказала Анечка. – А каково было пережить все это?

– Сейчас ты услышишь о расплате. А пока продолжаю.

– Кемалисты успели к тому времени захватить половину Турции, и Константинополь был забит беженцами. К ним прибавилось тысяч полтораста русских с женами и детьми. Десятки тысяч людей валялись на улицах, искать работу было бесполезно, тем более нам, не имеющим ни документов, ни поддержки каких-либо организаций.

Женька нанялся водолазом поднимать затонувшие суда. Течение в Босфоре мощное и быстрое, его воздуховодная трубка запуталась, и он задержался под водой дольше положенного. Когда сняли шлем и скафандр, то из горла, ушей и глаз потекла кровь. Дали премию. На эти деньги он купил на толчке чей-то американский паспорт и ушел в Соединенные Штаты. Я после нескольких рейсов угольщиком на огромном бразильском сухогрузе «Фарнаиба» потерял место и попал в ряды голодающих безработных, на самое дно великолепного города.

– Почему ты потерял место? – спросила Анечка.

– Мне удалось достать русский паспорт на испанскую фамилию. Но подвернулся безработный бразилец и меня выгнали.

– Значит без советских месткомов там живетсЯ неважно?

– Да, именно без советских. Но слушай дальше.

– Город Константинополь длинной полосой тянется вдоль пролива и разделен по длине двумя параллельными Босфору улицами – Пэра и Галата. Пэра, верхний город, – это светлый мир банков, посольств, богатых магазинов и нарядной публики; Галата – это торговая и портовая часть с шумной разноязычной толпой торговцев и моряков, воров и проституток. Между верхним и нижним городами тянутся ступенчатые улочки и переулки, где ютятся разврат и уголовщина. Каждый вечер с американских, английских, французских, итальянских и греческих судов высаживаются тысячи моряков и морских пехотинцев, – сытых, здоровых, с деньгами, распирающими карманы, – они жаждут удовольствий, и город, где все продается, им предлагает что угодно.

За доллар американский матрос мог почистить черной и красной ваксой лицо врангелевского офицера, за два доллара мог нанять его и заставить влезть на дерево и оттуда мочиться на головы прохожих. За три доллара можно было участвовать в тараканьих бегах, за пять – попасть в «гарем турецкого паши», где обнаженные жены русских офицеров картинно возлежали на коврах и предлагали гашиш или опий, – словом, предлагалось все, что спрашивалось, лишь бы хватило денег. А за полдоллара юркие посредники вели матросов и солдат на Тартуш, в квартал публичных домов и опасных вертепов.

– Почему опасных? – прервала Анечка.

– Это были игорные дома. Счастливым, которые много выигрывали, при выходе всаживали нож в спину и отбирали деньги.

– А труп?

– Швыряли к стене в поток мочи и помоев. Но я продолжаю.

– Эти ступенчатые улочки нелегко себе представить. На мокрых грязных ступенях лежат тысячи беженцев, копошатся дети, умирают старые, больные и раненые. Их потихоньку волочат вниз, на Галату, и подбрасывают там так, чтобы не заметила английская военная полиция.

Над лежащими беженцами пышно вьется по стене виноград и большие белые, розовые и голубые цветы. На уровне второго этажа, с которого на улицу из окон сливают нечистоты и выбрасывают мусор, от одной стены до другой перекинуты шесты и натянуты веревки. По ним вьется виноград и цветы попеременно с болтающимся выстиранным бельем и тысячами цветных электрических лампочек и пестрых национальных флажков. Это как бы невероятно цветистый, качающийся на ветру потолок, под которым, поэтому, полутемно, душно и сыро.

Справа и слева только публичные дома. Их окна велики, как витрины с подоконниками, на которых голые женщины, сидящие на скамеечках сзади, разложили груди разного цвета и всевозможных размеров и веса: каждый прохожий имеет право ощупать товар и договориться о цене. На всех языках мира женщины громко выкрикивают похабные фразы, заученные наизусть, приглашения, обещания, а то и просто набор отдельных понятных матросам слов. Руками и крючками они хватают прохожих за одежду, сдергивают с голов и прячут к себе их бескозырки, фуражки и кепки и делают жесты, объясняющие любому неграмотному цель и смысл их ремесла.

Эти улочки – кратчайшие пути между Пэрой и Галатой, и поэтому неудивительно, что иногда в этой пестрой толпе появляются торопливо прыгающие по ступеням монахи или чопорные дамы. Тогда все приходит в движение – справа и слева высовываются из окон сотни ревущих животных, под огромными гроздьями винограда, дранными кальсонами и патриотическими флажками повисает зловонное облако похабных оскорблений. И в довершение всему турецкое правительство для увеселения господ иностранцев посылает туда шарманщиков: один человек, сгорбившись от натуги, со стоном волочит на спине огромное сооружение типа церковного органа, а другой в поте лица накручивает тяжелую ручку. Орган ревет, как тысяча ишаков. Это совершенное безумие, все кажется или талантливой инсценировкой или исчадием ада – скачущая по ступеням толпа, качающиеся яркие лампочки, дикая, оглушительная смесь звуков и запахов, кривляющиеся синие, желтые и черные голые женщины.

Иногда вдруг вспыхивает яростный бой между американцами и англичанами или между белыми и неграми. Бьют друг друга обломками мебели и режут бритвами. Кровь течет ручьем по ступеням и брызжет на стены. Это разрядка нервов для одних и бесплатное зрелище для других.

В жизни я немало видел патриотов и патриоток. Но, думая о них, я всегда с невольной улыбкой и теплой благодарностью вспоминаю рыжую длинноносую еврейку из Одессы, мадам Розу Лейзер: в ее публичном доме на втором этаже находился пустой зал, и в нем она позволяла спать на полу безработным русским морякам. Достаточно было моряку сказать Розе, что он русский, и кров на ночь ему обеспечен! А полиция ночью на Тартуш заходить не решалась...

«Фарнаиба» ходила в Александрию и дальше, через Красное море, – до Джибути. Дело было летом, Красное море – это почти полюс жары на земле, работа угольщика – подавать уголь к топкам – тяжелейшая на море. Выбравшись из физического ада, я осел в ад другого сорта. Я был уже тогда психически болен, и мне все представлялось как пляска в огненном зловонном тумане: я понимал, что падаю в пропасть.

От скуки и голода матросы ножами проковыряли в полу дыры в каждую кабинку и сверху наблюдали за ходом дела внизу. Женщина в маленькой кабинке садилась поперек кровати и голыми ногами упиралась в дверные боковины; поэтому входивший мужчина не мог заблудиться. Когда по движениям его затылка наблюдающие сверху решали, что любов-

ный накал достиг апогея, посетителю по очереди мочились на голову. Заплатив деньги, он не мог остановиться, но затем бежал искать лестницу вверх. Его уже ждали и с грохотом спускали вниз головой. Да так, что дом ходил ходуном, и мадам Роза кричала, что ей навсегда испорчен гешефт.

Днем женщины чинили нам куртки и штопали носки. Затеявшись в этом аду, я незаметно умер бы с голода, если бы иногда, на день-два, не подворачивалась работа. Ее я получал на бирже труда, нагло выдавая себя за специалиста, который в данный момент требовался. На работе ел за десятирых и воровал еду, потом меня выгоняли, и, раздувшись от переедания, я брел к мадам Розе отлеживаться и переваривать добычу.

Я работал штукатуром у Вертинского на оформлении его кабаре, стоял у плиты поваром во французском ресторане Дорэ (я выдал себя за повара русского великого князя) и даже один раз «ремонтировал» огромные грузовики на английской базе: там платили по субботам и хорошо кормили всю неделю. Я разобрал мотор, вычистил части и, не умея собрать, сложил всю мелочь в цилиндры, но дотянуть до полочки не смог. За половину лиры в день отбивал ракушки в доке и там же пожирал шашлык из собачьего мяса. Чуть не поступил во французский Иностранный легион. Сашка Великий – мой товарищ по анапской гимназии – несколько раз записывался и получал одеяло и шинель, продавал их на толкучке за мечтью Меджидие и, к моей зависти, жил неплохо. Но потом французы нашли дыру в изгороди из колючей проволоки, через которую он выбирался с добычей. Сашка полез в другом месте, но напоролся на охрану, и сенегальский стрелок всадил ему штык в спину. Легионера из меня не получилось...

– Знаешь, деточка, я повторяю: от твоего рассказа у меня уже закружилась голова, – сказала Анечка. – Это черт знает что такое.

– Сейчас все кончится, – успокоил я. – Подожди еще немного.

– Однажды я выполз на Галату в поисках работы и натолкнулся на трех прилично одетых молодых людей, шедших с двумя скромными миловидными девушками. Я угрюмо шаркнулся в сторону, но один из молодых людей закричал:

– Боже, ты, Димка? И в таком виде? Познакомься – княжна Нина Чавчавадзе и графиня Елена Толстая, а это – гардемарины Долгов и Автократов!

Говоривший был друг моего детства, Гришка Георгиев, петербургский гардемарин.

- Что ты делаешь?
- Ничего.
- Вижу. Поступай к нам!
- Куда?
- В колледж!

Я был принят на следующий день. Чистить меня и мыть поручили пожилым женщинам-прислужницам. Из объятий мадам Розы Лейзер волею судьбы я попал в объятия княгини Долгорукой, княгини Трубецкой и княгини Чавчавадзе.

– Ну вот, это здорово! Наконец-то! – улыбнулась Анечка и пожала мне руку.

Я был принят в последний, выпускной класс.

Учиться оказалось настолько легко, что я даже не запомнил классных комнат, хотя окончил колледж на одни «отлично»: да, старая русская гимназия давала ученикам хорошую подготовку.

Вместо парт мы сидели по трое за длинными столиками. Моими соседями оказались пухлый надменный барон Клодт фон Юргенау и беленькое воздушное существо – граф фон дер Пален. Я их подавлял своей живостью, образованностью и жизненным опытом, к тому же меня вечно ставили им в пример, и рисовал я не хуже Клодта. Поэтому оба злились, боялись меня как огня и полностью со мной рассчитались, когда несколько месяцев спустя у меня начался тяжелейший психоз и я стал беззащитным, как тумба. Много позднее с графом мы встретились в Конго, и я его описал в повести «Цепи и нити».

Зима пролетела быстро, и я помню только осенние теплые дни и наши обеды во дворе. Здание было расположено на крутом склоне, и двор представлял собою несколько террас, обсаженных тенистыми фиговыми и айвовыми деревьями. Террасы посредине сообщались каменной лестницей, по обеим сторонам которой стояли накрытые белыми, сильно накрахмаленными скатертями, хорошо сервированные столы.

Выбежав из спальных или классных комнат, мы гурьбой скакали вверх и с шумом рассаживались за столами. Потом воцарялось чинное молчание. За нашими спинами становились три подавальщицы, названные выше княгини. Все в ожидании смотрели вниз. Тогда из двери появлялись два помощника повара в белых высоких колпаках, белых кителях и серых, в клеточку, брючках, с салфетками и разливными ложками в руках. Они вдвоем тащили огромную кастрюлю, потом другую, третью, четвертую.

Оба повара были остзейскими баронами – Левис оф Менар и Багге оф Боо. Бароны, пытая и чертыхаясь, тащили одну кастрюлю за другой на середину террасы, лихо взмахивали ложками и начинали раздачу; княгини, пытая и тоже чертыхаясь, разносили тарелки.

Блюдо к завтраку всегда было одно и то же – запеченная с яйцами консервированная американская тушенка и рисовая каша на сгущенном молоке, политая сверху свежим вареньем из инжира, апельсинов и лимонов; к этому каждый получал большую кружку какао. Обеды и ужины выглядели соответственно, то есть по-американски.

Пятна света и тени казались золотыми и голубыми, морской воздух был свеж и мягок, розовые молодые люди в белом вели себя подчеркнуто церемонно, и я сидел среди них, не веря, что совсем рядом, двумя улицами книзу и чуть влево, свирепо рычит Галата и хохочет Тартуш. Опустив глаза на накрахмаленную скатерть и лежащие на них мои розовые пальцы, я видел борт нашей шлюпки и синие от холода тонкие пальцы молодой матери и весло Кочи-татарина, дробящее ей кости... Ее глаза, полные любви и скорби... Ее улыбающийся рот, который вижу уже через синюю холодную воду... Я чувствовал, что прошлое цепко держит меня за шиворот и не хочет отпустить на свободу.

Но вначале я еще пытался сопротивляться.

Девушек поместили на втором этаже, и моя одноклассница, рыжая, конопатая и зеленоглазая баронесса Ловиза в полночь раздевалась донага и все верхнее и нижнее платье складывала под покрывало в форме человеческой фигуры, а сама из окна спускалась вниз, ко мне и Гришке. Она ловко ползла по стене, держась за крючковатые стволы и синие гроздья старого винограда, а в зубах у нее болтался шелковый платочек. Мы ее ожидали с маленькими фунтиками миндаля в жженом сахаре и сгорали от любви, страсти и нетерпения. Спустившись, Ловиза опускала платочек к рыжему пушку между ног и говорила шепотом: «Держите за кончики!» Лязгая зубами от ярости и ревности, мы, как два ощерившихся волка, глазами рвали друг друга на куски, но держали платочек, а она тем временем быстро щелкала миндаль.

Когда все было съедено, она по-английски говорила: «Спасибо, мальчики!» – брала кончик платка в зубы и лезла обратно вверх, легкая, тонкая и голубая, как ангел. Но даже в те мгновения, помимо воли, я уже видел ее – молодую мать, медленно уходящую под воду.

После окончания занятий нам выдали дипломы бакалавров и отправили в Эрен-киой, отдыхать на роскошную виллу турецкого генерала, сбежавшего к кемалистам. Мы лежали на паркетном полу в зале, стены которого были обтянуты голубым тисненым французским шелком. Вот тогда и случилось то, что было заложено во мне бабушкой Осой и матерью: скрытая психическая болезнь приняла явные формы. Я перестал говорить и двигаться и сидел, свесив голову на грудь. Все слышал и понимал, но не мог заставить себя двигаться и говорить. Внутри все разрывалось от нестерпимой боли. Бредовых представлений не было, но я очутился во власти одного навязчивого представления – молодой матери, которая подплывает к нашей перегруженной беженцами шлюпке, втискивает меж чужих ног своего ребенка и потом тонет у всех на глазах, счастливо улыбаясь и глядя на меня из-под воды лучезарными глазами.

Я не мог сбросить с себя это видение. Мой новый друг, Котя Юревич, водил меня под руку к морю, я сидел на камне и смотрел на большого орла, который прилетал туда купаться и сушиться: орел, широко распахнув крылья и гордо закинув хищную голову, стоял на торчавшем из воды камне, как отлитая из бронзы статуя победы, а я, бессильно уронив голову на грудь, сидел на берегу, как символ поражения. Но мне было все равно.

Когда похолодало, нас привезли в Чехословакию и устроили в высшие учебные заведения.

Анечка перевела дух.

– И кончился, наконец, этот жуткий период твоей жизни? Всё хорошо, что хорошо кончается, правда?

Но я ничего не ответил: лгать не было сил, но и сказать правду я тоже тогда не решился.

– Ты что делаешь? Тише! Не шевелись!

– Сбрасываю ногами наше прикрытие. Вставай, Анечка! Фуркулицы уже нет, проверка кончилась!

13

Ещё с порога Гальяк замахала руками.

– Скорей к начальнику! Он ждёт!

Пожилой начальник МСЧ, лейтенант Шевченко, кадровый служака из армейских фельдшеров, грузный, квадратный, сидел развалившись в кресле и, одобрительно улыбаясь, смотрел на свой портрет моего изготовления.

– Садитесь, доктор. Не налюбуюсь на вашу работу. Жена хвалит, ну и всё начальство, конечно, – Веретов, Трушенков. Сходство, говорят, самое точное: на каждой пуговичке звёздочки штампованные видны, портупея и погоны, как живые! Угодили, доктор! Ну и вот, возьмите, – жена присылает.

Начальник протянул мне завёрнутые в газету четыре яйца.

– Варёные! И заботиться не надо! Ешьте на здоровье!

– Спасибо, гражданин начальник!

Я вышел довольный. В последнее время рисунки давали мне постоянный доход. На первое мая меня, как опасного террориста, притащили по общему положению в изолятор в качестве предупредительной меры – ведь я могу в этот день что-нибудь устроить! – но вместо того чтобы сунуть в клоповник, старенький начальник изолятора усадил меня за стол и протянул лист бумаги с карандашом.

Часов до трёх я работал, а потом он налил мне из кринки брагу и протянул кусок свинины. Мы пили за пролетарский праздник, чокались и курили так долго, пока меня развезло. Я окосел так, что не мог подняться и пошевелить языком. Начальник дал мне двух самоохранников, и они под руки потащили меня вдоль забора в зону, навстречу пьяным бесконвойникам, которых другие самоохранники волокли в изолятор за праздничное нетрезвое состояние.

За работу в мастерской игрушек Бульский посылал то соленую рыбу, то картофель. Работать портретистом для начальников, кроме Бульского, было легко – самым тщательным образом отрисуешь форму и ордена, и готово: на лица они не обращали внимания. Я так обнаглел, что в центре рисунка Шевченко поместил ордена, а верх лица, его низкий лоб, совершенно убрал и начальник даже не заметил этой потери. Теперь, зажав в руках пакетик, я гордо шагал к Анечке, мне было приятно хоть чем-нибудь участвовать в улучшении стола, – ведь посылки из дома получала только она.

За ужином говорили о побеге каторжан: для старых контриков это было непостижимо – они все считали себя советскими людьми, и бросить открытый вызов начальству не только не смели, но не могли и не хотели. Их воля была парализована мировоззрением. А после войны в лагере появились новые люди, открытые враги, смело заявлявшие об этом всем и каждому. Нам казалось это странным и жутким. Мысль о том, что беглые каторжники с оружием в руках прокладывают себе путь к китайской границе, всех волновала, и мы в сотый раз повторяли себе скупые подробности побега и убийства стрел-

ков и свои догадки относительно исхода их ошеломляющего предприятия. Поведение арестованных стрелков никто не осуждал и никто в зоне не удивился, что они попрятались в кусты.

Мы так заговорились, что опоздали к началу спектакля в клубе. Когда, наконец, собрались, явился Плотников и в окно крикнул:

– Доктора Быстролётова к цензору! Явиться на вахту через час!

Я был очень рад, что старший надзиратель пришёл за мной при всех и открыто. Я нарочно всем рассказывал о таких вызовах, чтобы у товарищей не возникло подозрение, что я стукач и бегаю к оперу с доносами. Но все знали, что в зоне я один знаю «все языки на свете», и верили мне, хотя, может, и побаивались. Для закрепления эффекта я частенько рассказывал о своей работе на Лубянке в ИНО ГУГБ и этим заставлял придерживаться неосторожные язычки: это же спасало от попытки опера действительно превратить меня в своего осведомителя.

В клуб мы пришли к середине пьесы. Шла «Тётка Чарлея» с отцом Николаем в роли тётушки. Ему сшили юбку и блузку по моему рисунку, а на голову из Мариинска привезли настоящий дамский парик. Играл отец Николай великолепно: это была едкая пародия на английскую леди, и когда он, гордо закинув голову, срывающимся от возмущения голосом крикнул:

– Здесь только одна девушка, и эта девушка – я! – то зал дрожал от хохота.

– И всё же мне непонятно, как наши старушки могут ему верить? Как они не видят, что отец Николай – противоположность всякой вере? – спросила Анечка, когда мы вышли.

– Всякое горячее чувство – слепое, – философски ответил я, когда мы подошли к вахте.

– Значит ты не любишь меня?

– Люблю. Но любовью холодной, как железо.

– Ты – страшный человек.

– Ты сегодня в третий раз повторяешь эту фразу. Я не обижаюсь: ты не понимаешь, что я человек страшного времени.

– Разговорчики отставить! – сказал надзиратель, выйдя из сторожки. – Шаг вперёд! Говорите данные!

«Хитрый домик», то есть Оперчекчасть, находился недалеко от вахты. Пока опером был Долинский, домик казался заключённым проклятым гнездом. Но Долинского уже не было. После него в конце войны опером работал всегда пьяный кав-

казец, весёлый фронтовик. Он отличился тем, что, во-первых, чуть не застрелил начальника лагпункта, приняв его за крадущегося из зоны заключённого, а во-вторых, будучи пьяным, заснул в огороде у врача Носовой. Утром встал и ушёл, забыв в грязи портфель с секретными документами. Делами он не занимался и заключённых не притеснял. Его скоро убрали.

Теперьшний опер, высокий, бледный капитан, израненный в боях, в зоне вообще не появлялся.

Когда цензор, хромой старичок, бывший судья, усадил меня перед грудой писем и стаканом крепкого чая сказал: «Ну, работайте!» – и вышел, то в комнату неожиданно вошёл опер. Я встал. Он присел на край стола.

– Садитесь, доктор. Сколько языков знаете? – он говорил, морщась от боли и оглаживая простреленную ногу. – Здорово! А я вот ни одного. Значит – неспособный.

Опер протянул мне портсигар и чиркнул спичкой. Мы задымили молча. Вдруг он встал. Я вытянулся.

– Я уезжаю из Сибири. Надоело. Эта работа не по мне. Я строевой офицер, а не полицейский. Еду к себе на Украину добивать банды. После войны их там много.

Он помолчал. Мы стояли, вытянувшись друг против друга.

Вдруг резким прямым движением он протянул мне руку:

– Держитесь до конца, доктор! Я прочитал ваше дело. Вы молодец. Скоро всё переменится. Нельзя, чтоб так долго оставалось по-прежнему. Держитесь! Вы скоро будете на свободе! Ну, желаю наилучшего!

До боли крепко стиснул мою руку, резко повернулся и, волоча ногу, вышел.

Я прочёл несколько немецких писем и два английских – из Израиля и Соединенных Штатов. Когда за дверью начался громкий резкий разговор, я прислушался. Оказалось, что бывший бакинский министр Багирбеков, теперь наш лагерный завхоз, попросил у своего земляка, заведующего кухней Мамедова, две больничные котлетки, которые тот должен был раздать к обеду. Мамедов дал, и Багирбеков побежал с ними к оперу, неся котлеты на тарелочке в доказательство преступления Мамедова. А тот по другой дороге побежал туда же, чтобы донести на Багирбекова. Оба прохвоста столкнулись в дверях, и их крикливую ругань я хорошо слышал через двери.

Позднее пискнул знакомый сценический тенорок, и голос опера прогремел:

– Скажите попу, что я занят! Покоя от всех этих тварей нет!

«Да, времена Долинского прошли», — думал я, улыбаясь.

Выпил чай, расписался в ведомости и вышел в коридор. Стрелок повел меня в зону.

Но в темноте мы наскочили на Плотникова.

— Ты, Захаров? Доктора Быстролётова ведёшь? Стой, поворачивай обратно, а я беру его в клуб. Бульский распорядился, чтобы он сегодня ночью работал не в зоне, там уже сидит один заключённый, они к утру должны закончить расписывать стены. Понял, Захаров? Иди!

Вторым оказался бывший латышский эсэсовец Шарон, сын владельца лучшего в Риге кафе. Шарон умел хорошо расписывать стены пульверизатором — у него получались красивые сочетания красок и оригинальные узоры, напоминавшие дорогой ковер.

— Вы присматривайте за Шароном, доктор, а я пойду: он всё-таки эсэсовец, а вы — наш советский человек. Ну, дадите указания, если надо, но в основном пусть работает он, а вы больше сидите в этом кресле, я его поставлю в самых дверях, поняли?

Шарон уже развёл несколько колеров в мисках и возился с пульверизатором. Пошёл дождь, стало душно. Он сбросил гимнастёрку и нательную рубашу. Лампочка светила ярко, и из своего кресла я видел его потное плечо и голубую наколку на нём — группу крови, священную метку этой гвардии фюрера.

Потом опять появился Плотников.

— Доктор, здесь к нашей врачихе Наталии Алексеевне прилетал муж, он всю войну водил из Америки самолёты. Здесь бросил вот эту пачку сигар и журналы. Красивые, но непонятные. Вы, однако, разберётесь, а сигары, на наш вкус, вроде отвратные, вонючие и горькие, но за границей, говорят, они в цене. Попробуйте, вот спички. На ночь хватит и курева, и чтения! Ну, пока!

В дверях он остановился. Подумал. Нерешительно вернулся. Шёпотом начал:

— Тут одно дельце... Да... я... гм... Ну, словом, если что, крикните в окно — рядом стрелок залёг в секрете — он вмиг будет здесь. Предупреждён мною, поняли?

Однако дальше двери он опять не ушёл. Постоял. Опустил голову. Мелкими шажками подошёл ко мне.

— Доктор, я... гм... я... гм...

Собрался с силами и выпалил:

— Бульский прислал вам рыбу горбушу за работу в мастерской игрушек, а я эту рыбу... съел.

Он скривился, как от боли.

– У меня пятеро детей, доктор. Жена не работает – всё болеет и болеет. Вы же сами знаете. Живём хуже собак, Анна Михайловна, – видели сами. Так я детям занёс эту рыбу. Сам не ел, конечно.

Я молча пожал ему руку.

• 14

Непогода разогнала людей. Скоро живые летние разговоры в темноте за окном стихли, и, сидя в глубоком кресле, я слышал только ровное шуршание дождя, паровозные гудки с недалёкой станции, стук колес проходящих поездов и крики часовых на лагерных вышках. Изредка оборачивался и видел прилежно работавшего эсэсовца, его плечо с гитлеровским клеймом. Всё было спокойно.

Настала ночь.

Я положил ноги на стул, зажёл сигару и стал жадно перелистывать давно знакомые журналы. Под шуршание тёплого дождя я читал их как когда-то, сидя также в глубоком кресле и тоже с сигарой в зубах, в Нью-Йорке. Всё повторилось. Всё было очень похоже. Прибавились только крики часовых.

И я опустил журналы на колени. Кончается девятый год заключения. Мать и жена убиты на воле. А я в заключении – жив. Сажу с сигарой в мягком кресле и слушаю стук колес проходящих поездов. Я вынес всё, что мне было положено судьбой, и вынесу ещё много другого. Я – сильный. Нет, просто тренированный: то, что мне пришлось видеть в лагерях, – не самое страшное в моей жизни и уж во всяком случае не самое для меня новое. Пережитое раньше хорошо подготовило меня к лагерю и одновременно посадило меня сюда.

Сегодня у меня не хватило духа закончить Анечке рассказ. Пусть... Когда-нибудь доскажу...

И с болью в сердце, вероятно, скривив лицо, как Плотников, я вспомнил окончание своей истории.

Наступление нервно-психического криза было обусловлено чрезвычайно тяжёлым грузом неосвоенных сознанием впечатлений, которые накапливались с юношеского возраста, а роль куркового механизма сыграло внезапное наступление отдыха, помноженного на резкое изменение питания и других условий существования. Заданный жизненный ритм оборвался, и психика стала работать вхолостую, бурно перемалывая

впечатления пережитого, — они навалились на сознание, как лавина, и раздавили его.

Я успел сдать экзамены и впал в состояние замкнутости и погружения в себя: связи с внешним миром почти оборвались, я стал нуждаться в посторонней помощи. Внутри меня все рыдало и разрывалось от страдания, для себя самого оформленное как воспоминание о тонущей матери.

Но потом нас погрузили в вагоны и привезли в Чехословакию. Поток свежих впечатлений возобновился и стал вытеснять из сознания образы, навязанные принудительным мышлением. Я опять начал двигаться, говорить, и все считали меня выздоровевшим. Но я был болен, и психика только ждала нового сильного впечатления, которое могло бы опять спустить курок. Таким впечатлением явились письма матери с описанием голода в России.

Психопаты — энергичнейшие люди!

Я продал свою одежду, купил старую рабочую робу, синюю кепку и грубые ботинки и на последние деньги отправился в Берлин. Явился к советскому морскому атташе и рассказал ему о бегстве из Крыма от белых. Получил направление в Альтдамм и оттуда вместе с тысячей бывших царских военнопленных, украинских крестьян из Аргентины и разных сомнительных личностей, вроде меня самого, был направлен в Себеж, в фильтрационный лагерь. Удачно прошёл проверку ЧК, был направлен в Кронштадт на флот, оттуда в Севастополь, там демобилизовался и по этапу доставлен в Новороссийск и, наконец, без денег и документов выброшен на улицу. Пешком добрался к матери.

Мать работала делопроизводителем в сельсовете. Она сурово выругала меня за приезд, который назвала глупым, бессмысленным и преступным; помочь ей я не мог, но сам потерял возможность учиться. Моё место, горячо твердила она, в России, но только в качестве полезного стране человека. Пора кончать скитания, надо устраиваться на определённом жизненном поприще, надо учиться и ещё раз учиться.

Она рассказала, что после моего исчезновения из Анапы и Новороссийска к ней постучались как-то утром два матроса. Одного из них, с усами, она заметила на даче Николенко, где помещалась ЧК (мы когда-то жили рядом, и мать ходила за рыбой к бывшему хозяину). Матросы попросили накормить их, говоря, что идут издалека. Мать приветливо усадила их и подала чай и борщ — всё, что было. Усатый хотел было начать креститься перед едой, но увидел, что иконы нет. «Я неверу-

ющая, садись, браток», – успокоила его мать. Усатый завел речь о том, что он, мол, служил у белых вместе со мной и пришёл узнать, нет ли у матери моего адреса. Мать резко оборвала его, закричав, что у белых я не служил и что всё это какое-то недоразумение. Матросы переглянулись, поели и ушли, а, перейдя площадь, постучались к станичному священнику. Тот им ответил: «Идите в совет, у меня не проходной двор». В ту же ночь они арестовали его и за станцией расстреляли.

Рассказав эту историю, мать отдала мне последний кусок хлеба и сала и проводила за станицу. Я пошёл по дороге, но потом вернулся и выглянул из-за куста, думая, что мать ещё стоит и машет мне рукой. Но она лежала на траве, и тело её сотрясилось от рыданий. Я побрёл в Новороссийск. Работы нигде не было. Еле-еле сел на пароходик, шедший до Батуми. В каждом порту искал работу и не находил. Ночью слушал разговоры комсомольцев о том, что стране нужны специалисты и какая хорошая будет когда-нибудь у нас жизнь. В Батуми работы не было. На рейде опять стоял итальянский лайнер. Я не ел третьи сутки, но не замечал этого. Мысли мои были в Чехословакии, в светлых и радостных аудиториях, которые я бросил неизвестно почему. Гневные слова матери и мечты вслух комсомольцев не давали мне покоя. Я был внуком Осы. Всё во мне напряглось для прыжка.

И я прыгнул.

Подожёл к итальянскому моряку и по-французски попросил сигарету. Он одну сунул себе в рот, а пачку, в которой осталось ещё две, подал мне. Зажёг свою сигарету и полупустую коробочку тоже сунул мне. Я вынул сигарету изо рта и бережно положил её в пачку. На пристани нашёл брошенную итальянскую газету. Разгладил её, сложил и сунул в карман так, чтобы хорошо видно было заглавие. Подождал, пока с лайнера подали баркас. Тогда сжал зубы и, как тигр, бьющий себя хвостом по бокам, ринулся вперёд, прямо на оцепление чекистов.

Я шёл медленно, по самому краю пристани, останавливаясь и сплевывая в воду. Потом, сунув руки в карманы, двинулся к баркасу.

– Документы? – сказал пожилой человек в кожаной куртке и фуражке, с наганом у пояса.

– Это итальянец, видишь, какая у него газета, – вмешался другой.

Я приветливо улыбнулся.

– Чигаретти? Прэго, синьоре, прэго!

Вытащил пачку, взял себе ту самую сигарету, которую уже держал во рту, зажёл, а коробочку вместе с пачкой и оставшейся сигаретой сунул в протянутую для документов руку.

Чекист замялся.

– Я ж говорил, что это итальянец! Оставь докурить, слышь ты!

Дымя сигаретой, я прыгнул в баркас. Смерть, так много раз до и после этого, прошла совсем рядом, я чувствовал на своём лице её леденящее дыхание.

Как матросы зайцами ездят на судах, читатель этих воспоминаний может узнать из книги «Залог бессмертия». Это не каждому дано вынести. Константинополь доживал последние дни: триста кемалистских жандармов уже прибыло в город – их внесла на плечах обезумевшая от восторга толпа турок. Рождался Стамбул. Иностранцы – колонизаторы, торговцы, спекулянты – в панике бежали. Во взвинченной истерическим страхом толпе я сумел пробиться к столу консульского чиновника и получил визу. До этого на лайнере я прятался в вытяжном колодце-кочегарки и ночью крысы съели на мне кепку и куртку. По приезде какая-то богатая дама подарила мне свой купальный костюм, так что вид у меня был не совсем обычный. На всех балканских границах, услышав окрик «Ваши вещи!», я предъявлял огрызок карандаша, и таможенники и жандармы с удивлением смотрели на истощённого голодом парня в дамском купальном костюме, выглядывавшем из дырявых матросских штанов.

В Брно Юревич и другие друзья собрали мне кто рубаху, кто галстук, кто кепку. Я явился в Прагу, устроился могильщиком на кладбище и стал учиться.

Потом начал карабкаться наверх.

Работал в торгпредстве и полпредстве. Поступил в разведку и ушел в подполье. За границей прожил восемнадцать лет.

Пора подводить итог.

Всё, что при Советской власти я замечал хорошего, никогда не фиксировалось в моём сознании. Сознательно я замечал только плохое, потому что оно больнее, оно обжигало, оно втыкалось в тело.

Но хорошее оставалось и жило в подсознании. И когда опять началась полоса отдыха, то, поболев несколько месяцев прежним своим недугом, я переборол его и стал не только хорошим студентом, но и яростным борцом: люди в котелках с «Преподобного Сергия» также гнали меня вперед, как кон-

церы для рабочих в Одессе, – дурное и хорошее не только всплыло в памяти, но и получило разумную оценку. Я стал коммунистом не потому, что хотел получить красную книжечку и продвинуться по службе, а для того, чтобы бороться за правду вместе со своими единомышленниками: убеждения мне вколотила в голову сама жизнь. Маркса и Ленина я стал читать позднее, а агиток не читал никогда: они мне были не нужны. Я стал руководить Союзом советских студентов в Чехословакии, потом работать в Торгпредстве и Полпредстве и, наконец, вошёл в подпольную разведывательную группу. Эти этапы не были причиной становления мировоззрения, но его естественным и закономерным последствием.

В подполье я ни одного дня не сидел в тылу, но всегда рвался в первую линию борьбы. Сотни раз рисковал собой. Был награжден.

Меня арестовали совсем не потому, что я сын графа Александра Николаевича Толстого, и не потому, что когда-то, после окончания гражданской войны уехал за рубеж учиться без разрешения, хотя тогда оно свободно давалось в Закарпатье всем желающим. Об отце в анкетах я не писал ничего – ведь он лично не участвовал в формировании моего мировоззрения, а о побеге писал во всех анкетах и сразу же заявил на следствии после ареста. Но мне всегда отвечали: «Знаем. Это пустяки. Не своди следствие к чепухе. Признавайся в терроре и шпионаже». Почему? А был арестован потому, что имел несчастье работать среди партийных людей, подлежащих уничтожению в ходе внутрипартийной борьбы. Уходя в могилу, они потащили меня за колючую проволоку.

Ну-с, и что же дальше? В чём вывод, временный, как и все выводы в наше трудное, грозное и великолепное время?

Я сижу в кресле, на коленях у меня лежит кipa американских журналов, во рту дымится сигара. А налево, сквозь мрак дождливой летней ночи, я слышу мерный грохот идущих поездов. Я уже на воле, вне лагерной изгороди.

Но я отвергаю эту волю.

Я страстно хочу свободы думать и говорить, свободы писать и работать. Твердыми руками, до самой последней минуты жизни, я буду упорно вить шёлковую нить, ведущую меня в просторы творчества. Я – советский человек и **не могу** никогда и ни при каких обстоятельствах сделать что-либо во вред народу и горячо любимой Родине. Шёлковая нить – это советская нить!

Но я уже не добровольный раб.

С умственным и душевным рабством кончено. Я свободен: на десятом году заключения перестал, наконец, отождествлять моих палачей с Родиной.

В российской истории повторяются периоды, когда для порядочного русского человека в России место только в тюрьме. Что ж, делать нечего, — сейчас именно такое время. Я — на своём месте.

Положив руку с сигарой на ручку кресла, я повернулся и стал пристально разглядывать гитлеровское клеймо на плече работающего под моим присмотром пленного эсэсовца. Он — одно, я — другое. За окном, под струями дождя, притаился в придорожных кустах советский солдат. Мой кровный брат. Пусть только сунется к дверям господин Шарон — один мой короткий крик, и фашист будет схвачен. Мы оба заключённые, но пути у нас разные.

Я вспомнил Норильск и первый год моего заключения. Летом, в благоприятный для побега сезон, волею случая я очутился один в тундре с запасом пищи достаточным для того, чтобы добраться до Дудинки и иностранного судна. Но я тогда вернулся в лагерь. Добровольно? Нет. Я знал, что побег неизбежно означает переход на другую сторону политической баррикады, и остался как патриот своей Родины. Оставшись заключённым, я хотел строить Норильск и его завод, потому что считал их своими. В какой-то мере я шёл по пути другого заключённого, бывшего комдива Павлова, который утверждал: что, где и как строить — ему всё равно, лишь бы строить — на воле генералом или за проволокой белым негром.

Теперь я принципиально отвергаю это положение. Павлов ошибался. Мы служим не заводам, а народу, и не можем быть добровольными слугами его поработителей. Павловы — идеальный человеческий материал для Джугашвили, Берия, Багирова и других вырожденцев, пробравшихся к власти: строя заводы, покорные Павловы укрепляют поработителей, отказываясь от свободы они совершают тягчайшее преступление против того, во что они, якобы, верят. Делаются молчаливыми сообщниками уголовников.

Отныне я не сообщник.

В Норильске я не мог бежать, в Суслово я не хочу.

Когда кончится эта ночь и взойдёт солнце, Шарон и я пойдем обратно в загон, но гитлеровец, скрежеща зубами, опустит голову, потому что лагерь для него — заключение, а я, улыбаясь, подниму её к небу, ибо за проволокой пока что лежит единственно свободный для меня клочок советской земли.

Послесловие

В настоящей книге воспоминаний я дал подробную и безыскусную хронику происшествий четырёх дней, пытаюсь через них нарисовать картину лагерного быта четырёх лет, – для этого подобрал материал, внутренне уравновешенный и наиболее показательный. Моё повествование – честная работа: я искренне старался быть правдивым и объективным. Более того, желая всемерно приблизить текст к языку неторопливого рассказа очевидца, я сознательно отказался от литературной обработки и усложнения формы и от экскурсов в область психологизации характеров: здесь описываются только внешние бесспорные факты, а как и чем они мотивировались в сознании действующих лиц, может вскрыть только писатель, а я – лишь мемуарист. Это не моё дело. Я пошел в этой книге еще дальше и думаю продолжать писать в этой манере и впредь: черновую рукопись сдаю машинистке без повторной переписки, допустив лишь минимальное исправление фраз в целях их наибольшей понятности.

Эта книга поэтому – перепечатанный черновик или, другими словами, записанный на бумаге устный рассказ.

Как всегда, я не описываю работу заключённых: они работали в Суслово рядом с вольняшками и выполняли обычные нормы. Качество работы у тех и других было низким, организация труда – скверная. Заключённые работали на два часа больше, чем вольные. В этом и вся разница.

Однако я не пропустил ничего специфического. Например, для времени голода и повальной смертности дал картину своей работы, но не ради самой работы и не ради себя, а для того, чтобы конкретней объяснить, что означал в лагере голод. По весьма сходным причинам описаны баня, БУР, зелёные любовные убежища, богослужение, лекция и споры после неё, любовные истории, даже процитированы оставшиеся в памяти стихи местных поэтов – словом, собрано и преподнесено читателю всё то хорошее и плохое, что, вместе взятое, придаёт необычайно пёстрый и яркий колорит рассказу о быте за колючей проволокой в наиболее страшные годы заключения – во время войны и непосредственно после её окончания.

Повторяю сказанное ранее: лагерная жизнь – это обычная жизнь, но в чрезвычайно сжатом виде. Вот и всё.

Пусть читатель на примере моей Анечки отметит себе ещё одну важную деталь: человек на протяжении нескольких лет

устраивается в лагере всё более и более удобно, даже такие непримиримые и упорные люди, как Анечка. Помогает этому сама лагерная система, с годами открывающая заключённым более широкие и устойчивые возможности: путь от инвалида через работягу к штабисту и бесконвойнику – это путь многих оставшихся в живых заключённых. Обратное направление маловероятно – бытовик, получивший бесконвойку в начале заключения, к его концу инвалидом не станет, а контрик бесконвойку получает лишь в конце срока.

Именно лагерь и лагерный быт является основной темой моего повествования, а ведущим героем – советские люди во всём многообразии их характеров и поведения. В этой книге показаны хорошие и плохие люди, в массе своей составляющие средний слой, характерный для населения загона. Необыкновенные характеры и ситуации намеренно исключены.

Но в каждой книге записок я беру какую-нибудь отдельную сторону лагерного быта и несколько выдвигаю её вперёд, отражая это прежде всего в заглавии. В этой книге я пишу о героических усилиях некоторых заключённых, занимавшихся творчеством, пытавшихся осмыслить то, что видят вокруг себя.

Я хорошо понимаю, что мировых шедевров бывшие студенты и типографские наборщики, разведчики и офицеры на свет не произвели, но сам факт творчества в невероятно тяжёлых условиях удивительно ярок и героичен, он показывает негибкость советского человека и заслуживает быть особо отмеченным: Шёлковая Нить была нашей гордостью и радостью, и я рад, что в Москве у меня на полке стоят мои скромные самодельные «издания»: Самиздат – всегда памятник и обвинение эпохи, мои обтрёпанные тетради – документы большого социального, политического и исторического значения.

Рассказывая о своей жизни, Анечка подчеркнула, что арест и уничтожение её семьи во времени совпали с наступлением внутренней зрелости и с достижением наивысшего личного счастья. Это же я слышал и от многих других заключённых, это же чувствовал и сам. Таким образом, партия и советская власть в лице Сталина и его приспешников уничтожали советских людей в момент их наибольшего духовного приближения к идее революции. Они действовали поэтому особенно контрреволюционно.

Если учесть массовость необоснованных репрессий, то можно понять, во что обошлась народу, партии и мировому

коммунистическому движению возникшая на XVIII съезде партии боязнь Сталина потерять власть и место у кормушки.

Я изложил историю Анечки, потому что она типична для русской и советской интеллигентки.

Теперь несколько слов о себе в порядке комментария к моей жизненной истории. Я рад, что по своему рождению оказался вне враждующих социальных классов и был свободен от присущих им предубеждений, страстей, ограниченности и крайностей. Рад, что с детства был ни богат, ни беден, не считал себя ни аристократом, ни человеком из народа: мне досталась прекрасная доля свободомыслящего, критически и внимательно ко всему присматривающегося интеллигента. Мой жизненный жребий дал мне относительную независимость мышления. Она позволяет несколько свысока смотреть на тех, кто слишком резко обнаруживает узкие рамки своей классовой принадлежности.

В константинопольском колледже у меня начался острый приступ аппендицита. Меня положили в маленькую пустую комнатку. Потом явилась служанка, княгиня Долгорукая, с трудом пропихнула в печь один большой кусок антрацита и стала спичкой поджигать его. Чиркнула десять и двадцать раз, потом чертыхнулась и сказала:

— Не понимаю, почему уголь не горит? Помню, в Петербурге прислуга зажигала камин в несколько минут!

Придавив кулаком невыносимо болевшее место и мысленно кляня беспомощность княгини, я сполз с постели и в два счёта зажёл печь. Ещё бы! Хо-хо! Ведь я был угольщиком с «Фарнаибы»! Я глядел на неловкую немолодую женщину, на её простое некрасивое лицо и думал: «Неужели это одна из тех, кому от бога суждено повелевать и управлять? Почему? За что? Неужели её предки, владетельные князья и Рюриковичи, были надменными повелителями, к которым восемь столетий назад нанялся в услужение литовский удалец Индрос со своей дружиной, тот самый дикарь и язычник, от которого потом пошёл известный род ретивых слуг и покорных исполнителей, моих предков Толстых?»

Когда однажды на кухне три княгини затеяли ссору, я слышал, как Долгорукая сказала Чавчавадзе о Трубецкой: «И она посмела мне сказать это? Мне?! Слава богу, я не какая-то там Трубецкая!» Какая-то... Как это было сказано! А что же она сказала бы о Толстых, на графском гербе которых красуется позорный и постыдный холуйский девиз: «Преданностью и усердием»? Как «Без лести предан» у графов Аракчеевых...

Тыфу! Я сгорал от стыда! Не гордый девиз немецкого фрайгерра, чешского или польского свободного пана вроде «Решительно и быстро», «Под огнём недвижимый» или «Только вперёд» – словом, не рыцарский девиз **вольного** человека, а пресмыкательские словечки придворного холопа. Свобода и независимость! Какие высокие и прекрасные слова!

«Нет, – шептал я себе тогда, сидя под инжирным деревом во дворе колледжа, – лучше быть Быстролётовым. А принадлежность к роду известных поэтов и писателей меня самого не делает талантливей – нужно **самому** творить и творить **хорошо**, чтобы сравнение с Львом Николаевичем, Алексеем Константиновичем или Алексеем Николаевичем не звучало бы как насмешка. А родственные связи... Чёрт их побери! Как европеец – я родственник Гёте и Байрону, как человек – царю Навуходоноссору и фараону Хеопсу!»

В девятнадцатом году я видел, как в Анапе местные дамы утирали слезы, когда мимо проходила худенькая, измятая жизнью женщина с подростком, который на верёвочке нёс бутылку керосина. «Кшесинская! Сын Николая Второго...» – слышался умилённый и благоговейный шёпот. Все улыбались и усиленно сморкались. Кроме меня. Я глядел на внебрачного сына императора без жалости и без почтения: «Я теперь, по крайней мере, хоть узаконен... И на нашем сторожевом катере могу получать керосин, не меряя его бутылкой...»

Нет, нет, я рад, что родился таким, каким родился, а что касается тринадцати лет работы в разведке, то это в конце-концов только доказательства моей душевной силы, чистосердечия и доверчивости.

Простодушный дурак – это да, конечно, но во всяком случае – честный дурак.

Однако в Суслово я просидел не четыре, а почти пять лет – до зимы сорок седьмого года. Эти месяцы были временем перемен, тревог за будущее и распада нашего маленького кружка: занавес медленно опускался, сцена пустела, актёры и зрители уходили или готовились уйти, – наступил час театрального разъезда. Вот поэтому в своём послесловии я должен досказать недосказанное, чтобы читатель узнал дальнейшие судьбы людей, о которых я говорил выше.

Однажды зимним утром Антипка раздавал лекарства больным, а я сидел и заносил в книгу фамилии освобождённых от работы. В передней слышались твердые быстрые шаги, и

мелькнул белый полушубок, ушанка с отпечатком звезды на белом овечьем меху, хорошие казённые валеночки.

– Внимание! Здрасьте, гражданин начальник! – заорал Антипка, выпучив глаза. Все опустили руки по швам, я встал. Вошла Анечка.

– Стоять вольно! – в шутку бросила она больным и, сияющая, остановилась передо мной. – Ну, как? А? Совсем начальник? Поздравь: я получила бесконвойку и сейчас сажусь в сани и одна несусь по сугробам на третий! Тот самый лагпункт, где когда-то едва не умерла штрафницей, а сейчас еду туда как статистик-контролёр! Что, испугала, Антипка?

Антипка вытер нос.

– А я думал, что вы Карп Карпыч!

Кругом грянул довольный смех. Всегда приветливую Анечку больные любили, её радость была их радостью. Так и стала она носиться по полям и лесам – то на санях, то на телеге, то пешком.

Проходят месяцы. Настала весна.

Вот мы сидим и завтракаем: Севочка, Андреев, я и Анечка.

– Сволочь Некрасов – вчера не пустил меня в баню! – бурчит Андреев. – Выжимает подачку!

А Анечка закидывает голову, закрывает глаза и улыбается.

– Я вчера остановила лошадь у озера, затерявшегося в тайге. Разделась и устроила себе, братцы, такое купанье, что и сейчас приятно. Вода холодная и прозрачная, как кристалл. Помылась, постиралась, подсохла, да и домой, в зону! Только змей там полно! Прилечь страшно. А цветов – уйма. Какая красавица наша Сибирь!

Еще проходят месяцы. Наступает заветный летний день.

Одиннадцатое июля сорок седьмого года.

– Не видно? Отойди на шаг и незаметно ещё раз погляди со стороны, – шепчет Анечка. – Мне самой кажется, что выпирает угол каждой тетради...

– Нет, – качаю я головой. – Ничего не видно.

Она стоит молча, слегка наклонив голову. Расставив ноги как будто бы для того, чтоб прочнее упереться в землю. Рядом тощий вещевой мешок: все ценные вещи она оставила мне. Под платьем подвешены мои тетради. Они не очень большие и не очень толстые. Но на худом теле лагерницы, под лёгким летним платьем они видны, особенно при движении. Заметят – будет арест, новый десятилетний срок, лагерная судимость, штрафной этап, штрафной лагерь. Я вижу протянутую руку смерти за спиной Анечки, над её белоснежным вихром... Смерть ждёт.

– Надо везти, – сурово говорит Анечка, еле шевеля побелевшими губами. – Надо.

Она делает паузу.

– Помни: я тебя вытащу отсюда. – Переводит дух. Мучительно и трудно. – Увидимся в Москве.

Мы стоим друг перед другом в героическом молчании. Как перед незримым входом в храм Свободы. Это – мгновения клятвы.

– И чиво здесь околачиваться? Не понимаю! – С порога вахты скрипит нам Карп Карпыч. Закуривает. Смотрит на небо и добавляет: А дождя вроде не предвидится! Ну, пошли на свободу, гражданочка, давайте не будем задерживать движение. Говорите данные по положению!

Белыми губами Анечка в последний раз произносит **данные** и протягивает бумажки. Карп Карпыч важно их читает, водрузив на нос большие очки в железной оправе – изделие Андреева. Потом не спеша стучит в оконце корявым пальцем, жёлтым от махры. Но когда проклятый засов заползает внутрь сторожки, и калитка со скрипом приоткрывается, Карп Карпыч неожиданно хохочет, быстро подхватывает Анечкин мешок и говорит: Счастливого пути товарищ Иванова! – и выносит мешок за зону.

Анечка вспыхивает и успевает только крикнуть:

– До скорого свидания! Жди писем! Прощайте, Карп Карпыч! Спасибо!

И дверь калитки захлопывается.

К сторожке из толпы освобождающихся женщин подходит следующая: сегодня досрочно освобождают мамок с ребятами. Их столпилось много. В одной руке женщина держит спящего младенца, другую вытягивает по швам, по-солдатски, и деревянным голосом бубнит данные.

Ташусь в амбулаторию, запираюсь в пустом приённом кабинете, сажусь к столу и, опустив голову на руки, до боли сжимаю зубы.

На следующий день утром я встретил возчика Вальку Романова.

– Уехала **твоя**. Еле села. Потеха была, понял. Со всех десяти лагпунктов нашего отделения к станции с утра стали валить мамки с приплодом – возами и грузовиками, одних детей наволокли тонны. Рассыпались мамки по городу, пьяные, конечно. Кое-кто на рынке уже успел провороваться и схватить по синяку под глазом, – словом, московский Художественный театр в Мариинске, а постановка – «Чайка»! Умо-

ра! Милиция и чекисты, понятно, уже на взводе, а поезда всё нет и нет, не подали состава, хоть и время. Я стою на перроне с моей Варькой и замечаю **твоею** идёт с младенцем на руках! Понял?! Я это в хохот – откуда, мол, прибавление семейства? Она рассказывает, что какая-то мамка с пятого её попросила поддержать дитё, а сама пошла, мол, в уборную, да и провалилась с концами. Ждала Анна Михайловна полчаса, ждала час, извелась до полусмерти и пошла в вокзальное отделение ГПУ. А гэпэушники ей говорят: «Не думайте дитё бросать: увидим – получите десятку! Чтoб по закону сдать дитё, поезжайте в Суслово и возьмите справку, что вы освобождены в бездетном состоянии! Нету времени? Поезжайте с дитём домой! В Москве разберётесь!» Вот же гады, а? А надо тебе сказать, что по дороге, едва мы отъехали, нашу телегу с освобождающимися нагнал в таратайке опер Еремеев и прямо в поле устроил всем самый нахальный шмон. Чего уж **твоя** спугалась не знаю, а побелела, затряслась. С нервов, што ли? Опер это баб лапает и тащит у них из-за пазух и спод юбок ворованное лагерное барахло и в таратайку всё кидает. Дошёл до **твоей** – на ней лица нет! А опер под козырь, улыбится, падло гадючье, и говорит: «Счастливого пути, товарищ Иванова, желаю успеха в жизни!» До самого Мариинска твоя всё вздыхала и за сердце держалась, а тут по приезде – на тебе, ей подарок: чьё-то дитё. Сильно она обратно психанула.

На перроне мамки затеяли рёв и драку, – законный зверинец, а **твоя** стоит в сторонке с узлом у ног и с дитём в руках! Ждёт... Положенье, а? Тут подают состав и какой? Вот же паразиты: вагоны из-под негашёной извести! В вагонах на стенках и на полу известка едущая, белая пыль палит глаза, а людям в этих вагонах жить сутками! Началась посадка на манер рукопашной на Мамаевом кургане в Сталинграде – кто кого и обязательно насмерть. Я **свою** протолкнул, кричу **твоей**, мол, давайте дитё под скамейку и сюда! Враз!! Она дитё пристроила, сумку в чужие руки закинула и лезет в вагон, её сверху за руки и волосья тянут те, которые уже сели и довольны жизнью, а которые ещё не сели и переживают, те за ноги тянут вниз. Вижу – рвут живого человека на части! Но верхние обратно пересилили и её в теплушку затянули – стоит она там белая от извести и всё себе тело руками щупает – думаю, видно здорово ей досталось, суставы натурально по-выдергивало это зверьё – мамки.

Поезд тронулся в туче белой пыли, и тут только начался новый аврал: все как есть мамки свой приплод побросали, то

есть затырили в кусты и под скамейки, по углам в уборных и за ларьки – всюду валяются дети как мусор, сугробами вроде их намел ветер в углы где погрязнее и от глаз подальше! А уж вой – ну, с ним законным волкам обратно не сравняться, его, доктор, потребно самому слышать, простыми словами об ём обратно ничем не расскажешь: тут надо Горького Алексея Максимовича в натуре, – он ведь запустил ядовитый слухок, что человек, мол, это звучит гордо, так его бы туда на вокзал и позвать, послушать!

Поезд, доктор, как говорится, умчался в голубую даль, а мы, возчики, начали собирать эти маленькие падлы, тащить их из-за закоулков. Конечно, надоело, да и домой пора. Которые оралы сильнее, мы их, обратно, хватали и грузили навалом в кузова, тихих всю ночь потом подбирала милиция. Я тоже привёз полный кузов, сдал в ясли без счёта, как сам нахватал под кустами да в уборных – товар этот сам по себе цены не имеет, но ясельная обслуга ему была рада – есть вокруг чего кормиться и опять раздувать законное предприятие! Мой набор припишут по именам и фамилиям прежних своих ясельников, но если я прихватил лишний десяток, то их кому? Я же говорю – пр-р-равильная комедия!

Потянулись пустые дни.

– Нужно привыкать, Дмитрий Александрович, – степенно и размеренно говорит Андреев. – Нам суждено вынести много ударов, в том числе и этот. Духовно я был очень близок с женой. Расставаясь, поклялась ждать моего освобождения. Отрезанный от мира, я жил воспоминаниями. Но жена осталась в гуще жизни. Её письма сначала были частыми, длинными и живыми, потом начали приходить реже и, наконец, стали короткими, редкими и пустыми. Жена в первом же письме обещала приехать ко мне на свидание. Но в тот год не поехала – схватила грипп. На второй год уже добралась до Москвы, но тут задержали её покупки. На третий год опять собралась ко мне, но как-то случайно попала в Крым и в Ялте познакомилась с одним бухгалтером, за которого сейчас же вышла замуж. Я не в претензии – она не виновата: мёртвый не должен хватать за ноги живых. Я успокоился и, как вы знаете, сошёлся с доктором Мухиной. Жизнь неумолимо разрывает старые связи и строит новые. Это разумно. Вольный заключённому не пара. Не гальванизируйте то, что должно захиреть и отпасть естественно, как бесплодная ветвь: стройте себе в Суслово новую лагерную жизнь!

– Анечка нас не забудет! – возразил Севочка.

– Жизнь заставит забыть. Наша честь не позволит нам назойливо напоминать о себе. Засов на калитке – это наш ЗАГС: он заключает и расторгает наши браки. Задвинулся – и всему крышка!

Но крышки не получилось. Анечка писала недлинные и не особенно горячие письма. По-деловому сообщала, что была в Москве и получила там назначение на один завод в Сибири, какой – не написала. Это нам показалось странным и подозрительным.

– Иванова работает в Славгороде на военном заводе. Инженером. Устроилась хорошо, – сказал мне опер, капитан Еремеев, когда я однажды закончил проверку иностранной почты и попросил его вызвать конвой. – О ней не беспокойтесь!

Это была сенсация: бывшая заключённая – и на военном заводе!

Затем последовало новое известие, которое переполошило лагерь. Анечка извещала без всяких объяснений, что в двадцатых числах октября меня вызовут в Москву на пересмотр дела и на освобождение. Все раскрыли рты...

А 23 октября меня вызвали в штаб: в Мариинск прибыл из Москвы спецконвой (офицер с солдатами) лично за мной. Внезапные сильные морозы на три дня задержали отправку.

– Вот так наша Анечка! – торжествующе сказал Сева и крепко обнял меня. – Другого и быть не могло!

Когда меня увели на Мариинскую пересылку, Анечка ещё долго переписывалась со своими сусловскими друзьями, а некоторым прислала продуктовые посылки. Её письма всегда были тёплыми, вселяющими веру в будущее. Они ходили по рукам, и каждый читал, держась рукой за сердце и облизывая внезапно пересохшие губы, тихо повторял:

– Анечка есть Анечка! Натуральная молодчица!

Вскоре после освобождения Анечки произошло неожиданное событие. В амбулаторию явился нарядчик Мельник и вежливо, но твердо предложил Тамаре Рачковой перейти из кабинки в женский барак. Это был гром среди ясного неба.

– Вы с ума сошли! Я?! Перейти в барак?! Чепуха! – отрезала Тамара. – Я никуда не пойду!

– Пойдёте, – ответил Мельник и заковылял прочь. Он хромотал после аварии на сторожевом катере. Взамен сейчас же пришёл Плотников.

– Рачкова, в два счёта переходите в барак.

– Не пойду. – И, нарушая правила конспирации, вдруг выпалила. – Ведите меня в Оперчекчасть!

Еле сдерживая злорадные улыбки, мы молча стояли, ожидая, чем кончится эта сцена. Она кончилась быстро.

– Самоохранник, перетащи вещи Рачковой в женбарак! Живо! А в Оперчекчасти вам делать нечего, заключённая.

– Я... – Тамара задохнулась от возмущения. – Я...

Но Плотников прищурился, искоса подмигнул мне и Севочке и ушёл. Девять лет спустя, в Москве, Анечка рассказала, что после выхода за ворота она зашла к Еремееву проститься и сообщила ему, что Тамара давно раскрыта заключёнными и окружена стеной недоверия и ненависти.

Несколько недель Тамара, униженная, оскорблённая, вдруг потерявшая всю былую власть, приходила на работу из женского барака. Повар перестал давать ей незаконные порции больничного питания, зав баней выгнал из раздевалки, каптёр отобрал незаконно выданные сапоги: это было падение тирана. Зона вздохнула с облегчением.

Позднее явилась новая заведующая амбулаторией, а Тамару отправили на третий лагпункт. Возчик, цыган Иван, передал тамошним контрикам нашу записку: «Рачкова – сексот и гадина. Будьте осторожны». Обратным рейсом Иван привёз старую еврейку очень благообразной внешности и тоже бывшую супругу секретаря обкома. При ней с Иваном пришёл ответ: «Получили вашу гадину, посылаем нашу. Не верьте ей ни слова». Новая осведомительница стала работать в обстановке вежливого недоверия и не сумела пустить корней в нашей среде. Второй царицы Тамары из неё не получилось. Рачкову и некоторых других обитательниц сусловского женбарака Анечка и я видели в Москве, но об этом скажу в своё время.

Миллионеры, лейтенант госбезопасности Бульский и жулик Греков, надо полагать, тихо доживают сытые дни – советская земля для них всегда стлалась пухом!

Тэру Таирову я не встречал и о её судьбе ничего не знаю.

После отъезда Тамары Рачковой амбулаторией стала заведовать вольная медсестра, только что окончившая Ростовский медицинский техникум, молоденькая и симпатичная девушка, на людях – гражданка начальница или Мария Тимофеевна, наедине – просто Маруся. Она начала жить с Севочкой. Жили они хорошо. Маруся говорила, что в зоне она **отдыхает от жизни**. Как видно, на воле ей жилось несладко. Потом сексоты их выследили и Севочку отправили на штрафной, где он и умер, а Марусю – на другой лагпункт, где она стала жить с заключённым каптёром. Потом её опять выследили и выгна-

ли из лагерной системы, как Анечку Семичастную, а с каптёром я встретился в Озерлаге (в Тайшет меня направили из Москвы как бывшего сиблаговца).

– Славная была девушка, – шептал каптёр, глядя в пространство. – Таких здесь не держат: доверия она у начальства не заслужила!

Николая Кузнецова после моего отъезда увезли на пересмотр, и он исчез из Сиблага; Малышку, его жену, перетаскили в Тайшет.

Дима Бертельс сейчас живёт в Ленинграде. Он врач и, я уверен, хороший врач.

Бориса Григорьева взяли в этап, мы встречались в Москве, и его историю я расскажу позднее.

Андреев с каждым днём становился всё мрачнее. Мухина освободилась, но продолжала ради него работать всё в том же детдоме, и от неё он первый получил известие, что в начале следующего сорок восьмого года все контрики из Сиблага переводятся куда-то на восток, где будут содержаться на каторжных условиях, значит без женщин и под усиленной охраной. В Озерлаге я встретил множество сиблаговских знакомых и друзей, но Андреева и Мухину не видал; да ей и не было смысла переводиться в Тайшет.

Бывшую заключённую врача З.Н. Носову перевели в Мариинск. Ей я доверил первые экземпляры моих записок и все рисунки – целую кипу, но Носова не выдержала жизненных испытаний, стала наркоманом и исчезла с моего горизонта вместе с рисунками и тетрадями. В части рисунков это невосполнимая потеря. Хорошо, что хоть моя верная Анечка спасла вторые неполные экземпляры записок!

Щеглова пристегнули к этапу для счёта – у ворот заболел один этапник, а он как раз проходил мимо – шёл в кухню за чаем. Больше я его не видел. Такова судьба заключённого.

Б.В. Майстраха в 1947 году взяли в этап куда-то на север, как раз накануне окончания его срока – это была манера властей в принудительном порядке заселять особо безлюдные районы. Мы встретились в Москве, и его историю я доскажу в своё время.

Г.Д. Абашидзе ещё в 1945 году умер в полном сознании, твердо и спокойно. За час до смерти он успел прошептать мне:

– Помните, сталинщине будет конец! Время идёт, и враги партии и народа погибнут. Не сомневайтесь в этом. Никогда. Слышите? Никогда!

Честь твоей памяти, дорогой друг!

Анечку Семичастную и полковника Устинченко я встретил в Москве. Это была знаменательная встреча! Но о ней позднее.

М.С. Островского я несколько раньше отправил из барака в больницу сильно ослабевшего, при явлениях общей интоксикации: у него начался сепсис, вызванный карбункулом на фоне резкого истощения. Он оставался твердым, спокойным и милым, как всегда. Потом стал временно терять сознание. Когда приходил в себя, на вопрос: «Как себя чувствуете?» – отвечал в шутку:

– Как комиссар из Первой Конной.

Иногда улыбался, подмигивал и чуть слышно добавлял: – Даешь свободу!

Перед смертью успел произнести имя жены: Лидия. И всё.

Я отказался его вскрывать – это казалось надругательство. Его увезли на телеге в горе голых распоротых трупов, обвязанных одной толстой верёвкой, и свалили в ров, наполненный водой – земля здесь сырая. Кусочек моей души был похоронен с ним в этой яме, потом засыпанной так искусно, чтобы не осталось и следов: в штабе хранилась лишь карта с обозначением места братской могилы.

«Живём мы с Эрной по плану, доктор, и живём складно и ладно, – писал мне из Свердловска Федька-Шрам. – Часто всех вас вспоминаем и желаем такого окончания жизни, которое посчастливилось добыть нам – лучшего мы сами обратно не представляем: будьте счастливы, как мы!» Эрна подписывалась по-немецки: «Эрна Счастливая».

Глядя на эти письма, Метеор насмешливо улыбался и бурчал:

– А это мы ещё посмотрим! То есть я с Луизой решил поселиться в том же Свердловске – вот и получится у нас с Федькой и Эрной соревнование – у кого житуха будет краше. Я в этом самом Свердловске однажды побывал, когда сорвался из одного уральского лагеря: портняжил, присматривался, потом завалился на одном большом деле с банком. Свердловск мне поэтому знаком, корни у меня там имеются и слесарю Федьке я дам сто очков вперёд!

Когда Луизе пришла амнистия, Метеор отдал ей все свои деньги и через вольняшек и мариинское воровское подполье действительно устроил её в той же квартире, где жила Эрна в ожидании своего Феде. Но однажды ночью, незадолго до своего освобождения, Метеор разбудил меня:

– Встань-ка, доктор. Слышь, Луиза сбежала. Новость, а? Что скажешь?

Я протёр глаза, сел на койке.

8 – Куда сбежала? Ведь она на свободе! Ничего не понимаю, Метеор.

Эх, какое лицо было у Метеора! При мигающем свете тусклой лампочки я увидел звериный оскал зубов и услышал их лязг.

– От mine сбежала, сука! С деньгами и барахлом! Как есть всю мазуту сгребла и мотанулась долой с глаз! Ясно?

Он помолчал, моментами хватаясь за грудь и громко скрипя зубами: это принятая у уголовников обезьянья манера выражать бешенство.

– Меня, Метеора, и так обдурить! А?! Меня, слышь, доктор, ты понял – меня?!

Он как будто бы постарел и осунулся, голова осела в плечах, на спине как будто вырос горб.

– Помнишь, ты ещё меня упреждал насчёт этой гадины, мол, знаю ли я её? Помнишь? Я тогда понадеялся на себя, как-никак я Метеор, – хозяин то есть всех воров, а она – головастая женщина, не чета Федькиной Эрне: я обратно не уважаю интеллигенцию, пойми это. «Нет, – я себе говорил, – у нас узел будет крепше, без интеллигентского развилка: бандит и музыканша, доктор, ненатуральное объединение, а мы с Луизой оба законные жулики». И вот, гляди, на тебе! Обдула, обчистила – и прочь! Оставайся и жди, старый дурак, пока люди тебя заплюют.

Метеор долго сидел у меня на койке, пришибленный изменой. Потом приоткрыл полу телогрейки и показал мне нож.

– Этим ножом перережу ей горло. Заметь. Этим. На днях обрываюсь с лагеря. Лечу в Таллин. Она там. Сделаю её начисто и потом сразу в милицию. Сажусь, доктор, с концами – навсегда до самой смерти. Больше я на волю не ходок.

Он кряхтя поднялся. Застегнул телогрейку на все пуговицы. С трудом выпрямил спину.

– Одна в жизни задача осталась. Сполню её – и на отдых. За проволоку. Так-то...

Через неделю он бежал. Больше я о нём ничего не слышал.

Я рассказал о нескольких лагерных браках – разбитного Буси-Казака со жгучей азербайджанкой Фатимой, славного Федьки-Шрама с печальной Эрной, о моём браке с Анечкой, о связи старого пахана Метеора с молодой и хитрой парикмахершей Луизой. Теперь расскажу ещё о браке грозной Верки-Гроб с хорошенькой Грязнулькой: это тоже кусочек лагерной жизни, каким-то краем он коснулся и меня.

После окончания войны, как и следовало ожидать, посыпались милости – амнистия, пересмотры и досрочные осво-

бождения. Жерло этих благодеяний было нацелено только в одну сторону, и пролились они лишь на уголовников. Досрочно была освобождена и Верка-Гроб: ей простили даже недавнее зверское убийство молодой цыганки. Но Грязнульке опер разъяснил, что на освобождение она рассчитывать не может: сожительство с отцом и убийство своего прижитого от отца ребёнка комиссией сочтено «явлением опасного бытового разложения».

Лагерники улыбались.

– Если Верка – настоящий муж, то она выйдет завтра за ворота и тут же забудет свою лагерную жену – за зоной красивых девок хватает. Женщина ещё может подождать мужа, а уж мужик бабу – никогда! Это противоестественно!

Но ведь это и был противоестественный брак!

В день освобождения Верка утром получила документы, собрала на обходном листе нужные подписи и полностью оформила выход, а затем зашла в штаб с просьбой. Стопку документов положила на деревянном барьерчике и углубилась в списывание расписания поездов на Владивосток – она хотела ехать туда к брату. Между тем в комнату ворвалась банда малолеток с криком «дайте бумагу на махру!». А когда их выгнали, то оказалось, что Веркины документы с барьерчика украдены на закрукти.

Самоохранники бросились в погоню и действительно отобрали какие-то обрывки документов с печатями. Верке выдали все бумаги заново, и пока она обошла зону с обходным листом, наступили зимние сумерки. В шесть часов стрелки и вахтёры сменились, стали на пост новые, которые не слышали об утреннем происшествии. В темноте к вахте вышла укутанная женская фигура и предъявила документы. Никто не заметил, что за полчаса до смены Верка уже вышла за зону: её первые бумажки были тоже в порядке, воровство оказалось только ловкой инсценировкой.

За семнадцать лет заключения это был единственный виденный мною пример смелой и самоотверженной любви с успешным выводом на волю любимой жены, даже рискуя собственной свободой и жизнью!

С весны следующего года начали поступать открытки от Верки. Она писала своим друзьям, в том числе и мне. Капитан Еремеев вызвал меня на допрос, обвинив в связи с преступным миром и в содействии побегу заключённой Евгении Александровны Зориной. Я отнекивался, и следственное дело было прекращено. Но Валька Романов позднее показал мне

письмо Верки, полученное на адрес сторожихи на железнодорожном переезде. Письмо было написано на воровском жаргоне. Верка сообщила, что они отправились не на восток, а на запад и вскоре «открыли золотую жилу» – стали ездить на поездах, в которых с фронта возвращались домой демобилизованные офицеры. К этому времени они раздобыли форму, ордена и документы, а из разговоров установили, что выгоднее и безопаснее всего выдавать себя за чекистов, следящих за потоком демобилизованных, возвращающихся с войны. У многих офицеров было немецкое золото – кольца, крестики и прочее ценное барахло – **мазута**, которую две предприимчивые женщины успешно воровали или получали по пьянке в счёт оплаты любовных утех. Обеспечив себе жизнь на десять лет вперёд, обе решили смыться на **гражданскую работу**, так как поток демобилизованных иссяк и продолжение поездок на тех же линиях становилось опасным.

– Ну что ж, – сказали лагерники, – Верка своего достигла: вывезла жену, обеспечила себя материально, а теперь выберет большие города и начнет их по очереди обчищать с помощью Грязнульки: Женька – превосходная наживка на таком остром крючке, как Гроб!

Лагерь – фронт. Там долго ничего и никого не помнят. Посудачили, посмеялись, перекурили и забыли: у каждого заключённого своих дел и забот по горло.

Весной сорок седьмого года начальник Культурно-воспитательного отдела Сиблага приказал на всех отделениях произвести смотр самодеятельности – сначала на лагпунктах выделить лучших исполнителей и составить наиболее удачную программу, а затем вызвать с лагпунктов культбригады на штабные лагпункты отделений, где потом можно будет отобрать лучшие программы и исполнителей для обновления и улучшения культурно-воспитательной работы в пределах всего Сиблага.

Приказ был встречен с восторгом. Работа закипела. Наша бригада решила повезти в Мариинск «За тех, кто в море» и концертную программу. Сшили костюмы, запаслись гримом и париками, обновили декорации. Наконец, в тёплый и солнечный весенний день тронулись в свою столицу – трое груженных реквизитами саней и бригада исполнителей, а также начальник КВЧ, начальник режима, конвой и собаки.

Оба начальника были сильно навеселе и на станции Суслово отстали и явились в Мариинск дня через два, в сильно

помятом виде. Один стрелок заболел и с нами в снежное поле не пошёл, а с ним остались и собаки – он их взял под расписку, и только его они слушались. Карп Карпыч напросился в конвой, потому что в Мариинске у него было дело к брату жены – тот взялся продать на рынке свинью, продал, но деньги не высылал. Карп Карпыч, человек пожилой, обмотался тряпьем, одел через плечо автомат дулом вниз, как охотничье ружьё, и, не обращая на нас внимания, поплёлся впереди колонны на манер лесного лохматого и кривоногого гнома, – для русского лешего он был слишком мал ростом, хотя в остальном весьма подходил. Шествие замыкал знакомый стрелок Иван, увешанный орденами хромой фронтовик, чубатый и краснощёкий парень, очень добрый и ласковый, но опасный. Вдобавок к ранениям он был тяжело контужен в голову, и на него при малейшем возражении находили приступы бешенства, а был он при оружии, и его чистенький, блестящий автомат висел всегда на руке, и палец Иван любил держать на спусковом крючке. Иван тоже напросился в конвой, поскольку считал себя знатоком, ценителем и покровителем искусств.

Началась весёлая канитель. Ехали и шли медленно: снег был глубокий и мокрый. Солнце сияло на бледно-голубом небе, в перелесках залегли ярко-синие тени, всем вдруг стало жарко. Жевали сухой паек, много смеялись, а ещё больше пели. У Вальки Романова был чистый и приятный тенор, он запевал, а все хором подхватывали. Потом хромой Иван стал отставать и теряться на поворотах. Лошадей останавливали, и бригада, по команде дирижировавшего Вальки, хором кричала:

– Иван, хромой чёрт, где ты?

Из озорства кричали и словечки похуже, пока из-за кустов не показывалось потное лицо Ивана с улыбкой одобрения на искривлённом от боли лице – искалеченная нога начала болеть.

Его посадили в последние сани, а узлы с театральным барахлом понесли на плечах. Идти оставалось неблизко – около десяти километров, но настроение было отличное; пение и смех не стихали до первых изб города.

У ворот мариинского штабного лагпункта Иван подал на вахту наши бумаги, но дежурный стал придирается – не хватало печати на аттестате на довольствие. Уставший Иван вдруг побагровел, отступил на шаг и вскинул автомат так, что дуло пришлось как раз против поясной бляхи начальника.

– Запускай, гадское твоё мясо! Люди шли целый день, а ты издеваешься?! Враз открывай ворота, падло!

Когда мы шли из бани, Ивана вывели в оперчекистскую часть без погон и пояса: на время смотря он заработал себе

гауптвахту. В бараке мы сложились и на очень богатом внутрилагерном толчке купили ему три пачки лучших папирос.

О нашем приходе знали. В помещении художественной мастерской я читал отрывки из своих записок, Рыбаков декламировал свои стихи. Много спорили. Это был чудесный **умный** вечер после солнечного и синего, беззаботного и бездумного дня.

Мариинская штабная культбригада представила на смотр «На дне» в постановке и при участии бывшего артиста Художественного театра Должанского, который на лагпункте заведовал большой художественной мастерской. На следующий день после их выступления на конкурсе я читал в группе любителей фрагменты моей пьесы «Только вперёд!», написанной на материале сусловской лагерной жизни и при деятельном участии всех оставшихся в живых выведенных в пьесе персонажей (не хватало бандита Паука и ошибочно осуждённой за проституцию невинной девушки Сениной, «маршала» Майстраха и Боба-Гориллы, Грязнульки и Верки-Гроб). Но слушатели их или лично знали, или хорошо представляли, и после читки произошёл горячий идейный бой: начали с критики классического наследства, а потом не удержались и перешли на критику современности, благо Горький, как придворный сталинский прихлебатель, был к этому удобным поводом. Говорили не называя имен, изошряясь в придумывании остроумных кличек, некоторые из которых встречались аплодисментами. Это была приятная всем участникам беседы игра ума и соревнование в остроумии, — то, чего все так страстно жаждали. Вечер и часть ночи пронеслись быстро; в эти часы все присутствующие были вне лагеря.

А на следующий вечер я ходил в Мариинский городской театр (или какой-то лучший местный клуб). Привели нас под конвоем и по счёту сдали за кулисы. Заднюю дверь заперли. За передними кулисами стали стрелки. Зал наполнился местной знатью из верхушек городского партийного и советского руководства и командования лагеря. Блестели погоны и ордена, дамы щеголяли нарядами: сквозь дырочку в занавесе я без труда узнал серый искусственный шёлк из распоротых немецких воинских матрасов.

Был дан гала-концерт. Ставили, между прочим, «Лебедь» в исполнении какой-то бывшей киевской балерины и оркестра из Марраспреда. Когда лебедь, освещённый лунным светом, трепетал туго накрахмаленной пачкой и в порыве предсмертной тоски нечаянно приближался к той стороне, где нахо-

дилась дверь, то сидевший на табурете стрелок довольно громко рычал:

– А ну, давай отселева!

И колебля длинными руками-крыльями, лагерный лебедь **давал** на другую сторону сцены.

Концерт публике очень понравился – он был не хуже представлений, какие своим владельцам давали крепостные актёры, музыканты и танцовщицы сто лет назад: а говорят, что история не повторяется! Может, где-нибудь и нет, но в стране чудес – да, повторяется и ещё как!

Аплодисменты были искренними и бурными и какой-то полный человек вышел на сцену и закатил речугу, увязав Лебеда со скорым прилетом лебедей и с близящейся посевной компанией. Были ещё другие патриотические выступления и обязательства выполнить и перевыполнить. Оркестр белых негров грянул государственный гимн, и все участники разошлись в обстановке высокого морального подъёма – одни по домам, другие – в загон.

Конечно, первое место взяла мариинская культбригада – это можно было предвидеть. Но затем из лучших номеров всех десяти лагерных пунктов была составлена супер-программа, показанная в городе на той же **вольной** сцене. На этот концерт я не попал, но зато присутствовал на большом ужине, который закатали всем участникам смотра КВЧ Маротделения.

Было тесно, жарко и очень весело. Съели студень с винегретом, а когда подали горячие тушёные в сале бараньи желудки с перцем и капустой, то двери распахнулись и вошло начальство, мужчины и женщины, в форме и в гражданском платье, а за ними две подавальщицы с бутылками пива. Грянули аплодисменты – конечно, пиву, но начальство приняло их на свой счёт. Начальник отделения произнёс короткую речь, и затем командование к общей радости удалилось, и мы остались одни, если не считать дежурных надзирателей, изредка появлявшихся то в дверях, то за нашими плечами.

В конце вечера Рыбаков встал и громко захлопал в ладоши.

– Товарищи! Внимание! Я хочу произнести короткое похвальное слово!

Раздался смех, крики:

– Кому? Тебе? Тебя сегодня достаточно хвалили!

Но Рыбаков тряхнул льяняными кудрями.

– Похвальное слово нити творчества, которой мы все крепко связаны!

Раздались аплодисменты. Подняв руку, Рыбаков начал:

«Дуй же, ветер, в лицо и в открытую грудь, буйный ветер с бескрайних сибирских пустынь! Когда все впереди – тогда ничего не страшно! Только вперёд и вперёд! Товарищи! Мы...» Вдруг с того конца зала, где находилась входная дверь, кто-то скомандовал: «Внимание!» – и кое-кто из сидевших нехотя встал.

– Чёрт! – выругался Рыбаков. – Опять вольняшка!

Вошла статная женщина-офицер в форме, но без погон и петличек.

– Здесь доктор Быстролётов?

Я поднялся.

Чекистка подошла ко мне, на удивление всем обняла и вывела под руку в раздевалку. Припала к моей груди и зарыдала.

Это была Верка-Гроб.

– Доктор, сейчас меня хватятся и прибегут: я убежала из бани. Привезли на переследствие. Обвиняют в шпионаже и уничтожении военных документов. Видно, расстреляют... – Она тяжело перевела дыхание. – Я помню «Шёлковую нить» и твои записки... Послушай меня и запомни. Я знаю, что правильно поймешь. Пусть и другие узнают: молодым я буду в урок.

Я снова молча провёл рукой по её волосам, тёплым и сырым. Жест означал: успокойся! Но разве можно было успокоиться перед надвигающейся смертью? Для Верки настал момент подведения под жизнь последней итоговой черты.

– Ты, может, заметил, доктор, что в Суслово я последний год-полтора стала ходить на работу? Заметил? Я это не посучиться хотела, а просто лагерь мне надоел и воровская житуха тоже. Захотелось чего-то делать. Я всё думала – куда мне пойти? В пошивочную мастерскую, в тепло и к нашему бабью, не захотела – боялась, что поймут неверно, вроде я ищу пути к начальству и перековываясь на ходу. Я пошла на холод и в грязь – ремонтировать трактора. Сначала инженеру-мастеру платила, он меня учил слесарному делу, а как все начала схватила, так пошла потом сама. Очень мне слесарная работа нравилась и чем дальше, тем больше: я угадывала, что скоро мне не руки понадобятся, а голова. Радовалась тому очень и по первые в жизни стала мечтать о воле, чтобы учиться.

Она на мгновение задумалась.

– А тут освобождение. Бросить бы мне Грязнульку и идти, но гордость не позволила. Бабы всё подкалывают со смешочком: «Новую жизнь, мол, строить собираешься? Иди к оперу или в КВЧ – они помогут! – А за цыганку свечку богу поставь – он простит!»

Я Грязнульку на волю вывела, а как жить дальше, не знала. Она же быстро сообразила, и я оглянуться не успела, как она меня привела в шалман и на воинские поезда. Я всё откладывала разговор, а время шло, и деньги нам плыли шальные. После лагерной баланды и хлеба с полыньёю захотелось хлебнуть жизни. Ну и хлебнула.

Потом почувствовала, что Грязнулька мне вроде на шею садится и мягкими своими руками мою голову туда поворачивает, куда хочет. И я от неё сбежала.

Куда бежать? Сунулась на завод – всюду документы проверяют. Соображаю – докопаются до наших приключений с офицерами, надо менять законную ксиву на липу, она надёжнее. А в Свердловске, знаю, у меня старый кореш – Метеор. Приехала. Ищу. Нет ни его, ни Луизы. Думаю, живут на липе, это проще. Обратилась в шалман. Там мне и сказали, что вроде Метеора в Свердловске не было, а липу мне дали без разговоров – крепкую, на бетон, прямо от начальника паспортного стола. Я на завод и в слесаря. Полгода поработала, а там направили как ударницу в школу. Ну, думаю, сбываются мечты!

Вечером в первый день пришла с книгами и не могу – заперлась в комнатухе, села за стол, обняла книги и реву – от радости, доктор! От благодарности судьбе, значит, за настоящую жизнь! Вдруг стук. Отворяю дверь – Грязнулька. Она меня через шалман выследила. Комнату я через шалман же и получила, доктор...

Верка закусила губу. Опустила голову.

– Ну, а дальше? Говори уж до конца, Верка!

– Поймешь?

– Постараюсь. Говори.

– Грязнулька вплыла в комнату разряженная, как картинка. Такой я ещё не видала: красавица! «Здравствуйте, мол, Вера Гавриловна! Пойдите сюда ко мне поближе!» И пальчиком с малиновым ноготком манит. Я подошла. «Сюда!» Я подошла к окну. «Глянь вниз, сука!» – она мне прошипела. «Видишь на углу стоят два фраера и вроде курят? Это наши из шалмана – Иван-Зуб и Васёк-Картошка. Ты сучиться захотела, а? Из шалмана ксиву и комнату получила и теперь бочком – в кусты? На завод? В школу?» Она меня ручками за ворот схватила и к своему лицу тянет: «Не выйдет, гадина!» Тут-то, доктор, и ударила мне в голову горячая кровь: наш закон я знаю и ведаю, зачем на углу поставились Зуб и Картошка. Да много ещё и во мне осталось старого. Хотела было сказать,

что, мол, ладно, чего ссориться, но увидела книги, моими слезами оплаканные: они лежали ещё на столе, где обедала. Ну...

Она запнулась.

– Ну?

– Схватила я нож и сделала Грязнульку начисто. Как она упала, я выскочила на улицу. Зуб и Картошка ко мне. «Куда?» – «В милицию». Они хотели что-то сказать, но как моё лицо увидели, промеж себя переглянулись и отстали.

Верка укусила себя за руку и долго так стояла с зубами, впившимися в своё тело. В зале шумел окончившийся ужин, раздавались крики и песни.

– На следствии мне припомнили, что деньги мы с Грязнулкой у офицеров доставали из портфелей и карманов, а бумаги все обратно уничтожали – зачем они нам? Только улика... А среди этих бумаг оказалось много военных документов большой важности. Сначала меня за американскую шпионку приняли и стали бить, потом я всё рассказала и они вроде поверили. Но сомневаются до конца: не попали ли всё-таки документы в чужие руки, не использовали ли нас американские шпионы? Решили на всякий случай расстрелять.

Она подняла лицо, и опять я увидел горящие огнём внутренней силы большие серые глаза. Такие, как в Суслово, на чтении лекции о Сталине. «Гроб есть Гроб, это понимать надо!» – вспомнились тогдашние гордые и самоуверенные Веркины слова...

– Жизнь кончается, доктор! Я плачу не от страха перед смертью. Не от жалости за Грязнульку. Веришь, мне, доктор? Верь! Плачу потому, что схватилась за тот край лагерной ямы, хотела подняться и не удержалась: грязная земля посыпалась под ногтями и я повалилась обратно на самый низ. Туда, откуда возмечтала выбраться на чистый воздух...

– Вон она! – закричал начальник конвоя, внезапно рванув дверь настежь. – Хватайте её!

Настал указанный Анечкой октябрь.

– Ну вот и конец всему! – разочарованно протянули члены нашего творческого кружка, когда я, запыхавшийся от волнения, прибежал из Штаба и скороговоркой сообщил о том, что вызван в Москву и что стрелок ждёт меня у ворот.

Лица у всех вытянулись и поблекли:

– Шёлковая Нить обрывается...

– Почему же?! – вскипел я. – Чепуха! Вы же остаётесь? Вы – это и есть Шёлковая нить.

Но все только покачали головами.

– Вы были нашим признанным вожаком. Пастырем. Исчезнете вы, и стадо рассыплется... Шёлковая Нить – не мы, а творчество, наше общее героическое усилие. Без вас его не будет.

– Да бросьте нить! Что за слова?! Вместо амбулатории станете собираться в клубе под видом репетиций: это будет ещё незаметнее! Выше головы! Давайте руки на прощанье!

Мои друзья грустно протянули руки.

Мы крепко-накрепко обнялись.

– Сейчас сложу вещи и иду к воротам. Прощайте!

Но Катя побледнела, насупилась и, выдернув листок из медицинского журнала, села в сторону.

– Что это вы?

– Пишу вам на память. Николай, садись и ты!

Оба поэта, нахмутив брови, углубились в творчество. Я быстро уложился и через полчаса вернулся назад.

– Ну, товарищи поэты, вы готовы?

Улыбающийся Николай Петрович Кузнецов и нахмуренная Катя Владимировна протянули мне свои листки. У обоих получились удачные вещи – у Кузнецова шуточная, на тему о расставании и встрече двух потёртых монет, у Кати – серьёзное, о смысле нашего общего дела.

Судьба обоих произведений оказалась различной. Кузнецов написал своё стихотворение на папиросной бумаге, Катя – на обёрточной. День был ветреный и морозный, градусов 25. Идти далеко. Конвоир и заключенный сняли бушлаты, покрылись с головой, обнялись; я крепко взял стрелка за автомат, и мы зашагали по сугробам. Холод не располагал к частым остановкам. Но пройдя километров пятнадцать, решили сделать перекур. Папиросная бумага Николая Петровича пошла на сигарки, и его стихотворения я, к сожалению, не запомнил. Осталось в памяти только растроганное и улыбающееся лицо. Но побледневшее лицо Кати тоже не забылось, как и её стихотворение, написанное на жёлтой обёрточной бумаге, не подходящей для курения. В Марраспреде я заучил стихотворение наизусть.

Слова прощального приветствия остались со мной как гимн.

Вот эти вдохновенные строчки:

Как в грубой пряже шёлковая нить,
Так вы впелись в мои дела и годы.
Живёте вы – и хочется мне жить,
Идя за вами в чаянии свободы.
Отгорит и сойдет огонь
Этих лет, как позор и тень,

И поднимет всех нас на ладонь
Двадцать первого века день!
Пройдёте вы, как всё пройдёт на свете,
Судьбой ослепшею замучен и гоним,
А я – я счастлива, что на одной планете
Дышала с вами воздухом одним!
Отгорит и сойдет огонь
Этих лет, как позор и тень,
И поднимет всех нас на ладонь
Двадцать первого века день!
Пусть против нас этот кровавый век,
Но ваш пример – мне вызов и награда:
С ним лучше кажется мне каждый человек
И кажется, что жить на свете надо!
Отгорит и сойдет огонь
Этих лет, как позор и тень,
И поднимет всех нас на ладонь
Двадцать первого века день!

Москва.
Октябрь 1967 г.

Продолжение следует...

Быстролётов Дмитрий Александрович

Пир бессмертных

Книги о жестоком, трудном и великолепном времени

Возмездие

Том II

Компьютерная обработка фотографий и рисунков
из семейного архива Д.А. Быстролётова и набор текста выполнены
С.С. Милашовым

Отв. за выпуск Е.А. Белова

Оформление Л.П. Митич

Подписано в печать 30.03.2011. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 14,5.

Тираж 1000 экз. Заказ № 7195.

ООО Издательство «Крафт+»

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 14

Тел.: 620-36-94, 620-36-95, 926-25-48

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru